ВСЕМИРНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА



ВИКТОР ДРАГУНСКИЙ

Избранное. Повести и рассказы

Виктор Юзефович Драгунский

Аннотация
Виктор Драгунский. Избранное
Писатель щедрый и радостный…
Денискины рассказы
«Он живой и светится…»
Надо иметь чувство юмора
Слава Ивана Козловского
Одна капля убивает лошадь
Красный шарик в синем небе
Кот в сапогах
Сражение у чистой речки
Друг детства
Дымка и Антон
Ничего изменить нельзя
Заколдованная буква
Синий кинжал
Мотогонки по отвесной стене
Третье место в стиле баттерфляй
Сверху вниз, наискосок!
Не пиф, не паф!
Англичанин Павля
Смерть шпиона Гадюкина

Старый мореход
Запах неба и махорочки
Двадцать лет под кроватью
Девочка на шаре
Расскажите мне про Сингапур
Что я люблю
...и чего не люблю!
Что любит Мишка
Тайное становится явным
Профессор кислых щей
Главные реки
Зеленчатые леопарды
Удивительный день
И мы!
Шляпа гроссмейстера
Ровно 25 кило
Здоровая мысль
Похититель собак
«Где это видано, где это слыхано...»
Куриный бульон
...Бы
Арбузный переулок
Слон и радио
Не хуже вас, цирковых
Мой знакомый медведь
Гусиное горло

Рыцари
На Садовой большое движение
Человек с голубым лицом
Рабочие дробят камень
Пожар во флигеле, или подвиг во льдах…
Хитрый способ
Как я гостил у дяди Миши
Белые амадины
Чики-брык
Подзорная труба
Дядя Павел истопник
Фантомас
Приключение
«Тиха украинская ночь…»
Сестра моя Ксения
Поют колёса — тра-та-та
Волшебная сила искусства
Повести
Он упал на траву
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Сегодня и ежедневно

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Аннотация

В книгу вошли известные детские рассказы о мальчике Дениске, а также повести «Он упал на траву...» и «Сегодня и ежедневно».

Виктор ДРАГУНСКИЙ

ИЗБРАННОЕ
Повести и рассказы

Москва
«Планета детства»
«Издательство Астрель»
АСТ
2000

Виктор Драгунский
Избранное

Писатель щедрый и радостный...

Виктор Драгунский был талантлив вглубь и вширь. Если представить себе, сколько он успел сделать за короткий срок — всего пятьдесят девять лет отмерила ему судьба, то кажется, что он прожил несколько жизней. В одной жизни он был шорником, лодочником, токарем, в другой — цирковым клоуном, актером кино и театра, руководителем замечательного сатирического ансамбля «Синяя Птичка», в третьей — одним из лучших детских писателей и превосходным, нежным и добрым писателем для взрослых.

Конечно, все это так и не так. Драгунский прожил одну, на редкость многообразную, насыщенную, напряженную и цельную жизнь. Ему выпала редкая участь быть ни на кого не похожим, создать свой стиль и в жизни, и в творчестве.

Он был блестящим устным рассказчиком, интересно, по-своему «читал» людей, открывая в них порой такое, чего не видели те, кто стоял к ним ближе. Он не боялся распахнуться новому человеку, ощутив в нем родную кровь, и не боял-

ся разрыва, если обнаруживал низость.

Но куда легче ему было любить, жалеть, снисходить и прощать, нежели ненавидеть и ссориться. И все же щедрый и радостный, как праздник, Драгунский не был примиренцем. В его рассказах, собранных в этой книге, нежное и светлое чувство всегда одерживает верх над плоской и тяжеловесной житейщиной. Нереальное сияние светлячка, похожего на звездочку, которая горит где-то в непостижимой дали и вместе с тем лежит здесь, на ладони, это сияние оказывается стократ дороже такой ценной вещи, как новенький игрушечный самосвал. Почему светлячок лучше? Потому что он живой! И светится… И это не прихоть мальчишки, заждавшегося в темном дворе своей мамы. Это победа над трезвым расчетом приятеля, для которого жизнь есть свод правил арифметики, — за самосвал он дает одну марку Гватемалы, две Барбадоса и лопнувший плавательный круг в придачу.

Белые амадины — крохотные птички-снежки с клюквенными клювиками, но такая в них сила, в маленьких и слабых, что все стояли перед ними молча и недвижно, и любили их изо всех сил все единодушно, дети и взрослые. А на какую-то тетку, нарушившую благоговейное молчание

нелепыми словами о никчемности волшебных птиц, все посмотрели так сурово и презрительно, что она покраснела и ушла. «И все мы, кто стоял тут, поняли, что тетка не в счет, потому что она не из нашей компании». Так мальчик ощутил единство людей перед загадочным миром красоты.

Какая сила заставила Дениску выпустить шарик? Но он разжал пальцы, и шарик полетел вверх плавно и спокойно, как будто этого и хотел всю жизнь. Конечно, трудно отказаться от соблазна укротить заключенную в шарике силу полета, конечно, мальчику хочется ощущать себя хозяином этого упругого стремления ввысь, но все же мальчик разжимает пальцы и, запрокинув голову в небо, понимает, что иначе поступить нельзя. Потому что «как это красиво, когда весна на дворе, и все нарядные и веселые, и милиционер в белых перчатках, а в чистое синее-синее небо улетает от нас красный шарик». Потому что миг вольного полета вечен в сравнении с мимолетностью обладания.

Мальчик не хочет смириться с тем, что в мире существует обман. Когда Марья Петровна обещает принести ему в подарок настоящую буденновскую саблю, он верит ей, хотя она обманывает его не в первый раз. И он, прибежав из

школы, обшаривает всю комнату, хотя и понимает, что сабли нет, не было и быть не могло.

«Мама сказала:

- Может быть, она еще придет?

Но я сказал:

- Нет, мама, она не придет. Я так и знал.

Мама сказала:

- Зачем же ты под раскладушку-то лазил?..

Я объяснил ей:

- Я подумал: а вдруг она была? Понимаешь? Вдруг. На этот раз».

И когда великовозрастный мошенник просит велосипед на пять минут, а потом исчезает навсегда, мальчику и в голову не приходит, что его надули, разжалобив рассказом о больной бабушке, за лекарством для которой надо срочно слетать в аптеку. Надули, убедив своим благородством — «…как же это я пущу двух таких пацанят на Садовую? А? Да еще на велосипеде? Вы что? Да вы знаете, какое там движение?». Мальчик не оставляет в своей душе места для придирчивых сомнений и проверок. Ребята бредут домой по темным дворам, а Ванька (он постарше, пятиклассник, не раз, наверное, обжигался уже в жизни) хмуро бормочет, что не вернется, мол, никогда этот тип с его бабушкой, и велосипед тоже

не вернется. Тут-то Дениску пронзает ужасная мысль: «Ведь на Садовой такое движение…»

А в цирке, в скрещении прожекторов, в нежном позванивании колокольчиков, явится мальчику девочка на шаре, явится и исчезнет, уедет в дальнюю даль, в самый конец географической карты, и останется первым предупреждением о любви, разлуке и печали. И разбудит в его отце воспоминание — мальчик поймет это, вглядевшись в серьезное и грустное лицо идущего рядом с ним взрослого человека.

Не приемлющий людей, опутанных цепями расчетов и приобретательства, Драгунский и для них оставляет отдушину понимания. Быть может, повзрослевший читатель «Дениских рассказов» почувствует, какое невеселое, в сущности, житье у одинокой Марьи Петровны, направившей заложенную в ней силу любви на разжиревшего мопса. В противовес бесконечному миру Денискиных увлечений, предпочтений и привязанностей (рассказы «Что я люблю», «…И чего не люблю!») Мишка заявляет, что он любит еще больше разных разностей, и вываливает алчный перечень сочных, пухлых и вкусных съедобных вещей. Но маленький человек не может быть только обжорой, в нем, несмотря ни на что,

живет нежная человеческая суть, и поэтому в конце концов Мишка смущенно признается, что еще любит котят… и бабушку…

Однажды Виктор Драгунский попал в автомобильную катастрофу, чудом остался жив, и из этого случая родился прекрасный рассказ «Человек с голубым лицом».

Собранные в этой книге «Денискины рассказы» выросли из его безмерной любви к сыну, из жадного внимания к раскрывшемуся перед ним миру детства. Это вовсе не означает, что Драгунский цеплялся за факты и был лишен дара сочинительства. Он был превосходный выдумщик, и мне не раз приходилось быть свидетелем, как блистательно работала его фантазия. Беглый штрих человеческого поведения, шутка, смешной поворот, неловкость, что-то милое и трогательное — и вот уже заработало воображение художника. Он словно бы смакует эту малость, жонглирует ею, меняет ее форму, наращивает из воздуха, будто фокусник. Воспоминания, ассоциации, вспышки озарений — и вот из ничего возникло нечто, произошел живительный, чудодейственный акт творчества. Так сложились рассказы «Старый мореход», «Друг детства», «Белые амадины» и многие другие.

Мне думается, что писательское творчество закономерно оказалось пиком его пестрой, бурной жизни, хотя сам Виктор Драгунский отдавался до конца каждому делу, которое его захватывало, и с равным уважением относился к любой из многих своих профессий. Когда-то «Пионерская правда» обратилась к ведущим детским писателям с вопросом: кем бы вы хотели стать, если бы не были писателем. Виктор Драгунский не задумываясь ответил: бакенщиком. В ранней молодости он работал бакенщиком, и ему очень по душе пришлось это занятие— прокладывать путь пароходам по темной ночной реке. Несомненно, он был бы превосходным бакенщиком, но все же я думаю, что в применении к Драгунскому вопрос не имел смысла. Он был писателем, писателем до мозга костей. В комбинезоне бакенщика, пестром костюме клоуна, под личиной разных персонажей на подмостках сцены или на экране кино, в режиссерском кресле — он все равно был прежде всего писателем, хотя узнал об этом далеко не сразу. Только литературное творчество смогло вобрать в себя весь его громадный жизненный опыт, знание и понимание людей, суммировать все узнанное и перечувствованное, осветить нежной любовью к людям, маленьким и взрослым, и

наделить долгой жизнью.

Так оно и сталось.

Юрий Нагибин

Денискины рассказы



«Он живой и светится...»



Однажды вечером я сидел во дворе, возле песка, и ждал маму. Она, наверно, задерживалась в институте, или в магазине, или, может быть, долго стояла на автобусной остановке. Не знаю. Только все родители нашего двора уже пришли, и все ребята пошли с ними по домам и уже, наверно, пили чай с бубликами и брынзой, а моей мамы все еще не было...

И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки, и радио заиграло музыку, и в небе задвигались

темные облака — они были похожи на бородатых стариков…

И мне захотелось есть, а мамы все не было, и я подумал, что, если бы я знал, что моя мама хочет есть и ждет меня где-то на краю света, я бы моментально к ней побежал, а не опаздывал бы и не заставлял ее сидеть на песке и скучать.

И в это время во двор вышел Мишка. Он сказал:

— Здорово!

И я сказал:

— Здорово!

Мишка сел со мной и взял в руки самосвал.

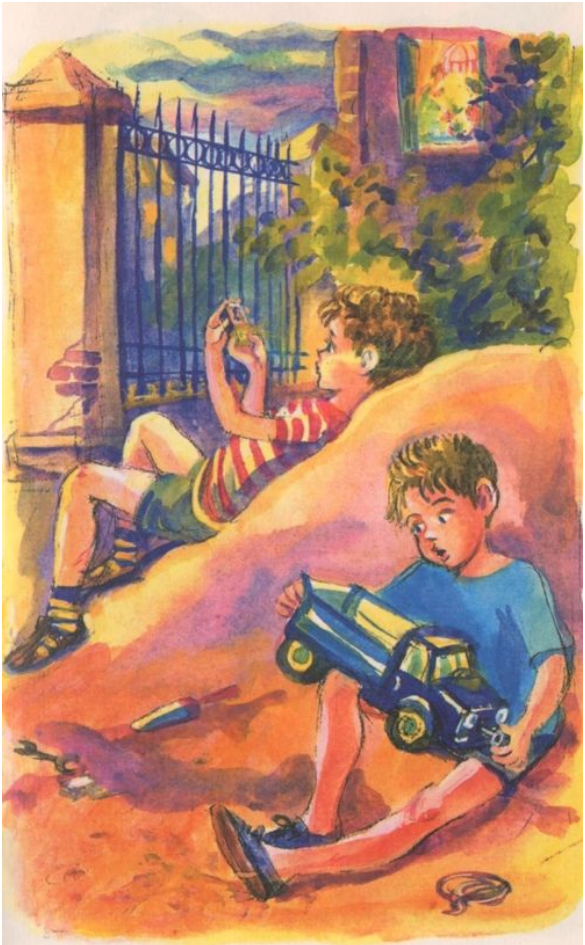
— Ого! — сказал Мишка. — Где достал? А он сам набирает песок? Не сам? А сам сваливает? Да? А ручка? Для чего она? Ее можно вертеть? Да? А? Ого! Дашь мне его домой?

Я сказал:

— Нет, не дам. Подарок. Папа подарил перед отъездом.

Мишка надулся и отодвинулся от меня. На дворе стало еще темнее.

Я смотрел на ворота, чтоб не пропустить, когда придет мама. Но она все не шла. Видно, встретила тетю Розу, и они стоят и разговаривают и даже не думают про меня. Я лег на песок.



Тут Мишка говорит:

— Не дашь самосвал?

— Отвяжись, Мишка.

Тогда Мишка говорит:

— Я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса!

Я говорю:

— Сравнил Барбадос с самосвалом…

А Мишка:

— Ну, хочешь, я дам тебе плавательный круг?

Я говорю:

— Он у тебя лопнутый.

А Мишка:

— Ты его заклеишь!

Я даже рассердился:

— А плавать где? В ванной? По вторникам?

И Мишка опять надулся. А потом говорит:

— Ну, была не была! Знай мою доброту! На!

И он протянул мне коробочку от спичек. Я взял ее в руки.

— Ты открой ее, — сказал Мишка, — тогда увидишь!

Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел, а потом увидел маленький светло-зеленый огонек, как будто где-то далеко-далеко от меня горела крошечная звездочка, и в то же время я

сам держал ее сейчас в руках.

— Что это, Мишка, — сказал я шепотом, — что это такое?

— Это светлячок, — сказал Мишка. — Что, хорош? Он живой, не думай.

— Мишка, — сказал я, — бери мой самосвал, хочешь? Навсегда бери, насовсем! А мне отдай эту звездочку, я ее домой возьму…

И Мишка схватил мой самосвал и побежал домой. А я остался со своим светлячком, глядел на него, глядел и никак не мог наглядеться: какой он зеленый, словно в сказке, и как он хоть и близко, на ладони, а светит, словно издалека… И я не мог ровно дышать, и я слышал, как стучит мое сердце, и чуть-чуть кололо в носу, как будто хотелось плакать.

И я долго так сидел, очень долго. И никого не было вокруг. И я забыл про всех на белом свете.

Но тут пришла мама, и я очень обрадовался, и мы пошли домой. А когда стали пить чай с бубликами и брынзой, мама спросила:

— Ну, как твой самосвал?

А я сказал:

— Я, мама, променял его.

Мама сказала:

— Интересно! А на что?

Я ответил:

— На светлячка! Вот он, в коробочке живет. Погаси-ка свет!

И мама погасила свет, и в комнате стало темно, и мы стали вдвоем смотреть на бледно-зеленую звездочку.

Потом мама зажгла свет.

— Да, — сказала она, — это волшебство! Но все-таки как ты решился отдать такую ценную вещь, как самосвал, за этого червячка?

— Я так долго ждал тебя, — сказал я, — и мне было так скучно, а этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете.

Мама пристально посмотрела на меня и спросила:

— А чем же, чем же именно он лучше?

Я сказал:

— Да как же ты не понимаешь?! Ведь он живой! И светится!..



Надо иметь чувство юмора



Один раз мы с Мишкой делали уроки. Мы положили перед собой тетрадки и списывали. И в это время я рассказывал Мишке про лемуров, что у них большие глаза, как стеклянные блюдечки, и что я видел фотографию лемура, как он держится за авторучку, сам маленький-маленький и ужасно симпатичный.

Потом Мишка говорит:

— Написал?

Я говорю:

— Уже.

— Ты мою тетрадку проверь, — говорит Мишка, — а я — твою.

И мы поменялись тетрадками.

И я как увидел, что Мишка написал, так сразу стал хохотать.

Гляжу, а Мишка тоже покатывается, прямо синий стал.

Я говорю:

— Ты чего, Мишка, покатываешься?

А он:

— Я покатываюсь, что ты неправильно списал! А ты чего?

Я говорю:

— А я то же самое, только про тебя. Гляди, ты написал: «Наступили мозы». Это кто такие — «мозы»?

Мишка покраснел:

— Мозы — это, наверно, морозы. А ты вот написал: «Натала зима». Это что такое?

— Да, — сказал я, — не «натала», а «настала». Ничего не попишешь, надо переписывать. Это все лемуры виноваты.

И мы стали переписывать. А когда переписали, я сказал:

— Давай задачи задавать!

— Давай, — сказал Мишка.

В это время пришел папа. Он сказал:

— Здравствуйте, товарищи студенты…

И сел к столу.

Я сказал:

— Вот, папа, послушай, какую я Мишке задам задачу: вот у меня есть два яблока, а нас трое, как разделить их среди нас поровну?

Мишка сейчас же надулся и стал думать. Папа не надулся, но тоже задумался. Они думали долго.

Я тогда сказал:

— Сдаешься, Мишка?

Мишка сказал:

— Сдаюсь!

Я сказал:

— Чтобы мы все получили поровну, надо из этих яблок сварить компот. — И стал хохотать: — Это меня тетя Мила научила!..

Мишка надулся еще больше. Тогда папа сощурил глаза и сказал:

— А раз ты такой хитрый, Денис, дай-ка я задам тебе задачу.

— Давай задавай, — сказал я.

Папа походил по комнате.

— Ну слушай, — сказал папа. — Один мальчишка учится в первом классе «В». Его семья состоит

из пяти человек. Мама встает в семь часов и тратит на одевание десять минут. Зато папа чистит зубы пять минут. Бабушка ходит в магазин столько, сколько мама одевается плюс папа чистит зубы. А дедушка читает газеты, сколько бабушка ходит в магазин минус во сколько встает мама.

Когда они все вместе, они начинают будить этого мальчишку из первого класса «В». На это уходит время чтения дедушкиных газет плюс бабушкино хождение в магазин.

Когда мальчишка из первого класса «В» просыпается, он потягивается столько времени, сколько одевается мама плюс папина чистка зубов. А умывается он, сколько дедушкины газеты, деленные на бабушку. На уроки он опаздывает на столько минут, сколько потягивается плюс умывается минус мамино вставание, умноженное на папины зубы.

Спрашивается: кто же этот мальчишка из первого «В» и что ему грозит, если это будет продолжаться? Все!

Тут папа остановился посреди комнаты и стал смотреть на меня. А Мишка захохотал во все горло и стал тоже смотреть на меня. Они оба на меня смотрели и хохотали.

Я сказал:

— Я не могу сразу решить эту задачу, потому что мы еще этого не проходили.

И больше я не сказал ни слова, а вышел из комнаты, потому что я сразу догадался, что в ответе этой задачи получится лентяй и что такого скоро выгонят из школы. Я вышел из комнаты в коридор и залез за вешалку и стал думать, что если это задача про меня, то это неправда, потому что я всегда встаю довольно быстро и потягиваюсь совсем недолго, ровно столько, сколько нужно. И еще я подумал, что если папе так хочется на меня выдумывать, то, пожалуйста, я могу уйти из дома прямо на целину. Там работа всегда найдется, там люди нужны, особенно молодежь. Я там буду покорять природу, и папа приедет с делегацией на Алтай, увидит меня, и я остановлюсь на минутку, скажу:

«Здравствуй, папа», — и пойду дальше покорять.

А он скажет:

«Тебе привет от мамы...»

А я скажу:

«Спасибо... Как она поживает?»

А он скажет:

«Ничего».

А я скажу:

«Наверно, она забыла своего единственного сына?»

А он скажет:

«Что ты, она похудела на тридцать семь кило! Вот как скучает!»

А что я ему скажу дальше, я не успел придумать, потому что на меня упало пальто и папа вдруг прилез за вешалку. Он меня увидел и сказал:

— Ах ты, вот он где! Что у тебя за такие глаза? Неужели ты принял эту задачу на свой счет?

Он поднял пальто и повесил на место и сказал дальше:

— Я это все выдумал. Такого мальчишки и на свете-то нет, не то что в вашем классе!

И папа взял меня за руки и вытащил из-за вешалки.

Потом еще раз поглядел на меня пристально и улыбнулся:

— Надо иметь чувство юмора, — сказал он мне, и глаза у него стали веселые-веселые. — А ведь это смешная задача, правда? Ну! Засмейся!

И я засмеялся.

И он тоже.

И мы пошли в комнату.



Слава Ивана Козловского



У меня в табеле одни пятерки. Только по чистописанию четверка. Из-за клякс. Я прямо не знаю, что делать! У меня всегда с пера соскакивают кляксы. Я уж макаю в чернила только самый кончик пера, а кляксы все равно соскакивают. Просто чудеса какие-то! Один раз я целую страницу написал чисто-чисто, любо-дорого смотреть — настоящая пятерочная страница. Утром показал ее Раисе Ивановне, а там на самой середине клякса! Откуда она взялась? Вчера ее не было! Может быть, она с какой-нибудь другой страни-

цы просочилась? Не знаю…

А так у меня одни пятерки. Только по пению тройка. Это вот как получилось. Был у нас урок пения. Сначала мы пели все хором «Во поле березонька стояла». Выходило очень красиво, но Борис Сергеевич все время морщился и кричал:

— Тяните гласные, друзья, тяните гласные!..

Тогда мы стали тянуть гласные, но Борис Сергеевич хлопнул в ладоши и сказал:

— Настоящий кошачий концерт! Давайте-ка займемся с каждым инди-виду-ально.

Это значит с каждым отдельно.

И Борис Сергеевич вызвал Мишку.

Мишка подошел к роялю и что-то такое прошептал Борису Сергеевичу.

Тогда Борис Сергеевич начал играть, а Мишка тихонечко запел:

Как на тоненький ледок

Выпал беленький снежок…

Ну и смешно же пищал Мишка! Так пищит наш котенок Мурзик. Разве ж так поют! Почти ничего не слышно. Я просто не мог выдержать и рассмеялся.

Тогда Борис Сергеевич поставил Мишке пятерку и поглядел на меня.

Он сказал:

— Ну-ка, хохотун, выходи!

Я быстро подбежал к роялю.

— Ну-с, что вы будете исполнять? — вежливо спросил Борис Сергеевич.

Я сказал:

— Песня гражданской войны «Веди ж, Буденный, нас смелее в бой».

Борис Сергеевич тряхнул головой и заиграл, но я его сразу остановил:

— Играйте, пожалуйста, погромче! — сказал я.

Борис Сергеевич сказал:

— Тебя не будет слышно.

Но я сказал:

— Будет. Еще как!

Борис Сергеевич заиграл, а я набрал побольше воздуха да как запою:

Высоко в небе ясном

Вьется алый стяг...

Мне очень нравится эта песня.

Так и вижу синее-синее небо, жарко, кони стучат копытами, у них красивые лиловые глаза, а в небе вьется алый стяг.

Тут я даже зажмурился от восторга и закричал что было сил:

Мы мчимся на конях туда,
Где виден враг!
И в битве упоительной…

Я хорошо пел, наверное, даже было слышно на другой улице:

Лавиною стремительной! Мы мчимся вперед!.. Ура!..

Красные всегда побеждают! Отступайте, враги! Даешь!!!

Я нажал себе кулаками на живот, вышло еще громче, и я чуть не лопнул:

Мы врезалися в Крым!

Тут я остановился, потому что я был весь потный и у меня дрожали колени.

А Борис Сергеевич хоть и играл, но весь как-то склонился к роялю, и у него тоже тряслись плечи…

Я сказал:

— Ну как?

— Чудовищно! — похвалил Борис Сергеевич.

— Хорошая песня, правда? — спросил я.

— Хорошая, — сказал Борис Сергеевич и закрыл платком глаза.

— Только жаль, что вы очень тихо играли, Борис Сергеевич, — сказал я, — можно бы еще

погромче.

— Ладно, я учту, — сказал Борис Сергеевич. — А ты не заметил, что я играл одно, а ты пел немножко по-другому!

— Нет, — сказал я, — я этого не заметил! Да это и не важно. Просто надо было погромче играть.

— Ну что ж, — сказал Борис Сергеевич, — раз ты ничего не заметил, поставим тебе пока тройку. За прилежание.

Как — тройку? Я даже опешил. Как же это может быть? Тройку — это очень мало! Мишка тихо пел и то получил пятерку… Я сказал:

— Борис Сергеевич, когда я немножко отдохну, я еще громче смогу, вы не думайте. Это я сегодня плохо завтракал. А то я так могу спеть, что тут у всех уши позаложит. Я знаю еще одну песню. Когда я ее дома пою, все соседи прибегают, спрашивают, что случилось.

— Это какая же? — спросил Борис Сергеевич.

— Жалостливая, — сказал я и завел:

Я вас любил…

Любовь еще, быть может…

Но Борис Сергеевич поспешно сказал:

— Ну хорошо, хорошо, все это мы обсудим в следующий раз.

И тут раздался звонок.

Мама встретила меня в раздевалке. Когда мы собирались уходить, к нам подошел Борис Сергеевич.

— Ну, — сказал он, улыбаясь, — возможно, ваш мальчик будет Лобачевским, может быть, Менделеевым. Он может стать Суриковым или Кольцовым, я не удивлюсь, если он станет известен стране, как известен товарищ Николай Мамай или какой-нибудь боксер, но в одном могу заверить вас абсолютно твердо: славы Ивана Козловского он не добьется. Никогда!

Мама ужасно покраснела и сказала:

— Ну, это мы еще увидим!

А когда мы шли домой, я все думал:

«Неужели Козловский поет громче меня?»



Одна капля убивает лошадь



Когда папа заболел, пришел доктор и сказал:

— Ничего особенного, маленькая простуда. Но я вам советую бросить курить, у вас в сердце легкий шумок.

И когда он ушел, мама сказала:

— Как это все-таки глупо — доводить себя до болезней этими проклятыми папиросами. Ты еще такой молодой, а вот уже в сердце у тебя шумы и хрипы.

— Ну, — сказал папа, — ты преувеличиваешь! У меня нет никаких особенных шумов, а тем более

хрипов. Есть всего-навсего один маленький шумишко. Это не в счет.

— Нет — в счет! — воскликнула мама. — Тебе, конечно, нужен не шумишко, тебя бы больше устроили скрип, лязг и скрежет, я тебя знаю…

— Во всяком случае, мне не нужен звук пилы, — перебил ее папа.

— Я тебя не пилю, — мама даже покраснела, — но пойми ты, это действительно вредно. Ведь ты же знаешь, что одна капля папиросного яда убивает здоровую лошадь!

Вот так раз! Я посмотрел на папу. Он был большой, спору нет, но все-таки поменьше лошади. Он был побольше меня или мамы, но, как ни верти, он был поменьше лошади и даже самой захудалой коровы. Корова бы никогда не поместилась на нашем диване, а папа помещался свободно. Я очень испугался. Я никак не хотел, чтобы его убивала такая капля яда. Не хотел я этого никак и ни за что. От этих мыслей я долго не мог заснуть, так долго, что не заметил, как все-таки заснул.

А в субботу папа выздоровел, и к нам пришли гости. Пришел дядя Юра с тетей Катей, Борис Михайлович и тетя Тамара. Все пришли и стали вести себя очень прилично, а тетя Тамара как только вошла, так вся завертелась, и затрещала,

и уселась пить чай рядом с папой. За столом она стала окружать папу заботой и вниманием, спрашивала, удобно ли ему сидеть, не дует ли из окна, и в конце концов до того наокружалась и назаботилась, что всыпала ему в чай три ложки сахару. Папа размешал сахар, хлебнул и сморщился.

— Я уже один раз положила сахар в этот стакан, — сказала мама, и глаза у нее стали зеленые, как крыжовник.

А тетя Тамара расхохоталась во все горло. Она хохотала, как будто кто-то под столом кусал ее за пятки. А папа отодвинул переслащенный чай в сторону. Тогда тетя Тамара вынула из сумочки тоненький портсигарчик и подарила его папе.

— Это вам в утешение за испорченный чай, — сказала она. — Каждый раз, закуривая папироску, вы будете вспоминать эту смешную историю и ее виновницу.

Я ужасно разозлился на нее за это. Зачем она напоминает папе про курение, раз он за время болезни уже почти совсем отвык? Ведь одна капля курильного яда убивает лошадь, а она напоминает. Я сказал:

«Вы дура, тетя Тамара! Чтоб вы лопнули! И вообще вон из моего дома. Чтобы ноги вашей толстой больше здесь не было».

Я сказал это про себя, в мыслях, так, что никто ничего не понял.

А папа взял портсигарчик и повертел его в руках.

— Спасибо, Тамара Сергеевна, — сказал папа, — я очень тронут. Но сюда не войдет ни одна моя папироска, портсигар такой маленький, а я курю «Казбек». Впрочем…

Тут папа взглянул на меня.

— Ну-ка, Денис, — сказал он, — вместо того чтобы выдувать третий стакан чаю на ночь, пойди-ка к письменному столу, возьми там коробку «Казбека» и укороти папироски, обрежь так, чтобы они влезли в портсигар. Ножницы в среднем ящике!

Я пошел к столу, нашел папиросы и ножницы, примерил портсигар и сделал все, как он велел. А потом отнес полный портсигарчик папе. Папа открыл портсигарчик, посмотрел на мою работу, потом на меня и весело рассмеялся:

— Полюбуйтесь-ка, что сделал мой сообразительный сын!

Тут все гости стали наперебой выхватывать друг у друга портсигарчик и оглушительно хохотать. Особенно старалась, конечно, тетя Тамара. Когда она перестала смеяться, она согнула руку и

костяшками пальцев постучала по моей голове.

— Как же это ты догадался оставить целыми картонные мундштуки, а почти весь табак отрезать? Ведь курят-то именно табак, а ты его отрезал! Да что у тебя в голове — песок или опилки?

Я сказал:

«Это у тебя в голове опилки, Тамарище Семипудовое».

Сказал, конечно, в мыслях, про себя. А то бы меня мама заругала. Она и так смотрела на меня что-то уж чересчур пристально.

— Ну-ка, иди сюда, — мама взяла меня за подбородок, — посмотри-ка мне в глаза!

Я стал смотреть в мамины глаза и почувствовал, что у меня щеки стали красные, как флаги.

— Ты это сделал нарочно? — спросила мама.

Я не мог ее обмануть.

— Да, — сказал я, — я это сделал нарочно.

— Тогда выйди из комнаты, — сказал папа, — а то у меня руки чешутся.

Видно, папа ничего не понял. Но я не стал ему объяснять и вышел из комнаты.

Шутка ли — одна капля убивает лошадь!

Красный шарик в синем небе



Вдруг наша дверь распахнулась, и Аленка закричала из коридора:

— В большом магазине весенний базар!

Она ужасно громко кричала, и глаза у нее были круглые, как кнопки, и отчаянные. Я сначала подумал, что кого-нибудь зарезали. А она снова набрала воздух и давай:

— Бежим, Дениска! Скорее! Там квас шипучий! Музыка играет, и разные куклы! Бежим!

Кричит, как будто случился пожар. И я от этого тоже как-то заволновался, и у меня стало щекот-

но под ложечкой, и я заторопился и выскочил из комнаты.

Мы взялись с Аленкой за руки и побежали как сумасшедшие в большой магазин. Там была целая толпа народу и в самой середине стояли сделанные из чего-то блестящего мужчина и женщина, огромные, под потолок, и, хотя они были ненастоящие, они хлопали глазами и шевелили нижними губами, как будто говорят. Мужчина кричал:

— Весенний базаррр! Весенний базаррр!

А женщина:

— Добро пожаловать! Добро пожаловать!

Мы долго на них смотрели, а потом Аленка говорит:

— Как же они кричат? Ведь они ненастоящие!

— Просто непонятно, — сказал я.

Тогда Аленка сказала:

— А я знаю. Это не они кричат! Это у них в середине живые артисты сидят и кричат себе целый день. А сами за веревочку дергают, и у кукол от этого шевелятся губы.

Я прямо расхохотался:

— Вот и видно, что ты еще маленькая. Станут тебе артисты в животе у кукол сидеть целый день. Представляешь? Целый день скрючившись

— устанешь небось! А есть, пить надо? И еще разное, мало ли что... Эх ты, темнота! Это радио в них кричит.

Аленка сказала:

— Ну и не задавайся!

И мы пошли дальше. Всюду было очень много народу, все разодетые и веселые, и музыка играла, и один дядька крутил лотерею и кричал:

Подходите сюда поскорее,
Здесь билеты вещевой лотереи!
Каждому выиграть недолго
Легковую автомашину «Волга»!
А некоторые сгоряча
Выигрывают «Москвича»!

И мы возле него тоже посмеялись, как он бойко выкрикивает, и Аленка сказала:

— Все-таки когда живое кричит, то интересней, чем радио.

И мы долго бегали в толпе между взрослых и очень веселились, и какой-то военный дядька подхватил Аленку под мышки, а его товарищ нажал кнопочку в стене, и оттуда вдруг забрызгал одеколон, и когда Аленку поставили на пол, она вся пахла леденцами, а дядька сказал:

— Ну что за красотулечка, сил моих нет!

Но Аленка от них убежала, а я — за ней, и мы наконец очутились возле кваса. У меня были деньги на завтрак, и мы поэтому с Аленкой выпили по две большие кружки, и у Аленки живот сразу стал как футбольный мяч, а у меня все время шибало в нос и кололо в носу иголочками. Здорово, прямо первый сорт, и когда мы снова побежали, то я услышал, как квас во мне булькает. И мы захотели домой и выбежали на улицу. Там было еще веселей, и у самого входа стояла женщина и продавала воздушные шарики.

Аленка, как только увидела эту женщину, остановилась как вкопанная. Она сказала:

— Ой! Я хочу шарик!

А я сказал:

— Хорошо бы, да денег нету.

А Аленка:

— У меня есть одна денежка.

— Покажи.

Она достала из кармана.

Я сказал:

— Ого! Десять копеек. Тетенька, дайте ей шарик!

Продавщица улыбнулась:

— Вам какой? Красный, синий, голубой?

Аленка взяла красный. И мы пошли. И вдруг Аленка говорит:

— Хочешь поносить?

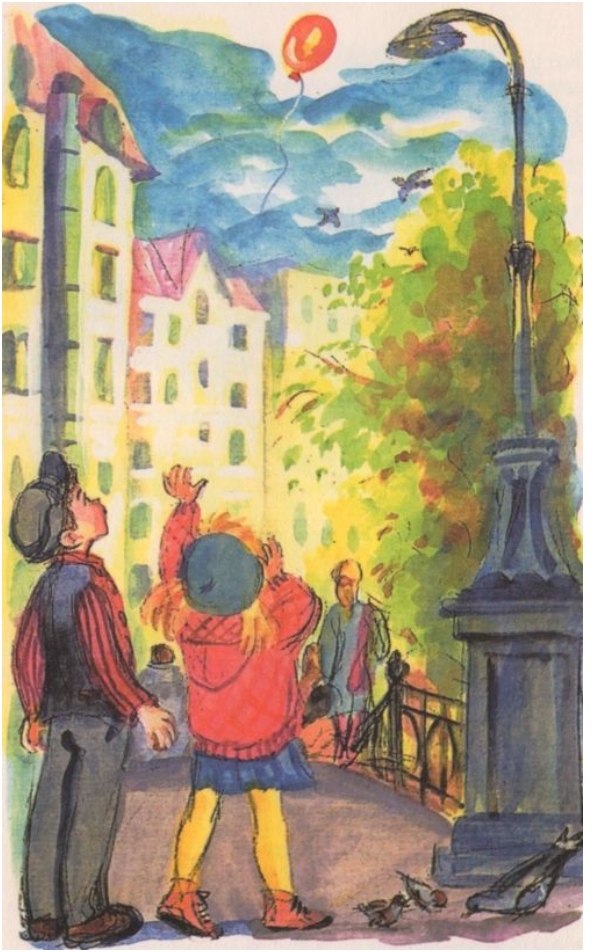
И протянула мне ниточку. Я взял. И сразу как взял, так услышал, что шарик тоненько-тоненько потянул за ниточку! Ему, наверно, хотелось улететь. Тогда я немножко отпустил ниточку и опять услышал, как он настойчиво так потягивается из рук, как будто очень просится улететь. И мне вдруг стало его как-то жалко, что вот он может летать, а я его держу на привязи, и я взял и выпустил его. И шарик сначала даже не отлетел от меня, как будто не поверил, а потом почувствовал, что это вправду, и сразу рванулся и взлетел выше фонаря.

Аленка за голову схватилась:

— Ой, зачем, держи!..

И стала подпрыгивать, как будто могла допрыгнуть до шарика, но увидела, что не может, и заплакала:

— Зачем ты его упустил?..



Но я ей ничего не ответил. Я смотрел вверх на шарик. Он летел кверху плавно и спокойно, как будто этого и хотел всю жизнь.

И я стоял, задрав голову, и смотрел, и Аленка тоже, и многие взрослые остановились и тоже позадирали головы — посмотреть, как летит шарик, а он все летел и уменьшался.

Вот он пролетел последний этаж большущего дома, и кто-то высунулся из окна и махал ему вслед, а он еще выше и немножко вбок, выше антенн и голубей, и стал совсем маленький… У меня что-то в ушах звенело, когда он летел, а он уже почти исчез. Он залетел за облачко, оно было пушистое и маленькое, как крольчонок, потом снова вынырнул, пропал и совсем скрылся из виду и теперь уже, наверно, был около Луны, а мы все смотрели вверх, и в глазах у меня: замелькали какие-то хвостатые точки и узоры. И шарика уже не было нигде. И тут Аленка вздохнула еле слышно, и все пошли по своим делам.

И мы тоже пошли, и молчали, и всю дорогу я думал, как это красиво, когда весна на дворе, и все нарядные и веселые, и машины туда-сюда, и милиционер в белых перчатках, а в чистое, синее-синее небо улетает от нас красный шарик. И еще я думал, как жалко, что я не могу это все

рассказать Аленке. Я не сумею словами, и если бы сумел, все равно Аленке бы это было непонятно, она ведь маленькая. Вот она идет рядом со мной, и вся такая притихшая, и слезы еще не совсем просохли у нее на щеках. Ей небось жаль свой шарик.

И мы шли так с Аленкой до самого дома и молчали, а возле наших ворот, когда стали прощаться, Аленка сказала:

— Если бы у меня были деньги, я бы купила еще один шарик… чтобы ты его выпустил.



Кот в сапогах



— Мальчики и девочки! — сказала Раиса Ивановна. — Вы хорошо закончили эту четверть. Поздравляю вас. Теперь можно и отдохнуть. На каникулах мы устроим утренник и карнавал. Каждый из вас может нарядиться в кого угодно, а за лучший костюм будет выдана премия, так что готовьтесь. — И Раиса Ивановна собрала тетрадки, попрощалась с нами и ушла.

И когда мы шли домой, Мишка сказал:

— Я на карнавале буду гномом. Мне вчера купили накидку от дождя и капюшон. Я только

лицо чем-нибудь занавешу, и гном готов. А ты кем нарядишься?

— Там видно будет.

И я забыл про это дело. Потому что дома мама мне сказала, что она уезжает в санаторий на десять дней и чтоб я тут вел себя хорошо и следил за папой. И она на другой день уехала, а я с папой совсем замучился. То одно, то другое, и на улице шел снег, и все время я думал, когда же мама вернется. Я зачеркивал клеточки на своем календаре.

И вдруг неожиданно прибегает Мишка и прямо с порога кричит:

— Идешь ты или нет?

Я спрашиваю:

— Куда?

Мишка кричит:

— Как — куда? В школу! Сегодня же утренник, и все будут в костюмах! Ты что, не видишь, что я уже гномик?

И правда, он был в накидке с капюшончиком.

Я сказал:

— У меня нет костюма! У нас мама уехала.

А Мишка говорит:

— Давай сами чего-нибудь придумаем! Ну-ка, что у вас дома есть почудней? Ты надень на себя,

вот и будет костюм для карнавала.

Я говорю:

— Ничего у нас нет. Вот только папины бахилы для рыбалки.

Бахилы — это такие высокие резиновые сапоги. Если дождик или грязь — первое дело бахилы. Нипочем ноги не промочишь.

Мишка говорит:

— А ну надевай, посмотрим, что получится!

Я прямо с ботинками влез в папины сапоги. Оказалось, что бахилы доходят мне чуть не до подмышек. Я попробовал в них походить. Ничего, довольно неудобно. Зато здорово блестят. Мишке очень понравилось. Он говорит:

— А шапку какую?

Я говорю:

— Может быть, мамину соломенную, что от солнца?

— Давай ее скорей!

Достал я шляпу, надел. Оказалось, немножко великовата, съезжает до носа, но все-таки на ней цветы.

Мишка посмотрел и говорит:

— Хороший костюм. Только я не понимаю, что он значит?

Я говорю:

— Может быть, он значит «мухомор»?

Мишка засмеялся:

— Что ты, у мухомора шляпка вся красная! Скорей всего, твой костюм обозначает «старый рыбак»!

Я замахал на Мишку: — Сказал тоже! «Старый рыбак»!.. А борода где?

Тут Мишка задумался, а я вышел в коридор, а там стояла наша соседка Вера Сергеевна. Она, когда меня увидела, всплеснула руками и говорит:

— Ох! Настоящий кот в сапогах!

Я сразу догадался, что значит мой костюм! Я — «Кот в сапогах»! Только жалко, хвоста нет! Я спрашиваю:

— Вера Сергеевна, у вас есть хвост?

А Вера Сергеевна говорит:

— Разве я очень похожа на черта?

— Нет, не очень, — говорю я. — Но не в этом дело. Вот вы сказали, что этот костюм значит «Кот в сапогах», а какой же кот может быть без хвоста? Нужен какой-нибудь хвост! Вера Сергеевна, помогите, а?

Тогда Вера Сергеевна сказала:

— Одну минуточку…

И вынесла мне довольно драненький рыжий хвостик с черными пятнами.

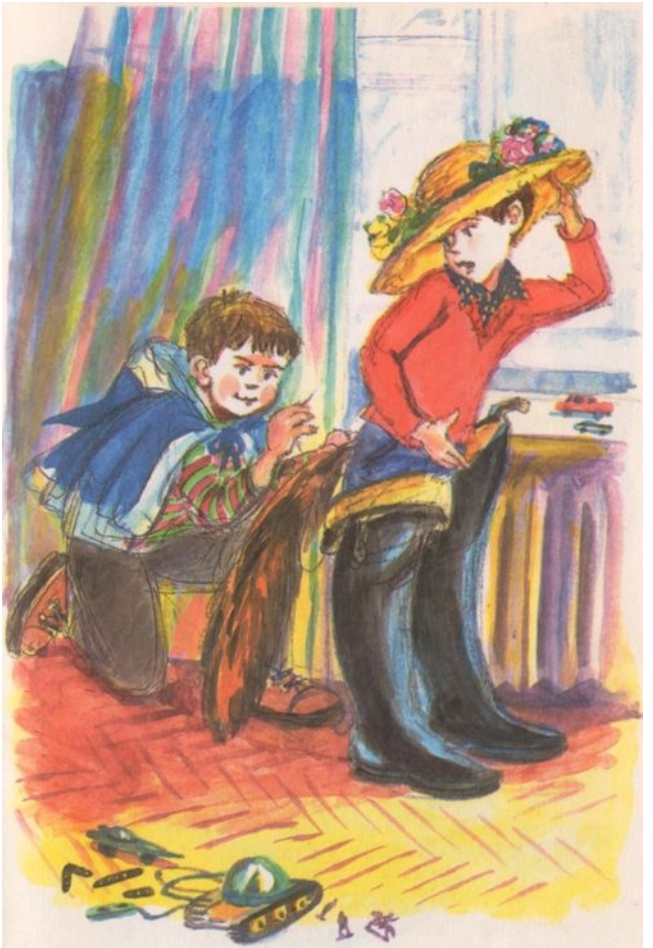
— Вот, — говорит, — это хвост от старой горжетки. Я в последнее время прочищаю им керогаз, но, думаю, тебе он вполне подойдет.

Я сказал «большое спасибо» и понес хвост Мишке.

Мишка, как увидел его, говорит:

— Давай быстренько иголку с ниткой, я тебе пришью. Это чудный хвостик.

И Мишка стал пришивать мне сзади хвост. Он шил довольно ловко, но потом вдруг ка-ак уколет меня!



Я закричал:

— Потише ты, храбрый портняжка! Ты что, не чувствуешь, что шьешь прямо по живому? Ведь колешь же!

— Это я немножко не рассчитал! — И опять как кольнет!

— Мишка, рассчитывай получше, а то я тебя тресну!

А он:

— Я в первый раз в жизни шью!

И опять — коль!..

Я прямо заорал:

— Ты что, не понимаешь, что я после тебя буду полный инвалид и не смогу сидеть?

Но тут Мишка сказал:

— Ура! Готово! Ну и хвостик! Не у каждой кошки есть такой!

Тогда я взял тушь и кисточкой нарисовал себе усы, по три уса с каждой стороны — длинные-длинные, до ушей!

И мы пошли в школу.

Там народу было видимо-невидимо, и все в костюмах. Одних гномов было человек пятьдесят. И еще было очень много белых «снежинок». Это такой костюм, когда вокруг много белой марли, а в середине торчит какая-нибудь девочка.

И мы все очень веселились и танцевали.

И я тоже танцевал, но все время спотыкался и чуть не падал из-за больших сапог, и шляпа тоже, как назло, постоянно съезжала почти до подбородка.

А потом наша вожатая Люся вышла на сцену и сказала звонким голосом:

— Просим «Кота в сапогах» выйти сюда для получения первой премии за лучший костюм!

И я пошел на сцену, и когда входил на последнюю ступеньку, то споткнулся и чуть не упал. Все громко засмеялись, а Люся пожала мне руку и дала две книжки: «Дядю Степу» и «Сказки-загадки». Тут Борис Сергеевич заиграл туш, а я пошел со сцены. И когда сходил, то опять споткнулся и чуть не упал, и опять все засмеялись.

А когда мы шли домой, Мишка сказал:

— Конечно, гномов много, а ты один!

— Да, — сказал я, — но все гномы были так себе, а ты был очень смешной, и тебе тоже надо книжку. Возьми у меня одну.

Мишка сказал:

— Не надо, что ты!

Я спросил:

— Ты какую хочешь?

— «Дядю Степу».

И я дал ему «Дядю Степу».

А дома я скинул свои огромные бахилы, и побежал к календарю, и зачеркнул сегодняшнюю клеточку. А потом зачеркнул уж и завтрашнюю.

Посмотрел — а до маминого приезда осталось три дня!



Сражение у чистой речки



У всех мальчишек 1-го класса «В» были пистолеты.

Мы так сговорились, чтобы всегда ходить с оружием. И у каждого из нас в кармане всегда лежал хорошенький пистолетик и к нему запас пистонных лент. И нам это очень нравилось, но так было недолго. А все из-за кино...

Однажды Раиса Ивановна сказала:

— Завтра, ребята, воскресенье. И у нас с вами будет праздник. Завтра наш класс, и первый «А»,

и первый «Б», все три класса вместе, пойдут в кино «Художественный» смотреть кинокартину «Алые звезды». Это очень интересная картина о борьбе за наше правое дело… Приносите завтра с собой по десять копеек. Сбор возле школы в десять часов!

Я вечером все это рассказал маме, и мама положила мне в левый карман десять копеек на билет и в правый несколько монеток на воду с сиропом. И она отгладила мне чистый воротничок. Я рано лег спать, чтобы поскорее наступило завтра, а когда проснулся, мама еще спала. Тогда я стал одеваться. Мама открыла глаза и сказала:

— Спи, еще ночь!

А какая ночь — светло как днем!

Я сказал:

— Как бы не опоздать!

Но мама прошептала:

— Шесть часов. Не буди ты отца, спи, пожалуйста!

Я снова лег и лежал долго-долго, уже птички запели, и дворники стали подметать, и за окном загудела машина. Уж теперь-то наверняка нужно было вставать. И я снова стал одеваться. Мама зашевелилась и подняла голову:

— Ну чего ты, беспокойная душа?

Я сказал:

— Опоздаем ведь! Который час?

— Пять минут седьмого, — сказала мама, — ты спи, не беспокойся, я тебя разбужу, когда надо.

И верно, она потом меня разбудила, и я оделся, умылся, поел и пошел к школе. Мы с Мишей стали в пару, и скоро все с Раисой Ивановной впереди и с Еленой Степановной позади пошли в кино.

Там наш класс занял лучшие места в первом ряду, потом в зале стало темнеть и началась картина. И мы увидели, как в широкой степи, недалеко от леса, сидели красные солдаты, как они пели песни и танцевали под гармонь. Один солдат спал на солнышке, и недалеко от него паслись красивые кони, они щипали своими мягкими губами траву, ромашки и колокольчики. И веял легкий ветерок, и бежала чистая речка, а бородатый солдат у маленького костерка рассказывал сказку про Жар-птицу.

И в это время, откуда ни возьмись, появились белые офицеры, их было очень много, и они начали стрелять, и красные стали падать и защищаться, но тех было гораздо больше…

И красный пулеметчик стал отстреливаться, но он увидел, что у него очень мало патронов, и заскрипел зубами, и заплакал.

Тут все наши ребята страшно зашумели, затопали и засвистели, кто в два пальца, а кто просто так. А у меня прямо защемило сердце, я не выдержал, выхватил свой пистолет и закричал что было сил:

— Первый класс «В»! Огонь!!!

И мы стали палить изо всех пистолетов сразу. Мы хотели во что бы то ни стало помочь красным. Я все время палил в одного толстого фашиста, он все бежал впереди, весь в черных крестах и разных эполетах; я истратил на него, наверно, сто патронов, но он даже не посмотрел в мою сторону.

А пальба кругом стояла невыносимая. Валька бил с локтя, Андрюшка короткими очередями, а Мишка, наверное, был снайпером, потому что после каждого выстрела он кричал:

— Готов!

Но белые все-таки не обращали на нас внимания, а все лезли вперед. Тогда я оглянулся и крикнул:

— На помощь! Выручайте же своих!

И все ребята из «А» и «Б» достали пугачи с пробками и давай бахать так, что потолки затряслись и запахло дымом, порохом и серой.

А в зале творилась страшная суета. Раиса Ива-

новна и Елена Степановна бегали по рядам, кричали:

— Перестаньте безобразничать! Прекратите!

А за ними бежали седенькие контролерши и все время спотыкались… И тут Елена Степановна случайно взмахнула рукой и задела за локоть гражданку, которая сидела на приставном стуле. А у гражданки в руке было эскимо. Оно взлетело, как пропеллер, и шлепнулось на лысину одного дяденьки. Тот вскочил и закричал тонким голосом:

— Успокойте ваш сумасшедший дом!!!

Но мы продолжали палить вовсю, потому что красный пулеметчик уже почти замолчал, он был ранен, и красная кровь текла по его бледному лицу… И у нас тоже почти кончились пистоны, и неизвестно, что было бы дальше, но в это время из-за леса выскочили красные кавалеристы, и у них в руках сверкали шашки, и они врезались в самую гущу врагов!

И те побежали куда глаза глядят, за тридевять земель, а красные кричали «Ура!». И мы тоже все, как один, кричали «Ура!».

И когда белых не стало видно, я крикнул:

— Прекратить огонь!

И все перестали стрелять, и на экране заиграла

музыка, и один парень уселся за стол и стал есть гречневую кашу.

И тут я понял, что очень устал и тоже хочу есть.

Потом картина кончилась очень хорошо, и мы разошлись по домам.

А в понедельник, когда мы пришли в школу, нас, всех мальчишек, кто был в кино, собрали в большом зале.

Там стоял стол. За столом сидел Федор Николаевич, наш директор. Он встал и сказал:

— Сдавай оружие!

И мы все по очереди подходили к столу и сдавали оружие. На столе, кроме пистолетов, оказались две рогатки и трубка для стрельбы горохом.

Федор Николаевич сказал:

— Мы сегодня утром советовались, что с вами делать. Были разные предложения… Но я объявляю вам всем устный выговор за нарушение правил поведения в закрытых помещениях зрелищных предприятий! Кроме того, у вас, вероятно, будут снижены отметки за поведение. А теперь идите — учитесь хорошо!

И мы пошли учиться. Но я сидел и плохо учился. Я все думал, что выговор — это очень скверно и что мама, наверно, будет сердиться…

Но на переменке Мишка Слонов сказал:

— А все-таки хорошо, что мы помогли красным продержаться до прихода своих!

И я сказал:

— Конечно!!! Хоть это и кино, а, может быть, без нас они и не продержались бы!

— Кто знает...



Друг детства



Когда мне было лет шесть или шесть с половиной, я совершенно не знал, кем же я в конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились и все работы тоже. У меня тогда в голове была ужасная путаница, я был какой-то растерянный и никак не мог толком решить, за что же мне приниматься.

То я хотел быть астрономом, чтоб не спать по ночам и наблюдать в телескоп далекие звезды, а то я мечтал стать капитаном дальнего плавания,

чтобы стоять, расставив ноги, на капитанском мостике, и посетить далекий Сингапур, и купить там забавную обезьянку. А то мне до смерти хотелось превратиться в машиниста метро или начальника станции и ходить в красной фуражке и кричать толстым голосом:

— Го-о-тов!

Или у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин. А то мне казалось, что неплохо бы стать отважным путешественником вроде Алена Бомбара и переплыть все океаны на утлом челноке, питаясь одной только сырой рыбой. Правда, этот Бомбар после своего путешествия похудел на двадцать пять килограммов, а я всего-то весил двадцать шесть, так что выходило, что если я тоже поплыву, как он, то мне худеть будет совершенно некуда, я буду весить в конце путешествия только одно кило. А вдруг я где-нибудь не поймаю одну-другую рыбину и похудею чуть побольше? Тогда я, наверно, просто растаю в воздухе как дым, вот и все дела.

Когда я все это подсчитал, то решил отказаться от этой затеи, а на другой день мне уже приспичило стать боксером, потому что я увидел

в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. Как они молотили друг друга — просто ужас какой-то! А потом показали их тренировку, и тут они колотили уже тяжелую кожаную «грушу» — такой продолговатый тяжелый мяч, по нему надо бить изо всех сил, лупить что есть мочи, чтобы развивать в себе силу удара. И я так нагляделся на все на это, что тоже решил стать самым сильным человеком во дворе, чтобы всех побивать, в случае чего.

Я сказал папе:

— Папа, купи мне грушу!

— Сейчас январь, груш нет. Съешь пока морковку.

Я рассмеялся:

— Нет, папа, не такую! Не съедобную грушу! Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную боксерскую грушу!

— А тебе зачем? — сказал папа.

— Тренироваться, — сказал я. — Потому что я буду боксером и буду всех побивать. Купи, а?

— Сколько же стоит такая груша? — поинтересовался папа.

— Пустяки какие-нибудь, — сказал я. — Рублей десять или пятьдесят.

— Ты спятил, братец, — сказал папа. — Пере-

бейся как-нибудь без груши. Ничего с тобой не случится.

И он оделся и пошел на работу.

А я на него обиделся за то, что он мне так со смехом отказал. И мама сразу же заметила, что я обиделся, и тотчас сказала:

— Стой-ка, я, кажется, что-то придумала. Ну-ка, ну-ка, погоди-ка одну минуточку.

И она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетеную корзинку; в ней были сложены старые игрушки, в которые я уже не играл. Потому что я уже вырос и осенью мне должны были купить школьную форму и картуз с блестящим козырьком.

Мама стала копаться в этой корзинке, и, пока она копалась, я видел мой старый трамвайчик без колес и на веревочке, пластмассовую дудку, помятый волчок, одну стрелу с резиновой нашлепкой, обрывок паруса от лодки, и несколько погремушек, и много еще разного игрушечного утиля. И вдруг мама достала со дна корзинки здоровущего плюшевого Мишку.

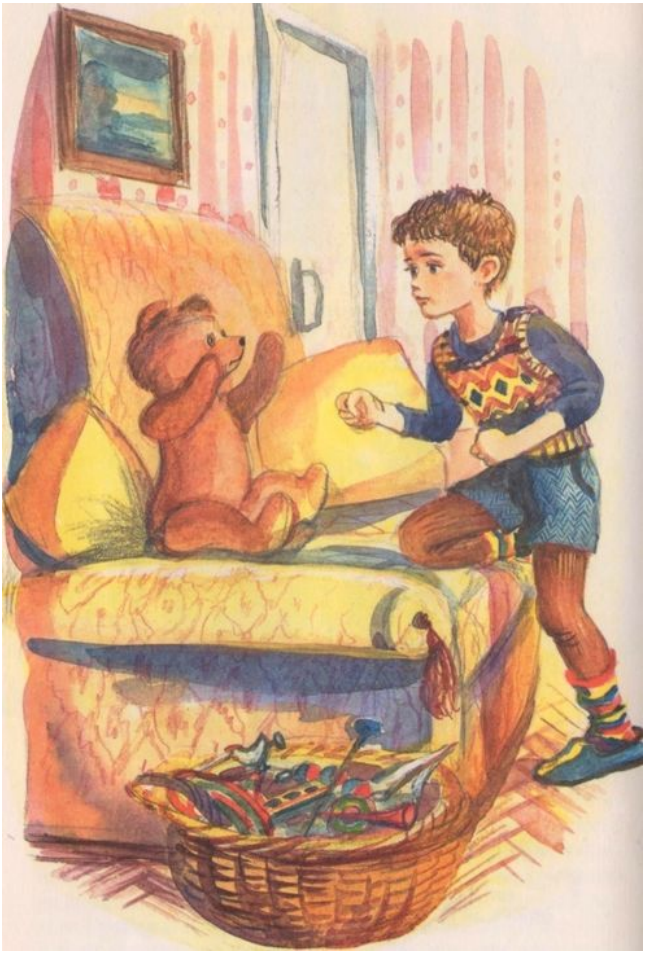
Она бросила его мне на диван и сказала:

— Вот. Это тот самый, что тебе тетя Мила подарила. Тебе тогда два года исполнилось. Хороший Мишка, отличный. Погляди, какой тугой! Живот

какой толстый! Ишь как выкатил! Чем не груша? Еще лучше! И покупать не надо! Давай тренируйся сколько душе угодно! Начинай!

И тут ее позвали к телефону, и она вышла в коридор.

А я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я устроил Мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручней было об него тренироваться и развивать силу удара.



Он сидел передо мной такой шоколадный, но здорово облезлый, и у него были разные глаза: один его собственный — желтый стеклянный, а другой большой белый — из пуговицы от наволочки; я даже не помнил, когда он появился. Но это было не важно, потому что Мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами, и он расставил ноги и выпятил мне навстречу живот, а обе руки поднял кверху, как будто шутил, что вот он уже заранее сдается…

И я вот так посмотрел на него и вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим Мишкой ни на минуту не расставался, повсюду таскал его за собой, и нянькал его, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и кормил его с ложки манной кашей, и у него такая забавная мордочка становилась, когда я его чем-нибудь перемазывал, хоть той же кашей или вареньем, такая забавная милая мордочка становилась у него тогда, прямо как живая, и я его спать с собой укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему разные сказки прямо в его бархатные тверденькие ушки, и я его любил тогда, любил всей душой, я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг детства. Вот он сидит, смеется

разными глазами, а я хочу тренировать об него силу удара…

— Ты что, — сказала мама, она уже вернулась из коридора. — Что с тобой?

А я не знал, что со мной, я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со мной, и я задрал голову к потолку, чтобы слезы вкатились обратно, и потом, когда я скрепился немного, я сказал:

— Ты о чем, мама? Со мной ничего… Просто я раздумал. Просто я никогда не буду боксером.



Дымка и Антон



Прошлым летом я был на даче у дяди Володи. У него очень красивый дом, похожий на вокзал, но чуть-чуть поменьше.

Я там жил целую неделю, и ходил в лес, разводил костры и купался.

Но главное, я там подружился с собаками. И там их было очень много, и все называли их по имени и фамилии. Например, Жучка Бреднева, или Тузик Мурашовский, или Барбос Исаенко.

Так удобней разбираться, кого какая укусила.

А у нас жила собака Дымка. У нее хвост загнутый и лохматый, и на ногах шерстяные галифе.

Когда я смотрел на Дымку, я удивлялся, что у нее такие красивые глаза. Желтые-желтые и очень понятливые. Я давал Дымке сахара, и она всегда виляла мне хвостом. А через два дома жила собака Антон. Он был Ванькин. Ванькина фамилия была Дыхов, и вот и Антон назывался Антон Дыхов. У этого Антона было только три ноги, вернее у четвертой ноги не было лапы. Он где-то ее потерял. Но он все равно бегал очень быстро и всюду поспевал. Он был бродяга, пропадал по три дня, но всегда возвращался к Ваньке. Антон любил стянуть, что подвернется, но умнющий был на редкость. И вот что однажды было.

Моя мама вынесла Дымке большую кость. Дымка взяла ее, положила перед собой, зажала лапами, зажмурилась и хотела уже начать грызть, как вдруг увидела Мурзика, нашего кота. Он никого не трогал, спокойно шел домой, но Дымка вскочила и пустилась за ним! Мурзик — бежать, а Дымка долго за ним гонялась, пока не загнала за сарай.

Но все дело было в том, что Антон уже давно был у нас на дворе. И как только Дымка занялась Мурзиком, Антон довольно ловко цапнул ее кость

и удрал! Куда он девал кость, не знаю, но только через секунду приковылял обратно и сидит себе, посматривает: «Я, ребята, ничего не знаю».

Тут пришла Дымка и увидела, что кости нет, а есть только Антон. Она посмотрела на него, как будто спросила: «Ты взял?» Но этот нахал только рассмеялся ей в ответ! А потом отвернулся со скучающим видом. Тогда Дымка обошла его и снова посмотрела ему прямо в глаза. Но Антон даже ухом не повел. Дымка долго на него смотрела, но потом поняла, что у него совести нет, и отошла.

Антон хотел было с ней поиграть, но Дымка совсем перестала с ним разговаривать.

Я сказал:

— Антон! На-на-на!

Он подошел, а я сказал ему:

— Я все видел. Если сейчас же не принесешь кость, я всем расскажу.

Он ужасно покраснел. То есть, конечно, он, может быть, и не покраснел, но вид у него был такой, что ему очень стыдно, и он прямо покраснел.

Вот какой умный! Поскакал на своих троих куда-то, и вот уже вернулся, и в зубах несет кость. И тихо так, вежливо, положил перед Дымкой. А Дымка есть не стала. Она посмотрела чуть-чуть искоса своими желтыми глазами и улыбнулась

— простила, значит!

И они начали играть и возиться, и потом, когда устали, побежали к речке совсем рядышком.

Как будто взялись за руки.



Ничего изменить нельзя



Я давно уже заметил, что взрослые задают маленьким очень глупые вопросы. Они как будто сговорились. Получается так, словно они все выучили одинаковые вопросы и задают их всем ребятам подряд. Я так к этому делу привык, что наперед знаю, как все произойдет, если я познакомлюсь с каким-нибудь взрослым. Это будет так.

Вот раздастся звонок, мама откроет дверь, кто-

то будет долго гудеть что-то непонятное, потом в комнату войдет новый взрослый. Он будет потирать руки. Потом уши, потом очки. Когда он их наденет, то увидит меня, и хотя он давным-давно знает, что я живу на этом свете, и прекрасно знает, как меня зовут, он все-таки схватит меня за плечи, сожмет их довольно-таки больно, притянет меня к себе и скажет:

«Ну, Денис, как тебя зовут?»

Конечно, если бы я был невежливый человек, я бы ему сказал:

«Сами знаете! Ведь вы только сейчас назвали меня по имени, зачем же вы несете несуразицу?»

Но я вежливый. Поэтому я притворюсь, что не расслышал ничего такого, я просто криво улыбнусь и, отведя в сторону глаза, отвечу:

«Денисом».

Он с ходу спросит дальше:

«А сколько тебе лет?»

Как будто не видит, что мне не тридцать и даже не сорок! Ведь видит же, какого я роста, и, значит, должен понять, что мне самое большее семь, ну восемь от силы, — зачем же тогда спрашивать? Но у него свои, взрослые взгляды и привычки, и он продолжает приставать:

«А? Сколько же тебе лет? А?»

Я ему скажу:

«Семь с половиной».

Тут он расширит глаза и схватится за голову, как будто я сообщил, что мне вчера стукнуло сто шестьдесят один. Он прямо застонет, словно у него три зуба болят:

«Ой-ой-ой! Семь с половиной! Ой-ой-ой!»

Но чтобы я не заплакал от жалости к нему и понял, что это шутка, он перестанет стонать. Он двумя пальцами довольно-таки больно ткнет меня в живот и бодро воскликнет:

«Скоро в армию! А?»

А потом вернется к началу игры и скажет маме с папой, покачивая головой:

«Что делается, что делается! Семь с половиной! Уже! — И, обернувшись ко мне, добавит: — А я тебя вот такусеньким знал!»

И он отмерит в воздухе сантиметров двадцать. Это в то время, когда я точно знаю, что во мне был пятьдесят один сантиметр в длину. У мамы даже такой документ есть. Официальный. Ну, на этого взрослого я не обижаюсь. Все они такие. Вот и сейчас я твердо знаю, что ему положено задуматься. И он задумается. Железно. Он повесит голову на грудь, словно заснул. А тут я начну потихоньку вырываться из его рук. Но не тут-то было. Про-

сто взрослый вспомнит, какие там у него еще вопросы завалялись в кармане, он их вспомнит и наконец, радостно улыбаясь, спросит:

«Ах да! А кем ты будешь? А? Кем ты хочешь быть?»

Я-то, честно говоря, хочу заняться спелеологией, но я понимаю, что новому взрослому это будет скучно, непонятно, это ему будет непривычно, и, чтобы не сбивать его с толку, я ему отвечу:

«Я хочу быть мороженщиком. У него всегда мороженого сколько хочешь».

Лицо нового взрослого сразу посветлеет. Все в порядке, все идет так, как ему хотелось, без отклонений от нормы. Поэтому он хлопнет меня по спине (довольно-таки больно) и снисходительно скажет:

«Правильно! Так держать! Молодец!»

И тут я по своей наивности думаю, что это уже все, конец, и начну немного посмелее отодвигаться от него, потому что мне некогда, у меня еще уроки не приготовлены и вообще тысяча дел, но он заметит эту мою попытку освободиться и подавит ее в корне, он зажмет меня ногами и закогтит руками, то есть, попросту говоря, он применит физическую силу, и, когда я устану и перестану трепыхаться, он задаст мне главный вопрос.

«А скажи-ка, друг ты мой… — скажет он, и коварство, как змея, проползет в его голосе, — скажи-ка, кого ты больше любишь? Папу пли маму?»

Бестактный вопрос. Тем более что задан он в присутствии обоих родителей. Придется ловчить. «Михаила Таля», — скажу я.

Он захохочет. Его почему-то веселят такие кретинские ответы. Он повторит раз сто:

«Михаила Таля! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Каково, а? Ну? Что вы скажете на это, счастливые родители?»

И будет смеяться еще полчаса, и папа и мама будут смеяться тоже. И мне будет стыдно за них и за себя. И я дам себе клятву, что потом, когда кончится этот ужас, я как-нибудь незаметно для папы поцелую маму, незаметно для мамы поцелую папу. Потому что я люблю их одинаково обоих, о-ди-на-ко-во!! Клянусь своей белой мышкой! Ведь это так просто. Но взрослых это почему-то не удовлетворяет. Несколько раз я пробовал честно и точно ответить на этот вопрос, и всегда я видел, что взрослые недовольны ответом, у них наступало какое-то разочарование, что ли. У всех у них в глазах как будто бывает написана одна и та же мысль, приблизительно такая: «У-у-у… Какой банальный ответ! Он любит папу и маму

одинаково! Какой скучный мальчик!»

Потому я и совру им про Михаила Таля, пусть посмеются, а я пока попробую снова вырваться из стальных объятий моего нового знакомого! Куда там, видно, он поздоровее Юрия Власова. И сейчас он мне задаст еще один вопросик. Но по его тону я догадываюсь, что дело идет к концу. Это будет самый смешной вопрос, вроде бы на сладкое. Сейчас его лицо изобразит сверхъестественный испуг.

«А ты сегодня почему не мылся?»

Я мылся, конечно, но я прекрасно понимаю, куда он клонит.

И как им не надоест эта старая, заезженная игра?

Чтобы не тянуть волынку, я схвачусь за лицо.

«Где?! — вскрикну я. — Что?! Где?!»

Точно! Прямое попадание! Взрослый мгновенно произнесет свою старомодную муру.

«А глазки? — скажет он лукаво. — Почему такие черные глазки? Их надо отмыть! Иди сейчас же в ванную!»

И он наконец-то отпустит меня! Я свободен и могу приниматься за дела.

Ох и трудненько достаются мне эти новые знакомства! Но что поделать? Все дети проходят

через это! Не я первый, не я последний…

Тут ничего изменить нельзя.



Заколдованная буква



Недавно мы гуляли во дворе: Аленка, Мишка и я. Вдруг во двор въехал грузовик. А на нем лежит елка. Мы побежали за машиной. Вот она подъехала к домоуправлению, остановилась, и шофер с нашим дворником стали елку выгружать. Они кричали друг на друга:

— Легче! Давай заноси! Правея! Левея! Становь ее на попа! Легче, а то весь шпиц обломаешь.

И когда выгрузили, шофер сказал:

— Теперь надо эту елку заактировать, — и ушел.

А мы остались возле елки.

Она лежала большая, мохнатая и так вкусно пахла морозом, что мы стояли как дураки и улыбались. Потом Аленка взялась за одну веточку и сказала:

— Смотрите, а на елке сыски висят.

«Сыски»! Это она неправильно сказала! Мы с Мишкой так и покатились. Мы смеялись с ним оба одинаково, но потом Мишка стал смеяться громче, чтоб меня пересмеять.



Ну, я немножко поднажал, чтобы он не думал,

что я сдаюсь. Мишка держался руками за живот, как будто ему очень больно, и кричал:

— Ой, умру от смеха! Сыски!

А я, конечно, поддавал жару:

— Пять лет девчонке, а говорит «сыски»... Ха-ха-ха!

Потом Мишка упал в обморок и застонал:

— Ах, мне плохо! Сыски...

И стал икать:

— Ик!.. Сыски. Ик! Ик! Умру от смеха! Ик!

Тогда я схватил горсть снега и стал прикладывать его себе ко лбу, как будто у меня началось уже воспаление мозга и я сошел с ума. Я орал:

— Девчонке пять лет, скоро замуж выдавать! А она — сыски.

У Аленки нижняя губа скривилась так, что полезла за ухо.

— Я правильно сказала! Это у меня зуб вывалился и свистит. Я хочу сказать «сыски», а у меня высвистывается «сыски»...

Мишка сказал:

— Эка невидаль! У нее зуб вывалился! У меня целых три вывалилось да два шатаются, а я все равно говорю правильно! Вот слушай: хыхки! Что? Правда, здорово — хыхх-кии! Вот как у меня легко выходит: хыхки! Я даже петь могу:

Ох, хыхечка зеленая,

Боюся уколюся я.

Но Аленка как закричит. Одна громче нас двоих:

— Неправильно! Ура! Ты говоришь хыхки, а надо сыски!

А Мишка:

— Именно, что не надо сыски, а надо хыхки.

И оба давай реветь. Только и слышно: «Сыски!» — «Хыхки!» — «Сыски!».

Глядя на них, я так хохотал, что даже проголодался. Я шел домой и все время думал: чего они так спорили, раз оба не правы? Ведь это очень простое слово. Я остановился и внятно сказал:

— Никакие не сыски. Никакие не хыхки, а коротко и ясно: фыфки!

Вот и все!

Синий кинжал



Это дело было так. У нас был урок — труд. Раиса Ивановна сказала, чтобы мы сделали каждый по отрывному календарю, кто как сообразит. Я взял картонку, оклеил ее зеленой бумагой, посредине прорезал щелку, к ней прикрепил спичечную коробку, а на коробку положил стопочку белых листиков, подогнал, подклеил, подровнял и на первом листике написал: «С Первым маем!»

Получился очень красивый календарь для ма-

леньких детей. Если, например, у кого куклы, то для этих кукол. В общем, игрушечный. И Раиса Ивановна поставила мне пять.

Она сказала:

— Мне нравится.

И я пошел к себе и сел на место. И в это время Левка Бурин тоже стал сдавать свой календарь, а Раиса Ивановна посмотрела на его работу и говорит:

— Наляпано.

И поставила Левке тройку.

А когда наступила перемена, Левка остался сидеть за партой. У него был довольно-таки невеселый вид. А я в это время как раз промокал кляксу, и, когда увидел, что Левка такой грустный, я прямо с промокашкой в руке подошел к Левке. Я хотел его развеселить, потому что мы с ним дружим и он один раз подарил мне монетку с дыркой. И еще обещал принести мне стреляную охотничью гильзу, чтобы я из нее сделал атомный телескоп.

Я подошел к Левке и сказал:

— Эх ты, Ляпа!

И состроил ему косые глаза.

И тут Левка ни с того ни с сего как даст мне пеналом по затылку. Вот когда я понял, как искры

из глаз летят. Я страшно разозлился на Левку и треснул его изо всех сил промокашкой по шее. Но он, конечно, даже не почувствовал, а схватил свой портфель и пошел домой. А у меня даже слезы капали из глаз — так здорово поддал мне Левка, — капали прямо на промокашку и расплывались по ней, как бесцветные кляксы…

И тогда я решил Левку убить. После школы я целый день сидел дома и готовил оружие. Я взял у папы с письменного стола его синий разрезальный нож из пластмассы и целый день точил его о плиту. Я его упорно точил, терпеливо. Он очень медленно затачивался, но я все точил и все думал, как я приду завтра в класс и мой верный синий кинжал блеснет перед Левкой, я занесу его над Левкиной головой, а Левка упадет на колени и будет умолять меня даровать ему жизнь, и я скажу:

«Извинись!»

И он скажет:

«Извини!»

А я засмеюсь громовым смехом, вот так:

«Ха-ха-ха-ха!»

И эхо долго будет повторять в ущельях этот зловещий хохот. А девчонки от страха залезут под парты.

И когда я лег спать, то все ворочался с боку на

бок и вздыхал, потому что мне было жалко Левку — хороший он человек, но теперь пусть несет заслуженную кару, раз он стукнул меня пеналом по голове. И синий кинжал лежал у меня под подушкой, и я сжимал его рукоятку и чуть не стонал, так что мама спросила:

— Ты что там кряхтишь?

Я сказал:

— Ничего.

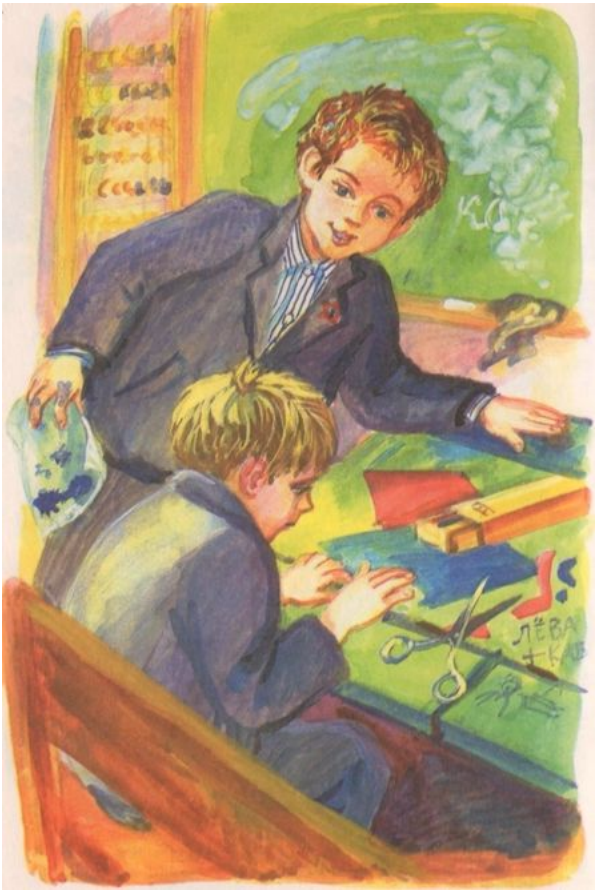
Мама сказала:

— Живот, что ли, болит?

Но я ничего ей не ответил, просто я взял и отвернулся к стенке и стал дышать, как будто я давно уже сплю.

Утром я ничего не мог есть. Только выпил две чашки чаю с хлебом и маслом, с картошкой и сосиской. Потом пошел в школу.

Синий кинжал я положил в портфель с самого верху, чтоб удобно было достать.



И перед тем как пойти в класс, я долго стоял у

дверей и не мог войти, так сильно билось сердце. Но все-таки я себя переборол, толкнул дверь и вошел. В классе все было как всегда, и Левка стоял у окна с Валериком. Я, как его увидел, сразу стал расстегивать портфель, чтобы достать кинжал. Но Левка в это время побежал ко мне. Я подумал, что он опять стукнет меня пеналом или чем-нибудь еще, и стал еще быстрее расстегивать портфель, но Левка вдруг остановился около меня и как-то затоптался на месте, а потом вдруг наклонился ко мне близко-близко и сказал:

— На!

И он протянул мне золотую стреляную гильзу. И глаза у него стали такие, как будто он еще что-то хотел сказать, но стеснялся. А мне вовсе и не нужно было, чтобы он говорил, просто я вдруг совершенно забыл, что хотел его убить, как будто и не собирался никогда, даже удивительно.

Я сказал:

— Хорошая какая гильза.

Взял ее. И пошел на свое место.



Мотогонки по отвесной стене



Еще когда я был маленький, мне подарили трехколесный велосипед. И я на нем выучился ездить. Сразу сел и поехал, нисколько не боясь, как будто я всю жизнь ездил на велосипедах.

Мама сказала:

— Смотри, какой он способный к спорту.

А папа сказал:

— Сидит довольно обезьяновато...

А я здорово научился ездить и довольно скоро

стал делать на велосипеде разные штуки, как веселые артисты в цирке. Например, я ездил задом наперед или лежа на седле и вертя педали какой угодно рукой — хочешь правой, хочешь левой;

ездил боком, растопыря ноги;

ездил, сидя на руле, а то зажмурясь и без рук;

ездил со стаканом воды в руке. Словом, наловчился по-всякому.

А потом дядя Женя отвернул у моего велосипеда одно колесо, и он стал двухколесным, и я опять очень быстро все заучил. И ребята во дворе стали меня называть «чемпионом мира и его окрестностей».

И так я катался на своем велосипеде до тех пор, пока колени у меня не стали во время езды подниматься выше руля. Тогда я догадался, что я уже вырос из этого велосипеда, и стал думать, когда же папа купит мне настоящую машину «Школьник».

И вот однажды к нам во двор въезжает велосипед. И дяденька, который на нем сидит, не крутит ногами, а велосипед трещит себе под ним, как стрекоза, и едет сам. Я ужасно удивился. Я никогда не видел, чтобы велосипед ехал сам. Мотоцикл — это другое дело, автомобиль — тоже, ракета — ясно, а велосипед? Сам?

Я просто глазам своим не поверил.

А этот дяденька, что на велосипеде, подъехал к Мишкиному парадному и остановился. И он оказался совсем не дяденькой, а молодым парнем. Потом он поставил велосипед около трубы и ушел. А я остался тут же с разинутым ртом. Вдруг выходит Мишка.

Он говорит:

— Ну? Чего уставился?

Я говорю:

— Сам едет, понял?

Мишка говорит:

— Это нашего племянника Федьки машина. Велосипед с мотором. Федька к нам приехал по делу — чай пить.

Я спрашиваю:

— А трудно такой машиной управлять?

— Ерунда на постном масле, — говорит Мишка. — Она заводится с пол-оборота. Один раз нажмешь на педаль, и готово — можешь ехать. А бензину в ней на сто километров. А скорость двадцать километров за полчаса.

— Ого! Вот это да! — говорю я. — Вот это машина! На такой покататься бы!

Тут Мишка покачал головой:

— Влетит. Федька убьет. Голову оторвет!

— Да. Опасно, — говорю я.

Но Мишка огляделся по сторонам и вдруг заявляет:

— Во дворе никого нет, а ты все-таки «чемпион мира». Садись! Я помогу разогнать машину, а ты один разок толкни педаль, и все пойдет как по маслу. Объедешь вокруг садика два-три круга, и мы тихонечко поставим машину на место. Федька у нас чай подолгу пьет. По три стакана дует. Давай!

— Давай! — сказал я.

И Мишка стал держать велосипед, а я на него взгромоздился. Одна нога действительно доставала самым носком до края педали, зато другая висела в воздухе, как макаронина. Я этой макарониной отпихнулся от трубы, а Мишка побежал рядом и кричит:

— Жми педаль, жми давай!

Я постарался, съехал чуть набок с седла да как нажму на педаль. Мишка чем-то щелкнул на руле… И вдруг машина затрещала, и я поехал!

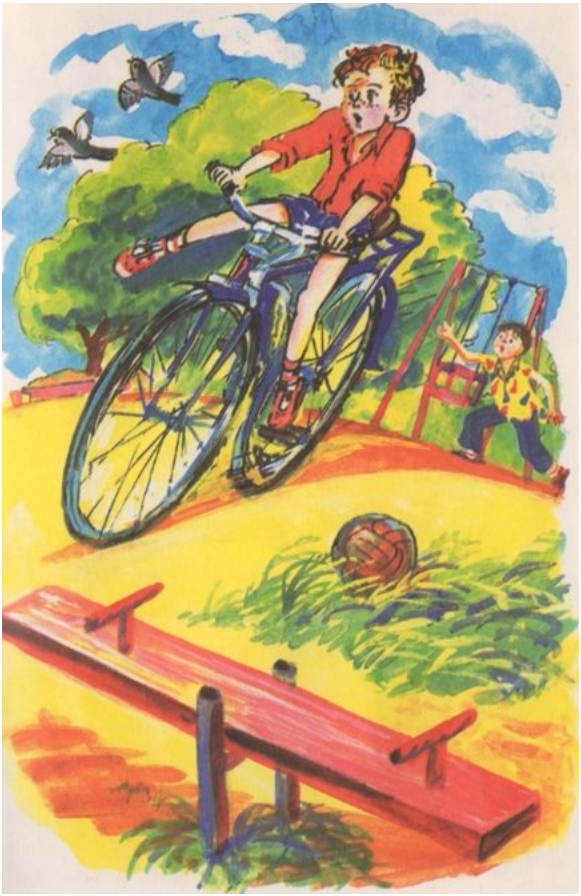
Я поехал! Сам! На педали не жму — не достаю, а только еду, соблюдаю равновесие!

Это было чудесно! Ветерок засвистел у меня в ушах, все вокруг понеслось быстро-быстро по кругу: столбик, ворота, скамеечка, грибы от

дождя, песочник, качели, домоуправление, и опять столбик, ворота, скамеечка, грибы от дождя, песочник, качели, домоуправление, и опять столбик, и все сначала, и я ехал, вцепившись в руль, а Мишка все бежал за мной, но на третьем круге он крикнул:

— Я устал! — и прислонился к столбику.

А я поехал один, и мне было очень весело, и я все ездил и воображал, что участвую в мотогонках по отвесной стене. Я видел, в парке культуры так мчалась отважная артистка…



И столбик, и Мишка, и качели, и домоуправле-

ние — все мелькало передо мной довольно долго, и все было очень хорошо, только ногу, которая висела, как макаронина, стали немножко колоть мурашки… И еще мне вдруг стало как-то не по себе, и ладони сразу стали мокрыми, и очень захотелось остановиться.

Я доехал до Мишки и крикнул:

— Хватит! Останавливай!

Мишка побежал за мной и кричит:

— Что? Говори громче!

Я кричу:

— Ты что, оглох, что ли?

Но Мишка уже отстал. Тогда я проехал еще круг и закричал:

— Останови машину, Мишка!

Тогда он схватился за руль, машину качнуло, он упал, а я опять поехал дальше. Гляжу, он снова встречает меня у столбика и орет:

— Тормоз! Тормоз!

Я промчался мимо него и стал искать этот тормоз. Но ведь я же не знал, где он! Я стал крутить разные винтики и что-то нажимать на руле. Куда там! Никакого толку. Машина трещит себе как ни в чем не бывало, а у меня в макаронную ногу уже тысячи иголок впиваются!

Я кричу:

— Мишка, а где этот тормоз?

А он:

— Я забыл!

А я:

— Ты вспомни!

— Ладно, вспомню, ты пока покрутись еще немножко!

— Ты скорей вспоминай, Мишка! — опять кричу я.

И проехал дальше, и чувствую, что мне уже совсем не по себе, тошно как-то. А на следующем кругу Мишка снова кричит:

— Не могу вспомнить! Ты лучше попробуй спрыгни!

А я ему:

— Меня тошнит!

Если бы я знал, что так получится, ни за что бы не стал кататься, лучше пешком ходить, честное слово!

А тут опять впереди Мишка кричит:

— Надо достать матрац, на котором спят! Чтоб ты в него врезался и остановился! Ты на чем спишь?

Я кричу:

— На раскладушке!

А Мишка:

— Тогда езди, пока бензин не кончится!

Я чуть не переехал его за это. «Пока бензин не кончится»... Это, может быть, еще две недели так носиться вокруг садика, а у нас на вторник билеты в кукольный театр. И ногу колет! Я кричу этому дуралею:

— Сбегай за вашим Федькой!

— Он чай пьет! — кричит Мишка.

— Потом допьет! — ору я.

А он не дослышал и соглашается со мной:

— Убьет! Обязательно убьет!

И опять все завертелось передо мной: столбик, ворота, скамеечка, качели, домоуправление. Потом наоборот: домоуправление, качели, скамеечка, столбик, а потом пошло вперемешку: домик, столбоуправление, грибеечка... И я понял, что дело плохо.

Но в это время кто-то сильно схватил машину, она перестала трещать, и меня довольно крепко хлопнули по затылку. Я сообразил, что это Мишкин Федька наконец почайпил. И я тут же кинулся бежать, но не смог, потому что макаронная нога вонзилась в меня, как кинжал. Но я все-таки не растерялся и ускакал от Федьки на одной ноге.

И он не стал догонять меня.

А я на него не рассердился за подзатыльник. Потому что без него я, наверно, кружил бы по двору до сих пор.



Третье место в стиле баттерфляй



Когда я шел домой из бассейна, у меня было очень хорошее настроение. Мне нравились все троллейбусы, что они такие прозрачные и всех видать, кто в них едет, и мороженщицы нравились, что они веселые, и нравилось, что не жарко на улице и ветерок холодит мою мокрую голову. Но особенно мне нравилось, что я занял третье место в стиле баттерфляй и что я сейчас расскажу об этом папе, — он давно хотел, чтобы я научил-

ся плавать. Он говорит, что все люди должны уметь плавать, а мальчишки особенно, потому что они мужчины. А какой же это мужчина, если он может потонуть во время кораблекрушения или просто так, на Чистых прудах, когда лодка перевернется?

И вот я сегодня занял третье место и сейчас скажу об этом папе. Я очень торопился домой, и, когда вошел в комнату, мама сразу спросила:

— Ты что так сияешь?

Я сказал:

— А у нас сегодня было соревнование.

Папа сказал:

— Это какое же?

— Заплыв на двадцать пять метров в стиле баттерфляй…

Папа сказал:

— Ну и как?

— Третье место! — сказал я.

Папа прямо весь расцвел.

— Ну да? — сказал он. — Вот здорово! — Он отложил в сторону газету. — Молодчина!

Я так и знал, что он обрадуется. У меня еще лучше настроение стало.

— А кто же первое занял? — спросил папа.

Я ответил:

— Первое место, папа, занял Вовка, он уже давно умеет плавать. Ему это не трудно было…

— Ай да Вовка! — сказал папа. — Так, а кто же занял второе место?

— А второе, — сказал я, — занял рыженький один мальчишка, не знаю, как зовут. На лягушонка похож, особенно в воде…

— А ты, значит, вышел на третье? — Папа улыбнулся, и мне это было очень приятно. — Ну, что ж, — сказал он, — все-таки что ни говори, а третье место тоже призовое, бронзовая медаль! Ну а кто же на четвертом остался? Не помнишь? Кто занял четвертое?

Я сказал:

— Четвертое место никто не занял, папа!

Он очень удивился:

— Это как же?

Я сказал:

— Мы все третье место заняли: и я, и Мишка, и Толька, и Кимка, все-все. Вовка — первое, рыжий лягушонок — второе, а мы, остальные восемнадцать человек, мы заняли третье. Так инструктор сказал!

Пана сказал:

— Ах, вот оно что… Все понятно!..

И он снова уткнулся в газеты.

А у меня почему-то совсем пропало хорошее настроение.



Сверху вниз, наискосок!



В то лето, когда я еще не ходил в школу, у нас во дворе был ремонт. Повсюду валялись кирпичи и доски, а посреди двора высилась огромная куча песку. И мы играли на этом песке в «разгром фашистов под Москвой», или делали куличики, или просто так играли ни во что.

Нам было очень весело, и мы подружились с рабочими и даже помогали им ремонтировать дом: один раз я принес слесарю дяде Грише полный

чайник кипятку, а второй раз Аленка показала монтерам, где у нас черный ход. И мы еще много помогали, только сейчас я уже не помню всего.

А потом как-то незаметно ремонт стал заканчиваться, рабочие уходили один за другим, дядя Гриша попрощался с нами за руку, подарил мне тяжелую железку и тоже ушел.

И вместо дяди Гриши во двор пришли три девушки. Они все были очень красиво одеты: носили мужские длинные штаны, измазанные разными красками и совершенно твердые. Когда эти девушки ходили, штаны на них гремели, как железо на крыше. А на головах девушки носили шапки из газет. Эти девушки были маляры и назывались: бригада. Они были очень веселые и ловкие, любили смеяться и всегда пели песню «Ландыши, ландыши». Но я эту песню не люблю. И Аленка. И Мишка тоже не любит. Зато мы все любили смотреть, как работают девушки-маляры и как у них все получается складно и аккуратно. Мы знали по именам всю бригаду. Их звали Санька, Раечка и Нелли.

И однажды мы к ним подошли, и тетя Саня сказала:

— Ребятки, сбегайте кто-нибудь и узнайте, который час.

Я сбегал, узнал и сказал:

— Без пяти двенадцать, тетя Саня…

Она сказала:

— Шабаш, девчата! Я — в столовую! — и пошла со двора.

И тетя Раечка и тетя Нелли пошли за ней обедать.

А бочонок с краской оставили. И резиновый шланг тоже.

Мы сразу подошли ближе и стали смотреть на тот кусочек дома, где они только сейчас красили. Было очень здорово: ровно и коричнево, с небольшой краснотой. Мишка смотрел-смотрел, потом говорит:

— Интересно, а если я покачаю насос, краска пойдет?

Аленка говорит:

— Спорим, не пойдет!

Тогда я говорю:

— А вот спорим, пойдет!

Тут Мишка говорит:

— Не надо спорить. Сейчас я попробую. Держи, Дениска, шланг, а я покачаю.

И давай качать. Раза два-три качнул, и вдруг из шланга побежала краска! Она шипела, как змея, потому что на конце у шланга была нахлобучка

с дырочками, как у лейки. Только дырки были совсем маленькие, и краска шла, как одеколон в парикмахерской, чуть-чуть видно.

Мишка обрадовался и как закричит:

— Крась скорей! Скорей крась что-нибудь!

Я сразу взял и направил шланг на чистую стенку. Краска стала брызгаться, и там сейчас же получилось светло-коричневое пятно, похожее на паука.

— Ура! — закричала Аленка. — Пошло! Пошло-поехало! — и подставила ногу под краску.

Я сразу покрасил ей ногу от колена до пальцев. Тут же, прямо у нас на глазах, на ноге не стало видно ни синяков, ни царапин! Наоборот, Аленкина нога стала гладкая, коричневая, с блеском, как новенькая кегля.

Мишка кричит:

— ЗдОрово получается! Подставляй вторую, скорей!

И Аленка живенько подставила вторую ногу, а я моментально покрасил ее сверху донизу два раза.

Тогда Мишка говорит:

— Люди добрые, как красиво! Ноги совсем как у настоящего индейца! Крась же ее скорей!

— Всю? Всю красить? С головы до пят?

Тут Аленка прямо завизжала от восторга:

— Давайте, люди добрые! Красьте с головы до пят! Я буду настоящая индейка.

Тогда Мишка приналег на насос и стал качать во всю ивановскую, а я стал Аленку поливать краской. Я замечательно ее покрасил: и спину, и ноги, и руки, и плечи, и живот, и трусики. И стала она вся коричневая, только волосы белые торчат.

Я спрашиваю:

— Мишка, как думаешь, а волосы красить?

Мишка отвечает:

— Ну конечно! Крась скорей! Быстрей давай!

И Аленка торопит:

— Давай-давай! И волосы давай! И уши!

Я быстро закончил ее красить и говорю:

— Иди, Аленка, на солнце пообсохни! Эх, что бы еще покрасить?

А Мишка:

— Вон видишь, наше белье сушится? Скорей давай крась!

Ну с этим-то делом я быстро справился! Два полотенца и Мишкину рубашку я за какую-нибудь минуту так отделал, что любо-дорого смотреть было!

А Мишка прямо вошел в азарт, качает насос,

как заводной. И только покрикивает:

— Крась давай! Скорей давай! Вон и дверь новая на парадном, давай, давай, быстрее крась!

И я перешел на дверь. Сверху вниз! Снизу вверх! Сверху вниз, наискосок!

И тут дверь вдруг раскрылась, и из нее вышел наш управдом Алексей Акимыч в белом костюме.

Он прямо остолбенел. И я тоже. Мы оба были как заколдованные. Главное, я его поливаю и с испугу не могу даже догадаться отвести в сторону шланг, а только размахиваю сверху вниз, снизу вверх. А у него глаза расширились, и ему в голову не приходит отойти хоть на шаг вправо или влево…

А Мишка качает и знай себе ладит свое:

— Крась давай, быстрей давай!

И Аленка сбоку вытанцовывает:

— Я индейка! Я индейка!

Ужас!

… Да здорово нам тогда влетело. Мишка две недели белье стирал. А Аленку мыли в семи водах со скипидаром…

Алексею Акимычу купили новый костюм. А меня мама вовсе не хотела во двор пускать. Но я все-таки вышел, и тетя Саня, Раечка и Нелли

сказали:

— Вырастай, Денис, побыстрей, мы тебя к себе в бригаду возьмем. Будешь маляром!

И с тех пор я стараюсь расти побыстрей.



Не пиф, не паф!



Когда я был дошкольником, я был ужасно жалостливый. Я совершенно не мог слушать про что-нибудь жалостное. И если кто кого съел, или бросил в огонь, или заточил в темницу, — я сразу начинал плакать. Вот, например, волки съели козлика, и от него остались рожки да ножки. Я реву. Или Бабариха посадила в бочку царицу и царевича и бросила эту бочку в море. Я опять реву. Да как! Слезы бегут из меня толстыми струями

прямо на пол и даже сливаются в целые лужи.

Главное, когда я слушал сказки, я уже заранее, еще до того самого страшного места, настраивался плакать. У меня кривились и ломались губы и голос начинал дрожать, словно меня кто-нибудь тряс за шиворот. И мама просто не знала, что ей делать, потому что я всегда просил, чтобы она мне читала или рассказывала сказки, а чуть дело доходило до страшного, как я сразу это понимал и начинал на ходу сказку сокращать. За какие-нибудь две-три секунды до того, как случиться беде, я уже принимался дрожащим голосом просить: «Это место пропусти!»

Мама, конечно, пропускала, перескакивала с пятого на десятое, и я слушал дальше, но только совсем немножко, потому что в сказках каждую минуту что-нибудь случается, и, как только становилось ясно, что вот-вот опять произойдет какое-нибудь несчастье, я снова начинал вопить и умолять: «И это пропусти!»

Мама опять пропускала какое-нибудь кровавое преступление, и я ненадолго успокаивался. И так с волнениями, остановками и быстрыми сокращениями мы с мамой в конце концов добирались до благополучного конца.

Конечно, я все-таки соображал, что сказки

от всего этого становились какие-то не очень интересные: во-первых, очень уж короткие, а во-вторых, в них почти совсем не было приключений. Но зато я мог слушать их спокойно, не обливаться слезами, и потом все же после таких сказок можно было ночью спать, а не валяться с открытыми глазами и бояться до утра. И поэтому такие сокращенные сказки мне очень нравились. Они делались такие спокойные. Как все равно прохладный сладкий чай. Например, есть такая сказка про Красную Шапочку. Мы с мамой в ней столько напропускали, что она стала самой короткой сказкой в мире и самой счастливой. Мама ее вот как рассказывала:

«Жила-была Красная Шапочка. Раз она напекла пирожков и пошла проведать свою бабушку. И стали они жить-поживать и добра наживать».

И я был рад, что у них все так хорошо получилось. Но, к сожалению, это было еще не все. Особенно я переживал другую сказку, про зайца. Это короткая такая сказочка, вроде считалки, ее все на свете знают:

Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять,
Вдруг охотник выбегает…

И вот тут у меня уже начинало пощипывать в носу и губы разъезжались в разные стороны, верхняя направо, нижняя налево, а сказка в это время продолжалась… Охотник, значит, вдруг выбегает и…

Прямо в зайчика стреляет!

Тут у меня прямо сердце проваливалось. Я не мог понять, как же это получается. Почему этот свирепый охотник стреляет прямо в зайчика? Что зайчик ему сделал? Что он, первый начал, что ли? Ведь нет! Ведь он же не задирался? Он просто вышел погулять! А этот прямо, без разговоров:

Пиф-паф!

Из своей тяжелой двустволки! И тут из меня начинали течь слезы, как из крана. Потому что раненный в живот зайчик кричал:

Ой-ой-ой!

Он кричал:

— Ой-ой-ой! Прощайте, все! Прощайте, зайчата и зайчиха! Прощай, моя веселая, легкая жизнь! Прощай, алая морковка и хрустящая капуста! Прощай навек, моя полянка, и цветы, и роса, и весь лес, где под каждым кустом был готов и стол и дом!

Я прямо своими глазами видел, как серый зайчик ложится под тоненькую березку и умирает… Я заливался в три ручья горючими слезами и портил всем настроение, потому что меня надо было успокаивать, а я только ревел и ревел…

И вот однажды ночью, когда все улеглись спать, я долго лежал на своей раскладушке и вспоминал беднягу зайчика и все думал, как было бы хорошо, если бы с ним этого не случилось. Как было бы по-настоящему хорошо, если бы только все это не случилось. И я так долго думал об этом, что вдруг незаметно для себя пересочинил всю эту историю:

Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять,
Вдруг охотник выбегает…
Прямо в зайчика…
Не стреляет!!!
Не пиф! Не паф!
Не ой-ой-ой!
Не умирает зайчик мой!!!

Вот это да! Я даже рассмеялся! Как все складно получилось! Это было самое настоящее чудо. Не пиф! Не паф! Я поставил одно только короткое

«не», и охотник как ни в чем не бывало протопал в своих подшитых валенках мимо зайчика. И тот остался жить! Он опять будет играть по утрам на росистой полянке, будет скакать и прыгать и колотить лапками в старый, трухлявый пень. Этакий забавный, славный барабанщик!

И я так лежал в темноте и улыбался и хотел рассказать маме про это чудо, но побоялся ее разбудить. И в конце концов заснул. А когда проснулся, я уже знал навсегда, что больше не буду реветь в жалостных местах, потому что я теперь могу в любую минуту вмешаться во все эти ужасные несправедливости, могу вмешаться и перевернуть все по-своему, и все будет хорошо. Надо только вовремя сказать: «Не пиф, не паф!»

Англичанин Павля



— Завтра первое сентября, — сказала мама. — И вот наступила осень, и ты пойдешь уже во второй класс. Ох, как летит время!..

— И по этому случаю, — подхватил папа, — мы сейчас «зарежем» арбуз!

И он взял ножик и взрезал арбуз. Когда он резал, был слышен такой полный, приятный, зеленый треск, что у меня прямо спина похолодела от предчувствия, как я буду есть этот арбуз. И я

уже раскрыл рот, чтобы вцепиться в розовый арбузный ломоть, но тут дверь распахнулась, и в комнату вошел Павля. Мы все страшно обрадовались, потому что он давно уже не был у нас и мы по нем соскучились.

— Ого, кто пришел! — сказал папа. — Сам Павля. Сам Павля-Бородавля!

— Садись с нами, Павлик, арбуз есть, — сказала мама, — Дениска, подвинься.

Я сказал:

— Привет! — и дал ему место рядом с собой.

— Привет! — сказал он и сел.

И мы начали есть и долго ели и молчали. Нам неохота было разговаривать.

А о чем тут разговаривать, когда во рту такая вкуснотища!

И когда Павле дали третий кусок, он сказал:

— Ах, люблю я арбуз. Даже очень. Мне бабушка никогда не дает его вволю поесть.

— А почему? — спросила мама.

— Она говорит, что после арбуза у меня получается не сон, а сплошная беготня.

— Правда, — сказал папа. — Вот поэтому-то мы и едим арбуз с утра пораньше. К вечеру его действие кончается, и можно спокойно спать. Ешь давай, не бойся.

— Я не боюсь, — сказал Павля.

И мы все опять занялись делом и опять долго молчали. И когда мама стала убирать корки, папа сказал:

— А ты чего, Павля, так давно не был у нас?

— Да, — сказал я. — Где ты пропадал? Что ты делал?

И тут Павля напыжился, покраснел, поглядел по сторонам и вдруг небрежно так обронил, словно нехотя:

— Что делал, что делал?.. Английский изучал, вот что делал.

Я прямо опешил. Я сразу понял, что я все лето зря прочепушил. С ежами возился, в лапту играл, пустяками занимался. А вот Павля, он времени не терял, нет, шалишь, он работал над собой, он повышал свой уровень образования.

Он изучал английский язык и теперь небось сможет переписываться с английскими пионерами и читать английские книжки!

Я сразу почувствовал, что умираю от зависти, а тут еще мама добавила:

— Вот, Дениска, учись. Это тебе не лапта!

— Молодец, — сказал папа. — Уважаю!

Павля прямо засиял.

— К нам в гости приехал студент, Сева. Так вот

он со мной каждый день занимается. Вот уже целых два месяца. Прямо замучил совсем.

— А что, трудный английский язык? — спросил я.

— С ума сойти, — вздохнул Павля.

— Еще бы не трудный, — вмешался папа. — Там у них сам черт ногу сломит. Уж очень сложное правописание. Пишется Ливерпуль, а произносится Манчестер.

— Ну да! — сказал я. — Верно, Павля?

— Прямо беда, — сказал Павля. — Я совсем измучился от этих занятий, похудел на двести граммов.

— Так что ж ты не пользуешься своими знаниями, Павлик? — сказала мама. — Ты почему, когда вошел, не сказал нам по-английски «здрасте»?

— Я «здрасте» еще не проходил, — сказал Павля.

— Ну вот ты арбуз поел, почему не сказал «спасибо»?

— Я сказал, — сказал Павля.

— Ну да, по-русски-то ты сказал, а по-английски?

— Мы до «спасибо» еще не дошли, — сказал Павля. — Очень трудное пропо-ви-сание.

Тогда я сказал:

— Павля, а научи-ка меня, как по-английски «раз, два, три».

— Я этого еще не изучил, — сказал Павля.

— А что же ты изучил? — закричал я. — За два месяца ты все-таки хоть что-нибудь-то изучил?

— Я изучил, как по-английски «Петя», — сказал Павля.

— Ну, как?

— «Пит»! — торжествующе объявил Павля. — По-английски «Петя» будет «Пит». — Он радостно засмеялся и добавил: — Вот завтра приду в класс и скажу Петьке Горбушкину: «Пит, а Пит, дай ластик!» Небось рот разинет, ничего не поймет. Вот потеха-то будет! Верно, Денис?

— Верно, — сказал я. — Ну, а что ты еще знаешь по-английски?

— Пока все, — сказал Павля.



Смерть шпиона Гадюкина



Оказывается, пока я болел, на улице стало совсем тепло и до весенних наших каникул осталось два или три дня. Когда я пришел в школу, все закричали:

— Дениска пришел, ура!

И я очень обрадовался, что пришел, и что все ребята сидят на своих местах — и Катя Точилина, и Мишка, и Валерка, — и цветы в горшках, и доска такая же блестящая, и Раиса Ивановна веселая,

и все, все как всегда. И мы с ребятами ходили и смеялись на переменке, а потом Мишка вдруг сделал важный вид и сказал:

— А у нас будет весенний концерт!

Я сказал:

— Ну да?

Мишка сказал:

— Верно! Мы будем выступать на сцене. И ребята из четвертого класса нам покажут постановку. Они сами сочинили. Интересная!..

Я сказал:

— А ты, Мишка, будешь выступать?

— Подрастешь — узнаешь.

И я стал с нетерпением дожидаться концерта. Дома я все это сообщил маме, а потом сказал:

— Я тоже хочу выступать…

Мама улыбнулась и говорит:

— А что ты умеешь делать?

Я сказал:

— Как, мама, разве ты не знаешь? Я умею громко петь. Ведь я хорошо пою? Ты не смотри, что у меня тройка по пению. Все равно я пою здорово.

Мама открыла шкаф и откуда-то из-за платьев сказала:

— Ты споешь в другой раз. Ведь ты болел… Ты просто будешь на этом концерте зрителем. — Она

вышла из-за шкафа. — Это так приятно — быть зрителем. Сидишь, смотришь, как артисты выступают… Хорошо! А в другой раз ты будешь артистом, а те, кто уже выступал, будут зрителями. Ладно?

Я сказал:

— Ладно. Тогда я буду зрителем.

И на другой день я пошел на концерт. Мама не могла со мной идти — она дежурила в институте, — папа как раз уехал на какой-то завод на Урал, и я пошел на концерт один. В нашем большом зале стояли стулья и была сделана сцена, и на ней висел занавес. А внизу сидел за роялем Борис Сергеевич. И мы все уселись, а по стенкам встали бабушки нашего класса. А я пока стал грызть яблоко.

Вдруг занавес открылся и появилась вожатая Люся. Она сказала громким голосом, как по радио:

— Начинаем наш весенний концерт! Сейчас ученик первого класса «В» Миша Слонов прочтет нам свои собственные стихи! Попросим!

Тут все захлопали и на сцену вышел Мишка. Он довольно смело вышел, дошел до середины и остановился. Он постоял так немножко и заложил руки за спину. Опять постоял. Потом

выставил вперед левую ногу. Все ребята сидели тихо-тихо и смотрели на Мишку. А он убрал левую ногу и выставил правую. Потом он вдруг стал откашливаться:

— Кхм! Кхм!.. Кхме!..

Я сказал:

— Ты что, Мишка, поперхнулся?

Он посмотрел на меня как на незнакомого. Потом поднял глаза в потолок и сказал:

— Стих.

Пройдут года, наступит старость!
Морщины вскочут на лице!
Желаю творческих успехов!
Чтоб хорошо учились и дальше все!

… Все!

И Мишка поклонился и полез со сцены. И все ему здорово хлопали, потому что, во-первых, стихи были очень хорошие, а во-вторых, подумать только: Мишка сам их сочинил! Просто молодец!

И тут опять вышла Люся и объявила:

— Выступает Валерий Тагилов, первый класс «В»!

Все опять захлопали еще сильнее, а Люся поставила стул на самой середке. И тут вышел наш Валерка со своим маленьким аккордеоном и сел

на стул, а чемодан от аккордеона поставил себе под ноги, чтобы они не болтались в воздухе. Он сел и заиграл вальс «Амурские волны». И все слушали, и я тоже слушал и все время думал: «Как это Валерка так быстро перебирает пальцами?» И я стал тоже так быстро перебирать пальцами по воздуху, но не мог поспеть за Валеркой. А сбоку, у стены, стояла Валеркина бабушка, она помаленьку дирижировала, когда Валерка играл. И он хорошо играл, громко, мне очень понравилось. Но вдруг он в одном месте сбился. У него остановились пальцы. Валерка немножко покраснел, но опять зашевелил пальцами, как будто дал им разбежаться; но пальцы добежали до какого-то места и опять остановились, ну просто как будто споткнулись. Валерка стал совсем красный и снова стал разбегаться, но теперь его пальцы бежали как-то боязливо, как будто знали, что они все равно опять споткнутся, и я уже готов был лопнуть от злости, но в это время на том самом месте, где Валерка два раза спотыкался, его бабушка вдруг вытянула шею, вся подалась вперед и запела:

… Серебрятся волны,
Серебрятся волны…

И Валерка сразу подхватил, и пальцы у него как

будто перескочили через какую-то неудобную ступеньку и побежали дальше, дальше, быстро и ловко до самого конца. Вот уж ему хлопали так хлопали!

После этого на сцену выскочили шесть девочек из первого «А» и шесть мальчиков из первого «Б». У девочек в волосах были разноцветные ленты, а у мальчиков ничего не было. Они стали танцевать украинский гопак. Потом Борис Сергеевич сильно ударил по клавишам и кончил играть.

А мальчишки и девчонки еще топали по сцене сами, без музыки, кто как, и это было очень весело, и я уже собирался тоже слазить к ним на сцену, но они вдруг разбежались. Вышла Люся и сказала:

— Перерыв пятнадцать минут. После перерыва учащиеся четвертого класса покажут пьесу, которую они сочинили всем коллективом, под названием «Собаке — собачья смерть».

И все задвигали стульями и пошли кто куда, а я вытащил из кармана свое яблоко и начал его догрызать.

А наша октябрятская вожатая Люся стояла тут же, рядом.

Вдруг к ней подбежала довольно высокая рыженькая девочка и сказала:

— Люся, можешь себе представить — Егоров не явился!

Люся всплеснула руками:

— Не может быть! Что же делать? Кто ж будет звонить и стрелять?

Девочка сказала:

— Нужно немедленно найти какого-нибудь сообразительного паренька, мы его научим, что делать.

Тогда Люся стала глядеть по сторонам и заметила, что я стою и грызу яблоко. Она сразу обрадовалась.

— Вот, — сказала она. — Дениска! Чего же лучше! Он нам поможет! Дениска, иди сюда!

Я подошел к ним поближе. Рыжая девочка посмотрела на меня и сказала:

— А он вправду сообразительный?

Люся говорит:

— По-моему, да!

А рыжая девочка говорит:

— А так, с первого взгляда, не скажешь.

Я сказал:

— Можешь успокоиться! Я сообразительный.

Тут они с Люсей засмеялись, и рыжая девочка потащила меня на сцену.

Там стоял мальчик из четвертого класса, он был

в черном костюме, и у него были засыпаны мелом волосы, как будто он седой; он держал в руках пистолет, а рядом с ним стоял другой мальчик, тоже из четвертого класса. Этот мальчик был приклеен к бороде, на носу у него сидели синие очки, и он был в клеенчатом плаще с поднятым воротником.

Тут же были еще мальчики и девочки, кто с портфелем в руках, кто с чем, а одна девочка в косынке, халатике и с веником.

Я как увидел у мальчика в черном костюме пистолет, так сразу спросил его:

— Это настоящий?

Но рыжая девочка перебила меня.

— Слушай, Дениска! — сказала она. — Ты будешь нам помогать. Встань тут сбоку и смотри на сцену. Когда вот этот мальчик скажет: «Этого вы от меня не добьетесь, гражданин Гадюкин!» — ты сразу позвони в этот звонок. Понял?

И она протянула мне велосипедный звонок. Я взял его.

Девочка сказала:

— Ты позвонишь, как будто это телефон, а этот мальчик снимет трубку, поговорит по телефону и уйдет со сцены. А ты стой и молчи. Понял?

Я сказал:

— Понял, понял… Чего тут не понять? А пистолет у него настоящий? Парабеллум или какой?

— Погоди ты со своим пистолетом… Именно, что он не настоящий! Слушай: стрелять будешь ты здесь, за сценой. Когда вот этот, с бородой, останется один, он схватит со стола папку и кинется к окну, а этот мальчик, в черном костюме, в него прицелится, тогда ты возьми эту дощечку и что есть силы стукни по стулу. Вот так, только гораздо сильней!

И рыженькая девочка бахнула по стулу доской. Получилось очень здорово, как настоящий выстрел. Мне понравилось.

— ЗдОрово! — сказал я. — А потом?

— Это все, — сказала девочка. — Если понял, повтори!

Я все повторил. Слово в слово. Она сказала:

— Смотри же, не подведи!

— Можешь успокоиться. Я не подведу.

И тут раздался наш школьный звонок, как на уроки.

Я положил велосипедный звонок на отопление, прислонил дощечку к стулу, а сам стал смотреть в щелочку занавеса. Я увидел, как пришли Раиса Ивановна и Люся, и как садились ребята, и как бабушки опять встали у стенок, а сзади чей-то па-

па взгромоздился на табуретку и начал наводить на сцену фотоаппарат. Было очень интересно отсюда смотреть туда, гораздо интересней, чем оттуда сюда. Постепенно все стали затихать, и девочка, которая меня привела, побежала на другую сторону сцены и потянула за веревку. И занавес открылся, и эта девочка спрыгнула в зал. А на сцене стоял стол, и за ним сидел мальчик в черном костюме, и я знал, что в кармане у него пистолет. А напротив этого мальчика ходил мальчик с бородой. Он сначала рассказал, что долго жил за границей, а теперь вот приехал опять, и потом стал нудным голосом приставать и просить, чтобы мальчик в черном костюме показал ему план аэродрома.

Но тот сказал:

— Этого вы от меня не добьетесь, гражданин Гадюкин!

Тут я сразу вспомнил про звонок и протянул руку к отоплению. Но звонка там не было. Я подумал, что он упал на пол, и наклонился посмотреть. Но его не было и на полу. Я даже весь обомлел. Потом я взглянул на сцену. Там было тихо-тихо. Но потом мальчик в черном костюме подумал и снова сказал:

— Этого вы от меня не добьетесь, гражданин

Гадюкин!

Я просто не знал, что делать. Где звонок? Он только что был здесь! Не мог же он сам ускакать, как лягушка! Может быть, он скатился за батарею? Я присел на корточки и стал шарить по пыли за батареей. Звонка не было! Нету!.. Люди добрые, что же делать?!

А на сцене бородатый мальчик стал ломать себе пальцы и кричать:

— Я вас пятый раз умоляю! Покажите план аэродрома!

А мальчик в черном костюме повернулся ко мне лицом и закричал страшным голосом:

— Этого вы от меня не добьетесь, гражданин Гадюкин!

И погрозил мне кулаком. И бородатый тоже погрозил мне кулаком. Они оба мне грозили!

Я подумал, что они меня убьют. Но ведь не было звонка! Звонка-то не было! Он же потерялся!

Тогда мальчик в черном костюме схватился за волосы и сказал, глядя на меня с умоляющим выражением лица:

— Сейчас, наверно, позвонит телефон! Вот увидите, сейчас позвонит телефон! Сейчас позвонит!

И тут меня осенило. Я высунул голову на сцену

и быстро сказал:

— Динь-динь-динь!

И все в зале страшно рассмеялись. Но мальчик в черном костюме очень обрадовался и сразу схватился за трубку. Он весело сказал:

— Слушаю вас! — и вытер пот со лба.

А дальше все пошло как по маслу. Мальчик в черном встал и сказал бородатому:

— Меня вызывают. Я приеду через несколько минут.

И ушел со сцены. И встал на другой стороне. И тут мальчик с бородой пошел на цыпочках к его столу и стал там рыться и все время оглядывался. Потом он злорадно рассмеялся, схватил какую-то папку и побежал к задней стене, на которой было наклеено картонное окно. Тут выбежал другой мальчик и стал в него целиться из пистолета. Я сразу схватил доску да как трахну по стулу изо всех сил. А на стуле сидела какая-то неизвестная кошка. Она закричала диким голосом, потому что я попал ей по хвосту. Выстрела не получилось, зато кошка поскакала на сцену. А мальчик в черном костюме бросился на бородатого и стал душить. Кошка носилась между ними. Пока мальчики боролись, у бородатого отвалилась борода. Кошка решила, что это мышь, схватила

ее и убежала. А мальчик как только увидел, что он остался без бороды, так сразу лег на пол — как будто умер. Тут на сцену прибежали остальные ребята из четвертого класса, кто с портфелем, кто с веником, они все стали спрашивать:

— Кто стрелял? Что за выстрелы?

А никто не стрелял. Просто кошка подвернулась и всему помешала. Но мальчик в черном костюме сказал:

— Это я убил шпиона Гадюкина!

И тут рыженькая девочка закрыла занавес. И все, кто был в зале, хлопали так сильно, что у меня заболела голова. Я быстренько спустился в раздевалку, оделся и побежал домой. А когда я бежал, мне все время что-то мешало. Я остановился, полез в карман и вынул оттуда… велосипедный звонок!



Старый мореход



Марья Петровна часто ходит к нам чай пить. Она вся такая полная, платье на нее натянуто тесно, как наволочка на подушку. У нее в ушах разные сережки болтаются. И душится она чем-то сухим и сладким. Я когда этот запах слышу, так у меня сразу горло сжимается. Марья Петровна всегда как только меня увидит, так сразу начинает приставать: кем я хочу быть. Я ей уже пять раз объяснял, а она все продолжает задавать один

и тот же вопрос. Чудная. Она когда первый раз к нам пришла, на дворе была весна, деревья все распустились, и в окна пахло зеленью, и, хотя был уже вечер, все равно было светло. И вот мама стала меня посылать спать, и, когда я не хотел ложиться, эта Марья Петровна вдруг говорит:

— Будь умницей, ложись спать, а в следующее воскресенье я тебя на дачу возьму, на Клязьму. Мы на электричке поедем. Там речка есть и собака, и мы на лодке покатаемся все втроем.

И я сразу лег, и укрылся с головой, и стал думать о следующем воскресенье, как я поеду на дачу, и пробегусь босиком по траве, и увижу речку, и, может быть, мне дадут погрести, и уключины будут звенеть, и вода будет булькать, и с весел в воду будут стекать капли, прозрачные, как стекло. И я подружусь там с собачонкой, Жучкой или Тузиком, и буду смотреть в его желтые глаза, и потрогаю его язык, когда он его высунет от жары.

И я так лежал, и думал, и слышал смех Марьи Петровны, и незаметно заснул, и потом целую неделю, когда ложился спать, думал все то же самое. И когда наступила суббота, я почистил ботинки и зубы, и взял свой перочинный ножик, и наточил его о плиту, потому что мало ли какую я палку себе вырежу, может быть, даже ореховую.

А утром я встал раньше всех, и оделся, и стал ждать Марью Петровну. Папа, когда позавтракал и прочитал газеты, сказал:

— Пошли, Дениска, на Чистые, погуляем!

— Что ты, папа! А Марья Петровна? Она сейчас приедет за мной, и мы отправимся на Клязьму. Там собака и лодка. Я ее должен подождать.

Папа помолчал, потом посмотрел на маму, потом пожал плечами и стал пить второй стакан чаю. А я быстро дозавтракал и вышел во двор. Я гулял у ворот, чтобы сразу увидеть Марью Петровну, когда она придет. Но ее что-то долго не было. Тогда ко мне подошел Мишка, он сказал:

— Слазим на чердак! Посмотрим, родились голубята или нет…

— Понимаешь, не могу… Я на денек в деревню уезжаю. Там собака есть и лодка. Сейчас за мной одна тетенька приедет, и мы поедем с ней на электричке.

Тогда Мишка сказал:

— Вот это да! А может, вы и меня захватите?

Я очень обрадовался, что Мишка тоже согласен ехать с нами, все-таки мне с ним куда интереснее будет, чем только с одной Марьей Петровной. Я сказал:

— Какой может быть разговор! Конечно, мы

тебя возьмем, с удовольствием! Марья Петровна добрая, чего ей стоит!

И мы стали вдвоем ждать с Мишкой. Мы вышли в переулок и долго стояли и ждали, и, когда появлялась какая-нибудь женщина, Мишка обязательно спрашивал:

— Эта?

И через минуту снова:

— Вон та?

Но это все были незнакомые женщины, и нам стало скучно, и мы устали так долго ждать.

Мишка рассердился и сказал:

— Мне надоело!

И ушел.

А я ждал. Я хотел ее дождаться. Я ждал до самого обеда. Во время обеда папа опять сказал, как будто между прочим:

— Так идешь на Чистые? Давай решай, а то мы с мамой пойдем в кино!

Я сказал:

— Я подожду. Ведь я обещал ей подождать. Не может она не прийти.

Но она не пришла. А я не был в этот день на Чистых прудах и не посмотрел на голубей, и папа, когда пришел из кино, велел мне уходить от ворот. Он обнял меня за плечи и сказал, когда

мы шли домой:

— Это все еще будет в твоей жизни. И трава, и речка, и лодка, и собака… Все будет, держи нос повыше!

Но я, когда лег спать, я все равно стал думать про деревню, лодку и собачонку, только как будто я там не с Марьей Петровной гуляю, а с Мишкой и с папой или с Мишкой и мамой. И время потекло, оно проходило, и я почти совсем забыл про Марью Петровну, как вдруг однажды, пожалуйте! Дверь растворяется, и она входит собственной персоной. И сережки в ушах звяк-звяк, и с мамой чмок-чмок, и на всю квартиру пахнет чем-то сухим и сладким, и все садятся за стол и начинают пить чай. Но я не вышел к Марье Петровне, я сидел за шкафом, потому что я сердился на Марью Петровну.

А она сидела как ни в чем не бывало, вот что было удивительно! И когда она напилась своего любимого чаю, она вдруг ни с того ни с сего заглянула за шкаф и схватила меня за подбородок.

— Ты что такой угрюмый?

— Ничего, — сказал я.

— Давай вылезай, — сказала Марья Петровна.

— Мне и здесь хорошо! — сказал я.

Тогда она захохотала, и все на ней брякало от

смеха, а когда отсмеялась, сказала:

— А чего я тебе подарю…

Я сказал:

— Ничего не надо!

Она сказала:

— Саблю не надо?

Я сказал:

— Какую?

— Буденновскую. Настоящую. Кривую.

Вот это да! Я сказал:

— А у вас есть?

— Есть, — сказала она.

— А она вам не нужна? — спросил я.

— А зачем? Я женщина, военному делу не училась, зачем мне сабля? Лучше я тебе ее подарю.

И было видно по ней, что ей нисколько не жаль сабли. Я даже поверил, что она и на самом деле добрая. Я сказал:

— А когда?

— Да завтра, — сказала она. — Вот завтра придешь после школы, а сабля — здесь. Вот здесь, я ее тебе прямо на кровать положу.

— Ну ладно, — сказал я и вылез из-за шкафа, и сел за стол и тоже пил с ней чай, и проводил ее до дверей, когда она уходила.

И на другой день в школе я еле досидел до

конца уроков и побежал домой сломя голову. Я бежал и размахивал рукой — в ней у меня была невидимая сабля, и я рубил и колол фашистов, и защищал черных ребят в Африке, и перерубил всех врагов Кубы. Я из них прямо капусты нарубил. Я бежал, а дома меня ждала сабля, настоящая буденновская сабля, и я знал, что, в случае чего, я сразу запишусь в добровольцы, и, раз у меня есть собственная сабля, меня обязательно примут. И когда я вбежал в комнату, я сразу бросился к своей раскладушке. Сабли не было. Я посмотрел под подушку, пошарил под одеялом и заглянул под кровать. Сабли не было. Не было сабли. Марья Петровна не сдержала слова. И сабли не было нигде. И не могло быть.

Я подошел к окну. Мама сказала:

— Может быть, она еще придет?

Но я сказал:

— Нет, мама, она не придет. Я так и знал.

Мама сказала:

— Зачем же ты под раскладушку-то лазил?..

Я объяснил ей:

— Я подумал: а вдруг она была? Понимаешь? Вдруг. На этот раз.

Мама сказала:

— Понимаю. Иди поешь.

И она подошла ко мне. А я поел и снова встал у окна. Мне не хотелось идти во двор.

А когда пришел папа, мама ему все рассказала, и он подозвал меня к себе. Он снял со своей полки какую-то книгу и сказал:

— Давай-ка, брат, почитаем чудесную книжку про собаку. Называется «Майкл — брат Джерри». Джек Лондон написал.

И я быстро устроился возле папы, и он стал читать. Он хорошо читает, просто здорово! Да и книжка была ценная. Я в первый раз слушал такую интересную книжку. Приключения собаки. Как ее украл один боцман. И они поехали на корабле искать клады. А корабль принадлежал трем богачам. Дорогу им указывал Старый Мореход, он был больной и одинокий старик, он говорил, что знает, где лежат несметные сокровища, и обещал этим трем богачам, что они получат каждый целую кучу алмазов и брильянтов, и эти богачи за эти обещания кормили Старого Мехода. А потом вдруг выяснилось, что корабль не может доехать до места, где клады, из-за нехватки воды. Это тоже подстроил Старый Мореход. И пришлось богачам ехать обратно несолоно хлебавши. Старый Мореход этим обманом добывал себе пропитание, потому что он был израненный

бедный старик.

И когда мы окончили эту книжку и снова стали ее всю вспоминать, с самого начала, папа вдруг засмеялся и сказал:

— А этот-то хорош, Старый Мореход! Да он просто обманщик, вроде твоей Марьи Петровны.

Но я сказал:

— Что ты, папа! Совсем не похоже. Ведь Старый Мореход обманывал, чтобы спасти свою жизнь. Ведь он же одинокий был, больной. А Марья Петровна? Разве она больная?

— Здоровая, — сказал папа.

— Ну да, — сказал я. — Ведь если бы Старый Мореход не врал, он бы умер, бедняга, где-нибудь в порту, прямо на голых камнях, между ящиками и тюками, под ледяным ветром и проливным дождем. Ведь у него не было крова над головой! А у Марьи Петровны чудесная комната — восемнадцать метров со всеми удобствами. И сколько у нее сережек, побрякушек и цепочек!

— Потому что она мещанка, — сказал папа.

И я хотя и не знал, что такое мещанка, но я понял по папиному голосу, что это что-то скверное, и я ему сказал:

— А Старый Мореход был благородный: он спас своего больного друга, боцмана, — это раз. И ты

еще подумай, папа, ведь он обманывал только проклятых богачей, а Марья Петровна — меня. Объясни, зачем она меня-то обманывает? Разве я богач?

— Да забудь ты, — сказала мама, — не стоит так переживать!

А папа посмотрел на нее и покачал головой и замолчал. И мы лежали вдвоем на диване и молчали, и мне было тепло рядом с ним, и я захотел спать, но перед самым сном я все-таки подумал:

«Нет, эту ужасную Марью Петровну нельзя даже и сравнивать с таким человеком, как мой милый, добрый Старый Мореход!»



Запах неба и махорочки



Если подумать, так это просто какой-то ужас: я еще ни разу не летал на самолетах. Правда, один раз я чуть-чуть не полетел, да не тут-то было. Сорвалось. Прямо беда. И это не так давно случилось. Я уже не маленький был, хотя нельзя сказать, что и большой. В то время у мамы был отпуск, и мы гостили у ее родных, в одном большом колхозе. Там было много тракторов и косилок, но главное, там водились животные: лошади,

цыплята и собаки. И была веселая компания ребят. Все с белыми волосами и очень дружные. По ночам, когда я ложился спать в маленькой светелке, было слышно, как где-то далеко гармонисты играют что-то печальное, и под эту музыку я сразу засыпал.

И я полюбил всех в этом колхозе, и особенно ребят, и решил, что проживу здесь для начала лет сорок, а там видно будет. Но вдруг стоп, машина! Здравствуйте! Мама сказала, что отпуск промчался как одно мгновение и нам надо срочно домой. Она спросила у дедушки Вали:

— Когда вечерний поезд?

Он сказал:

— А чего тебе поездом-то телепаться? Валяй на самолете! Аэропорт-то в трех верстах. Момент, и вы с Дениской в Москве!

Ну что за дедушка Валя — золотой человек! Добрый. Он один раз мне божью коровку подарил. Я его никогда не забуду за это. И теперь тоже. Он когда увидел, как мне хочется лететь на самолете, то в два счета уговорил маму, и она, хотя и неохотно, но все-таки согласилась. И дедушка Валя, чтобы не гонять пятитонку по пустякам, запряг лошадь, положил наш тяжелый чемодан в телегу, на сенцо, и мы уселись и поехали. Я просто

не знаю, как сказать, до чего было здорово ехать, слушать, как скрипит тележка, и слышать, как вокруг пахнет полем, дегтем и махорочкой. И я радовался, что сейчас полечу, потому что Мишка у нас в Москве во дворе рассказывал, как он с папой летал в Тбилиси, какой у них был самолет огромный, из трех комнат, и как им давали конфет сколько хочешь, а на завтрак сосиски в целлофановом мешочке и чай на подвесных столиках. И я так совсем задумался, как вдруг наша тележка въехала в высокие деревянные ворота, украшенные елочными ветками. Ветки были старые, они пожелтели. За этими воротами тоже было поле, только трава была какая-то не пышная, а пожухлая и потертая. Немножко подальше, прямо перед нами, стоял небольшой домик. И дедушка Валя поехал к нему. Я сказал:

— Зачем мы сюда едем? Мне надоело трястись. Поедем поскорее в аэропорт.

Дедушка Валя сказал:

— А это чего? Это и есть аэропорт… Иль ослеп?

У меня просто сердце упало. Это пожухлое поле — аэропорт? Чепуха какая! А где красота? Ведь никакой же красоты! Я сказал:

— А самолеты?

— Вот войдем в аэровокзал, — он показал на

домик, — пройдем его насквозь, выйдем в другие двери, там и будут тебе самолеты… Покормить, что ли?..

И он повязал нашей лошади на голову мешок с овсом, и она начала хрупать.

А мы пошли в этот домик. В нем было душно и пахло щами. В первой комнате сидели люди. Тут был дяденька с колесом и старушка с мешком. В мешке кто-то дышал — наверно, поросенок. Еще была женщина с двумя мальчатами в розовых рубашках и одним грудным. Она его завернула в пеленки туго-натуго, и он был похож на гусеничку, потому что все время корчился. Тут же был газетный киоск. Дедушка Валя поставил наш тяжелый чемодан возле мамы и подошел к киоску. Я пошел за ним.

Но киоск не работал.

Там в стекле была бумажка, а на ней надпись печатными буквами:

«Приду через 20».

Я прочел эту надпись вслух. Дядька, что был с колесом, сказал:

— Смотрите — читает!

И все посмотрели на меня. А я сказал:

— И всего-то шесть лет.

Они все засмеялись. Дедушка Валя, когда

смеялся, показывал все свои зубы. Они у него интересные были: один вверху направо, а другой внизу налево. Дедушка долго хохотал. В это время в комнату заглянул какой-то толстый парень. Он сказал:

— Кто на Москву?

— Мы, — сказали все хором и заторопились. — На Москву — это мы!

— За мной, — сказал парень и пошел.

Все двинулись за ним. Мы прошли длинным коридором на другую сторону дома. Там была открытая дверь. Сквозь нее было видно синее небо. Перед выходом стояли два богатыря — дядьки здоровенные, прямо как борцы в цирке. У одного была черная борода, а у другого рыжая. Возле них стояли весы. Когда пришла наша очередь, дедушка Валя крякнул и вскинул тяжелый чемодан на прилавок. Чемодан взвесили, и мама сказала:

— Далеко до самолета?

— Метров четыреста, — сказал Рыжий Богатырь.

— А то и все пятьсот, — сказал Черный.

— Помогите, пожалуйста, донести чемодан, — сказала мама.

— У нас самообслуживание, — сказал Рыжий.

Дедушка Валя подмигнул маме, закашлялся,

взял чемодан, и мы вышли в открытую дверь. Вдалеке стоял какой-то самолетик, похожий на стрекозу, только на журавлиных ногах. Впереди шли все наши знакомые: Колесо, Мешок с поросенком, Розовые Рубашонки, Гусеничка. И скоро мы пришли к самолету. Вблизи он показался еще меньше, чем издали. Все стали в него карабкаться, а мама сказала:

— Ну и ну! Это что — дедушка русской авиации?

— Это всего-навсего внутриобластная авиация, — сказал наш дед Валя. — Конечно, не «ТУ-104»! Ничего не поделаешь. А все-таки летает! Аэрофлот.

— Да? — спросила мама. — Летает? Это мило! Он все-таки летает? Ох, напрасно мы не поехали поездом! Что-то я не доверяю этому птеродактилю. Какие-то средние века…

— Не лайнер, конечно! — сказал дедушка Валя. — Не стану врать. Не лайнер, упаси Господь! Куда там!

И он стал прощаться с мамой, а потом со мной. Он несильно кольнул меня своей голубой бородой в щеку, и мне было приятно, что он пахнет махорочкой, и потом мы с мамой полезли в самолет. Внутри самолета, вдоль стен, стояли две

длинные скамейки. И летчика было видно, у него не было отдельной кабины, а была только легкая дверца, она была раскрыта, и он помахал мне рукой, когда я вошел в самолет.

У меня сразу от этого стало лучше настроение, и я уселся и устроился довольно удобно — ноги на чемодан.

Пассажиры сидели друг против друга. Напротив меня сидели Розовые Рубашонки. Летчик то включал, то выключал мотор.

И по всему было видно, что мы вот-вот взлетим. Я даже стал держаться за скамейку, но в это время к самолету подъехал грузовик, заваленный какими-то железными чушками. Из грузовика выскочили два человека. Они что-то крикнули летчику. Откинули у своей машины борт, подъехали к самым дверям нашего лайнера и стали грузить свои железные чушки и болванки прямо в самолет. Когда грузчик бухнул свою первую железку где-то в хвосте самолета, летчик оглянулся и сказал:

— Потише там швыряйте. Пол проломить захотели?

Но грузчик сказал:

— Не бойсь!

Тут его товарищ принес следующую чушку и

опять:

«Бряк!»

А первый приволок новую:

«Шварк!»

А тот еще одну:

«Буц!»

Потом еще:

«Дзынь!»

Летчик говорит:

— Эй вы там! Вы все в хвост не валите. А то я перекинусь в воздухе. Задний кувырок через хвост — и будь здоров.

Грузчик сказал:

— Не бойсь!

И снова:

«Бамс!»

«Глянц!»

Летчик говорит:

— Много там еще?

— Тонны полторы, — ответил грузчик.

Тут наш летчик прямо вскипел и схватился за голову.

— Вы что? — закричал он. — Ошалели, что ли! Вы понимаете, что я не взлечу? А?!

А грузчик опять:

— Не бойсь!

И снова:

«Брумс!»

«Брамс!»

От этих дел в нашем самолете образовалась какая-то жуткая тишина.

Мама была совершенно белая, а у меня щекотало в животе.

А тут:

«Брамс!»

Летчик скинул с себя фуражку и закричал:

— Я вам последний раз говорю — перестаньте таскать! У меня мотор барахлит! Вот, послушайте!

И он включил мотор. Мы услышали сначала ровное: трррррррррррр… А потом ни с того ни с сего: чав-чав-чав-чав…

И сейчас же: хлюп-хлюп-хлюп…

И вдруг: сюп-сюп-сюп… Пии-пии! Пии…

Летчик говорит:

— Ну? Можно при таком моторе перегружать машину?

Грузчик отвечает:

— Не бойсь! Это мы по приказу Сергачева грузим. Сергачев приказал, мы и грузим.

Тут наш летчик немножко скис и примолк. Мама стала желтая, а старушкин поросенок вдруг

завизжал, как будто понял, что здесь шутки плохи. А грузчики свое:

«Трух!»

«Трах!»

Но летчик все-таки взбунтовался:

— Вы мне устраиваете вынужденную посадку! Я прошлое лето тоже вот так десять километров не дотянул до Кошкина. И сел в чистом поле! Хорошо это, по-вашему, пассажиров пешком гонять по десять верст?

— Не подымай паники! — сказал грузчик. — Сойдет!

— Я лучше свою машину знаю, сойдет или нет! — крикнул летчик. — Интересно мне, по-твоему, полную машину людей гробить? Сергачева за них не посадят, нет. А меня посадят!

— Не посадят, — сказал грузчик. — А посадят — передачу принесу.

И как ни в чем не бывало:

«Ббррынзь!»

Тут мама встала и сказала:

— Товарищ водитель! Скажите, пожалуйста, есть у меня до отлета минут пять?

— Идите, — сказал летчик, — только проворнее… А чемодан зачем берете?

— Я переоденусь, — сказала мама храбро, — а

то мне жарко. Я задыхаюсь от жары.

— Быстренько, — сказал летчик.

Мама схватила меня под мышки и поволокла к двери. Там меня подхватил грузчик и поставил на землю. Мама выскочила следом. Грузчик протянул ей чемодан. И хотя наша мама всегда была очень слабая, но тут она подхватила наш тяжеленный чемоданище на плечо и помчалась прочь от самолета. Она держала курс на аэровокзал. Я бежал за ней. На крыльце стоял дедушка Валя. Он только всплеснул руками, когда увидел нас. И он, наверно, сразу все понял, потому что ни о чем не спросил маму. Все вместе мы, как будто сговорились, молча пробежали сквозь этот нескладный дом на другую сторону, к лошади. Мы вскочили в телегу и собрались ехать, но, когда я обернулся, я увидел, что от аэропорта по пыльной дорожке, по жухлой траве к нам бегут, спотыкаясь и протягивая руки, обе Розовые Рубашонки. За ними бежала их мама с маленькой, туго запеленатой Гусеничкой. Она прижимала ее к сердцу. Мы их всех погрузили к себе. Дедушка Валя дернул вожжи, лошадь тронула, и я откинулся на спину. Повсюду было синее небо, тележка скрипела, и ах как вкусно пахло полем, дегтем и махорочкой.



Двадцать лет под кроватью



Никогда я не забуду этот зимний вечер. На дворе было холодно, ветер тянул сильный, прямо резал щеки, как кинжалом, снег вертелся со страшной быстротой. Тоскливо было и скучно, просто выть хотелось, а тут еще папа и мама ушли в кино. И когда Мишка позвонил по телефону и позвал меня к себе, я тотчас же оделся и помчался к нему. Там было светло и тепло и собралось много народу, пришла Аленка, за нею Костик и Андрюшка.

Мы играли во все игры, и было весело и шумно. И под конец Аленка вдруг сказала:

— А теперь в прятки! Давайте в прятки!

И мы стали играть в прятки. Это было прекрасно, потому что мы с Мишкой все время подстраивали так, чтобы водить выпадало маленьким: Костику или Аленке, — а сами все время прятались и вообще водили малышей за нос. Но все наши игры проходили только в Мишкиной комнате, и это довольно скоро нам стало надоедать, потому что комната была маленькая, тесная и мы все время прятались за портьеру, или за шкаф, или за сундук, и в конце концов мы стали потихоньку выплескиваться из Мишкиной комнаты и заполнили своей игрой большущий длинный коридор квартиры.

В коридоре было интереснее играть, потому что возле каждой двери стояли вешалки, а на них висели пальто и шубы. Это было гораздо лучше для нас, потому что, например, кто водит и ищет нас, тот, уж конечно, не сразу догадается, что я притаился за Марьсемениной шубой и сам влез в валенки как раз под шубой.

И вот, когда водить выпало Костику, он отвернулся к стене и стал громко выкрикивать:

— Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Я иду искать!

Тут все брызнули в разные стороны, кто куда, чтобы прятаться. А Костик немножко подождал и крикнул снова:

— Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Я иду искать! Опять!

Это считалось как бы вторым звонком. Мишка сейчас же залез на подоконник, Аленка — за шкаф, а мы с Андрюшкой выскользнули в коридор. Тут Андрюшка, не долго думая, полез под шубу Марьи Семеновны, где я все время прятался, и оказалось, что я остался без места! И я хотел дать Андрюшке подзатыльник, чтобы он освободил мое место, но тут Костик крикнул третье предупреждение:

— Пора не пора, я иду со двора!

И я испугался, что он меня сейчас увидит, потому что я совершенно не спрятался, и я заметался по коридору туда-сюда, как подстреленный заяц И тут в самое нужное время я увидел раскрытую дверь и вскочил в нее.

Это была какая-то комната, и в ней на самом видном месте, у стены, стояла кровать, высокая и широкая, так что я моментально нырнул под эту кровать. Там был приятный полумрак и лежало довольно много вещей, и я стал сейчас же их рассматривать. Во-первых, под этой кроватью

было очень много туфель разных фасонов, но все довольно старые, а еще стоял плоский деревянный чемодан, а на чемодане стояло алюминиевое корыто вверх тормашками, и я устроился очень удобно: голову на корыто, чемодан под поясницей — очень ловко и уютно. Я рассматривал разные тапочки и шлепанцы и все время думал, как это здорово я спрятался и сколько смеху будет, когда Костик меня тут найдет.

Я отогнул немножко кончик одеяла, которое свешивалось со всех сторон до пола и закрывало от меня всю комнату: я хотел глядеть на дверь, чтобы видеть, как Костик войдет и будет меня искать. Но в это время в комнату вошел никакой не Костик, а вошла Ефросинья Петровна, симпатичная старушка, но немножко похожая на бабу-ягу.

Она вошла, вытирая руки о полотенце.

Я все время потихоньку наблюдал за нею, думал, что она обрадуется, когда увидит, как Костик вытащит меня из-под кровати. А я еще для смеху возьму какую-нибудь ее туфлю в зубы, она тогда наверняка упадет от смеха. Я был уверен, что вот еще секунда или две промелькнут, и Костик обязательно меня обнаружит. Поэтому я сам все время смеялся про себя, без звука.

У меня было чудесное настроение. И я все время

поглядывал на Ефросинью Петровну. А она тем временем очень спокойно подошла к двери и ни с того ни с сего плотно захлопнула ее. А потом, гляжу, повернула ключик — и готово! Заперлась. Ото всех заперлась! Вместе со мной и корытом. Заперлась на два оборота.

В комнате сразу стало как-то тихо и зловеще. Но тут я подумал, что это она заперлась не надолго, а на минутку, и сейчас отопрет дверь, и все пойдет как по маслу, и опять будет смех и радость, и Костик будет просто счастлив, что вот он в таком трудном месте меня отыскал! Поэтому я хотя и оробел, но не до конца, и все продолжал посматривать на Ефросинью Петровну, что же она будет делать дальше.

А она села на кровать, и надо мной запели и заскрежетали пружины, и я увидел ее ноги. Она одну за другой скинула с себя туфли и прямо в одних чулках подошла к двери, и у меня от радости заколотилось сердце.

Я был уверен, что она сейчас отопрет замок, но не тут-то было. Можете себе представить, она — чик! — и погасила свет. И я услышал, как опять завыли пружины над моей головой, а кругом кромешная тьма, и Ефросинья Петровна лежит в своей постели и не знает, что я тоже здесь, под

кроватью. Я понял, что попал в скверную историю, что теперь я в заточении, в ловушке.

Сколько я буду тут лежать? Счастье, если час или два! А если до утра? А как утром вылезать? А если я не приду домой, папа и мама обязательно сообщат в милицию. А милиция придет с собакой-ищейкой. По кличке Мухтар. А если в нашей милиции никаких собак нету? И если милиция меня не найдет? А если Ефросинья Петровна проспит до самого утра, а утром пойдет в свой любимый сквер сидеть целый день и снова запрет меня, уходя? Тогда как? Я, конечно, поем немножко из ее буфета, и, когда она придет, придется мне лезть под кровать, потому что я съел ее продукты и она отдаст меня под суд! И чтобы избежать позора, я буду жить под кроватью целую вечность? Ведь это самый настоящий кошмар! Конечно, тут есть тот плюс, что я всю школу просижу под кроватью, но как быть с аттестатом, вот в чем вопрос. С аттестатом зрелости! Я под кроватью за двадцать лет не то что созрею, я там вполне перезрею.

Тут я не выдержал и со злости как трахнул кулаком по корыту, на котором лежала моя голова! Раздался ужасный грохот! И в этой страшной тишине при погашенном свете и в таком моем

жутком положении мне этот стук показался раз в двадцать сильнее. Он просто оглушил меня.

И у меня сердце замерло от испуга. А Ефросинья Петровна надо мной, видно, проснулась от этого грохота. Она, наверное, давно спала мирным сном, а тут пожалуйте — тах-тах из-под кровати! Она полежала маленько, отдышалась и вдруг спросила темноту слабым и испуганным голосом:

— Ка-ра-ул?!

Я хотел ей ответить: «Что вы, Ефросинья Петровна, какое там «караул»? Спите дальше, это я, Дениска!» Я все это хотел ей ответить, но вдруг вместо ответа как чихну во всю ивановскую, да еще с хвостиком:

— Апчхи! Чхи! Чхи! Чхи!..

Там, наверное, пыль поднялась под кроватью ото всей этой возни, но Ефросинья Петровна после моего чиханья убедилась, что под кроватью происходит что-то неладное, здорово перепугалась и закричала уже не с вопросом, а совершенно утвердительно:

— Караул!

И я, непонятно почему, вдруг опять чихнул изо всех сил, с каким-то даже подвыванием чихнул, вот так:

— Апчхи-уу!

Ефросинья Петровна как услышала этот вой, так закричала еще тише и слабей:

— Грабят!..

И видно, сама подумала, что если грабят, так это ерунда, не страшно. А вот если… И тут она довольно громко завопила:

— Режут!

Вот какое вранье! Кто ее режет? И за что? И чем? Разве можно по ночам кричать неправду? Поэтому я решил, что пора кончать это дело, и раз она все равно не спит, мне надо вылезать.

И все подо мной загремело, особенно корыто, ведь я в темноте не вижу. Грохот стоит дьявольский, а Ефросинья Петровна уже слегка помешалась и кричит какие-то странные слова:

— Грабаул! Караулят!

А я выскочил, и по стене шарю, где тут выключатель, и нашел вместо выключателя ключ, и обрадовался, что это дверь. Я повернул ключ, но оказалось, что я открыл дверь от шкафа, и я тут же перевалился через порог этой двери, и стою, и тычусь в разные стороны, и только слышу, мне на голову разное барахло падает.

Ефросинья Петровна пищит, а я совсем онемел от страха, а тут кто-то забарабанил в настоящую

дверь!

— Эй, Дениска! Выходи сейчас же! Ефросинья Петровна! Отдайте Дениску, за ним его папа пришел!

И папин голос:

— Скажите, пожалуйста, у вас нет моего сына?

Тут вспыхнул свет. Открылась дверь. И вся наша компания ввалилась в комнату. Они стали бегать по комнате, меня искать, а когда я вышел из шкафа, на мне было две шляпки и три платья.

Папа сказал:

— Что с тобой было? Где ты пропадал?

Костик и Мишка сказали тоже:

— Где ты был, что с тобой приключилось? Рассказывай!

Но я молчал. У меня было такое чувство, что я и в самом деле просидел под кроватью ровно двадцать лет.



Девочка на шаре



Один раз мы всем классом пошли в цирк. Я очень радовался, когда шел туда, потому что мне уже скоро восемь лет, а я был в цирке только один раз, и то очень давно. Главное, Аленке всего только шесть лет, а вот она уже успела побывать в цирке целых три раза. Это очень обидно. И вот теперь мы всем классом пошли в цирк, и я думал, как хорошо, что уже большой и что сейчас, в этот раз, все увижу как следует. А в тот раз я был

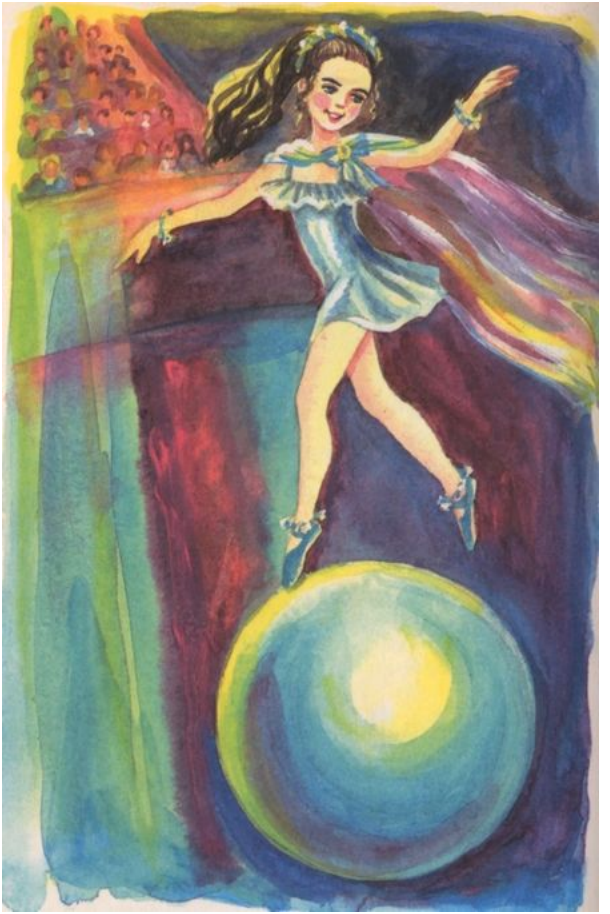
маленький, я не понимал, что такое цирк. В тот раз, когда на арену вышли акробаты и один полез на голову другому, я ужасно расхохотался, потому что думал, что это они так нарочно делают, для смеху, ведь дома я никогда не видел, чтобы взрослые дядьки карабкались друг на друга. И на улице тоже этого не случалось. Вот я и рассмеялся во весь голос. Я не понимал, что это артисты показывают свою ловкость. И еще в тот раз я все больше смотрел на оркестр, как они играют — кто на барабане, кто на трубе, — и дирижер машет палочкой, и никто на него не смотрит, а все играют как хотят. Это мне очень понравилось, но пока я смотрел на этих музыкантов, в середине арены выступали артисты. И я их не видел и пропускал самое интересное. Конечно, я в тот раз еще совсем глупый был.

И вот мы пришли всем классом в цирк. Мне сразу понравилось, что он пахнет чем-то особенным, и что на стенах висят яркие картины, и кругом светло, и в середине лежит красивый ковер, а потолок высокий, и там привязаны разные блестящие качели. И в это время заиграла музыка, и все кинулись рассаживаться, а потом накупили эскимо и стали есть. И вдруг из-за красной занавески вышел целый отряд каких-то

людей, одетых очень красиво — в красные костюмы с желтыми полосками. Они встали по бокам занавески, и между ними прошел их начальник в черном костюме. Он громко и немножко непонятно что-то прокричал, и музыка заиграла быстро-быстро и громко, и на арену выскочил артист-жонглер, и началась потеха. Он кидал шарики, по десять или по сто штук вверх, и ловил их обратно. А потом схватил полосатый мяч и стал им играть... Он и головой его подшибал, и затылком, и лбом, и по спине катал, и каблуком наподдавал, и мяч катался по всему его телу как примагниченный. Это было очень красиво. И вдруг жонглер кинул этот мячик к нам в публику, и тут уж началась настоящая суматоха, потому что я поймал этот мяч и бросил его в Валерку, а Валерка — в Мишку, а Мишка вдруг нацелился и ни с того ни с сего засветил прямо в дирижера, но в него не попал, а попал в барабан! Бамм! Барабанщик рассердился и кинул мяч обратно жонглеру, но мяч не долетел, он просто угодил одной красивой тетеньке в прическу, и у нее получилась не прическа, а нахлобучка. И мы все так хохотали, что чуть не померли.

И когда жонглер убежал за занавеску, мы долго не могли успокоиться. Но тут на арену выкатили

огромный голубой шар, и дядька, который объявляет, вышел на середину и что-то прокричал неразборчивым голосом. Понять нельзя было ничего, и оркестр опять заиграл что-то очень веселое, только не так быстро, как раньше.



И вдруг на арену выбежала маленькая девочка. Я таких маленьких и красивых никогда не видел. У нее были синие-синие глаза, и вокруг них были длинные ресницы. Она была в серебряном платье с воздушным плащом, и у нее были длинные руки; она ими взмахнула, как птица, и вскочила на этот огромный голубой шар, который для нее выкатили. Она стояла на шаре. И потом вдруг побежала, как будто захотела спрыгнуть с него, но шар завертелся под ее ногами, и она на нем вот так, как будто бежала, а на самом деле ехала вокруг арены. Я таких девочек никогда не видел. Все они были обыкновенные, а эта какая-то особенная. Она бегала по шару своими маленькими ножками, как по ровному полу, и голубой шар вез ее на себе: она могла ехать на нем и прямо, и назад, и налево, и куда хочешь! Она весело смеялась, когда так бегала, как будто плыла, и я подумал, что она, наверно, и есть Дюймовочка, такая она была маленькая, милая и необыкновенная. В это время она остановилась, и кто-то ей подал разные колокольчатые браслеты, и она надела их себе на туфельки и на руки и снова стала медленно кружиться на шаре, как будто танцевать. И оркестр заиграл тихую музыку, и было слышно, как тонко звенят золотые колокольчики на

девочкиных длинных руках. И это все было как в сказке. И тут еще потушили свет, и оказалось, что девочка вдобавок умеет светиться в темноте, и она медленно плыла по кругу, и светилась, и звенела, и это было удивительно, — я за всю свою жизнь не видел ничего такого подобного.

И когда зажгли свет, все захлопали и завопили «браво», и я тоже кричал «браво». А девочка соскочила со своего шара и побежала вперед, к нам поближе, и вдруг на бегу перевернулась через голову, как молния, и еще, и еще раз, и все вперед и вперед. И мне показалось, что вот она сейчас разобьется о барьер, и я вдруг очень испугался, и вскочил на ноги, и хотел бежать к ней, чтобы подхватить ее и спасти, но девочка вдруг остановилась как вкопанная, раскинула свои длинные руки, оркестр замолк, и она стояла и улыбалась. И все захлопали изо всех сил и даже застучали ногами. И в эту минуту эта девочка посмотрела на меня, и я увидел, что она увидела, что я ее вижу и что я тоже вижу, что она видит меня, и она помахала мне рукой и улыбнулась. Она мне одному помахала и улыбнулась. И я опять захотел подбежать к ней, и я протянул к ней руки. А она вдруг послала всем воздушный поцелуй и убежала за красную занавеску, куда убегали

все артисты. И на арену вышел клоун со своим петухом и начал чихать и падать, но мне было не до него. Я все время думал про девочку на шаре, какая она удивительная и как она помахала мне рукой и улыбнулась, и больше уже ни на что не хотел смотреть. Наоборот, я крепко зажмурил глаза, чтобы не видеть этого глупого клоуна с его красным носом, потому что он мне портил мою девочку: она все еще мне представлялась на своем голубом шаре.

А потом объявили антракт, и все побежали в буфет пить ситро, а я тихонько спустился вниз и подошел к занавеске, откуда выходили артисты.

Мне хотелось еще раз посмотреть на эту девочку, и я стоял у занавески и глядел — вдруг она выйдет? Но она не выходила.

А после антракта выступали львы, и мне не понравилось, что укротитель все время таскал их за хвосты, как будто это были не львы, а дохлые кошки. Он заставлял их пересаживаться с места на место или укладывал их на пол рядком и ходил по львам ногами, как по ковру, а у них был такой вид, что вот им не дают полежать спокойно. Это было неинтересно, потому что лев должен охотиться и гнаться за бизоном в бескрайних пампасах и оглашать окрестности

грозным рычанием, приводящим в трепет туземное население. А так получается не лев, а просто я сам не знаю что.

И когда кончилось и мы пошли домой, я все время думал про девочку на шаре.

А вечером папа спросил:

— Ну как? Понравилось в цирке?

Я сказал:

— Папа! Там в цирке есть девочка. Она танцует на голубом шаре. Такая славная, лучше всех! Она мне улыбнулась и махнула рукой! Мне одному, честное слово! Понимаешь, папа? Пойдем в следующее воскресенье в цирк! Я тебе ее покажу!

Папа сказал:

— Обязательно пойдем. Обожаю цирк!

А мама посмотрела на нас обоих так, как будто увидела в первый раз.

… И началась длиннющая неделя, и я ел, учился, вставал и ложился спать, играл и даже дрался, и все равно каждый день думал, когда же придет воскресенье, и мы с папой пойдем в цирк, и я снова увижу девочку на шаре, и покажу ее папе, и, может быть, папа пригласит ее к нам в гости, и я подарю ей пистолет-браунинг и нарисую корабль на всех парусах.

Но в воскресенье папа не смог идти. К нему

пришли товарищи, они копались в каких-то чертежах, и кричали, и курили, и пили чай, и сидели допоздна, и после них у мамы разболелась голова, а папа сказал мне:

— В следующее воскресенье… Даю клятву Верности и Чести.

И я так ждал следующего воскресенья, что даже не помню, как прожил еще одну неделю. И папа сдержал свое слово: он пошел со мной в цирк и купил билеты во второй ряд, и я радовался, что мы так близко сидим, и представление началось, и я начал ждать, когда появится девочка на шаре. Но человек, который объявляет, все время объявлял разных других артистов, и они выходили и выступали по-всякому, но девочка все не появлялась. А я прямо дрожал от нетерпения, мне очень хотелось, чтобы папа увидел, какая она необыкновенная в своем серебряном костюме с воздушным плащом и как она ловко бегает по голубому шару. И каждый раз, когда выходил объявляющий, я шептал папе:

— Сейчас он объявит ее!

Но он, как назло, объявлял кого-нибудь другого, и у меня даже ненависть к нему появилась, и я все время говорил папе:

— Да ну его! Это ерунда на постном масле! Это

не то!

А папа говорил, не глядя на меня:

— Не мешай, пожалуйста. Это очень интересно! Самое то!

Я подумал, что папа, видно, плохо разбирается в цирке, раз это ему интересно. Посмотрим, что он запоет, когда увидит девочку на шаре. Небось подскочит на своем стуле на два метра в высоту…

Но тут вышел объявляющий и своим глухонемым голосом крикнул:

— Ант-рра-кт!

Я просто ушам своим не поверил! Антракт? А почему? Ведь во втором отделении будут только львы! А где же моя девочка на шаре? Где она? Почему она не выступает? Может быть, она заболела? Может быть, она упала и у нее сотрясение мозга?

Я сказал:

— Папа, пойдем скорей, узнаем, где же девочка на шаре!

Папа ответил:

— Да, да! А где же твоя эквилибристка? Что-то не видать! Пойдем-ка купим программку!..

Он был веселый и довольный. Он огляделся вокруг, засмеялся и сказал:

— Ах, люблю… Люблю я цирк! Самый запах этот… Голову кружит…

И мы пошли в коридор. Там толклось много народу, и продавались конфеты и вафли, и на стенках висели фотографии разных тигриных морд, и мы побродили немного и нашли наконец контролершу с программками. Папа купил у нее одну и стал просматривать. А я не выдержал и спросил у контролерши:

— Скажите, пожалуйста, а когда будет выступать девочка на шаре?

— Какая девочка?

Папа сказал:

— В программе указана эквилибристка на шаре Т. Воронцова. Где она?

Я стоял и молчал. Контролерша сказала:

— Ах, вы про Танечку Воронцову? Уехала она. Уехала. Что ж вы поздно хватились?

Я стоял и молчал.

Папа сказал:

— Мы уже две недели не знаем покоя. Хотим посмотреть эквилибристку Т. Воронцову, а ее нет.

Контролерша сказала:

— Да она уехала… Вместе с родителями… Родители у нее «Бронзовые люди — Два-Яворс». Может, слыхали? Очень жаль. Вчера только уехали.

Я сказал:

— Вот видишь, папа…

— Я не знал, что она уедет. Как жалко… Ох ты боже мой!.. Ну что ж… Ничего не поделаешь…

Я спросил у контролерши:

— Это, значит, точно?

Она сказала:

— Точно.

Я сказал:

— А куда, неизвестно?

Она сказала:

— Во Владивосток.

Вон куда. Далеко. Владивосток. Я знаю, он помещается в самом конце карты, от Москвы направо.

Я сказал:

— Какая даль.

Контролерша вдруг заторопилась:

— Ну идите, идите на места, уже гасят свет! Папа подхватил:

— Пошли, Дениска! Сейчас будут львы! Косматые, рычат — ужас! Бежим смотреть!

Я сказал:

— Пойдем домой, папа.

Он сказал:

— Вот так раз…

Контролерша засмеялась. Но мы подошли к гардеробу, и я протянул номер, и мы оделись и вышли из цирка. Мы пошли по бульвару и шли так довольно долго, потом я сказал:

— Владивосток — это на самом конце карты. Туда, если поездом, целый месяц проедешь…

Папа молчал. Ему, видно, было не до меня. Мы прошли еще немного, и я вдруг вспомнил про самолеты и сказал:

— А на «ТУ-104» за три часа — и там!

Но папа все равно не ответил. Он крепко держал меня за руку. Когда мы вышли на улицу Горького, он сказал:

— Зайдем в кафе-мороженое. Смутузим по две порции, а?

Я сказал:

— Не хочется что-то, папа.

— Там подают воду, называется «Кахетинская». Нигде в мире не пил лучшей воды.

Я сказал:

— Не хочется, папа.

Он не стал меня уговаривать. Он прибавил шагу и крепко сжал мою руку. Мне стало даже больно. Он шел очень быстро, и я еле-еле поспевал за ним. Отчего он шел так быстро? Почему он не разговаривал со мной? Мне захотелось на него

взглянуть. Я поднял голову. У него было очень серьезное и грустное лицо.



Расскажите мне про Сингапур



Мы с папой поехали на воскресенье в гости, к родным. Они жили в маленьком городе под Москвой, и мы на электричке быстро доехали.

Дядя Алексей Михайлович и тетя Мила встретили нас на перроне.

Алексей Михайлович сказал:

— Ого, Дениска-то как возмужал!

А тетя Мила сказала:

— Иди, Денек, со мной рядом. — И спросила:

— Это что за корзинка?

— Здесь пластилин, карандаши и пистолеты…

Тетя Мила засмеялась, и мы пошли через рельсы, мимо станции, и вышли на мягкую дорогу: по бокам дороги стояли деревья. И я быстро разулся и пошел босиком, и было немного щекотно и колко ступням, так же как и в прошлом году, когда я в первый раз после зимы пошел босиком. И в это время дорога повернула к берегу, и в воздухе запахло рекой и еще чем-то сладким, и я стал бегать по траве, и скакать, и кричать: «О-га-га-а!» И тетя Мила сказала:

— Телячий восторг.

Когда мы пришли, было уже темно, и все сели на террасе пить чай, и мне тоже налили большую чашку.

Вдруг Алексей Михайлович сказал папе:

— Знаешь, сегодня в ноль сорок к нам приедет Харитоша. Он у нас пробудет целые сутки, завтра только ночью уедет. Он проездом.

Папа ужасно обрадовался.

— Дениска, — сказал он, — твой двоюродный дядька Харитон Васильевич приедет! Он давно хотел с тобой познакомиться!

Я сказал:

— А почему я его не знаю?

Тетя Мила опять засмеялась.

— Потому что он живет на Севере, — сказала она, — и редко бывает в Москве.

Я спросил:

— А кто он такой?

Алексей Михайлович поднял палец кверху:

— Капитан дальнего плавания — вот он кто такой.

У меня даже мурашки побежали по спине. Как? Мой двоюродный дядька — капитан дальнего плавания? И я об этом только что узнал? Папа всегда так — про самое главное вспоминает совершенно случайно!

— Что ж ты не говорил мне, папа, что у меня есть дядя, капитан дальнего плавания? Не буду тебе сапоги чистить!

Тетя Мила снова расхохоталась. Я уже давно заметил, что тетя Мила смеется кстати и некстати. Сейчас она засмеялась некстати. А папа сказал:

— Я тебе говорил еще в позапрошлом году, когда он приехал из Сингапура, но ты тогда был еще маленький. И ты, наверно, забыл. Но ничего, ложись-ка спать, завтра ты с ним увидишься!

Тут тетя Мила взяла меня за руку и повела с террасы в дом, и мы прошли через маленькую комнатку в другую, такую же. Там в углу приткну-

лась узенькая тахтюшка. А около окна стояла большая цветастая ширма.

— Вот здесь и ложись, — сказала тетя Мила. — Раздевайся! А корзинку с пистолетами я поставлю в ногах.

Я сказал:

— А папа где будет спать?

Она сказала:

— Скорее всего, на террасе. Ты знаешь, как твой папа любит свежий воздух. А что? Ты будешь бояться?

Я сказал:

— И нисколько.

Разделся и лег.

Тетя Мила сказала:

— Спи спокойно, мы тут, рядом.

И ушла.

А я улегся на тахтюшке и укрылся большим клетчатым платком. Я лежал и слышал, как тихо разговаривают на террасе и смеются, и я хотел спать, но все время думал про своего капитана дальнего плавания.

Интересно, какая у него борода? Неужели растет прямо из шеи, как я видел на картинке? А трубка какая? Кривая или прямая? А кортик — именной или простой? Капитанов дальнего

плавания часто награждают именными кортиками за проявленную смелость. Конечно, ведь они во время своих рейсов каждый день наскакивают на айсберги, или встречают огромных китов и белых медведей, или спасают людей с терпящих бедствие кораблей. Ясно, что тут надо проявлять смелость, иначе сам пропадешь со всеми матросами вместе и корабль погубишь. А если такой корабль, как атомный ледокол «Ленин», — погубить жалко небось, да? А вообще-то говоря, капитаны дальнего плавания не обязательно ездят только на Север, есть такие, которые в Африке бывают, и у них на корабле живут обезьянки и мангусты, которые уничтожают змей, я про это читал в книжке. Вот мой капитан дальнего плавания — он в позапрошлом году приехал из Сингапура. Удивительное слово какое: «Син-га-пур»!.. Я обязательно попрошу дядю рассказать мне про Сингапур: какие там люди, какие там дети, какие лодки и паруса… Обязательно попрошу рассказать. И я так долго думал, и незаметно уснул…

А в середине ночи я проснулся от страшного рычания. Это, наверно, какая-то собака забралась в комнату, учуяла, что я здесь сплю, и это ей не понравилось. Она рычала страшным образом,

откуда-то из-под ширмы, и мне казалось, что я в темноте вижу ее наморщенный нос и оскаленные белые зубы. Я хотел позвать папу, но вспомнил, что он спит далеко, на террасе, и я подумал, что я никогда еще не боялся собак и теперь нечего трусить. Все-таки мне уже скоро восемь.

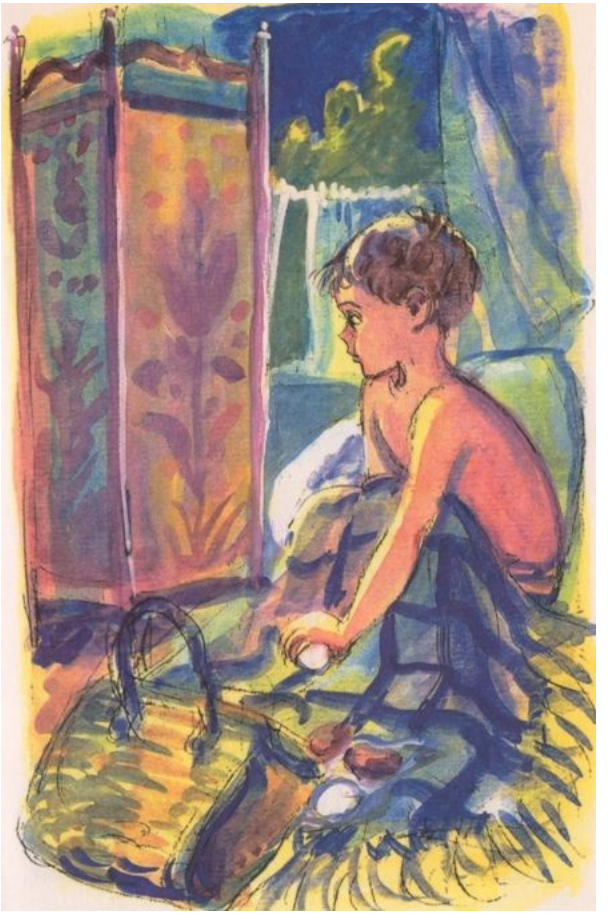
Я крикнул:

— Тубо! Спать!

И собака сразу замолчала.

Я лежал в темноте с открытыми глазами. В окошко ничего не было видно, только чуть виднелась одна ветка. Она была похожа на верблюда, как будто он стоит на задних лапах и служит. Я поставил одеяло козырьком перед глазами, чтобы не видеть верблюда, и стал повторять таблицу умножения на семь, от этого я всегда быстро засыпаю. И верно: не успел я дойти до семью семь, как у меня в голове все закачалось, и я почти уснул, но в это время в углу за ширмой собака, которая, наверно, тоже не спала, опять зарычала. Да как! В сто раз страшнее, чем в первый раз. У меня даже внутри что-то екнуло. Но я все-таки закричал на нее:

— Тубо! Лежать! Спать сейчас же!..



Она опять чуточку притихла. А я вспомнил, что моя дорожная корзинка стоит у меня в ногах и что там, кроме моих вещей, лежит еще пакет с едой, который мама положила мне на дорогу. И я подумал, что если эту собаку немножко прикормить, то она, может быть, подобреет и перестанет на меня рычать. И я сел, стал рыться в корзинке, и хотя в темноте трудно было разобраться, но я все-таки вытащил оттуда котлету и два яйца — мне как раз не было их жалко, потому что они были сварены всмятку. И как только собака опять зарычала, я кинул ей за ширму одно за другим оба яйца:

— Тубо! Есть! И сразу спать!..

Она сначала помолчала, а потом зарычала так свирепо, что я понял: она тоже не любит яйца всмятку. Тогда я метнул в нее котлету. Было слышно, как котлета шлепнулась об нее, собака гамкнула и перестала рычать.

Я сказал:

— Ну вот. А теперь — спать! Сейчас же!

Собака уже не рычала, а только сопела. Я укрылся поплотнее и уснул…

Утром я вскочил от яркого солнца и побежал в одних трусиках на террасу. Папа, Алексей Михайлович и тетя Мила сидели за столом. На столе

была белая скатерть и полная тарелка красной редиски, и это было очень красиво, и все были такие умытые, свежие, что мне сразу стало весело, и я побежал во двор умываться. Умывальник висел с другой стороны дома, где не было солнца, там было холодно, и кора у дерева была прохладная, и из умывальника лилась студеная вода, она была голубого цвета, и я там долго плескался, и совсем озяб, и побежал завтракать. Я сел за стол и стал хрустеть редиской, и заедать ее черным хлебом, и солить, и славно мне было — так и хрустел бы целый день. Но потом я вдруг вспомнил самое главное!

Я сказал:

— А где же капитан дальнего плавания?! Неужели вы меня обманули!

Тетя Мила рассмеялась, а Алексей Михайлович сказал:

— Эх, ты! Всю ночь проспал с ним рядом и не заметил… Ну ладно, сейчас я его приведу, а то он проспит весь день. Устал с дороги.

Но в это время на террасу вышел высоченный человек с красным лицом и зелеными глазами. Он был в пижаме. Никакой бороды на нем не было. Он подошел к столу и сказал ужасным басом:

— Доброе утро! А это кто? Неужели Денис?

У него было столько голоса, что я даже удивился, где он у него помещается.

Папа сказал:

— Да, эти сто граммов веснушек — вот это и есть Денис, только и всего. Познакомьтесь. Денис, вот твой долгожданный капитан!

Я сразу встал. Капитан сказал:

— Здорово!

И протянул мне руку. Она была твердая, как доска.

Капитан был очень симпатичный. Но уж очень страшный был у него голос. И потом, где же кортик? Пижама какая-то. Ну, а трубка где? Все равно уж — прямая или кривая, ну хоть какая-нибудь! Не было никакой…

— Как спал, Харитоша? — спросила тетя Мила.

— Плохо! — сказал капитан. — Не знаю, в чем дело. Всю ночь на меня кто-то кричал. Только, понимаете ли, начну засыпать, как кто-то кричит: «Спать! Спать сейчас же!» А я от этого только просыпаюсь! Потом усталость берет свое, все-таки пять дней в пути, глаза слипаются, я опять начинаю дремать, проваливаюсь, понимаете ли, в сон, опять крик: «Спать! Лежать!» А в довершение всей этой чертовщины на меня стали падать откуда-то разные продукты — яйца, что ли… По-

моему, я во сне слышал запах котлет. И еще все мне сквозь сон слышались какие-то непонятные слова: не то «куш», не то «апорт»…

— «Тубо», — сказал я. — «Тубо», а не «апорт». Потому что я думал — там собака… Кто-то так рычал!

— Я не рычал. Я, наверно, храпел?

Это было ужасно. Я понял, что он никогда не подружится со мной. Я встал и вытянул руки по швам. Я сказал:

— Товарищ капитан! Было очень похоже на рычание. И я, наверно, немножко испугался.

Капитан сказал:

— Вольно. Садись.

Я сел за стол и почувствовал, что у меня в глазах как будто песку насыпано, колет, и я не могу смотреть на капитана. Мы все долго молчали.

Потом он сказал:

— Имей в виду, я совершенно не сержусь.

Но я все-таки не мог на него посмотреть.

Тогда он сказал:

— Клянусь своим именным кортиком.

Он сказал это таким веселым голосом, что у меня сразу словно камень упал с души.

Я подошел к капитану и сказал:

— Дядя, расскажите мне про Сингапур.



Что я люблю



Я очень люблю лечь животом на папино колено, опустить руки и ноги и вот так висеть на колене, как белье на заборе. Еще я очень люблю играть в шашки, шахматы и домино, только чтобы обязательно выигрывать. Если не выигрывать, тогда не надо.

Я люблю слушать, как жук копается в коробочке. И люблю в выходной день утром залезать к папе в кровать, чтобы поговорить с ним о собаке:

как мы будем жить просторней, и купим собаку, и будем с ней заниматься, и будем ее кормить, и какая она будет потешная и умная, и как она будет воровать сахар, а я буду за нею сам вытирать лужицы, и она будет ходить за мной, как верный пес.

Я люблю также смотреть телевизор: все равно, что показывают, пусть даже только одни таблицы.

Я люблю дышать носом маме в ушко. Особенно я люблю петь и всегда пою очень громко.

Ужасно люблю рассказы про красных кавалеристов, и чтобы они всегда побеждали.

Люблю стоять перед зеркалом и гримасничать, как будто я Петрушка из кукольного театра. Шпроты я тоже очень люблю.

Люблю читать сказки про Канчиля. Это такая маленькая, умная и озорная лань. У нее веселые глазки, и маленькие рожки, и розовые отполированные копытца. Когда мы будем жить просторней, мы купим себе Канчиля, он будет жить в ванной. Еще я люблю плавать там, где мелко, чтобы можно было держаться руками за песчаное дно.

Я люблю на демонстрациях махать красным флажком и дудеть в «уйди-уйди!».

Очень люблю звонить по телефону.

Я люблю строгать, пилить, я умею лепить головы древних воинов и бизонов, и я слепил глухаря и царь-пушку. Все это я люблю дарить.

Когда я читаю, я люблю грызть сухарь или еще что-нибудь.

Я люблю гостей.

Еще очень люблю ужей, ящериц и лягушек. Они такие ловкие. Я ношу их в карманах. Я люблю, чтобы ужик лежал на столе, когда я обедаю. Люблю, когда бабушка кричит про лягушонка: «Уберите эту гадость!» — и убегает из комнаты.

Я люблю посмеяться… Иногда мне нисколько не хочется смеяться, но я себя заставляю, выдавливаю из себя смех — смотришь, через пять минут и вправду становится смешно.

Когда у меня хорошее настроение, я люблю скакать. Однажды мы с папой пошли в зоопарк, и я скакал вокруг него на улице, и он спросил:

— Ты что скачешь?

А я сказал:

— Я скачу, что ты мой папа!

Он понял!

Я люблю ходить в зоопарк! Там чудесные слоны. И есть один слоненок. Когда мы будем жить просторней, мы купим слоненка. Я выстрою ему

гараж.

Я очень люблю стоять позади автомобиля, когда он фырчит, и нюхать бензин.

Люблю ходить в кафе — есть мороженое и запивать его газированной водой. От нее колет в носу и слезы выступают на глазах.

Когда я бегаю по коридору, то люблю изо всех сил топать ногами.

Очень люблю лошадей, у них такие красивые и добрые лица.

Я много чего люблю!



...и чего не люблю!



Чего не люблю, так это лечить зубы. Как увижу зубное кресло, сразу хочется убежать на край света. Еще не люблю, когда приходят гости, вставать на стул и читать стихи.

Не люблю, когда папа с мамой уходят в театр.

Терпеть не могу яйца всмятку, когда их взбалтывают в стакане, накрошат туда хлеба и заставляют есть.

Еще не люблю, когда мама идет со мной погу-

лять и вдруг встречает тетю Розу!

Они тогда разговаривают только друг с дружкой, а я просто не знаю, чем бы заняться.

Не люблю ходить в новом костюме — я в нем как деревянный.

Когда мы играем в красных и белых, я не люблю быть белым. Тогда я выхожу из игры, и все! А когда я бываю красным, не люблю попадать в плен. Я все равно убегаю.

Не люблю, когда у меня выигрывают.

Не люблю, когда день рождения, играть в «каравай»: я не маленький.

Не люблю, когда ребята задаются.

И очень не люблю, когда порежусь, вдобавок — мазать палец йодом.

Я не люблю, что у нас в коридоре тесно и взрослые каждую минуту снуют туда-сюда, кто со сковородкой, кто с чайником, и кричат:

— Дети, не вертитесь под ногами! Осторожно, у меня горячая кастрюля!

А когда я ложусь спать, не люблю, чтобы в соседней комнате пели хором:

Ландыши, ландыши…

Очень не люблю, что по радио мальчишки и девчонки говорят старушечьими голосами!..



Что любит Мишка



Один раз мы с Мишкой вошли в зал, где у нас бывают уроки пения. Борис Сергеевич сидел за своим роялем и что-то играл потихоньку. Мы с Мишкой сели на подоконник и не стали ему мешать, да он нас и не заметил вовсе, а продолжал себе играть, и из-под пальцев у него очень быстро выскакивали разные звуки. Они разбрызгивались, и получалось что-то очень приветливое и радостное. Мне очень понравилось, и я бы мог

долго так сидеть и слушать, но Борис Сергеевич скоро перестал играть. Он закрыл крышку рояля, и увидел нас, и весело сказал:

— О! Какие люди! Сидят, как два воробья на веточке! Ну, так что скажете?

Я спросил:

— Это вы что играли, Борис Сергеевич?

Он ответил:

— Это Шопен. Я его очень люблю.

Я сказал:

— Конечно, раз вы учитель пения, вот вы и любите разные песенки.

Он сказал:

— Это не песенка. Хотя я и песенки люблю, но это не песенка. То, что я играл, называется гораздо большим словом, чем просто «песенка».

Я сказал:

— Каким же? Словом-то?

Он серьезно и ясно ответил:

— Му-зы-ка. Шопен — великий композитор. Он сочинил чудесную музыку. А я люблю музыку больше всего на свете.

Тут он посмотрел на меня внимательно и сказал:

— Ну, а ты что любишь? Больше всего на свете?

Я ответил:

— Я много чего люблю.

И я рассказал ему, что я люблю. И про собаку, и про строганье, и про слоненка, и про красных кавалеристов, и про маленькую лань на розовых копытцах, и про древних воинов, и про прохладные звезды, и про лошадиные лица, все, все…

Он выслушал меня внимательно, у него было задумчивое лицо, когда он слушал, а потом он сказал:

— Ишь! А я и не знал. Честно говоря, ты ведь еще маленький, ты не обижайся, а смотри-ка — любишь как много! Целый мир.

Тут в разговор вмешался Мишка. Он надулся и сказал:

— А я еще больше Дениски люблю разных разностей! Подумаешь!!

Борис Сергеевич рассмеялся:

— Очень интересно! Ну-ка, поведай тайну своей души. Теперь твоя очередь, принимай эстафету! Итак, начинай! Что же ты любишь?

Мишка поерзал на подоконнике, потом откашлялся и сказал:

— Я люблю булки, плюшки, батоны и кекс! Я люблю хлеб, и торт, и пирожные, и пряники, хоть тульские, хоть медовые, хоть глазурованные.

Сушки люблю тоже, и баранки, бублики, пирожки с мясом, повидлом, капустой и с рисом.

Я горячо люблю пельмени, и особенно ватрушки, если они свежие, но черствые тоже ничего. Можно овсяное печенье и ванильные сухари.

А еще я люблю кильки, сайру, судака в маринаде, бычки в томате, частик в собственном соку, икру баклажанную, кабачки ломтиками и жареную картошку.

Вареную колбасу люблю прямо безумно, если докторская, — на спор, что съем целое кило! И столовую люблю, и чайную, и зельц, и копченую, и полукопченую, и сырокопченую! Эту вообще я люблю больше всех. Очень люблю макароны с маслом, вермишель с маслом, рожки с маслом, сыр с дырочками и без дырочек, с красной коркой или с белой — все равно.

Люблю вареники с творогом, творог соленый, сладкий, кислый; люблю яблоки, тертые с сахаром, а то яблоки одни самостоятельно, а если яблоки очищенные, то люблю сначала съесть яблочко, а уж потом, на закуску — кожуру!

Люблю печенку, котлеты, селедку, фасолевый суп, зеленый горошек, вареное мясо, ириски, сахар, чай, джем, боржом, газировку с сиропом, яйца всмятку, вкрутую, в мешочке, могу и сырые.

Бутерброды люблю прямо с чем попало, особенно если толсто намазать картофельным пюре или пшенной кашей. Так… Ну, про халву говорить не буду — какой дурак не любит халвы? А еще я люблю утятину, гусятину и индятину. Ах, да! Я всей душой люблю мороженое. За семь, за девять. За тринадцать, за пятнадцать, за девятнадцать. За двадцать две и за двадцать восемь.

Мишка обвел глазами потолок и перевел дыхание. Видно, он уже здорово устал. Но Борис Сергеевич пристально смотрел на него, и Мишка поехал дальше.

Он бормотал:

— Крыжовник, морковку, кету, горбушу, репу, борщ, пельмени, хотя пельмени я уже говорил, бульон, бананы, хурму, компот, сосиски, колбасу, хотя колбасу тоже говорил…

Мишка выдохся и замолчал. По его глазам было видно, что он ждет, когда Борис Сергеевич его похвалит. Но тот смотрел на Мишку немного недовольно и даже как будто строго. Он тоже словно ждал чего-то от Мишки: что, мол, Мишка еще скажет. Но Мишка молчал. У них получилось, что они оба друг от друга чего-то ждали и молчали.

Первый не выдержал Борис Сергеевич.

— Что ж, Миша, — сказал он, — ты многое любишь, спору нет, но все, что ты любишь, оно какое-то одинаковое, чересчур съедобное, что ли. Получается, что ты любишь целый продуктовый магазин. И только… А люди? Кого ты любишь? Или из животных?

Тут Мишка весь встрепенулся и покраснел.

— Ой, — сказал он смущенно, — чуть не забыл! Еще — котят! И бабушку!



Тайное становится явным



Я услышал, как мама сказала кому-то в коридоре:

— ... Тайное всегда становится явным.

И когда она вошла в комнату, я спросил:

— Что это значит, мама: «Тайное становится явным»?

— А это значит, что если кто поступает нечестно, все равно про него это узнают, и будет ему стыдно, и он понесет наказание, — сказала ма-

ма. — Понял?.. Ложись-ка спать!

Я почистил зубы, лег спать, но не спал, а все время думал: как же так получается, что тайное становится явным? И я долго не спал, а когда проснулся, было утро, папа был уже на работе, и мы с мамой были одни. Я опять почистил зубы и стал завтракать.

Сначала я съел яйцо. Это еще терпимо, потому что я выел один желток, а белок раскромсал со скорлупой так, чтобы его не было видно. Но потом мама принесла целую тарелку манной каши.

— Ешь! — сказала мама. — Безо всяких разговоров!

Я сказал:

— Видеть не могу манную кашу!

Но мама закричала:

— Посмотри, на кого ты стал похож! Вылитый Кощей! Ешь. Ты должен поправиться.

Я сказал:

— Я ею давлюсь!..

Тогда мама села со мной рядом, обняла меня за плечи и ласково спросила:

— Хочешь, пойдем с тобой в Кремль?

Ну еще бы… Я не знаю ничего красивее Кремля. Я там был в Грановитой палате и в Оружейной, стоял возле царь-пушки и знаю, где сидел Иван

Грозный. И еще там очень много интересного. Поэтому я быстро ответил маме:

— Конечно, хочу в Кремль! Даже очень!

Тогда мама улыбнулась:

— Ну вот, съешь всю кашу, и пойдем. А я пока посуду вымою. Только помни — ты должен съесть все до дна!

И мама ушла на кухню.

А я остался с кашей наедине. Я пошлепал ее ложкой. Потом посолил. Попробовал — ну, невозможно есть! Тогда я подумал, что, может быть, сахару не хватает? Посыпал песку, попробовал… Еще хуже стало. Я не люблю кашу, я же говорю.

А она к тому же была очень густая. Если бы она была жидкая, тогда другое дело, я бы зажмурился и выпил ее. Тут я взял и долил в кашу кипятку. Все равно было скользко, липко и противно. Главное, когда я глотаю, у меня горло само сжимается и выталкивает эту кашу обратно. Ужасно обидно! Ведь в Кремль-то хочется! И тут я вспомнил, что у нас есть хрен. С хреном, кажется, почти все можно съесть! Я взял и вылил в кашу всю баночку, а когда немножко попробовал, у меня сразу глаза на лоб полезли и остановилось дыхание, и я, наверно, потерял сознание, потому что взял тарелку, быстро подбежал к окну и выплеснул ка-

шу на улицу. Потом сразу вернулся и сел за стол.

В это время вошла мама. Она посмотрела на тарелку и обрадовалась:

— Ну что за Дениска, что за парень-молодец! Съел всю кашу до дна! Ну, вставай, одевайся, рабочий народ, идем на прогулку в Кремль! — И она меня поцеловала.

В эту же минуту дверь открылась, и в комнату вошел милиционер. Он сказал:

— Здравствуйте! — и подошел к окну, и поглядел вниз. — А еще интеллигентный человек.

— Что вам нужно? — строго спросила мама.

— Как не стыдно! — Милиционер даже стал по стойке «смирно». — Государство предоставляет вам новое жилье, со всеми удобствами и, между прочим, с мусоропроводом, а вы выливаете разную гадость за окно!

— Не клевещите. Ничего я не выливаю!

— Ах не выливаете?! — язвительно рассмеялся милиционер. И, открыв дверь в коридор, крикнул: — Пострадавший!

И к нам вошел какой-то дяденька.

Я как на него взглянул, так сразу понял, что в Кремль я не пойду.

На голове у этого дяденьки была шляпа. А на шляпе наша каша. Она лежала почти в середине

шляпы, в ямочке, и немножко по краям, где лента, и немножко за воротником, и на плечах, и на левой брючине. Он как вошел, сразу стал заикаться:

— Главное, я иду фотографироваться… И вдруг такая история… Каша… мм… манная… Горячая, между прочим, сквозь шляпу и то… жжет… Как же я пошлю свое… фф… фото, когда я весь в каше?!

Тут мама посмотрела на меня, и глаза у нее стали зеленые, как крыжовник, а уж это верная примета, что мама ужасно рассердилась.

— Извините, пожалуйста, — сказала она тихо, — разрешите, я вас почищу, пройдите сюда!

И они все трое вышли в коридор.

А когда мама вернулась, мне даже страшно было на нее взглянуть. Но я себя пересилил, подошел к ней и сказал:

— Да, мама, ты вчера сказала правильно. Тайное всегда становится явным!

Мама посмотрела мне в глаза. Она смотрела долго-долго и потом спросила:

— Ты это запомнил на всю жизнь? И я ответил:

— Да.



Профессор кислых щей



Мой папа не любит, когда я мешаю ему читать газеты. Но я про это всегда забываю, потому что мне очень хочется с ним поговорить. Ведь он же мой единственный отец! Мне всегда хочется с ним поговорить.

Вот он раз сидел и читал газету, а мама пришивала мне воротник к куртке.

Я сказал:

— Пап, а ты знаешь, сколько в озеро Байкал

можно напихать Азовских морей?

Он сказал:

— Не мешай…

— Девяносто два! Здорово?

Он сказал:

— Здорово. Не мешай, ладно?

И снова стал читать.

Я сказал:

— Ты художника Эль Греко знаешь?

Он кивнул. Я сказал:

— Его настоящая фамилия Доменико Теотокопули! Потому что он грек с острова Крит. Вот этого художника испанцы и прозвали Эль Греко!.. Интересные дела. Кит, например, папа, за пять километров слышит!

Папа сказал:

— Помолчи хоть немного… Хоть пять минут…

Но у меня было столько новостей для папы, что я но мог удержаться. Из меня высыпались новости, прямо выскакивали одна за другой. Потому что очень уж их было много. Если бы их было поменьше, может быть, мне легче было бы перетерпеть, и я бы помолчал, но их было много, и поэтому я ничего не мог с собой поделать.

Я сказал:

— Папа! Ты не знаешь самую главную новость:

на Больших Зондских островах живут маленькие буйволы. Они, папа, карликовые. Называются кентусы. Такого кентуса можно в чемодане привезти!

— Ну да? — сказал папа. — Просто чудеса! Дай спокойно почитать газету, ладно?

— Читай, читай, — сказал я, — читай, пожалуйста! Понимаешь, папа, выходит, что у нас в коридоре может пастись целое стадо таких буйволов!.. Ура?

— Ура, — сказал папа. — Замолчишь, нет?

— А солнце стоит не в центре неба, — сказал я, — а сбоку!

— Не может быть, — сказал папа.

— Даю слово, — сказал я, — оно стоит сбоку! Сбоку припека.

Папа посмотрел на меня туманными глазами. Потом глаза у него прояснились, и он сказал маме:

— Где это он нахватался? Откуда? Когда?

Мама улыбнулась:

— Он современный ребенок. Он читает, слушает радио. Телевизор. Лекции. А ты как думал?

— Удивительно, — сказал папа, — как это быстро все получается.

И он снова укрылся за газетой, а мама его спро-

сила:

— Чем это ты так зачитался?

— Африка, — сказал папа. — Кипит! Конец колониализму!

— Еще не конец! — сказал я.

— Что? — спросил папа.

Я подлез к нему под газету и встал перед ним.

— Есть еще зависимые страны, — сказал я. — Много еще есть зависимых.

Он сказал:

— Ты не мальчишка. Нет. Ты просто профессор! Настоящий профессор… кислых щей!

И он засмеялся, и мама вместе с ним. Она сказала:

— Ну ладно, Дениска, иди погуляй. — Она протянула мне куртку и подтолкнула меня: — Иди, иди!

Я пошел и спросил у мамы в коридоре:

— А что такое, мама, профессор кислых щей? В первый раз слышу такое выражение! Это он меня в насмешку так назвал — кислых щей? Это обидное?

Но мама сказала:

— Что ты, это нисколько не обидное. Разве папа может тебя обидеть? Это он, наоборот, тебя похвалил!

Я сразу успокоился, раз он меня похвалил, и пошел гулять. А на лестнице я вспомнил, что мне надо проведать Аленку, а то все говорят, что она заболела и ничего не ест. И я пошел к Аленке. У них сидел какой-то дяденька, в синем костюме и с белыми руками. Он сидел за столом и разговаривал с Аленкиной мамой. А сама Аленка лежала на диване и приклеивала лошади ногу. Когда Аленка меня увидела, она сразу заорала:

— Дениска пришел! Ого-го!

Я вежливо сказал:

— Здравствуйте! Чего орешь, как дура?

И сел к ней на диван. А дяденька с белыми руками встал и сказал:

— Значит, все ясно! Воздух, воздух и воздух. Ведь она вполне здоровая девочка!

И я сразу понял, что это доктор.

Аленкина мама сказала:

— Большое спасибо, профессор! Большое спасибо, профессор!

И она пожала ему руку. Видно, это был такой хороший доктор, что он все знал, и его называли за это «профессор».

Он подошел к Аленке и сказал:

— До свидания, Аленка, выздоравливай.

Она покраснела, высунула язык, отвернулась к

стенке и оттуда прошептала:

— До свидания…

Он погладил ее по голове и повернулся ко мне:

— А вас как зовут, молодой человек?

Вот он какой был славный: на «вы» меня назвал!

— Я Денис Кораблев! А вас как зовут?

Он взял мою руку своей белой большой и мягкой рукой. Я даже удивился, какая она мягкая. Ну прямо шелковая. И от него от всего так вкусно пахло чистотой. И он потряс мне руку и сказал:

— А меня зовут Василий Васильевич Сергеев. Профессор.

Я сказал:

— Кислых щей? Профессор кислых щей?

Аленкина мама всплеснула руками. А профессор покраснел и закашлял. И они оба вышли из комнаты.

И мне показалось, что они как-то не так вышли. Как будто даже выбежали. И еще мне показалось, что я что-то не так сказал. Прямо не знаю.

А может быть, «кислых щей» — это все-таки обидное, а?



Главные реки



Хотя мне уже идет девятый год, я только вчера догадался, что уроки все-таки надо учить. Любишь не любишь, хочешь не хочешь, лень тебе или не лень, а учить уроки надо. Это закон. А то можно в такую историю вляпаться, что своих не узнаешь. Я, например, вчера не успел уроки сделать. У нас было задано выучить кусочек из одного стихотворения Некрасова и главные реки Америки. А я, вместо того чтобы учиться,

запускал во дворе змея в космос. Ну, он в космос все-таки не залетел, потому что у него был чересчур легкий хвост, и он из-за этого крутился, как волчок. Это раз. А во-вторых, у меня было мало ниток, и я весь дом обыскал и собрал все нитки, какие только были; у мамы со швейной машины снял, и то оказалось мало. Змей долетел до чердака и там завис, а до космоса еще было далеко.

И я так завозился с этим змеем и космосом, что совершенно позабыл обо всем на свете. Мне было так интересно играть, что я и думать перестал про какие-то там уроки. Совершенно вылетело из головы. А оказалось, никак нельзя было забывать про свои дела, потому что получился позор.

Я утром немножко заспался, и, когда вскочил, времени оставалось чуть-чуть… Но я читал, как ловко одеваются пожарные — у них нет ни одного лишнего движения, и мне до того это понравилось, что я пол-лета тренировался быстро одеваться. И сегодня я как вскочил и глянул на часы, то сразу понял, что одеваться надо, как на пожар. И я оделся за одну минуту сорок восемь секунд весь, как следует, только шнурки зашнуровал через две дырочки. В общем, в школу я поспел вовремя и в класс тоже успел примчаться за секунду до Раисы Ивановны. То есть она шла

себе потихоньку по коридору, а я бежал из раздевалки (ребят уже не было никого). Когда я увидел Раису Ивановну издалека, я припустился во всю прыть и, не доходя до класса каких-нибудь пять шагов, обошел Раису Ивановну и вскочил в класс. В общем, я выиграл у нее секунды полторы, и, когда она вошла, книги мои были уже в парте, а сам я сидел с Мишкой как ни в чем не бывало. Раиса Ивановна вошла, мы встали и поздоровались с ней, и громче всех поздоровался я, чтобы она видела, какой я вежливый. Но она на это не обратила никакого внимания и еще на ходу сказала:

— Кораблев, к доске!

У меня сразу испортилось настроение, потому что я вспомнил, что забыл приготовить уроки. И мне ужасно не хотелось вылезать из-за своей родимой парты. Я прямо к ней как будто приклеился. Но Раиса Ивановна стала меня торопить;

— Кораблев! Что же ты? Я тебя зову или нет?

И я пошел к доске. Раиса Ивановна сказала:

— Стихи!

Чтобы я читал стихи, какие заданы. А я их не знал. Я даже плохо знал, какие заданы-то. Поэтому я моментально подумал, что Раиса Ивановна тоже, может быть, забыла, что задано, и не заметит, что я читаю. И я бодро завел:

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь:
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь…

— Это Пушкин, — сказала Раиса Ивановна.

— Да, — сказал я, — это Пушкин. Александр Сергеевич.

— А я что задала? — сказала она.

— Да! — сказал я.

— Что «да»? Что я задала, я тебя спрашиваю? Кораблев!

— Что? — сказал я.

— Что «что»? Я тебя спрашиваю: что я задала?

Тут Мишка сделал наивное лицо и сказал:

— Да что он, не знает, что ли, что вы Некрасова задали? Это он не понял вопроса, Раиса Ивановна.

Вот что значит верный друг. Это Мишка таким хитрым способом ухитрился мне подсказать. А Раиса Ивановна уже рассердилась:

— Слонов! Не смей подсказывать!

— Да! — сказал я. — Ты чего, Мишка, лезешь? Без тебя, что ли, не знаю, что Раиса Ивановна задала Некрасова! Это я задумался, а ты тут лезешь, сбиваешь только.

Мишка стал красный и отвернулся от меня. А я опять остался один на один с Раисой Ивановной.

— Ну? — сказала она.

— Что? — сказал я.

— Перестань ежеминутно чтокать!

Я уже видел, что она сейчас рассердится как следует.

— Читай. Наизусть!

— Что? — сказал я.

— Стихи, конечно! — сказала она.

— Ага, понял. Стихи, значит, читать? — сказал я. — Это можно. — И громко начал: — Стихи Некрасова. Поэта. Великого поэта.

— Ну! — сказала Раиса Ивановна.

— Что? — сказал я.

— Читай сейчас же! — закричала бедная Раиса Ивановна. — Сейчас же читай, тебе говорят! Заглавие!

Пока она кричала, Мишка успел мне подсказать первое слово. Он шепнул, не разжимая рта, но я его прекрасно понял. Поэтому я смело выдвинул ногу вперед и продекламировал:

— Мужичонка!

Все замолчали, и Раиса Ивановна тоже. Она внимательно смотрела на меня, а я смотрел на Мишку еще внимательнее. Мишка показывал

на свой большой палец и зачем-то щелкал его по ногтю.

И я как-то сразу вспомнил заглавие и сказал:

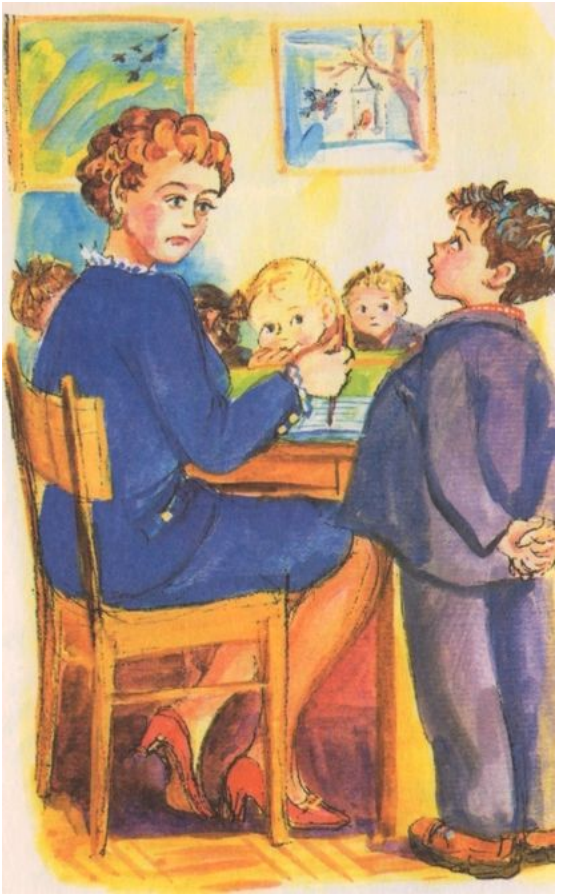
— С ноготком!

И повторил все вместе:

— Мужичонка с ноготком!

Все засмеялись. Раиса Ивановна сказала:

— Довольно, Кораблев!.. Не старайся, не выйдет. Уж если не знаешь, не срамись. — Потом она добавила: — Ну, а как насчет кругозора? Помнишь, мы вчера сговорились всем классом, что будем читать и сверх программы интересные книжки? Вчера вы решили выучить названия всех рек Америки. Ты выучил?



Конечно, я не выучил. Этот змей, будь он нела-

ден, совсем мне всю жизнь испортил. И я хотел во всем признаться Раисе Ивановне, но вместо этого вдруг неожиданно даже для самого себя сказал:

— Конечно, выучил. А как же!

— Ну вот, исправь это ужасное впечатление, которое ты произвел чтением стихов Некрасова. Назови мне самую большую реку Америки, и я тебя отпущу.

Вот когда мне стало худо. Даже живот заболел, честное слово. В классе была удивительная тишина. Все смотрели на меня. А я смотрел в потолок. И думал, что сейчас уже наверняка я умру. До свидания, все! И в эту секунду я увидел, что в левом последнем ряду Петька Горбушкин показывает мне какую-то длинную газетную ленту, и на ней что-то намалевано чернилами, толсто намалевано, наверное, он пальцем писал. И я стал вглядываться в эти буквы и наконец прочел первую половину.

А тут Раиса Ивановна снова:

— Ну, Кораблев? Какая же главная река в Америке?

У меня сразу же появилась уверенность, и я сказал:

— Миси-писи.

Дальше я не буду рассказывать. Хватит. И хотя

Раиса Ивановна смеялась до слез, но двойку она мне влепила будь здоров. И я теперь дал клятву, что буду учить уроки всегда. До глубокой старости.



Зеленчатые леопарды



Мы сидели с Мишкой и Аленкой на песке около домоуправления и строили площадку для запуска космического корабля. Мы уже вырыли яму и уложили ее кирпичом и стеклышками, а в центре оставили пустое место для ракеты. Я принес ведро и положил в него аппаратуру.

Мишка сказал:

— Надо вырыть боковой ход — под ракету, чтоб, когда она будет взлетать, газ бы вышел по

этому ходу.

И мы стали опять рыть и копать и довольно быстро устали, потому что там было много камней.

Аленка сказала:

— Я устала! Перекур!

А Мишка сказал:

— Правильно.

И мы стали отдыхать.

В это время из второго парадного вышел Костик. Он был такой худой, прямо невозможно узнать. И бледный, нисколечко не загорел. Он подошел к нам и говорит:

— Здорово, ребята!

Мы все сказали:

— Здорово, Костик!

Он тихонько сел рядом с нами.

Я сказал:

— Ты что, Костик, такой худущий? Вылитый Кощей…

Он сказал:

— Да это у меня корь была.

Аленка подняла голову:

— А теперь ты выздоровел?

— Да, — сказал Костик, — я теперь совершенно выздоровел.

Мишка отодвинулся от Костика и сказал:

— Заразный небось?

А Костик улыбнулся:

— Нет, что ты, не бойся. Я не заразный. Вчера доктор сказал, что я уже могу общаться с детским коллективом.

Мишка придвинулся обратно, а я спросил:

— А когда болел, больно было?

— Нет, — ответил Костик, — не больно. Скучно очень. А так ничего. Мне картинки переводные дарили, я их все время переводил, надоело до смерти.

Аленка сказала:

— Да, болеть хорошо! Когда болеешь, всегда что-нибудь дарят.

Мишка сказал:

— Так ведь и когда здоровый, тоже дарят. В день рождения или когда елка.

Я сказал:

— Еще дарят, когда в другой класс переходишь с пятерками.

Мишка сказал:

— Мне не дарят. Одни тройки! А вот когда корь, все равно ничего особенного не дарят, потому что потом все игрушки надо сжигать. Плохая болезнь корь, никуда не годится.

Костик спросил:

— А разве бывают хорошие болезни?

— Ого, — сказал я, — сколько хочешь! Ветрянка, например. Очень хорошая, интересная болезнь. Я когда болел, мне все тело, каждую болячку отдельно зеленкой мазали. Я был похож на леопарда. Что, плохо разве?

— Конечно, хорошо, — сказал Костик.

Аленка посмотрела на меня и сказала:

— Когда лишаи, тоже очень красивая болезнь.

Но Мишка только засмеялся:

— Сказала тоже — «красивая»! Намажут два-три пятнышка, вот и вся красота. Нет, лишаи — это мелочь. Я лучше всего люблю грипп. Когда грипп, чаю дают с малиновым вареньем. Ешь сколько хочешь, просто не верится. Один раз я, больной, целую банку съел. Мама даже удивилась: «Смотрите, говорит, у мальчика грипп, температура тридцать восемь, а такой аппетит». А бабушка сказала: «Грипп разный бывает, это у него такая новая форма, дайте ему еще, это у него организм требует». И мне дали еще, но я больше не смог есть, такая жалость… Это грипп, наверно, на меня так плохо действовал.

Тут Мишка подперся кулаком и задумался, а я сказал:

— Грипп, конечно, хорошая болезнь, но с гландами не сравнить, куда там!

— А что? — сказал Костик.

— А то, — сказал я, — что, когда гланды вырезают, мороженого дают потом, для заморозки. Это почище твоего варенья!

Аленка сказала:

— А гланды от чего заводятся?

Я сказал:

— От насморка. Они в носу вырастают, как грибы, потому что сырость.

Мишка вздохнул и сказал:

— Насморк — болезнь ерундовая. Каплют чего-то в нос, еще хуже течет.

Я сказал:

— Зато керосин можно пить. Не слышно запаха.

— А зачем пить керосин?

Я сказал:

— Ну не пить, так в рот набирать. Вот фокусник наберет полный рот, а потом палку зажженную возьмет в руки и на нее как брызнет! Получается очень красивый огненный фонтан. Конечно, фокусник секрет знает. Без секрета не берись, ничего не получится.

— В цирке лягушек глотают, — сказала Аленка.

— И крокодилов тоже! — добавил Мишка.

Я прямо покатился от хохота. Надо же такое выдумать. Ведь всем известно, что крокодил сделан из панциря, как же его есть?

Я сказал:

— Ты, Мишка, видно, с ума сошел! Как ты будешь есть крокодила, когда он жесткий. Его нипочем нельзя прожевать.

— Вареного-то? — сказал Мишка.

— Как же! Станет тебе крокодил вариться! — закричал я на Мишку.

— Он же зубастый, — сказала Аленка, и видно было, что она уже испугалась.

А Костик добавил:

— Он сам же ест что ни день укротителей этих.

Аленка сказала:

— Ну да? — И глаза у нее стали как белые пуговицы.

Костик только сплюнул в сторону.

Аленка скривила губы:

— Говорили про хорошее — про гриба и про лишаев, а теперь про крокодилов. Я их боюсь…

Мишка сказал:

— Про болезни уже все переговорили. Кашель, например. Что в нем толку? Разве вот что в школу не ходить…

— И то хлеб, — сказал Костик. — А вообще вы правильно говорили: когда болеешь, все тебя больше любят.

— Ласкают, — сказал Мишка, — гладят… Я заметил: когда болеешь, все можно выпросить. Игру какую хочешь, или ружье, или паяльник.

Я сказал:

— Конечно. Нужно только, чтобы болезнь была пострашнее. Вот если ногу сломаешь или шею, тогда чего хочешь купят.

Аленка сказала:

— И велосипед?!

А Костик хмыкнул:

— А зачем велосипед, если нога сломана?

— Так ведь она прирастет! — сказал я.

Костик сказал:

— Верно!

Я сказал:

— А куда же она денется! Да, Мишка?

Мишка кивнул головой, и тут Аленка натянула платье на колени и спросила:

— А почему это, если вот, например, пожжешься, или шишку набьешь, или там синяк, то, наоборот, бывает, что тебе еще и наподдадут. Почему это так бывает?

— Несправедливость! — сказал я и стукнул

ногой по ведру, где у нас лежала аппаратура.

Костик спросил:

— А это что такое вы здесь затеяли?

Я сказал:

— Площадка для запуска космического корабля!

Костик прямо закричал:

— Так что же вы молчите! Черти полосатые! Прекратите разговоры. Давайте скорей строить!!!

И мы прекратили разговоры и стали строить.



Удивительный день



Несколько дней тому назад мы начали строить площадку для запуска космического корабля и вот до сих пор не кончили, а я сначала думал, что раз-два-три — и у нас сразу все будет готово. Но дело как-то не клеилось, а все потому, что мы не знали, какая она должна быть, эта площадка.

У нас не было плана.

Тогда я пошел домой. Взял листок бумажки и нарисовал на нем, что куда: где вход, где выход,

где одеваться, где космонавта провожают и где кнопку нажимать. Это все получилось у меня очень здорово, особенно кнопка. А когда я нарисовал площадку, я заодно пририсовал к ней и ракету. И первую ступеньку, и вторую, и кабину космонавта, где он будет вести научные наблюдения, и отдельный закуток, где он будет обедать, и я даже придумал, где ему умываться, и изобрел для этого самовыдвигающиеся ведра, чтобы он в них собирал дождевую воду.

И когда я показал этот план Аленке, Мишке и Костику, им всем очень понравилось. Только ведра Мишка зачеркнул.

Он сказал:

— Они будут тормозить.

И Костик сказал:

— Конечно, конечно! Убери эти ведра.

И Аленка сказала:

— Ну их совсем!

И я тогда не стал с ними спорить, и мы прекратили всякие ненужные разговоры и принялись за работу. Мы достали тяжеленную трамбушку. Я и Мишка колотили ею по земле. А позади нас шла Аленка и подравнивала за нами прямо сандаликами. Они у нее были новенькие, красивые, а через пять минут стали серые. Перекрасились

от пыли.

Мы чудесно утрамбовали площадку и работали дружно. И к нам еще один парень присоединился, Андрюшка, ему шесть лет. Он хотя немножко рыжеватый, но довольно сообразительный. А в самый разгар работы открылось окно на четвертом этаже, и Аленкина мама крикнула:

— Аленка! Домой сейчас же! Завтракать!

И когда Аленка убежала, Костик сказал:

— Еще лучше, что ушла!

А Мишка сказал:

— Жалко. Все-таки рабочая сила…

Я сказал:

— Давайте приналяжем!

И мы приналегли, и очень скоро площадка была совершенно готова. Мишка ее осмотрел, засмеялся от удовольствия и говорит:

— Теперь главное дело надо решить: кто будет космонавтом.

Андрюшка сейчас же откликнулся:

— Я буду космонавтом, потому что я самый маленький, меньше всех вешу!

А Костик:

— Это еще неизвестно. Я болел, я знаешь как похудел? На три кило! Я космонавт.

Мы с Мишкой только переглянулись. Эти чер-

тенята уже решили, что они будут космонавтами, а про нас как будто и забыли.

А ведь это я всю игру придумал. И, ясное дело, я и буду космонавтом!

И только я успел так подумать, как Мишка вдруг заявляет:

— А кто всей работой тут сейчас командовал? А? Я командовал! Значит, я буду космонавтом!

Это все мне совершенно не понравилось. Я сказал:

— Давайте сначала ракету выстроим. А потом сделаем испытания на космонавта. А потом и запуск назначим.

Они сразу обрадовались, что еще много игры осталось, и Андрюшка сказал:

— Даешь ракету строить!

Костик сказал:

— Правильно!

А Мишка сказал:

— Ну что ж, я согласен.

Мы стали строить ракету прямо на нашей пусковой площадке. Там лежала здоровенная пузатая бочка. В ней раньше был мел, а теперь она валялась пустая. Она была деревянная и почти совершенно целая, и я сразу все сообразил и сказал:

— Вот это будет кабина. Здесь любой космонавт может поместиться, даже самый настоящий, не то что я или Мишка.

И мы эту бочку поставили на середку, и Костик сейчас же приволок с черного хода какой-то старый ничей самовар. Он его приделал к бочке, чтобы заливать туда горючее. Получилось очень складно. Мы с Мишкой сделали внутреннее устройство и два окошечка по бокам: это были иллюминаторы для наблюдения. Андрюшка притащил довольно здоровый ящик с крышкой и наполовину всунул его в бочку. Я сначала не понял, что это такое, и спросил Андрюшку:

— Это зачем?

А он сказал:

— Как — зачем? Это вторая ступеня!

Мишка сказал:

— Молодец!

И у нас работа закипела вовсю. Мы достали разных красок, и несколько кусочков жести, и гвоздей, и веревочек, и протянули эти веревочки вдоль ракеты, и жестянки прибили к хвостовому оперению, и подкрасили длинные полосы по всему бочкиному боку, и много еще чего понаделали, всего не перескажешь. И когда мы увидели, что все у нас готово, Мишка вдруг отвернул краник у

самовара, который был у нас баком для горючего. Мишка отвернул краник, но оттуда ничего не потекло. Мишка ужасно разгорячился, он потрогал пальцем снизу сухой краник, повернулся к Андрюшке, который считался у нас главным инженером, и заорал:

— Вы что? Что вы наделали?

Андрюшка сказал:

— А что?

Тогда Мишка вконец разозлился и еще хуже заорал:

— Молчать! Вы главный инженер или что?

Андрюшка сказал:

— Я главный инженер. А чего ты орешь?

А Мишка:

— Где же горючее в машине? Ведь в самоваре… то есть в баке, нет ни капли горючего.

А Андрюшка:

— Ну и что?

Тогда Мишка ему:

— А вот как дам, тогда узнаешь «ну и что»!

Тут я вмешался и крикнул:

— Наполнить бак! Механик, быстро!

И я грозно посмотрел на Костика. Он сейчас же сообразил, что это он и есть механик, схватил ведерко и побежал в котельную за водой. Он там

набрал полведра горячей воды, прибежал обратно, влез на кирпич и стал заливать.

Он наливал воду в самовар и кричал:

— Есть горючее! Все в порядке!

А Мишка стоял под самоваром и ругал Андрюшку на чем свет стоит.

А тут на Мишку полилась вода. Она была не горячая, но ничего себе, довольно чувствительная, и, когда она залилась Мишке за воротник и на голову, он здорово испугался и отскочил как ошпаренный. Самовар-то был, видать, дырявый. Он Мишку почти всего окатил, а главный инженер злорадно захохотал:

— Так тебе и надо!

У Мишки прямо засверкали глаза.

И я увидел, что Мишка сейчас даст этому нахальному инженеру по шее, поэтому я быстро встал между ними и сказал:

— Слушайте, рЕбя, а как же мы назовем наш корабль?

— «Торпедо»... — сказал Костик.

— Или «Спартак», — перебил Андрюшка, — а то «Динамо».

Мишка опять обиделся и сказал:

— Нет уж, тогда ЦСКА!

Я им сказал:

— Ведь это же не футбол! Вы еще нашу ракету «Пахтакор» назовите! Надо назвать «Восток-2»! Потому что у Гагарина просто «Восток» называется корабль, а у нас будет «Восток-2»!.. На, Мишка, краску, пиши!

Он сейчас же взял кисточку и принялся малевать, сопя носом. Он даже высунул язык. Мы стали глядеть на него, но он сказал:

— Не мешайте! Не глядите под руку!

И мы от него отошли.

А я в это время взял градусник, который я утащил из ванной, и измерил Андрюшке температуру. У него оказалось сорок восемь и шесть. Я просто схватился за голову: я никогда не видел, чтобы у обыкновенного мальчика была такая высокая температура. Я сказал:

— Это какой-то ужас! У тебя, наверно, ревматизм или тиф. Температура сорок восемь и шесть! Отойди в сторону.

Он отошел, но тут вмешался Костик:

— Теперь осмотри меня! Я тоже хочу быть космонавтом!

Вот какое несчастье получается: все хотят! Прямо отбою от них нет. Всякая мелюзга, а туда же!

Я сказал Костику:

— Во-первых, ты после кори. И тебе никакая ма-

ма не разрешит быть космонавтом. А во-вторых, покажи язык!

Он моментально высунул кончик своего языка. Язык был розовый и мокрый, но его было мало видно.

Я сказал:

— Что ты мне какой-то кончик показываешь! Давай весь вываливай!

Он сейчас же вывалил весь свой язык, так что чуть до воротника не достал. Неприятно было на это смотреть, и я ему сказал:

— Все, все, хватит! Довольно! Можешь убирать свой язык. Чересчур он у тебя длинный, вот что. Просто ужасно длиннющий. Я даже удивляюсь, как он у тебя во рту укладывается.

Костик совершенно растерялся, но потом все-таки опомнился, захлопал глазами и говорит с угрозой:

— Ты не трещи! Ты прямо скажи: гожусь я в космонавты?

Тогда я сказал:

— С таким-то языком? Конечно, нет! Ты что, не понимаешь, что если у космонавта длинный язык, он уже никуда не годится? Он ведь всем на свете разболтает все секреты: где какая звезда вертится, и все такое... Нет, ты, Костик, лучше

успокойся! С твоим язычищем лучше на Земле сидеть.

Тут Костик ни с того ни с сего покраснел, как помидор. Он отступил от меня на шаг, сжал кулаки, и я понял, что сейчас у нас с ним начнется самая настоящая драка. Поэтому я тоже быстро поплевал в кулаки и выставил ногу вперед, чтобы была настоящая боксерская поза, как на фотографии у чемпиона легкого веса.

Костик сказал:

— Сейчас дам плюху!

А я сказал:

— Сам схватишь две!

Он сказал:

— Будешь валяться на земле!

А я ему:

— Считай, что ты уже умер!

Тогда он подумал и сказал:

— Неохота что-то связываться…

А я:

— Ну и замолкни!

И тут Мишка закричал нам от ракеты:

— Эй, Костик, Дениска, Андрюшка! Идите надпись смотреть.

Мы побежали к Мишке и стали глядеть. Ничего себе была надпись, только кривая и в конце зави-

валась книзу. Андрюшка сказал:

— Во здорово!

И Костик сказал:

— Блеск!

А я ничего не сказал. Потому что там было написано так: «ВАСТОК-2».

Я не стал этим Мишку допекать, а подошел и исправил обе ошибки. Я написал: «ВОСТОГ-2».

И все. Мишка покраснел и промолчал. Потом он подошел ко мне, взял под козырек.

— Когда назначаете запуск? — спросил Мишка.

Я сказал:

— Через час!

Мишка сказал:

— Ноль-ноль?

И я ответил:

— Ноль-ноль!

* * *

Прежде всего нам нужно было достать взрывчатку. Это было нелегкое дело, но кое-что все-таки набралось. Во-первых, Андрюшка притащил десять штук елочных бенгальских огней. Потом Мишка тоже принес какой-то пакетик, — я забыл, как называется, вроде борной кислоты. Мишка сказал, что эта кислота очень красиво горит. А я

приволок две шутихи, они у меня еще с прошлого года в ящике валялись. И мы взяли трубу от нашего самовара-бака, заткнули с одного конца тряпкой и затолкали туда всю нашу взрывчатку и утрясли ее как следует. А потом Костик принес какой-то поясок от маминого халата, и мы сделали из него бикфордов шнур. Всю нашу трубу мы уложили во вторую ступеньку ракеты и привязали ее веревками, а шнур вытащили наружу, и он лежал за нашей ракетой на земле, как хвост от змеи.

И теперь все у нас было готово.

— Теперь, — сказал Мишка, — пришла пора решать, кто полетит. Ты или я, потому что Андрюшка и Костик пока еще не подходят.

— Да, — сказал я, — они не подходят по состоянию здоровья.

Как только я это сказал, так из Андрюшки сейчас же закапали слезы, а Костик отвернулся и стал колупать стену, потому что из него тоже, наверно, закапало, но он стеснялся, что вот ему уже скоро семь, а он плачет. Тогда я сказал:

— Костик назначается Главным Зажигателем!

Мишка добавил:

— А Андрюшка назначается Главным Запускателем!

Тут они оба повернулись к нам, и лица у них стали гораздо веселее, и никаких слез не стало видно, просто удивительно!

Тогда я сказал:

— Мишка, а мы давай считаться на космонавта.

Мишка сказал:

— Только, чур, я считаю!

И мы стали считаться:

— Заяц-белый-куда-бегал-в-лес-дубовый-чего-делал-лыки-драл-куда-клалпод-колоду-кто-украл-Спиридон-Мор-дель-он-тинтиль-винтиль-выйди-вон!

Мишке вышло выйти вон. Он, конечно, постарше и Костика и Андрюшки, но глаза у него стали такие печальные, что не ему лететь, просто ужас!

Я сказал:

— Мишка, ты в следующий полет полетишь безо всякой считалки, ладно?

А он сказал:

— Давай садись!

Что ж, ничего не поделаешь, мне ведь по-честному досталось. Мы с ним считались, и он сам считал, а мне выпало, тут уж ничего не поделаешь. И я сразу полез в бочку. Там было темно и

тесно, особенно мне мешала вторая ступенька. Из-за нее нельзя было спокойно лежать, она впивалась в бок. Я хотел повернуться и лечь на живот: но тут же треснулся головой о бак, он впереди торчал. Я подумал, что, конечно, космонавту трудно сидеть в кабине, потому что аппаратуры очень много, даже чересчур! Но все-таки я приспособился, и свернулся в три погибели, и лег, и стал ждать запуска.

И вот слышу — Мишка кричит:

— Подготовьсь! Смиррнаа! Запускатель, не ковыряй в носу! Иди к моторам.

И сразу Андрюшкин голос:

— Есть к моторам!

И я понял, что скоро запуск, и стал лежать дальше.

И вот слышу — Мишка опять командует:

— Главный Зажигатель! Готовьсь! Зажж…

И сразу я услышал, как Костик завозился со своим спичечным коробком и, кажется, не может от волнения достать спичку, а Мишка, конечно, растягивает команду, чтобы все вместе совпало — и Костикина спичка и его команда. Вот он и тянет:

— Зажж…

И я подумал: ну, сейчас! И даже сердце заколотилось! А Костик все еще брякает спичками. Мне

ясно представилось, как у него руки трясутся и он не может ухватить спичку.

А Мишка свое:

— Зажж… Давай же, вахля несчастная! Зажжж…

И вдруг я ясно услышал: чирк!

И Мишкин радостный голос:

— … жжи-гай! Зажигай!

Я глаза зажмурил, съежился и приготовился лететь. Вот было бы здорово, если б это вправду, все бы с ума посходили, и я еще сильнее зажмурил глаза. Но ничего не было: ни взрыва, ни толчка, ни огня, ни дыму — ничего. И это наконец мне надоело, и я заорал из бочки:

— Скоро там, что ли? У меня весь бок отлежался — ноет!

И тут ко мне в ракету залез Мишка. Он сказал:

— Заело. Бикфордов шнур отказал.

Я чуть ногой не лягнул его от злости:

— Эх, вы, инженеры называются! Простую ракету запустить не можете! А ну, давайте я!

И я вылез из ракеты. Андрюшка и Костик возились со шнуром, и у них ничего не выходило. Я сказал:

— Товарищ Мишка! Снимите с работы этих дураков! Я сам!

И подошел к самоварной трубе и первым делом начисто оторвал ихний мамин бикфордов поясок. Я им крикнул:

— А ну, разойдитесь! Живо!

И они все разбежались кто куда. А я запустил руку в трубу, и снова там все перемешал, и бенгальские огоньки уложил сверху. Потом я зажег спичку и сунул ее в трубу. Я закричал:

— Держитесь!

И отбежал в сторону. Я и не думал, что будет что-нибудь особенное, ведь там, в трубе, ничего такого не было. Я хотел сейчас во весь голос крикнуть: «Бух, таррарах!» — как будто это взрыв, чтобы играть дальше. И я уже набрал воздуху и хотел крикнуть погромче, но в это время в трубе что-то ка-ак свистнет да ка-ак даст! И труба отлетела от второй ступени, и стала подлетать, и падать, и дым!.. А потом как бабахнет! Ого! Это, наверно, шутихи там сработали, не знаю, или Мишкин порошок! Бах! Бах! Бах! Я, наверно, от этого баханья немножко струсил, потому что я увидел перед собою дверь, и решил в нее убежать, и открыл, и вошел в эту дверь, но это оказалась не дверь, а окно, и я прямо как вбежал в него, так оступился и упал прямо в наше домоуправление. Там за столом сидела Зинаида Ивановна, и она

на машинке считала, кому сколько за квартиру платить. А когда она меня увидела, она, наверно, не сразу меня узнала, потому что я запачканный был, прямо из грязной бочки, лохматый и даже кое-где порванный. Она просто обомлела, когда я упал к ней из окна, и она стала обеими руками от меня отмахиваться. Она кричала:

— Что это? Кто это?

И наверно, я здорово смахивал на черта или на какое-нибудь подземное чудовище, потому что она совсем потеряла рассудок и стала кричать на меня так, как будто я был имя существительное среднего рода.

— Пошло вон! Пошло вон отсюда! Вон пошло!

А я встал на ноги, прижал руки по швам и вежливо ей сказал:

— Здравствуйте, Зинаида Иванна! Не волнуйтесь, это я!

И стал потихоньку пробираться к выходу. А Зинаида Ивановна кричала мне вдогонку:

— А, это Денис! Хорошо же!.. Погоди!.. Ты у меня узнаешь!.. Все расскажу Алексею Акимычу!

И у меня от этих криков очень испортилось настроение. Потому что Алексей Акимыч — наш управдом. И он меня к маме отведет и папе нажалуется, и будет мне плохо. И я подумал, как

хорошо, что его не было в домоуправлении и что мне, пожалуй, все-таки денька два-три надо не попадаться ему на глаза, пока все уладится. И тут у меня опять стало хорошее настроение, и я бодро-весело вышел из домоуправления. И как только я очутился во дворе, я сразу увидел целую толпу наших ребят. Они бежали и галдели, а впереди них довольно резво бежал Алексей Акимыч. Я страшно испугался. Я подумал, что он увидел нашу ракету, как она лежит взорванная, и, может быть, проклятая труба побила окна или еще что-нибудь, и вот он теперь бежит разыскивать виноватого, и ему кто-нибудь сказал, что это я главный виноватый, и вот он меня увидел, я прямо торчал перед ним, и сейчас он меня схватит! Я это все подумал в одну секунду, и, пока я все это додумывал, я уже бежал от Алексея Акимыча во всю мочь, но через плечо увидел, что он припустился за мной со всех ног, и я тогда побежал мимо садика, и направо, и бежал вокруг грибка, но Алексей Акимыч кинулся ко мне наперерез и прямо в брюках прошлепал через фонтан, и у меня сердце упало в пятки, и тут он меня ухватил за рубашку. И я подумал: все, конец. А он перехватил меня двумя руками под мышки и как подкинет вверх! А я терпеть не могу, когда меня

за подмышки поднимают: мне от этого щекотно, и я корчусь как не знаю кто и вырываюсь. И вот я гляжу на него сверху и корчусь, а он смотрит на меня и вдруг заявляет ни с того ни с сего:

— Кричи «ура»! Ну! Кричи сейчас же «ура»!

И тут я еще больше испугался: я подумал, что он с ума сошел. И что, пожалуй, не надо с ним спорить, раз он сумасшедший. И я крикнул не слишком-то громко:

— Ура!.. А в чем дело-то?

И тут Алексей Акимыч поставил меня наземь и говорит:

— А в том дело, что сегодня второго космонавта запустили! Товарища Германа Титова! Ну, что, не ура, что ли?

Тут я как закричу:

— Конечно, ура! Еще какое ура-то!

Я так крикнул, что голуби вверх шарахнулись. А Алексей Акимыч улыбнулся и пошел в свое домоуправление.

А мы всей толпой побежали к громкоговорителю и целый час слушали, что передавали про товарища Германа Титова, и про его полет, и как он ест, и все, все, все. А когда в радио наступил перерыв, я сказал:

— А где же Мишка?

И вдруг слышу:

— Я вот он!

И правда, оказывается, он рядом стоит. Я в такой горячке был, что его и не заметил. Я сказал:

— Ты где был?

— Я тут. Я все время тут.

Я спросил:

— А как наша ракета? Взорвалась небось на тысячи кусков?

А Мишка:

— Что ты! Целехонька! Это только труба так тарахтела. А ракета, что ей сделается? Стоит как ни в чем не бывало!

— Бежим посмотрим?

И когда мы прибежали, я увидел, что все в порядке, все цело и можно играть еще сколько угодно. Я сказал:

— Мишка, а теперь два, значит, космонавта?

Он сказал:

— Ну да. Гагарин и Титов.

А я сказал:

— Они, наверно, друзья?

— Конечно, — сказал Мишка, — еще какие друзья!

Тогда я положил Мишке руку на плечо. У него узкое было плечо и тонкое. И мы с ним постояли

смирно и помолчали, а потом я сказал:

— И мы с тобой друзья, Мишка. И мы с тобой вместе полетим в следующий полет.

И тогда я подошел к ракете, и нашел краску, и дал ее Мишке, чтобы он подержал. И он стоял рядом, и держал краску, и смотрел, как я рисую, и сопел, как будто мы вместе рисовали. И я увидел еще одну ошибку и тоже исправил, и когда я закончил, мы отошли с ним на два шага назад и посмотрели, как красиво было написано на нашем чудесном корабле «ВОСТОК-3».



И мы!



Мы как только узнали, что наши небывалые герои в космосе называют друг друга Сокол и Беркут, так сразу порешили, что я теперь буду Беркут, а Мишка — Сокол. Потому что все равно мы будем учиться на космонавтов, а Сокол и Беркут такие красивые имена! И еще мы решили с Мишкой, что до тех пор, пока нас примут в космонавтскую школу, мы будем с ним понемножку закаляться как сталь. И как только мы это решили, я пошел

домой и стал закаляться.

Я залез под душ и пустил сначала тепленькой водички, а потом, наоборот, поддал холодной. И я ее довольно легко перетерпел. Тогда я подумал, что раз дело идет так хорошо, надо, пожалуй, подзакалиться чуточку получше, и пустил ледянистую струю. Ого-го! У меня сразу вжался живот, и я покрылся пупырками.

И так постоял с полчасика или минут пять и здорово закалился! И когда я потом одевался, то вспомнил, как бабушка читала стихи про одного мальчишку, как он посинел и весь дрожал.

А после обеда у меня потекло из носу, и я стал чихать.

Мама сказала:

— Выпей аспирину и завтра будешь здоров. Ложись-ка! На сегодня все!

И у меня сейчас же испортилось настроение. Я чуть было не заревел, но в это время под окошком раздался крик:

— Бе-еркут!.. А Беркут!.. Да Беркут же!..

Я подбежал к окошку, высунулся, а там Мишка!

Я сказал:

— Чего тебе, Сокол?

А он:

— Давай выходи на орбиту!

Это во двор, значит. Я ему говорю:

— Мама не пускает. Я простудился!

А мама потянула меня за ноги и говорит:

— Не высовывайся так далеко! Упадешь! С кем это ты?

Я говорю:

— Ко мне друг пришел. Небесный брат. Близнец! А ты мешаешь!

Но мама сказала железным голосом:

— Не высовывайся!

Я говорю Мишке:

— Мне мама не велит высовываться…

Мишка немножко подумал, а потом обрадовался:

— Не велит высовываться, и правильно. Это будет у тебя испытание на не-вы-со-вы-ва-е-мость!

Тогда я все-таки немножко высунулся и сказал ему тихонько:

— Эх, Сокол ты мой, Сокол! Мне тут, может, сутки безвыходно торчать!

А Мишка опять все по-своему перевернул:

— И очень хорошо! Прекрасная тренировка! Закрой глаза и лежи как в сурдокамере!

Я говорю:

— Вечером я с тобой установлю телефонную

связь.

— Ладно, — сказал Мишка, — ты устанавливай со мной, а я — с тобой.

И он ушел.

А я лег на папин диван и закрыл глаза и тренировался на молчание. Потом встал и сделал зарядку. Потом понаблюдал в иллюминатор неведомые миры, а потом пришел папа, и я принял ужин из натуральных продуктов. Самочувствие было превосходное. Я принес и разложил раскладушку.

Папа сказал:

— Что так рано?

А я сказал со значением:

— Вы как хотите, а я буду спать.

Мама положила мне руку на лоб и сказала:

— Ребенок заболел!

А я ничего ей не сказал. Если они не понимают, что это все тренировка на космонавта, то зачем объяснять? Не стоит. Потом сами узнают, из газет, когда их благодарить будут за то, что воспитали такого сына, как я!

Пока я думал, прошло довольно много времени, и я вспомнил, что пора налаживать телефонную связь с Мишкой.

Я вышел в коридор и набрал номер. Мишка по-

дошел сразу, только у него был какой-то чересчур толстый голос:

— Нда-нда! Говорите!

Я сказал:

— Сокол, это ты?

А он:

— Что-что?

Я опять:

— Сокол, это ты или нет? Это Беркут! Как дела?

Он засмеялся, посопел и говорит:

— Очень остроумно! Ну, довольно разыгрывать. Сонечка, это вы?

Я говорю:

— Какая там еще Сонечка, это Беркут! Ты что, обалдел?

А он:

— Кто это? Что за выражения? Хулиганство! Кто это говорит?

Я сказал:

— Это никто не говорит.

И повесил трубку. Наверно, я не туда попал. Тут папа позвал меня, и я вернулся в комнату, разделся и лег. И только стал задремывать, вдруг: зззззз! Телефон! Папа вскочил и выбежал в коридор, и, пока я нашаривал тапочки, я слышал его серьезный голос:

— Беркутова? Какого Беркутова? Здесь такого нет! Набирайте внимательно!

Я сразу понял, что это Мишка! Это связь! Я выбежал в коридор прямо в чем мать родила, в одних трусиках.

— Это меня, меня! Это я Беркут!

Папа сейчас же отдал мне трубку, и я закричал:

— Это Сокол? Это Беркут! Слушаю вас!

А Мишка:

— Докладывай, чем занимаешься!

Я говорю:

— Я сплю!

А Мишка:

— Я тоже! Я уже почти совсем заснул, да вспомнил одно важное дело! Беркут, слушай! Перед сном надо спеть! Вдвоем! На пару! Чтобы у нас получился космический дуэт!

Я прямо подпрыгнул:

— Молодец, Сокол! Давай любимую космонавтскую! Подпевай!

И я запел изо всех сил. Я хорошо пою, громко! Громче меня никто не может. Я по громкости первый в нашем хоре. И вот когда я запел, сейчас же изо всех дверей стали высыпать соседи, они кричали: «Безобразие… Что случилось… Уже

поздно… Распустились… Здесь коммунальная квартира… Я думала, поросенка режут…», но папа им сказал:

— Это небесные близнецы, Сокол и Беркут, поют перед сном!

И тогда все замолчали.

А мы с Мишкой допели до конца:

… На пыльных тропинках далеких планет
Останутся наши следы!



Шляпа гроссмейстера



В то утро я быстро справился с уроками, потому что они были нетрудные. Во-первых, я нарисовал домик Бабы Яги, как она сидит у окошка и читает газету. А во-вторых, я сочинил предложение: «Мы построили салаш». А больше ничего не было задано. И я надел пальто, взял горбушечку свежего хлеба и пошел гулять. На нашем бульваре в середине есть пруд, а в пруду плавают лебеди, гуси и утки.

В этот день был очень сильный ветер. И все листья на деревьях выворачивались наизнанку, и пруд был весь взлохмаченный, какой-то шершавый от ветра.

И как только я пришел на бульвар, я увидел, что сегодня почти никого нет, только двое каких-то незнакомых ребят бегают по дорожке, а на скамейке сидит дяденька и сам с собой играет в шахматы. Он сидит на скамейке боком, а позади него лежит его шляпа.

И в это время ветер вдруг задул особенно сильно, и эта самая дяденькина шляпа взвилась в воздух. А шахматист ничего не заметил, сидит себе, уткнулся в свои шахматы. Он, наверно, очень увлекся и забыл про все на свете. Я тоже, когда играю с папой в шахматы, ничего вокруг себя не вижу, потому что очень хочется выиграть. И вот эта шляпа взлетела, и плавно так начала опускаться, и опустилась как раз перед теми незнакомыми ребятами, что играли на дорожке. Они оба разом протянули к ней руки. Но не тут-то было, потому что ветер! Шляпа вдруг как живая подпрыгнула вверх, перелетела через этих ребят и красиво спланировала прямо в пруд! Но упала она не в воду, а нахлобучилась одному лебедю прямо на голову. Утки очень испугались, и гуси

тоже. Они бросились врассыпную от шляпы кто куда. А вот лебеди, наоборот, очень заинтересовались, что это за штука такая получилась, и все подплыли к этому лебедю в шляпе. А он изо всех сил мотал головой, чтобы сбросить шляпу, но она никак не слетала, и все лебеди глядели на эти чудеса и, наверно, очень удивлялись.

Тогда эти незнакомые ребята на берегу стали приманивать лебедей к себе. Они свистели:

— Фью-фью-фью!

Как будто лебедь — это собака!

Я сказал:

— Сейчас я их приманю хлебом, а вы притащите сюда какую-нибудь палку подлиннее. Надо все-таки отдать шляпу тому шахматисту. Может быть, он гроссмейстер…

И я вытащил свой хлеб из кармана и стал его крошить и бросать в воду, и, сколько было лебедей, и гусей, и уток, все поплыли ко мне. И у самого берега началась настоящая давка и толкотня. Просто птичий базар! И лебедь в шляпе тоже толкался и наклонял голову за хлебом, и шляпа с него, наконец, соскочила!



Она стала плавать довольно близко. Тут подо-

спели незнакомые ребята. Они где-то раздобыли здоровенный шест, а на конце шеста был гвоздь. И ребята сразу стали удить эту шляпу. Но немножко не доставали. Тогда они взялись за руки, и у них получилась цепочка, и тот, который был с шестом, стал подлавливать шляпу.

Я ему говорю:

— Ты старайся ее гвоздем в самую середку проткнуть! И подсекай, как ерша, знаешь?

А он говорит:

— Я, пожалуй, сейчас бухнусь в пруд, потому что меня слабо держат.

А я говорю:

— Давай-ка я!

— Валяй! А то я обязательно бухнусь!

— Держите меня оба за хлястик!

Они стали меня держать. А я взял шест двумя руками, весь вытянулся вперед, да как размахнулся, да как шлепнусь прямо лицом вперед! Хорошо еще, не сильно ушибся, там была мягкая грязь, так что получилось не больно.

Я говорю:

— Что же вы плохо держите? Не умеете держать, не беритесь!

Они говорят:

— Нет, мы хорошо держим! Это твой хлястик

оторвался. Вместе с мясом.

Я говорю:

— Кладите мне его в карман, а сами держите просто за пальто, за хвост. Пальто небось не порвется! Ну!

И опять потянулся шестом к шляпе. Я подождал немного, чтобы ветерок подогнал ее поближе. И все время потихоньку пригребал ее к себе. Мне очень хотелось отдать ее шахматисту. А вдруг он и вправду гроссмейстер? А может быть, это даже сам Ботвинник! Просто так вышел погулять, и все. Ведь бывают же такие истории в жизни! Я отдам ему шляпу, а он скажет: «Спасибо, Денис!»

И я потом снимусь с ним на карточку и буду ее всем показывать…

А может быть, он со мною даже согласится сыграть одну партию? А вдруг я выиграю? Бывают же такие случаи!

И тут шляпа подплыла чуть поближе, я замахнулся и вонзил ей гвоздь в самую макушку. Незнакомые ребята закричали:

— Есть!

А я снял шляпу с гвоздя. Она была очень мокрая и тяжелая. Я сказал:

— Надо ее выжать!

И один парнишка взял шляпу за свободный

конец и стал ее вертеть направо. А я вертел, наоборот, налево. И из шляпы потекла вода.

Мы здорово ее выжали, она даже лопнула поперек. А мальчишка, который ничего не делал, сказал:

— Ну, все в порядке. Давайте ее сюда. Я отдам ее дяденьке.

Я говорю:

— Еще чего. Я сам отдам.

Тогда он стал тянуть шляпу к себе. А второй к себе. А я к себе. И у нас случайно получилась потасовка. И они вырвали подкладку из шляпы. И всю шляпу отняли у меня.

Я говорю:

— Я хлебом приманивал лебедей, мне и отдавать!

Они говорят:

— А кто шест достал с гвоздем?

Я говорю:

— А чей хлястик оторвался?

Тогда один из них говорит:

— Ладно, уступи ему, Маркуша! Его все равно еще дома выдерут за хлястик!

Маркуша сказал:

— На, бери свою несчастную шляпу, — и наподдал ногой, как мяч.

А я схватил ее и быстро побежал в конец аллеи, где сидел шахматист. Я подбежал к нему и сказал:

— Дяденька, вот вам ваша шляпа!

— Где? — спросил он.

— Вот, — сказал я и протянул ему шляпу.

— Ты ошибаешься, мальчик! Моя шляпа здесь. — И он оглянулся назад.

А там, конечно, ничего не было.

Тогда он закричал:

— В чем дело? Где моя шляпа, я вас спрашиваю?

Я немножко отошел от него и опять сказал:

— Вот она. Вот. Разве вы не видите?

А он прямо задохнулся:

— Что ты мне суешь этот кошмарный блин? У меня была новенькая шляпа, где она?! Отвечай сейчас же!

Я ему говорю:

— Вашу шляпу унес ветер, и она попала в пруд. Но я ее уцепил гвоздем. А потом мы выжали из нее воду. Вот она. Берите… А это подкладка!

Он сказал:

— Сейчас я сведу тебя к твоим родителям!!!

— Мама в институте. Папа на заводе. А вы, случайно, не Ботвинник?

Он совсем рассердился:

— Уйди, мальчик! Скройся с глаз! А то я тебе подсыплю!

Я еще чуть-чуть отошел и сказал:

— А то давайте сыграем?

Он в первый раз посмотрел на меня как следует.

— А ты разве умеешь?

Я сказал:

— Ого!

Тогда он вздохнул и сказал:

— Ну, садись!



Ровно 25 кило



Ура! Нам с Мишкой дали пригласительный билет в клуб «Металлист», на детский праздник. Это тетя Дуся постаралась: она в этом клубе главная уборщица. Билет-то она нам дала один, а написано на нем: «На два лица»! На мое, значит, лицо и на Мишкино. Мы с ним очень обрадовались, тем более это недалеко от нас, за углом. Мама сказала:

— Вы только там не балуйтесь.

И дала нам денег, каждому по пятнадцать копеек.

И мы пошли с Мишкой.

Там в раздевалке была страшная толчея и очередь. Мы с Мишкой встали самые последние. Очередь чересчур медленно двигалась. Но вдруг наверху заиграла музыка, и мы с Мишкой заметались из стороны в сторону, чтобы поскорее снять пальто, и многие ребята тоже, как только услышали эту музыку, заметались, как подстреленные, и даже стали реветь, что они опаздывают на самое интересное.

Но тут, откуда ни возьмись, выскочила тетя Дуся:

— Дениска с Мишкой! Вы чего там колготитесь-то? Сюда давайте!

И мы побежали к ней, а у нее свой отдельный кабинет под лестницей, там щетки стоят и ведра. Тетя Дуся взяла наши вещи и сказала:

— Здесь и оденетесь, чертенята!

И мы понеслись с Мишкой по лестнице, через ступеньки, наверх. Ну, а там действительно было красиво! Ничего не скажешь! Все потолки были увешаны разноцветными бумажными лентами и фонариками, всюду горели красивые лампы из зеркальных осколков, играла музыка, и в толпе

ходили наряженные артисты: один играл на трубе, другой — на барабане. Одна тетенька была одета как лошадь, и зайцы тоже были, и кривые зеркала, и Петрушка.

А в конце зала была еще одна дверь, и на ней было написано: «Комната аттракционов».

Я спросил:

— Это что такое?

— Это разные затеи.

И правда, там были разные затеи. Например, там висело яблоко на нитке, и надо было заложить руки за спину и так, без рук, это яблоко грызть. Но оно вертится на нитке и никак не дается. Это очень трудно и даже обидно. Я два раза хватал это яблоко руками и кусал. Но мне не давали его сгрызть, а только смеялись и отнимали. Еще там была стрельба из лука, а на конце стрелы не наконечник, а резиновая нашлепка, она присасывается, и вот, кто попадет в картонку, в центр, где нарисована обезьяна, тому приз — хлопушка с секретом.

Мишка стрелял первый, он долго метился, а когда выстрелил, то разбил одну далекую лампу, а в обезьяну не попал…

Я говорю:

— Эх ты, стрелок!

— Это я еще не пристрелялся! Если бы дали пять стрел, я бы пристрелялся. А то дали одну — где тут попасть!

Я повторяю:

— Давай, давай! Гляди-ка, я сейчас же попаду в обезьянку!

И дяденька, который распоряжался этим луком, дал мне стрелу и говорит:

— Ну, стреляй, снайпер!

И сам пошел поправить обезьянку, потому что она как-то покосилась. А я уже прицелился и все ждал, когда он поправит, а лук был очень тугой, и я все время приговаривал: «Сейчас я убью эту обезьянку», — и вдруг стрела сорвалась, и хлоп! Вонзилась дяденьке в лопатку. И там, на лопатке, затрепетала.

Все вокруг захлопали и засмеялись, а дяденька обернулся как ужаленный и закричал:

— Что тут смешного? Не понимаю! Уходи, озорник, нет тебе больше никакого лука!

Я сказал:

— Я не нарочно! — и ушел от этого места.

Просто удивительно, как нам не повезло, и я был очень сердитый, и Мишка, конечно, тоже.

И вдруг видим — стоят весы. И к ним небольшая веселая очередь, которая быстро движется, и все

тут шутят и хохочут. И около весов клоун.

Я спрашиваю:

— Это что за весы?

А мне говорят:

— Становись, взвешивайся. Если в тебе окажется двадцать пять кило весу, тогда твое счастье. Получишь премию: годовую подписку на журнал «Мурзилка».

Я говорю:

— Мишка, давай попробуем?

Гляжу, а Мишки нет. И куда он подевался, неизвестно. Я решил один попробовать. А вдруг я вешу ровно 25 кило? Вот будет удача!..

А очередь все движется, и клоун в шапке ловко так щелкает рычажками и все шутит да шутит:

— У вас семь кило лишних — меньше кушайте мучного! — Щелк-щелк! — А вы, уважаемый товарищ, еще мало каши ели, и всего-то вы тянете девятнадцать килишек! Заходите через годик. — Щелк-щелк!

И так далее, и все смеются, и отходят, очередь движется, и никто не весит ровно двадцать пять кило, и вот доходит дело до меня.

Я влез на весы — рычажки щелк-щелк, и клоун говорит:

— Ого! Знаешь игру в горячо-холодно?

Я говорю:

— Кто ж не знает!

Он говорит:

— У тебя довольно горячо получилось. Твой вес двадцать четыре кило пятьсот граммов, не хватает ровно полкило. А жаль. Будь здоров!

Подумаешь, всего только полкило не хватает!

У меня совсем настроение испортилось. Вот какой день невезучий!

И тут Мишка появляется.

Я говорю:

— Где это ваша милость пропадает?

Мишка говорит:

— Ситро пил.

Я говорю:

— Хорош, нечего сказать. Я тут стараюсь, «Мурзилку» выигрываю, а он ситро пьет.

И я ему все рассказал. Мишка говорит:

— А ну-ка я!

И клоун щелкнул рычажком и захохотал:

— Небольшой перебор-с! Двадцать пять кило пятьсот граммов. Вам надо похудеть. Следующий!

Мишка слез и говорит:

— Эх, зря я ситро пил…

Я говорю:

— А при чем здесь ситро?

А Мишка:

— Я целую бутылку выпил! Понимаешь?

Я говорю:

— Ну и что?

Мишка даже разозлился:

— Да разве ты не знаешь, что в бутылке помещается ровно пол-литра воды?

Я говорю:

— Знаю. Ну и что?

Тут Мишка прямо зашипел:

— А пол-литра воды — это и есть полкило. Пятьсот граммов! Если бы я не пил, я бы весил ровно двадцать пять кило!

Я говорю:

— Ну да?

Мишка говорит:

— Вот то-то и оно-то!

И тут меня словно осенило.

— Мишка, — сказал я, — а Мишка! «Мурзилка» наш!

Мишка говорит:

— А каким образом?

— А таким. Пришло мое время ситро пить. У меня как раз пятьсот граммов не хватает!

Мишка даже подскочил:

— Все ясно, бежим в буфет!

И мы быстро купили бутылку воды, продавщица ее откупорила, а Мишка спросил:

— Тетя, а в бутылке всегда ровно пол-литра, недолива не бывает?

Продавщица покраснела.

— Ты еще маленький такие глупости мне говорить!

Я взял бутылку, сел за столик и начал пить. Мишка стоял рядом и смотрел. Вода была очень холодная. Но я выпил полный стакан просто залпом. Мишка сейчас же налил мне второй, но там еще осталось на дне довольно много, и мне уже не хотелось больше пить.

Мишка сказал:

— Давай не задерживай.

А я сказал:

— Уж очень холодная. Как бы ангину не схватить.

Мишка говорит:

— Ты не будь мнительным. Говори, струсил, да?

Я говорю:

— Это ты, наверно, струсил.

И стал пить второй стакан.

Он довольно трудно в меня лился. Я как только

три четверти этого второго стакана выпил, так понял, что я уже полный. До краев.

Я говорю:

— Стоп, Мишка! Больше не войдет!

— Войдет, войдет. Это только так кажется! Пей.

Я попробовал. Не лезет.

Мишка говорит:

— Ты чего расселся, как барон! Ты встань, так влезет!

Я встал. И правда, допил стакан каким-то чудом. А Мишка сейчас же налил мне все, что оставалось в бутылке. Получилось больше, чем полстакана.

Я говорю:

— Я сейчас лопну.

Мишка говорит:

— А как же я не лопнул? Я ведь тоже думал, что лопну. Давай поднажми.

— Мишка. Если. Я лопну. Ты. Будешь. Отвечать.

Он говорит:

— Хорошо. Пей давай.

И я опять стал пить. И все выпил. Просто чудеса какие-то! Только я говорить не мог. Потому что вода перелилась уже выше горла и булькала во рту. И понемножку выливалась из носа.

И я побежал к весам. Клоун не узнал меня. Он сделал «щелк-щелк» и вдруг закричал на весь

зал:

— Уррра! Есть! Точно!!! Тютелька в тютельку. Годовая подписка на «Мурзилку» выиграна. Она досталась мальчику, который весит ровно двадцать пять килограммов. Вот квитанция, сейчас я ее заполню. Похлопаем!

Он взял мою левую руку и поднял ее вверх, и все захлопали, и клоун спел туш! Потом он взял вечное перо и сказал:

— Ну! Как тебя зовут? Имя и фамилия? Отвечай!

Но я молчал. Я был наполненный и не мог говорить.

Тут Мишка закричал:

— Его зовут Денис. Фамилия Кораблев! Пишите, я его знаю!

Клоун протянул мне заполненную квитанцию и сказал:

— Скажи хоть спасибо!

Я мотнул головой, а Мишка опять закричал:

— Это он говорит «спасибо». Я его знаю!

А клоун говорит:

— Ну и мальчик! Выиграл «Мурзилку», а сам молчит, как будто воды в рот набрал!

А Мишка говорит:

— Не обращайте внимания, он застенчивый,

я его знаю!

И он схватил меня за руку и поволок вниз.

И я на улице немножко отдышался. Я сказал:

— Мишка, мне как-то не хочется нести эту подписку домой, раз во мне только двадцать четыре с половиной кило.

А Мишка говорит:

— Тогда отдай мне. Во мне-то аккурат двадцать пять. Если бы я не пил ситро, я бы сразу ее получил. Давай сюда.

— Что ж, я, по-твоему, напрасно страдал? Нет уж, пусть она будет наша общая — напополам!

Тогда Мишка сказал:

— Правильно!

Здоровая мысль



После уроков мы с Мишкой собрали свое имущество и пошли домой. На улице было мокро, грязно и весело. Только что прошел сильный дождь, и асфальт блестел как новенький, воздух пах чем-то свежим и чистым, в лужах отражались дома и небо, а если идти с горы, то сбоку, возле тротуара, мчался бурный поток, вроде горной речки, красивый поток, коричневый, с водоворотами, завихрениями и бурунами. На углу улицы

в землю была вделана решетка, и здесь вода совершенно распоясалась, она плясала и пенилась, булькала, как цирковая музыка, или, наоборот, журчала и шкворчала, словно жарилась на сковородке. Просто прелесть…

Мишка сейчас же, как все это увидел, полез в карман и вытащил спичечный коробок. Я помог ему достать спичку для мачты, дал ему листок бумаги, мы сделали парус и воткнули все это в коробок. Сразу получился не коробок, а кораблик. Мы его спустили на воду, и он тут же поплыл с ураганной быстротой. Его вертело туда-сюда и бросало, он подпрыгивал и несся вперед, то задерживаясь ненадолго, а то давая сто узлов в час. Мы сейчас же начали озвучивать это дело, потому что мы сразу стали капитаном и штурманом — я и Мишка. Мы кричали, когда кораблик садился на мель.

— Задний ход — чух-чух-чух!

— Полный задний — чух-чух-чух!

— Полнейший задний ход — чух-чух-чух-чах-чах-чах!

И я пальцем направлял корабль куда надо, а Мишка орал:

— Пошел! Ух жжмет! Вот это дает! Полный вперед! Чух-чух-чих!

И так с дикими воплями мы бежали за корабликом как сумасшедшие и добежали до угла, где решетка, и вдруг наш кораблик завертелся, закружился в водовороте, и мы оглянуться не успели, как он клюнул носом, хлюпнул и провалился в решетку.

Мишка сказал:

— Жалко как. Утонул…

И я сказал:

— Да. Его поглотила бушующая стихия. Давай новый запустим?

Но Мишка покачал головой:

— Нельзя. Сегодня мне опаздывать из школы нельзя. Сегодня папа дежурный.

Я сказал:

— По чему?

— Его очередь, — ответил Мишка.

— Нет, — сказал я, — ты не понял. Я спрашиваю, по какому делу твой папа дежурный? По чему? По уборке? Или по накрыванию на стол?

— По мне, — сказал Мишка. — Папа дежурит по мне. Они с мамой так установили очередь: один день мама, другой папа. Сегодня папа. Уж небось приехал с работы кормить меня обедом, а сам спешит, ведь ему обратно надо!

— Ты, Мишка, не человек! — сказал я. — Ты

своего отца сам должен обедом кормить, а тут занятой человек ездит с работы кормить такого оболтуса! Ведь тебе уже восемь лет! Жених!

— Это мама мне не доверяет, ты не думай, — сказал Мишка. — Я помогаю, вон в прошлую пятницу я им за хлебом сходил…

— Им! — сказал я. — Им! Они, видите ли, едят, а наш Мишенька одним воздухом питается! Эх, ты…

Мишка весь покраснел, как синяя свекла, и сказал:

— Пошли по домам!

И мы прибавили шагу. А когда стали подходить к нашим домам, Мишка сказал:

— Я каждый день свою квартиру не нахожу. Все дома одинаковые, просто путаются в глазах. А ты находишь?

— Нет, я тоже не нахожу, — сказал я, — не узнаю свое парадное. То зеленое, и это зеленое, все одинаковые, новенькие, и балкончики тоже один в один. Прямо беда.

— Так как же ты поступаешь? — сказал Мишка.

— Жду, пока мама на балкон выйдет.

— Ну, так может и чужая чья-нибудь выйти! Ты вполне можешь к другой попасть…

— Ты что, — сказал я, — да я из тысячи чужих свою маму узнаю.

— А как? — спросил Мишка.

— По лицу, — сказал я.

— На прошлом родительском собрании были все родители, и Костикова бабушка шла домой с моим папой, — сказал Мишка, — так Костикова бабушка сказала, что твоя мама самая красивая в классе.

— Ерунда, — сказал я, — твоя тоже красивая!

— Конечно, — сказал Мишка, — но Костикова бабушка сказала, что твоя самая красивая.

Тут мы подошли вплотную к нашим домам. Мишка стал беспокойно оглядываться по сторонам и тревожиться, но в это время с нами поравнялась какая-то старушка и сказала:

— А, это ты, Мишенька? Что? Не знаешь, где живешь, да? Вечная история. Ну пойдем, соседушка, уж доведу тебя.

Она взяла Мишку за руку, а мне сказала:

— Мы с одной лестничной клетки.

И они пошли. Мишка очень охотно поволокся за ней. А я остался один в этих одинаковых переулках без названий, среди одинаковых домов без номеров и совершенно не представлял себе, куда идти, но решил не унывать и стал подни-

маться по лестнице на четвертый этаж первого же попавшегося дома. Ведь этих домов и всего-то восемнадцать, так что если я даже все подряд их обойду, то через часок-другой наверняка буду дома, это уж точно.

Во всех наших подъездах, на каждой двери, слева привинчен звонок с красной кнопочкой. Вот я влез на четвертый этаж и нажал кнопку. Дверь открылась, оттуда высунулся длинный кривой нос и крикнул в дверную щель:

— Макулатуры нет! Сколько раз повторять!

Я сказал «извините» и сошел вниз. Ошибся, что поделаешь. Тогда я пошел в следующий подъезд.

Не успел я тихонько дотронуться до звонка, как из-за двери раздался такой хриплый и страшный лай, что я не стал дожидаться, пока меня съест какой-нибудь волкодав, а просто моментально скатился вниз.

В следующем подъезде, на четвертом этаже, дверь открыла высокая девушка и, когда увидела меня, весело захлопала в ладоши и закричала:

— Володя! Папа! Марья Семеновна! Саша! Все сюда! Шестой!

Из комнат высыпала куча народу, они все смотрели на меня, и хохотали, и прихлопывали в ладоши, и подпевали:

— Шес-той! Ой-ой! Шестой! Шестой!..

Я глядел на них во все глаза. Сумасшедшие, что ли? Я даже стал обижаться на них: тут есть хочется, и ноги промочил, и к чужим вместо дома попал, а они смеются… Но девушка, видно, поняла, что мне не весело.

— Тебя как звать? — сказала она, и присела передо мной на корточки, и заглянула мне в глаза своими синими глазами.

— Денисом, — ответил я.

Она сказала:

— Ты не обижайся, Денис! Просто ты сегодня уже шестой мальчик, который пришел к нам. Все они тоже заблудились. На-ка вот тебе яблоко, съешь, подкрепи истощенные силы.

Я не стал брать.

— Возьми, пожалуйста, — сказала она, — для меня. Сделай мне одолжение.

Ну, я сделал ей одолжение.

— Послушай, — сказала девушка, — мне кажется, что я видела тебя выходящим из подъезда, что прямо напротив нашего. Ты выходил с одной очень красивой женщиной. Это может быть?

— Конечно, — сказал я, — моя мама самая красивая в классе.

Тут они все снова рассмеялись. Без всякой при-

чины. А девушка сказала:

— Ну, беги. И если хочешь, приходи к нам в гости.

Я сказал «спасибо» и побежал, куда показала высокая девушка. И не успел я нажать кнопку, как дверь открылась, и на пороге стояла моя мама! Она сказала:

— Вечно тебя надо ждать!

Я сказал:

— Это ужасная история! Я промочил ноги! Потому что я не могу найти двери нашего дома. Я не знаю, где наш подъезд, он похож на все остальные, как капля воды на все другие. И у Мишки такая же история! Никто не может найти свой дом! Я сегодня шестой… и есть хочу!

И я рассказал маме про кривой нос с макулатурой, и про рычащего волкодава, и про высокую девушку и яблоко.

— Надо устроить для тебя какую-нибудь примету, — сказал папа, — чтобы ты безошибочно узнавал свой дом.

Я обрадовался:

— Папа! Я уже придумал! Повесь, пожалуйста, на наш дом мамин портрет! Я уже издалека буду знать, где я живу!

Мама рассмеялась и сказала:

— Ну, не выдумывай!

А папа сказал:

— В конце концов, а почему бы и нет? Вполне здоровая мысль!



Похититель собак



Еще вот какая была история. Когда я жил у дяди Володи на даче, недалеко от нас жил Борис Климентьевич, худой такой дядька, веселый, с палкой в руке и высокий, как забор.

У него была собачка под названием Чапка. Очень хорошая собачушка, черная, мохнатая, морда кирпичом, хвостик торчком. И я с ней очень подружился.

Вот один раз Борис Климентьевич задумал

идти купаться, а Чапку не захотел с собой брать. Потому что она уже один раз ходила с ним на пляж и из этого вышла скандальная история. В тот раз Чапка полезла в воду, а в воде плавала одна тетенька. Она плавала на автомобильной камере, чтоб не утонуть. И она сразу закричала на Чапку:

— Пошла вон! Вот еще! Не хватало собачью заразу напускать! — И стала брызгать на Чапку: — Вон пошла, вон!

Чапке это не понравилось, и она прямо на плаву хотела эту тетку цапнуть, но до нее не достала, а камеру все-таки ухватила своими остренькими зубками. Один только разик куснула, и камера зашипела и выдохлась. А тетенька стала думать, что она тонет, и она завизжала:

— Тону, спасите!

Весь пляж страшно перепугался. И Борис Климентьевич кинулся ее спасать. Там, где эта тетенька барахталась, ему река была по колено, а тетеньке по плечи. Он ее спас, а Чапку постегал прутиком — для виду, конечно. И с тех пор перестал ее брать на реку.

И вот теперь он попросил меня погулять во дворе с Чапкой, чтобы она не увязалась за ним. И я вошел во двор, и мы стали с Чапкой носиться и

кувыркаться, прыгать и колбаситься, подскакивать, и вертеться, и лаять, визжать, и смеяться, и валяться. А Борис Климентьевич спокойно ушел. И мы с Чапкой вдоволь наигрались, а в это время мимо забора шел Ванька Дыхов с удочкой.

Он говорит:

— Дениска, рыбу ловить!

Я говорю:

— Не могу, я Чапку стерегу.

Он говорит:

— Посади Чапку в дом. Захвати свой бредень и догоняй.

И пошел дальше. А я взял Чапку за ошейник и тихонечко поволок по траве. Она легла, лапки кверху, и поехала, как на салазках. Я открыл дверь, втащил ее в коридор, дверь прикрыл и пошел за бреднем. Когда я опять вышел на дорогу, Ваньки уже не было. Он скрылся за углом. Я полетел его догонять и вдруг возле продовольственной палатки вижу: на самой середине дороги сидит моя Чапка, язык высунула и смотрит на меня как ни в чем не бывало… Вот так да! Это значит, я дверь плохо прикрыл, или она еще как-то исхитрилась и, наверное, пробежала дворами, а теперь сидит встречает! Умна! Но ведь мне надо спешить. Там Ванька уже, наверное,

рыбу таскает, а я тут с ней возись. Главное, я бы взял ее с собой, но Борис Климентьевич может вернуться, и, если он ее не застанет дома, он разволнуется, бросится искать, и потом меня будут ругать… Нет, так дело не пойдет! Придется ее обратно волочить.

Я схватил ее за ошейник и потащил домой. На этот раз Чапка упиралась в землю всеми четырьмя лапами. Она волоклась за мной на своем животе как лягушка. Я ее еле доволок до дверей. Открыл узенькую щелку, впихнул и дверь захлопнул крепко-накрепко. Она там зарычала и залаяла, но я не стал ее утешать. Я обошел весь дом, закрыл все окна и калитку тоже. И хотя я очень устал от возни с Чапкой, я все-таки припустился бежать к реке. Я довольно быстро бежал, и когда я уже поравнялся с трансформаторной будкой, из-за нее выскочила… опять Чапка! Я даже оторопел. Я просто не верил своим глазам. Я подумал, что она мне снится… Но тут Чапка стала делать вид, что вот она меня сейчас укусит за то, что я ее оставил дома. Рычит и лает на меня! Ну, погоди же, я тебе покажу! И я стал хватать ее за ошейник, но она не давалась, она увертывалась, хрипела, отступала, отскакивала и все время лаяла. Тогда я стал приманивать:

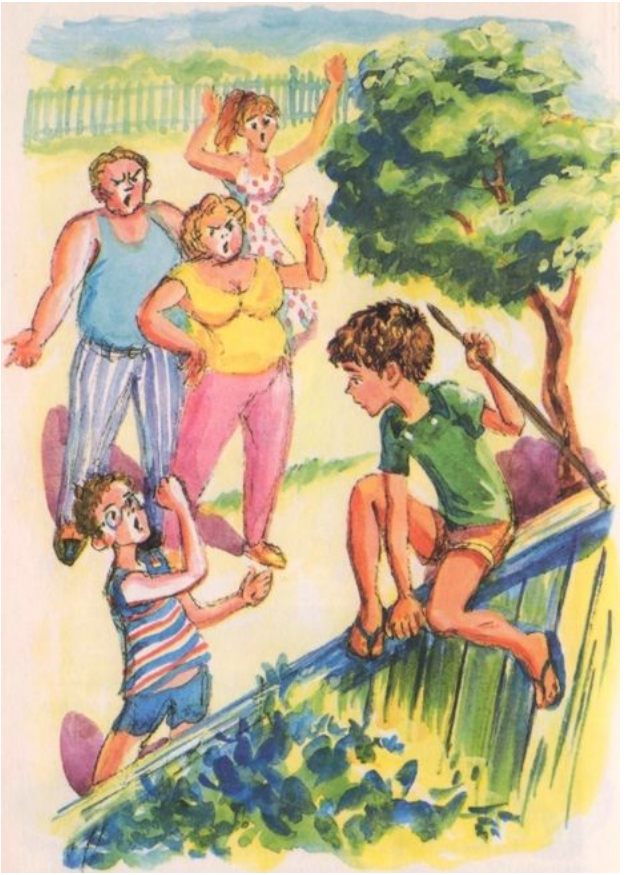
— Чапочка, Чапочка, тю-тю-тю, лохмушенька, на-на-на!

Но она продолжала издеваться и не давала себя поймать. Главное, мне мешал мой бредень, у меня была не та ловкость. И мы так долго скакали вокруг будки. И вдруг я вспомнил, что недавно видел в телевизоре картину «Тропою джунглей». Там показано, как охотники ловят обезьян сетями. Я сразу сообразил, взял свой бредень, как сачок, и хлоп! Накрыл Чапку, как обезьянку. Она прямо взвыла от злости, но я быстро закутал ее как следует, перекинул бредень через плечо и, как настоящий охотник, потащил ее домой через весь поселок. Чапка висела у меня за спиной в сетке, как в гамаке, и только изредка подвывала. Но я уже не обращал на нее никакого внимания, а просто взял ее и вытряхнул в окошко и припер его снаружи палкой. Она сразу там залаяла я зарычала на разные голоса, а я уже в третий раз побежал за Ванькой. Это я так рассказываю быстро, а на самом деле времени прошло очень много. И вот у самой реки я встретил Ваньку. Он шел веселый, а в руке у него была травинка, а на травинке нанизаны две уклейки, большие, с чайную ложку каждая. Я говорю:

— Ого! А у тебя, я вижу, здорово клевало!

Ванька говорит:

— Да, просто не успевал вытаскивать. Давай отнесем эту рыбу моей маме на уху, а после обеда снова пойдем. Может, и ты что-нибудь поймаешь.



И так за разговором мы незаметно дошли до

дома Бориса Климентьевича. А около его дома стояла небольшая толпа. Там был дядька в полосатых штанах, с животом, как подушка, и еще там была тетенька тоже в штанах и с голой спиной. Был еще мальчишка в очках и еще кто-то. Они все размахивали руками и что-то кричали. А потом мальчишка в очках увидел меня да как закричит:

— Вот он, вот он сам, собственной персоной!

Тут все обернулись на нас, и дядька в полосатых штанах завопил:

— Какой? С рыбой или маленький?!

Мальчишка в очках кричит:

— Маленький! Хватайте его! Это он!

И они все кинулись ко мне. Я немножко испугался и быстро отбежал от них, бросил бредень и влез на забор. Это был высокий забор: меня нипочем снизу не достать. Тетенька с голой спиной подбежала к забору и стала кричать нечеловеческим голосом:

— Отдай сейчас же Бобку! Куда ты его девал, негодник?

А дядька уткнулся животом в забор, кулаками стучит:

— А где моя Люська? Ты куда ее увел? Признавайся!

Я говорю:

— Отойдите от забора. Я никакого Бобку не знаю и Люську тоже. Я даже с ними не знаком! Ванька, скажи им!

Ванька кричит:

— Что вы напали на ребенка? Я вот сейчас как сбегаю за мамой, тогда узнаете!

Я кричу:

— Ты беги поскорее, Ванька, а то они меня растерзают!

Ванька кричит:

— Держись, не слезай с забора! — И побежал.

А дядька говорит:

— Это соучастник, не иначе. Их тут целая шайка! Эй, ты, на заборе, отвечай сейчас же, где Люся?

Я говорю:

— Следите сами за своей доченькой!

— Ах, ты еще острить? Слезай сию минуту, и пойдем в прокуратуру.

Я говорю:

— Ни за что не слезу!

Тогда мальчишка в очках говорит:

— Сейчас я его достану!

И давай карабкаться на забор. Но не умеет. Потому что не знает, где гвоздь, где что, чтобы

уцепиться. А я на этот забор сто раз лазил. Да еще я этого мальчишку пяткой отпихиваю. И он, слава богу, срывается.

— Стой, Павля, — говорит дядька, — давай я тебя подсажу!

И этот Павля стал карабкаться на этого дядьку. И я опять испугался, потому что Павля был здоровый парень, наверное, учился уже в третьем или в четвертом классе. И я подумал, что мне пришел конец, но тут я вижу, бежит Борис Климентьевич, а из переулка Ванькина мама и Ванька. Они кричат:

— Стойте! В чем дело?

А дядька орет:

— Ни в чем не дело! Просто этот мальчишка ворует собак! Он у меня собаку украл, Люсю.

И тетенька в штанах добавляет:

— И у меня украл, Бобку!

Ванькина мама говорит:

— Ни за что не поверю, хоть режьте.

А мальчишка в очках вмешивается:

— Я сам видел. Он нес нашу собаку в сетке, за плечами! Я сидел на чердаке и видел!

Я говорю:

— Не стыдно врать? Чапку я нес. Она из дому удрала!

Борис Климентьевич говорит:

— Это довольно положительный мальчик. С чего бы ему вдруг вступить на стезю преступлений и начать воровать собак? Пойдемте в дом, разберемся! Иди, Денис, сюда!

Он подошел к забору, и я прямо перешел к нему на плечи, потому что он был очень высокий, я уже говорил.

Тут все пошли во двор. Дядька фыркал, тетенька в штанах ломала пальцы, очкастый Павля шел за ними, а я катился на Борисе Климентьевиче. Мы взошли на крыльцо, Борис Климентьевич открыл дверь, и вдруг оттуда выскочили три собаки! Три Чапки! Совершенно одинаковые! Я подумал, что это у меня в глазах троится.

Дядька кричит:

— Люсечка!

И одна Чапка кинулась и вскочила ему прямо на живот!

А тетенька в брюках и Павля вопят:

— Бобик! Бобка!

И рвут второго Чапку пополам: она за передние ноги тянет к себе, а он за задние — к себе! И только третья собака стоит возле нас и вертиком хвостит. То есть хвостиком вертит.

Борис Климентьевич говорит:

— Вот ты с какой стороны раскрылся? Я этого не ожидал. Ты зачем напихал полный дом чужих собак?

Я сказал:

— Я думал, что они Чапки! Ведь как похожи! Одно лицо. Прямо вылитые собачьи близнецы.

И я все рассказал по порядку. Тут все стали хохотать, а когда успокоились, Борис Климентьевич сказал:

— Конечно, не удивительно, что ты обознался. Скоч-терьеры очень похожи друг на друга, настолько, что трудно бывает различить. Вот и сегодня, по совести говоря, не мы, люди, узнали своих собак, а собаки узнали нас. Так что ты ни в чем не виноват. Но все равно знай, что с этих пор я буду называть тебя Похититель собак.

… И правда, он так меня называет…



«Где это видано, где это слыхано...»



На переменке подбежала ко мне наша октябрятская вожатая Люся и говорит:

— Дениска, а ты сможешь выступить в концерте? Мы решили организовать двух малышей, чтобы они были сатирики. Хочешь?

Я говорю:

— Я все хочу! Только ты объясни: что такое сатирики.

Люся говорит:

— Видишь ли, у нас есть разные неполадки… Ну, например, двоечники или лентяи, их надо прохватить. Понял? Надо про них выступить, чтобы все смеялись, это на них подействует отрезвляюще.

Я говорю:

— Они не пьяные, они просто лентяи.

— Это так говорится: «отрезвляюще», — засмеялась Люся. — А на самом деле просто эти ребята призадумаются, им станет неловко, и они исправятся. Понял? Ну, в общем, не тяни: хочешь — соглашайся, не хочешь — отказывайся!

Я сказал:

— Ладно уж, давай!

Тогда Люся спросила:

— А у тебя есть партнер?

— Нету.

Люся удивилась:

— Как же ты без товарища живешь?

— Товарищ у меня есть, Мишка. А партнера нету.

Люся снова улыбнулась:

— Это почти одно и то же. А он музыкальный, Мишка твой?

— Нет, обыкновенный.

— Петь умеет?

— Очень тихо. Но я научу его петь громче, не беспокойся.

Тут Люся обрадовалась:

— После уроков притащи его в малый зал, там будет репетиция!

И я со всех ног пустился искать Мишку. Он стоял в буфете и ел сардельку.

— Мишка, хочешь быть сатириком?

А он сказал:

— Погоди, дай поесть.

Я стоял и смотрел, как он ест. Сам маленький, а сарделька толще его шеи. Он держал эту сардельку руками и ел прямо целой, не разрезая, и шкурка трещала и лопалась, когда он ее кусал, и оттуда брызгал горячий пахучий сок.

И я не выдержал и сказал тете Кате:

— Дайте мне, пожалуйста, тоже сардельку, поскорее!

И тетя Катя сразу протянула мне мисочку. И я очень торопился, чтобы Мишка без меня не успел съесть свою сардельку: мне одному не было бы так вкусно. И вот я тоже взял свою сардельку руками и тоже, не чистя, стал грызть ее, и из нее брызгал горячий пахучий сок. И мы с Мишкой так грызли на пару, и обжигались, и смотрели друг на дружку, и улыбались.

А потом я ему рассказал, что мы будем сатирики, и он согласился, и мы еле досидели до конца уроков, а потом побежали в малый зал на репетицию.

Там уже сидела наша вожатая Люся, и с ней был один парнишка, приблизительно из четвертого, очень некрасивый, с маленькими ушами и большущими глазами.

Люся сказала:

— Вот и они! Познакомьтесь, это наш школьный поэт Андрей Шестаков.

Мы сказали:

— ЗдОрово!

И отвернулись, чтобы он не задавался.

А поэт сказал Люсе:

— Это что, исполнители, что ли?

— Да.

Он сказал:

— Неужели ничего не было покрупней?

Люся сказала:

— Как раз то, что требуется!

Но тут пришел наш учитель пения Борис Сергеевич. Он сразу подошел к роялю:

— Нуте-с, начинаем! Где стихи?

Андрюшка вынул из кармана какой-то листок и сказал:

— Вот. Я взял размер и припев у Маршака, из сказки об ослике, дедушке и внуке: «Где это видано, где это слыхано…»

Борис Сергеевич кивнул:

— Читай вслух!

Андрюшка стал читать:

Папа у Васи силен в математике,
Учится папа за Васю весь год.
Где это видано, где это слыхано, —
Папа решает, а Вася сдает?!

Мы с Мишкой так и прыснули. Конечно, ребята довольно часто просят родителей решить за них задачу, а потом показывают учительнице, как будто это они такие герои. А у доски ни бум-бум — двойка! Дело известное. Ай да Андрюшка, здорово прохватил!

А Андрюшка читает дальше, так тихо и серьезно:

Мелом расчерчен асфальт на квадратики,
Манечка с Танечкой прыгают тут.
Где это видано, где это слыхано, —
В «классы» играют, а в класс не идут?!

Опять здорово. Нам очень понравилось! Этот Андрюшка просто настоящий молодец, вроде Пушкина!

Борис Сергеевич сказал:

— Ничего, неплохо! А музыка будет самая простая, вот что-нибудь в этом роде. — И он взял Андрюшкины стихи и, тихонько наигрывая, пропел их все подряд.

Получилось очень ловко, мы даже захлопали в ладоши.

А Борис Сергеевич сказал:

— Нуте-с, кто же наши исполнители?

А Люся показала на нас с Мишкой:

— Вот!

— Ну что ж, — сказал Борис Сергеевич, — у Миши хороший слух... Правда, Дениска поет не очень-то верно.

Я сказал:

— Зато громко.

И мы начали повторять эти стихи под музыку и повторили их, наверно, раз пятьдесят или тысячу, и я очень громко орал, и все меня успокаивали и делали замечания:

— Ты не волнуйся! Ты тише! Спокойней! Не надо так громко!

Особенно горячился Андрюшка. Он меня совсем

затормошил. Но я пел только громко, я не хотел петь потише, потому что настоящее пение — это именно когда громко!

… И вот однажды, когда я пришел в школу, я увидел в раздевалке объявление:

ВНИМАНИЕ!

Сегодня на большой перемене в малом зале состоится выступление летучего патруля «Пионерского Сатирикона»!

Исполняет дуэт малышей!

На злобу дня!

Приходите все!

И во мне сразу что-то екнуло. Я побежал в класс. Там сидел Мишка и смотрел в окно.

Я сказал:

— Ну, сегодня выступаем!

А Мишка вдруг промямлил:

— Неохота мне выступать…

Я прямо оторопел. Как — неохота? Вот так раз! Ведь мы же репетировали? А как же Люся и Борис Сергеевич? Андрюшка? А все ребята, ведь они читали афишу и прибегут как один? Я сказал:

— Ты что, с ума сошел, что ли? Людей подводить?

А Мишка так жалобно:

— У меня, кажется, живот болит.

Я говорю:

— Это со страху. У меня тоже болит, но я ведь не отказываюсь!

Но Мишка все равно был какой-то задумчивый. На большой перемене все ребята кинулись в малый зал, а мы с Мишкой еле плелись позади, потому что у меня тоже совершенно пропало настроение выступать. Но в это время нам навстречу выбежала Люся, она крепко схватила нас за руки и поволокла за собой, но у меня ноги были мягкие, как у куклы, и заплетались. Это я, наверно, от Мишки заразился.

В зале было огорожено место около рояля, а вокруг столпились ребята из всех классов, и няни, и учительницы.

Мы с Мишкой встали около рояля.

Борис Сергеевич был уже на месте, и Люся объявила дикторским голосом:

— Начинаем выступление «Пионерского Сатирикона» на злободневные темы. Текст Андрея Шестакова, исполняют всемирно известные сатирики Миша и Денис! Попросим!

И мы с Мишкой вышли немножко вперед. Мишка был белый как стена. А я ничего, только во рту было сухо и шершаво, как будто там лежал

наждак.

Борис Сергеевич заиграл. Начинать нужно было Мишке, потому что он пел первые две строчки, а я должен был петь вторые две строчки. Вот Борис Сергеевич заиграл, а Мишка выкинул в сторону левую руку, как его научила Люся, и хотел было запеть, но опоздал, и, пока он собирался, наступила уже моя очередь, так выходило по музыке. Но я не стал петь, раз Мишка опоздал. С какой стати!

Мишка тогда опустил руку на место. А Борис Сергеевич громко и раздельно начал снова.

Он ударил, как и следовало, по клавишам три раза, а на четвертый Мишка опять откинул левую руку и наконец запел:

Папа у Васи силен в математике,
Учится папа за Васю весь год.
Я сразу подхватил и прокричал:
Где это видано, где это слыхано, —
Папа решает, а Вася сдает?!

Все, кто был в зале, рассмеялись, и у меня от этого стало легче на душе. А Борис Сергеевич поехал дальше. Он снова три раза ударил по клавишам, а на четвертый Мишка аккуратно выкинул левую руку в сторону и ни с того ни с

сего запел сначала:

Папа у Васи силен в математике,
Учится папа за Васю весь год.

Я сразу понял, что он сбился! Но раз такое дело, я решил допеть до конца, а там видно будет. Взял и допел:

Где это видано, где это слыхано, —
Папа решает, а Вася сдает?!

Слава богу, в зале было тихо — все, видно, тоже поняли, что Мишка сбился, и подумали: «Ну что ж, бывает, пусть дальше поет».

А музыка в это время бежала все дальше и дальше. Но Мишка был какой-то зеленоватый.

И когда музыка дошла до места, он снова вымахнул левую руку и, как пластинка, которую «заело», завел в третий раз:

Папа у Васи силен в математике,
Учится папа за Васю весь год...

Мне ужасно захотелось стукнуть его по затылку чем-нибудь тяжелым, и я заорал со страшной злостью:

Где это видано, где это слыхано, —
Папа решает, а Вася сдает?!

Мишка, ты, видно, совсем рехнулся! Ты что в третий раз одно и то же затягиваешь? Давай про девчонок!

А Мишка так нахально:

— Без тебя знаю! — И вежливо говорит Борису Сергеевичу: — Пожалуйста, Борис Сергеевич, дальше!

Борис Сергеевич заиграл, а Мишка вдруг осмелел, опять выставил свою левую руку и на четвертом ударе заголосил как ни в чем не бывало:

Папа у Васи силен в математике,

Учится папа за Васю весь год...

Тут все в зале прямо завизжали от смеха, и я увидел в толпе, какое несчастное лицо у Андрюшки, и еще увидел, что Люся, вся красная и растрепанная, пробивается к нам сквозь толпу. А Мишка стоит с открытым ртом, как будто сам на себя удивляется. Ну, а я, пока суд да дело, докрикиваю:

Где это видано, где это слыхано, —

Папа решает, а Вася сдает?!

Тут уж началось что-то ужасное. Все хохотали как зарезанные, а Мишка из зеленого стал фиолетовым. Наша Люся схватила его за руку и

утащила к себе. Она кричала:

— Дениска, пой один! Не подводи!.. Музыка! И!..

А я стоял у рояля и решил не подвести. Я почувствовал, что мне стало все равно, и, когда дошла музыка, я почему-то вдруг тоже выкинул в сторону левую руку и совершенно неожиданно завопил:

Папа у Васи силен в математике,

Учится папа за Васю весь год…

Я даже плохо помню, что было дальше. Было похоже на землетрясение. И я думал, что вот сейчас провалюсь совсем под землю, а вокруг все просто падали от смеха — и няни, и учителя, все, все…

Я даже удивляюсь, что я не умер от этой проклятой песни.

Я наверно бы умер, если бы в это время не зазвонил звонок…

Не буду я больше сатириком!



Куриный бульон



Мама принесла из магазина курицу, большую, синеватую, с длинными костлявыми ногами. На голове у курицы был большой красный гребешок. Мама повесила ее за окно и сказала:

— Если папа придет раньше, пусть сварит. Передашь?

Я сказал:

— С удовольствием!

И мама ушла в институт. А я достал акварель-

ные краски и стал рисовать. Я хотел нарисовать белочку, как она прыгает в лесу по деревьям, и у меня сначала здорово выходило, но потом я посмотрел и увидел, что получилась вовсе не белочка, а какой-то дядька, похожий на Мойдодыра. Белкин хвост получился как его нос, а ветки на дереве как волосы, уши и шапка… Я очень удивился, как могло так получиться, и, когда пришел папа, я сказал:

— Угадай, папа, что я нарисовал?

Он посмотрел и задумался:

— Пожар?

— Ты что, папа? Ты посмотри хорошенько!

Тогда папа посмотрел как следует и сказал:

— Ах, извини, это, наверное, футбол…

Я сказал:

— Ты какой-то невнимательный! Ты, наверно, устал?

А он:

— Да нет, просто есть хочется. Не знаешь, что на обед?

Я сказал:

— Вон, за окном курица висит. Свари и съешь!

Папа отцепил курицу от форточки и положил ее на стол.

— Легко сказать, свари! Сварить можно. Сва-

рить — это ерунда. Вопрос, в каком виде нам ее съесть? Из курицы можно приготовить не меньше сотни чудесных питательных блюд. Можно, например, сделать простые куриные котлетки, а можно закатить министерский шницель — с виноградом! Я про это читал! Можно сделать такую котлету на косточке — называется «киевская» — пальчики оближешь. Можно сварить курицу с лапшой, а можно придавить ее утюгом, облить чесноком и получится, как в Грузии, «цыпленок табака». Можно, наконец…

Но я его перебил. Я сказал:

— Ты, папа, свари что-нибудь простое, без утюгов. Что-нибудь, понимаешь, самое быстрое!

Папа сразу согласился:

— Верно, сынок! Нам что важно? Поесть побыстрей! Это ты ухватил самую суть. Что же можно сварить побыстрей? Ответ простой и ясный: бульон!

Папа даже руки потер.

Я спросил:

— А ты бульон умеешь?

Но папа только засмеялся.

— А чего тут уметь? — У него даже заблестели глаза. — Бульон — это проще пареной репы: положи в воду и жди, когда сварится, вот и вся

премудрость. Решено! Мы варим бульон, и очень скоро у нас будет обед из двух блюд: на первое — бульон с хлебом, на второе — курица вареная, горячая, дымящаяся. Ну-ка брось свою репинскую кисть и давай помогай!

Я сказал:

— А что я должен делать?

— Вот погляди! Видишь, на курице какие-то волоски. Ты их состриги, потому что я не люблю бульон лохматый. Ты состриги эти волоски, а я пока пойду на кухню и поставлю воду кипятить!

И он пошел на кухню. А я взял мамины ножницы и стал подстригать на курице волоски по одному. Сначала я думал, что их будет немного, но потом пригляделся и увидел, что очень много, даже чересчур. И я стал их состригать, и старался быстро стричь, как в парикмахерской, и пощелкивал ножницами по воздуху, когда переходил от волоска к волоску.

Папа вошел в комнату, поглядел на меня и сказал:

— С боков больше снимай, а то получится под бокс!

Я сказал:

— Не очень-то быстро выстригается...

Но тут папа вдруг как хлопнет себя по лбу:

— Господи! Ну и бестолковые же мы с тобой, Дениска! И как это я позабыл! Кончай стрижку! Ее нужно опалить на огне! Понимаешь? Так все делают. Мы ее на огне подпалим, и все волоски сгорят, и не надо будет ни стрижки, ни бритья. За мной!

И он схватил курицу и побежал с нею на кухню. А я за ним. Мы зажгли новую горелку, потому что на одной уже стояла кастрюля с водой, и стали обжигать курицу на огне. Она здорово горела и пахла на всю квартиру паленой шерстью. Папа поворачивал ее с боку на бок и приговаривал:

— Сейчас, сейчас! Ох и хорошая курочка! Сейчас она у нас вся обгорит и станет чистенькая и беленькая…

Но курица, наоборот, становилась какая-то черненькая, вся какая-то обугленная, и папа наконец погасил газ.

Он сказал:

— По-моему, она как-то неожиданно прокоптилась. Ты любишь копченую курицу?

Я сказал:

— Нет. Это она не прокоптилась, просто она вся в саже. Давай-ка, папа, я ее вымою.

Он прямо обрадовался.

— Ты молодец! — сказал он. — Ты сообрази-

тельный. Это у тебя хорошая наследственность. Ты весь в меня. Ну-ка, дружок, возьми эту трубочистовую курицу и вымой ее хорошенько под краном, а то я уже устал от этой возни.

И он уселся на табурет.

А я сказал:

— Сейчас, я ее мигом!

И я подошел к раковине и пустил воду, подставил под нее нашу курицу и стал тереть ее правой рукой изо всех сил. Курица была очень горячая и жутко грязная, и я сразу запачкал свои руки до самых локтей. Папа покачивался на табурете.

— Вот, — сказал я, — что ты, папа, с ней наделал. Совершенно не отстирывается. Сажи очень много.

— Пустяки, — сказал папа, — сажа только сверху. Не может же она вся состоять из сажи? Подожди-ка!

И папа пошел в ванную и принес мне оттуда большой кусок земляничного мыла.

— На, — сказал он, — мой как следует! Намыливай!

И я стал намыливать эту несчастную курицу. У нее стал какой-то совсем уже дохловатый вид. Я довольно здорово ее намылил, но она очень плохо отмыливалась, с нее стекала грязь, стекала уже,

наверно, с полчаса, но чище она не становилась.

Я сказал:

— Этот проклятый петух только размазывается от мыла.

Тогда папа сказал:

— Вот щетка! Возьми-ка, потри ее хорошенько! Сначала спинку, а уж потом все остальное.

Я стал тереть. Я тер изо всех сил, в некоторых местах даже протирал кожу. Но мне все равно было очень трудно, потому что курица вдруг словно оживела и начала вертеться у меня в руках, скользить и каждую секунду норовила выскочить. А папа все не сходил со своей табуретки и все командовал:

— Крепче три! Ловчее! Держи за крылья! Эх, ты! Да ты, я вижу, совсем не умеешь мыть курицу.

Я тогда сказал:

— Пап, ты попробуй сам!

И я протянул ему курицу. Но он не успел ее взять, как вдруг она выпрыгнула у меня из рук и ускакала под самый дальний шкафчик. Но папа не растерялся. Он сказал:

— Подай швабру!

И когда я подал, папа стал шваброй выгребать ее из-под шкафа. Он сначала оттуда выгреб старую мышеловку, потом моего прошлогоднего

оловянного солдатика, и я ужасно обрадовался, ведь я думал, что совсем потерял его, а он тут как тут, мой дорогой.

Потом папа вытащил, наконец, курицу. Она была вся в пыли. А папа был весь красный. Но он ухватил ее за лапку и поволок опять под кран. Он сказал:

— Ну, теперь держись. Синяя птица.

И он довольно чисто ее прополоскал и положил в кастрюлю. В это время пришла мама. Она сказала:

— Что тут у вас за разгром?

А папа вздохнул и сказал:

— Курицу варим.

Мама сказала:

— Давно?

— Только сейчас окунули, — сказал папа.

Мама сняла с кастрюльки крышку.

— Солили? — спросила она.

— Потом, — сказал папа, — когда сварится.

Но мама понюхала кастрюльку.

— Потрошили? — сказала она.

— Потом, — сказал папа, — когда сварится.

Мама вздохнула и вынула курицу из кастрюльки. Она сказала:

— Дениска, принеси мне фартук, пожалуйста.

Придется все за вас доделывать, горе-повара.

А я побежал в комнату, взял фартук и захватил со стола свою картинку. Я отдал маме фартук и спросил ее:

— Ну-ка, что я нарисовал? Угадай, мама!

Мама посмотрела и сказала:

— Швейная машинка? Да?



...Бы



Один раз я сидел, сидел и ни с того ни с сего вдруг такое надумал, что даже сам удивился. Я надумал, что вот как хорошо было бы, если бы все вокруг на свете было устроено наоборот. Ну вот, например, чтобы дети были во всех делах главные и взрослые должны были бы их во всем, во всем слушаться. В общем, чтобы взрослые были как дети, а дети как взрослые. Вот это было бы замечательно, очень было бы интересно.

Во-первых, я представляю себе, как бы маме «понравилась» такая история, что я хожу и командую ею как хочу, да и папе небось тоже бы «понравилось», а о бабушке и говорить нечего. Что и говорить, я все бы им припомнил! Например, вот мама сидела бы за обедом, а я бы ей сказал:

«Ты почему это завела моду без хлеба есть? Вот еще новости! Ты погляди на себя в зеркало, на кого ты похожа? Вылитый Кощей! Ешь сейчас же, тебе говорят! — И она бы стала есть, опустив голову, а я бы только подавал команду: — Быстрее! Не держи за щекой! Опять задумалась? Все решаешь мировые проблемы? Жуй как следует! И не раскачивайся на стуле!»

И тут вошел бы папа после работы, и не успел бы он даже раздеться, а я бы уже закричал:

«Ага, явился! Вечно тебя надо ждать! Мой руки сейчас же! Как следует, как следует мой, нечего грязь размазывать. После тебя на полотенце страшно смотреть. Щеткой три и не жалей мыла. Ну-ка, покажи ногти! Это ужас, а не ногти. Это просто когти! Где ножницы? Не дергайся! Ни с каким мясом я не режу, а стригу очень осторожно. Не хлюпай носом, ты не девчонка… Вот так. Теперь садись к столу».

Он бы сел и потихоньку сказал маме:

«Ну как поживаешь?»

А она бы сказала тоже тихонько:

«Ничего, спасибо!»

А я бы немедленно:

«Разговорчики за столом! Когда я ем, то глух и нем! Запомните это на всю жизнь. Золотое правило! Папа! Положи сейчас же газету, наказание ты мое!»

И они сидели бы у меня как шелковые, а уж когда бы пришла бабушка, я бы прищурился, всплеснул руками и заголосил:

«Папа! Мама! Полюбуйтесь-ка на нашу бабуленьку! Каков вид! Грудь распахнута, шапка на затылке! Щеки красные, вся шея мокрая! Хороша, нечего сказать. Признавайся, опять в хоккей гоняла! А это что за грязная палка? Ты зачем ее в дом приволокла? Что? Это клюшка! Убери ее сейчас же с моих глаз — на черный ход!»

Тут я бы прошелся по комнате и сказал бы им всем троим:

«После обеда все садитесь за уроки, а я в кино пойду!»

Конечно, они бы сейчас же заныли и захныкали:

«И мы с тобой! И мы тоже хотим в кино!»

А я бы им:

«Нечего, нечего! Вчера ходили на день рождения, в воскресенье я вас в цирк водил! Ишь! Понравилось развлекаться каждый день. Дома сидите! Нате вам вот тридцать копеек на мороженое, и все!»

Тогда бы бабушка взмолилась:

«Возьми хоть меня-то! Ведь каждый ребенок может провести с собой одного взрослого бесплатно!»

Но я бы увильнул, я сказал бы:

«А на эту картину людям после семидесяти лет вход воспрещен. Сиди дома, гулена!»

И я бы прошелся мимо них, нарочно громко постукивая каблуками, как будто я не замечаю, что у них у всех глаза мокрые, и я бы стал одеваться, и долго вертелся бы перед зеркалом, и напевал бы, и они от этого еще хуже бы мучились, а я бы приоткрыл дверь на лестницу и сказал бы…

Но я не успел придумать, что бы я сказал, потому что в это время вошла мама, самая настоящая, живая, и сказала:

— Ты еще сидишь. Ешь сейчас же, посмотри, на кого ты похож? Вылитый Кощей!



Арбузный переулок



Я пришел со двора после футбола усталый и грязный как не знаю кто. Мне было весело, потому что мы выиграли у дома номер пять со счетом 44:37. В ванной, слава богу, никого не было. Я быстро сполоснул руки, побежал в комнату и сел за стол. Я сказал:

— Я, мама, сейчас быка съесть могу.

Она улыбнулась.

— Живого быка? — сказала она.

— Ага, — сказал я, — живого, с копытами и ноздрями!

Мама сейчас же вышла и через секунду вернулась с тарелкой в руках. Тарелка так славно дымилась, и я сразу догадался, что в ней рассольник. Мама поставила тарелку передо мной.

— Ешь! — сказала мама.

Но это была лапша. Молочная. Вся в пенках. Это почти то же самое, что манная каша. В каше обязательно комки, а в лапше обязательно пенки. Я просто умираю, как только вижу пенки, не то чтобы есть. Я сказал:

— Я не буду лапшу!

Мама сказала:

— Безо всяких разговоров!

— Там пенки!

Мама сказала:

— Ты меня вгонишь в гроб! Какие пенки? Ты на кого похож? Ты вылитый Кощей!

Я сказал:

— Лучше убей меня!

Но мама вся прямо покраснела и хлопнула ладонью по столу:

— Это ты меня убиваешь!

И тут вошел папа. Он посмотрел на нас и спросил:

— О чем тут диспут? О чем такой жаркий спор?

Мама сказала:

— Полюбуйся! Не хочет есть. Парню скоро одиннадцать лет, а он, как девочка, капризничает.

Мне скоро девять. Но мама всегда говорит, что мне скоро одиннадцать. Когда мне было восемь лет, она говорила, что мне скоро десять.

Папа сказал:

— А почему не хочет? Что, суп пригорел или пересолен?

Я сказал:

— Это лапша, а в ней пенки…

Папа покачал головой:

— Ах вот оно что! Его высокоблагородие фон барон Кутькин-Путькин не хочет есть молочную лапшу! Ему, наверно, надо подать марципаны на серебряном подносе!

Я засмеялся, потому что я люблю, когда папа шутит.

— Это что такое — марципаны?

— Я не знаю, — сказал папа, — наверно, что-нибудь сладенькое и пахнет одеколоном. Специально для фон барона Кутькина-Путькина!.. А ну давай ешь лапшу!

— Да ведь пенки же!

— Заелся ты, братец, вот что! — сказал папа

и обернулся к маме. — Возьми у него лапшу, — сказал он, — а то мне просто противно! Кашу он не хочет, лапшу он не может!.. Капризы какие! Терпеть не могу!..

Он сел на стул и стал смотреть на меня. Лицо у него было такое, как будто я ему чужой. Он ничего не говорил, а только вот так смотрел — по-чужому. И я сразу перестал улыбаться — я понял, что шутки уже кончились. А папа долго так молчал, и мы все так молчали, а потом он сказал, и как будто не мне и не маме, а так кому-то, кто его друг:

— Нет, я, наверно, никогда не забуду эту ужасную осень, — сказал папа, — как невесело, неуютно тогда было в Москве… Война, фашисты рвутся к городу. Холодно, голодно, взрослые все ходят нахмуренные, радио слушают ежечасно… Ну, все понятно, не правда ли? Мне тогда лет одиннадцать-двенадцать было, и, главное, я тогда очень быстро рос, тянулся кверху, и мне все время ужасно есть хотелось. Мне совершенно не хватало еды. Я всегда просил хлеба у родителей, но у них не было лишнего, и они мне отдавали свой, а мне и этого не хватало. И я ложился спать голодный, и во сне я видел хлеб. Да что… У всех так было. История известная. Писано-переписано, читано-перечитано…

И вот однажды иду я по маленькому переулку, недалеко от нашего дома, и вдруг вижу — стоит здоровенный грузовик, доверху заваленный арбузами. Я даже не знаю, как они в Москву попали. Какие-то заблудшие арбузы. Наверно, их привезли, чтобы по карточкам выдавать. И наверху в машине стоит дядька, худой такой, небритый и беззубый, что ли, — рот у него очень втянулся. И вот он берет арбуз и кидает его своему товарищу, а тот — продавщице в белом, а та — еще кому-то четвертому… И у них это ловко так цепочкой получается: арбуз катится по конвейеру от машины до магазина. А если со стороны посмотреть — играют люди в зелено-полосатые мячики, и это очень интересная игра. Я долго так стоял и на них смотрел, и дядька, который очень худой, тоже на меня смотрел и все улыбался мне своим беззубым ртом, славный человек. Но потом я устал стоять и уже хотел было идти домой, как вдруг кто-то в их цепочке ошибся, загляделся, что ли, или просто промахнулся, и пожалуйте — ттрах!.. Тяжеленный арбузище вдруг упал на мостовую. Прямо рядом со мной. Он треснул как-то криво, вкось, и была видна белоснежная тонкая корка, а за нею такая багровая, красная мякоть с сахарными прожилками и косо поставленными косточками,

как будто лукавые глазки арбуза смотрели на меня и улыбались из середки. И вот тут, когда я увидел эту чудесную мякоть и брызги арбузного сока и когда я почуял этот запах, такой свежий и сильный, только тут я понял, как мне хочется есть. Но я отвернулся и пошел домой. И не успел я отойти, вдруг слышу — зовут:

«Мальчик, мальчик!»

Я оглянулся, а ко мне бежит этот мой рабочий, который беззубый, и у него в руках разбитый арбуз. Он говорит:

«На-ка, малый, арбуз-то, тащи, дома поешь!»

И я не успел оглянуться, а он уже сунул мне арбуз и бежит на свое место, дальше разгружать. И я обнял арбуз и еле доволок его до дому, и позвал своего дружка Вальку, и мы с ним оба слопали этот громадный арбуз. Ах, что это была за вкуснота! Передать нельзя! Мы с Валькой отрезали большущие кусищи, во всю ширину арбуза, и когда кусали, то края арбузных ломтей задевали нас за уши, и уши у нас были мокрые, и с них капал розовый арбузный сок. И животы у нас с Валькой надулись и тоже стали похожи на арбузы. Если по такому животу щелкнуть пальцем, звон пойдет знаешь какой! Как от барабана. И об одном только мы жалели, что у нас нет хлеба, а

то бы мы еще лучше наелись. Да…

Папа отвернулся и стал смотреть в окно.

— А потом еще хуже — завернула осень, — сказал он, — стало совсем холодно, с неба сыпал зимний, сухой и меленький снег, и его тут же сдувало сухим и острым ветром. И еды у нас стало совсем мало, и фашисты все шли и шли к Москве, и я все время был голодный. И теперь мне снился не только хлеб. Мне еще снились и арбузы. И однажды утром я увидел, что у меня совсем уже нет живота, он просто как будто прилип к позвоночнику, и я прямо уже ни о чем не мог думать, кроме еды. И я позвал Вальку и сказал ему:

«Пойдем, Валька, сходим в тот арбузный переулок, может быть, там опять арбузы разгружают, и, может быть, опять один упадет, и, может быть, нам его опять подарят».

И мы закутались с ним в какие-то бабушкины платки, потому что холодюга был страшный, и пошли в арбузный переулок. На улице был серый день, людей было мало, и в Москве тихо было, не то что сейчас. В арбузном переулке и вовсе никого не было, и мы стали против магазинных дверей и ждем, когда же придет грузовик с арбузами. И уже стало совсем темнеть, а он все не приезжал. Я сказал:

«Наверно, завтра приедет...»

«Да, — сказал Валька, — наверно, завтра».

И мы пошли с ним домой. А назавтра снова пошли в переулок, и снова напрасно. И мы каждый день так ходили и ждали, но грузовик не приехал...

Папа замолчал. Он смотрел в окно, и глаза у него были такие, как будто он видит что-то такое, чего ни я, ни мама не видим. Мама подошла к нему, но папа сразу встал и вышел из комнаты. Мама пошла за ним. А я остался один. Я сидел и тоже смотрел в окно, куда смотрел папа, и мне показалось, что я прямо вот вижу папу и его товарища, как они дрогнут и ждут. Ветер по ним бьет, и снег тоже, а они дрогнут и ждут, и ждут, и ждут... И мне от этого просто жутко сделалось, и я прямо вцепился в свою тарелку и быстро, ложка за ложкой, выхлебал ее всю, и наклонил потом к себе, и выпил остатки, и хлебом обтер донышко, и ложку облизал.



Слон и радио



Есть на свете такие маленькие радиоприемнички, они поменьше настоящих, величиной с папиросную коробку. И антенна у них выдвигается. Ох, сильно дают, на весь квартал слышно! Замечательная вещь! Эту вещь моему папе друг подарил. Приемник называется транзисторным. В тот вечер, когда нам его подарили, мы все время слушали передачи. Я с ним здорово научился управляться и антенну то убирал, то выпускал, и

все колесики вертел, и музыка звучала непрерывно и громко, потому что я к этому делу способный, чего уж там говорить.

А в воскресенье утром была прозрачная погода, солнышко светило вовсю, и папа сказал прямо с утра:

— Давай ешь побыстрее, и махнем с тобой в зоопарк. Давно что-то не были, одичали совсем.

От этих слов мне и вовсе весело стало жить, и я быстро собрался. Ах, люблю я ходить в зоопарк, люблю смотреть на маленькую ламочку и представлять, что ее можно взять на руки и гладить! И у нее по-сумасшедшему стучит сердце, и она взбрыкивает стройными, ловкими ножками. И кажется, что сейчас больно ударит. Но ничего, дело как-то обходится.

Или тигренок. Тоже хорошо бы взять на руки! А он смотрит на тебя ужаснувшимися глазами. Душа в пятки ушла. Боится, дурачок, наверное, думает: вот, мол, мой смертный час пришел.

А еще хорошо в зоопарке стоять перед загоном зубробизона и думать про него, что это ожившая гора, на которой высечено лицо задумчивого старика, а ты стоишь перед этой горой и весишь всего-то двадцать пять кило и рост только девяносто восемь сантиметров. И пока мы шли, я всю

дорогу думал разные разности про зоологический сад и шел смирно, не скакал, потому что в руках у меня был транзисторный радиоприемник, в нем журчала музыка. Я переводил его с одной станции на другую, и настроение у меня было самое распрекрасное. А когда мы пришли, папа сказал: «К слону», — потому что слон был у папы самый любимый во всем зоопарке. Папа всегда ходил к нему первому, как к царю. Поздоровается со слоном, а уж потом отправляется куда глаза глядят. И на этот раз мы поступили так же. Слон стоял, как войдешь, с правой стороны, в отдельном уголке, на пригорке; уже издалека было видно его громадное тело, похожее на африканскую хижину, стоящую на четырех подпорках.

Огромная толпа народа стояла у его загородки и любовалась слоном. Было видно его симпатичное, как бы улыбающееся лицо, он шамкал треугольной губой, покачивал шишковатой головой, шевелил ушами. Я сейчас же быстро протолкался сквозь толпу к нашему Шанго (его звали Шанго, он был сыном индийского слона Махмуда — так было написано на специальной дощечке возле его загородки).

Папа протиснулся вперед и крикнул:

— Доброе утро, Шанго Махмудович!

И слон оглянулся и обрадованно закивал головой. Мол, здравствуйте, здравствуйте, где это вы пропадали?

И окружающие посмотрели на папу с улыбкой и с завистью. И мне тоже, честно говоря, стало здорово завидно, что вот слон ответил папе. И мне тут же захотелось, чтобы Шанго и меня одарил своим вниманием, и я громко закричал:

— Шанго Махмудович, привет! Смотрите, какая у меня вещь.

И я поднял высоко над собой папин транзисторный радиоприемник. А из приемника текла музыка, он играл разные советские песни. И Шанго Махмудович повернулся и стал слушать эту музыку. И вдруг он высоко задрал свой хобот, протянул его ко мне и неожиданно и ловко выдернул у меня из рук эту несчастную машинку.

Я прямо остолбенел, да и папа тоже. И вся толпа остолбенела. Наверное, думали, что будет дальше: отдаст? Трахнет оземь? Растопчет ногами? А Шанго Махмудович, видимо, просто хотел музыку послушать. Он не стал ни бить приемник, ни отдавать. Он держал приемник — и все! Он слушал музыку. И тут, как назло, музыка замолкла, наверное, у них там был перерыв, не знаю. Но Шанго Махмудович продолжал прислушиваться.

Вид у него был такой, что вот он ждет, когда же приемник заиграет. Но ждать, видно, нужно было долго, потому что приемник молчал. И тут, вероятно, Шанго Махмудович подумал так: что за бесполезную штуку я держу целую вечность в хоботе? Почему она не играет? Ну интересно, какая она окажется на вкус?

И, не долго думая, этот бедовый слон сунул мой шикарный приемник прямо себе под хобот, в свой обросший войлоком рот, да не прожевал, а просто положил, как в сундук, и, будьте здоровы, слопал!

Толпа дружно ахнула и оцепенела. А слон оглядел эту потрясенную толпу с довольно-таки нахальной улыбкой и вдруг сказал придушенным голосом:

— Начинаем производственную зарядку! И!..

И из него зазвучала какая-то бурная музыка. Тут все сразу покатились с хохоту, просто животики надрывали, стонали от смеха: из-за этого дикого шума уже не слышно было никаких звуков. Слон стоял совершенно спокойно. Только в глазах его горело плутоватое выражение.

А когда все стали потихоньку затихать, из слоновьего рта снова раздался чуть приглушенный, но отчетливый голос:

— Быстрые подскоки на месте, раз-два, три-четыре…

А в толпе, между прочим, было очень много мальчишек и девчонок, и когда они услышали про подскоки, так прямо завизжали от радости. И, не откладывая в долгий ящик, с ходу включились в это дело: раз-два-три-четыре… Они здорово скакали. И визжали, и орали, и выкидывали разные коленца. Еще бы! Кому же не охота поскакать под слоновью команду? Тут всякий заскачет. Лично я заскакал в ту же секунду. Хотя я прекрасно понимал, что кому-кому, а мне тут меньше всех надо скакать и радоваться. Мне, скорее всего, надо было плакать. Но вместо этого я, знаете, подскакивал, как мячик: раз-два-три-четыре! И выходит, что у меня же стянули радиоприемник и я же от этого удовольствие получаю. А между тем занятия все продолжались. И слон перешел к следующему упражнению.

— Руки сжать в кулаки, махательные и толкательные движения. Раз-два-три!

Ну конечно, тут началось светопреставление. Просто чемпионат Европы по боксу. Некоторые мальчишки и девчонки совершенно серьезно вошли в аппетит и давай так друг друга волтузить, что только перья полетели. А одна проходящая

мимо бабушка спросила у какого-то старичка:

— Что здесь происходит? Что за драка?

И он ответил ей шутливо:

— Обыкновенное дело. Слон физзарядку проводит с населением.

Бабушка только рот раскрыла.

Но тут Шанго Махмудович вдруг замолчал, и я понял, что мой приемник все-таки сломался в его животе. Конечно, попал в какую-нибудь слепую кишку и — прощай навек. В эту же секунду слон посмотрел на меня и, грустно покачивая головой, но с большим намеком, пропел:

— Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье?

Я прямо чуть не заплакал от горя. Помню ли я! Еще бы! Еще секунду, и я бросился бы на него с кулаками. Но тут возле него появился человек в синем халате. В руках у него были веники, штук пятьдесят или больше, и он сказал слону:

— Ну-ка, ну-ка, покажи-ка, что у тебя играет? Но только тихонько, тихонько, а я вот тебе веничков принес, на-ка покушай.

И он разбросал веники перед слоном.

Шанго Махмудович очень осторожно положил у ног человека мой радиоприемник.

Я крикнул:

— Ура!

Остальные кричали:

— Бис!

А слон отвернулся и стал жевать веники. Служитель молча подал мне радиоприемник, — он был теплый и заслюнявленный.

Мы с папой поставили его дома на полку и теперь включаем каждый вечер. Как звучит! Просто чудо! Приходите слушать!

Не хуже вас, цирковых



Я теперь часто бываю в цирке. У меня там завелись знакомые и даже друзья. И меня пускают бесплатно, когда мне только вздумается. Потому что я сам теперь стал как будто цирковой артист. Из-за одного мальчишки. Это все не так давно случилось. Я шел домой из магазина, — мы теперь на новой квартире живем, недалеко от цирка, там же и магазин большой на углу. И вот я иду из магазина и несу бумажную сумочку, а

в ней лежат помидоров полтора кило и триста граммов сметаны в картонном стаканчике. И вдруг навстречу идет тетя Дуся, из старого дома, добрая, она в прошлом году нам с Мишкой билет в клуб подарила. Я очень обрадовался, и она тоже. Она говорит:

— Это ты откуда?

Я говорю:

— Из магазина. Помидоров купил! Здрасте, тетя Дуся!

А она руками всплеснула:

— Сам ходишь в магазин? Уже? Время-то как летит!

Удивляется. Человеку девятый год, а она удивляется.

Я сказал:

— Ну, до свиданья, тетя Дуся.

И пошел. А она вдогонку кричит:

— Стой! Куда пошел? Я тебя сейчас в цирк пропущу, на дневное представление. Хочешь?

Еще спрашивает! Чудная какая-то. Я говорю:

— Конечно, хочу! Какой может быть разговор!..

И вот она взяла меня за руку, и мы взошли по широким ступенькам, и тетя Дуся подошла к контролеру и говорит:

— Вот, Марья Николаевна, привела вам своего

мужичка, пусть посмотрит. Ничего?

И та улыбнулась и пропустила меня внутрь, и я вошел, а тетя Дуся и Марья Николаевна пошли сзади. И я шел в полутьме, и опять мне очень понравился цирковой запах — он особенный какой-то, и как только я его почуял, мне сразу стало и жутко отчего-то и весело ни от чего. Где-то играла музыка, и я спешил туда, на ее звуки, и сразу вспомнил девочку на шаре, которую видел здесь так недавно, девочку на шаре, с серебряным плащом и длинными руками; она уехала далеко, и я не знаю, увижу ли я ее когда-нибудь, и странно стало у меня на душе, не знаю, как объяснить… И тут мы наконец дошли до бокового входа, и меня протолкнули вперед, и Марья Николаевна шепнула:

— Садись! Вон в первом ряду свободное местечко, садись…

И я быстро уселся. Со мной рядом сидел тоже мальчишка величиной с меня, в таком же, как и я, школьном костюме, нос курносый, глаза блестят. Он на меня посмотрел довольно сердито, что я вот опоздал и теперь мешаю и все такое, но я не стал обращать на него никакого внимания. Я сразу же вцепился всеми глазами в артиста, который в это время выступал. Он стоял в огромной

чалме посреди арены, и в руках у него была игла величиной с полметра. Вместо нитки в нее была вдета узкая и длинная шелковая лента. А рядом с этим артистом стояли две девушки и никого не трогали вдруг он ни с того ни с сего подошел к одной из них и — раз! — своей длинной иглой прошил ей живот насквозь, иголка выскочила у нее из спины! Я думал, она сейчас завизжит как зарезанная, но нет, она стоит себе спокойно и улыбается. Прямо глазам своим не веришь. Тут артист совсем разошелся — чик! — и вторую насквозь! И эта тоже не орет, а только хлопает глазами так они обе стоят насквозь прошитые, между ними нитки, и улыбаются себе как ни в чем не бывало. Ну, милые мои, вот это да!

Я говорю:

— Что же они не орут? Неужели терпят?

А мальчишка, что рядом сидит, отвечает:

— А чего им орать? Им не больно!

Я говорю:

— Тебе бы так! Воображаю, как ты завопил бы…

А он засмеялся, как будто он старше меня намного, потом говорит:

— А я сперва подумал, что ты цирковой. Тебя ведь тетя Маша посадила… А ты, оказывается, не

цирковой… не наш.

Я говорю:

— Это все равно, какой я — цирковой или не цирковой. Я государственный, понял? А что такое цирковой — не такой, что ли?

Он сказал, улыбаясь:

— Да нет, цирковые — они особенные…

Я рассердился:

— У них что, три ноги, что ли?

А он:

— Три не три, но все-таки они и половчее других — куда там! — и посильнее, и посмекалистее.

Я совсем разозлился и сказал:

— Давай не задавайся! Тут не хуже тебя! Ты, что ли, цирковой?

А он опустил глаза:

— Нет, я мамочкин…

И улыбнулся самым краешком рта, хитро-прехитро. Но я этого не понял, это я теперь понимаю, что он хитрил, а тогда я громко над ним рассмеялся, и он глянул на меня быстрым своим глазом:

— Смотри представление-то!.. Наездница!..

И правда, музыка заиграла быстро и громко, и на арену выскочила белая лошадь, такая толстая и широкая, как тахта. А на лошади стояла тетенька, и она начала на этой лошади на ходу прыгать

по-разному: то на одной ножке, руки в сторону, а то двумя ногами, как будто через скакалочку. Я подумал, что на такой широкой лошади прыгать — это ерунда, все равно как на письменном столе, и что я бы тоже так смог. Вот эта тетенька все прыгала, и какой-то человек в черном все время щелкал кнутом, чтобы лошадь немножко проворней двигалась, а то она трюхала, как сонная муха. И он кричал на нее и все время щелкал. Но она просто ноль внимания. Тоска какая-то… Но тетенька наконец напрыгалась досыта и убежала за занавеску, а лошадь стала ходить по кругу.

И тут вышел Карандаш. Мальчишка, что сидел рядом, опять быстро глянул на меня, потом отвел глаза и равнодушно так говорит:

— Ты этот номер когда-нибудь видел?

— Нет, в первый раз, — говорю я.

Он говорит:

— Тогда садись на мое место. Тебе еще лучше будет видно отсюда. Садись. Я уже видел.

Он засмеялся. Я говорю:

— Ты чего?

— Так, — говорит, — ничего. Карандаш сейчас чудить начнет, умора! Давай пересаживайся.

Ну, раз он такой добрый, чего ж. Я пересел. А он сел на мое место, там, правда, было хуже, столбик

какой-то мешал. И вот Карандаш начал чудить. Он сказал дядьке с кнутом:

— Александр Борисович! Можно мне на этой лошадке покататься?

А тот:

— Пожалуйста, сделайте одолжение!

И Карандаш стал карабкаться на эту лошадь. Он и так старался, и этак, все задирал на нее свою коротенькую ногу, и все соскальзывал, и падал — очень эта лошадь была толстенная. Тогда он сказал:

— Подсадите меня на этого коняшку.

И сейчас же подошел помощник и наклонился, и Карандаш встал ему на спину, и сел на лошадь, и оказался задом наперед. Он сидел спиной к лошадиной голове, а лицом к хвосту. Смех, да и только, все прямо покатились! А дядька с кнутом ему говорит:

— Карандаш! Вы неправильно сидите.

А Карандаш:

— Как это неправильно? А вы почем знаете, в какую сторону мне ехать надо?

Тогда дядька потрепал лошадь по голове и говорит:

— Да ведь голова-то вот!

А Карандаш взял лошадиный хвост и отвечает:

— А борода-то вот!

И тут ему пристегнули за пояс веревку, она была пропущена через какое-то колесико под самым куполом цирка, а другой ее конец взял в руки дядька с кнутом. Он закричал:

— Маэстро, галоп! Алле!

Оркестр грянул, и лошадь поскакала. А Карандаш на ней затрясся, как курица на заборе, и стал сползать то в одну сторону, то в другую сторону, и вдруг лошадь стала из-под него выезжать, он завопил на весь цирк:

— Ай, батюшки, лошадь кончается!

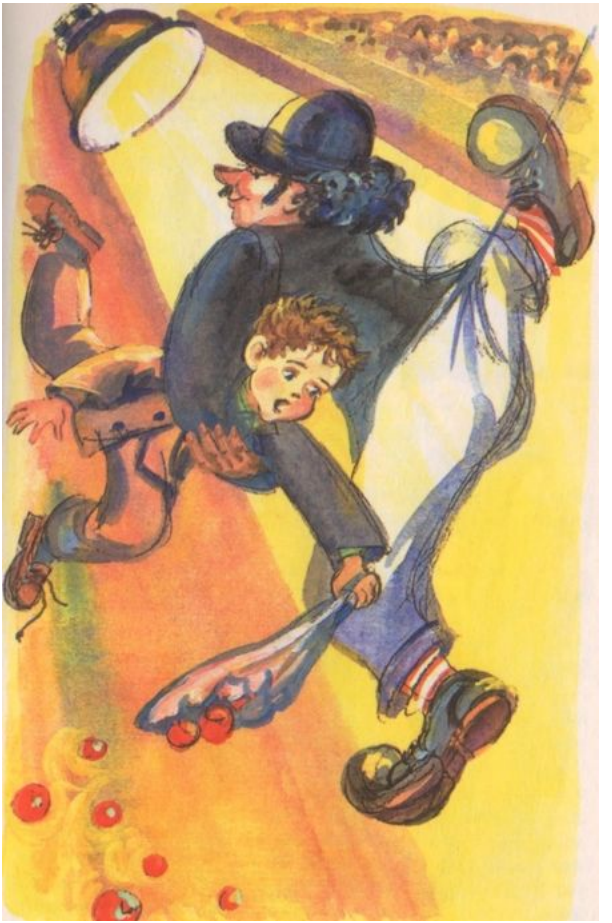
И она, верно, из-под него выехала и протопала за занавеску, и Карандаш, наверно, разбился бы насмерть, но дядька с кнутом подтянул веревку, и Карандаш повис в воздухе. Мы все задыхались от смеха, и я хотел сказать мальчишке, что сейчас лопну, но его рядом со мной не было. Ушел куда-то. А Карандаш в это время стал делать руками, как будто он плавает в воздухе, а потом его опустили, и он снизился, но как только коснулся земли, разбежался и снова взлетел. Получилось, как на гигантских шагах, и все хохотали до упаду и с ума сходили от смеха. А он так летал и летал, и вот с него чуть не соскочили брюки, и я уже думал, что сейчас задохнусь от хохота, но в это

время он опять приземлился и вдруг посмотрел на меня и весело мне подмигнул. Да! Он мне подмигнул, лично. А я взял и тоже ему подмигнул. А что тут такого? И тут совершенно неожиданно он подмигнул мне еще раз, потер ладони и вдруг разбежался изо всех сил прямо на меня и обхватил меня двумя руками, а дядька с кнутом моментально натянул веревку, и мы полетели с Карандашом вверх! Оба! Он захватил мою голову под мышку и держал поперек живота, очень крепко, потому что мы оказались довольно-таки высоко. Внизу не было людей, а сплошные белые полосы и черные полосы, так как мы быстро вертелись, и было немножко даже щекотно во рту. И когда мы пролетали над оркестром, я испугался, что стукнусь о контрабас, и закричал:

— Мама!

И сразу до меня долетел какой-то гром. Это все смеялись. А Карандаш сразу меня передразнил и тоже крикнул со слезами в голосе:

— Мя-мя!



Снизу слышался грохот и шум, и мы так плавно еще немножко полетали, и я уже стал было привыкать, но тут неожиданно у меня прорвался мой пакет, и оттуда стали вылетать мои помидоры, они вылетали, как гранаты, в разные стороны — полтора кило помидоров. И наверно, попадали в людей, потому что снизу несся такой шум, что передать нельзя. А я все время думал, что теперь не хватало только, чтобы вылетела еще и сметана — триста граммов. Вот тогда-то мне влетит от мамы будь здоров! А Карандаш вдруг завертелся волчком, и я вместе с ним, и вот этого как раз не нужно было делать, потому что я опять испугался и стал брыкаться и царапаться, и Карандаш тихонько, но строго сказал, я услышал:

— Толька, ты что?

А я заорал:

— Я не Толька! Я Денис! Пустите меня!

И стал вырываться, но он еще крепче меня сжал, чуть не задушил, и мы стали совсем медленно плыть, и я увидел уже весь цирк, и дядьку с кнутом, он смотрел на нас и улыбался. И в этот момент сметана все-таки вылетела. Так я и знал. Она упала прямо на лысину дядьке с кнутом. Он что-то крикнул, и мы немедленно пошли на посадку…

Как только мы опустились и Карандаш выпустил меня, я, сам не знаю почему, побежал изо всех сил. Но не туда; я не знал куда, и я метался, потому что голова немного кружилась, и наконец я увидел в боковом проходе тетю Дусю и Марью Николаевну. У них были белые лица, и я побежал к ним, а кругом все хлопали как сумасшедшие.

Тетя Дуся сказала:

— Слава богу, цел. Пошли домой!

Я сказал:

— А помидоры?

Тетя Дуся сказала:

— Я куплю. Идем.

И она взяла меня за руку, и мы все трое вышли в полутемный коридор. И тут мы увидели, что возле настенного фонаря стоит мальчик. Это был тот самый мальчик, что сидел рядом со мной. Марья Николаевна сказала:

— Толька, где ты был?

Мальчик не отвечал.

Я сказал:

— Куда ты подевался? Я как на твое место пересел, что тут было!.. Карандаш меня под небо уволок.

Марья Николаевна сказала:

— А ты почему сел на его место?

— Да он мне сам предложил, — сказал я. — Он сказал, что лучше будет видно, я и сел. А он ушел куда-то!..

— Все ясно, — сказала Марья Николаевна. — Я доложу в дирекцию. Тебя, Толька, снимут с роли.

Мальчик сказал:

— Не надо, тетя Маша.

Но она закричала шепотом:

— Как тебе не стыдно! Ты цирковой мальчик, ты репетировал, и ты посмел посадить на свое место чужого?! А если бы он разбился? Ведь он же неподготовленный!

Я сказал:

— Ничего. Я подготовленный… Не хуже вас, цирковых! Плохо я разве летал?

Мальчик сказал:

— Здорово! И хорошо с помидорами придумал, как это я-то не догадался. А ведь очень смешно.

— А артист этот ваш, — сказала тетя Дуся, — тоже хорош! Хватает кого ни попадя!

— Михаил Николаевич, — вступилась тетя Маша, — был уже разгорячен, он уже вертелся в воздухе, он тоже не железный, и он твердо знал, что на этом месте, как всегда, должен был сидеть специальный мальчик, цирковой. Это закон. А этот малый и тот — они же одинаковые, и костю-

мы одинаковые, он не разглядел…

— Надо глядеть! — сказала тетя Дуся. — Уволок мальчонку, как ястреб мышь.

Я сказал:

— Ну что ж, пошли?

А Толька сказал:

— Слушай, приходи в то воскресенье в два часа. В гости приходи. Я буду ждать тебя возле контроля.

— Ладно, — сказал я, — ладно… Чего там!.. Приду.

Мой знакомый медведь



Один раз я пошел на елку в Сокольники. Нам всем выдали по синему картонному билетику, он был согнут наподобие маленькой книжечки, и на первой странице обложки сверкала золотистая надпись: «С Новым годом!» А когда билетик раскрывался, между его страницами вырастала нарядная елка, она торчала торчком, и вокруг нее на задних лапах стояло разное зимнее зверье, зайцы и лисицы, все в теплых тулупчиках

и шапках-ушанках. Это было здорово сделано, и уже из-за одного такого билета мне сразу захотелось пойти к ним в Сокольники, посмотреть, что они там еще приготовили для ребят. Я до этого бывал только на наших школьных елках или просто дома, и эти елки получались, конечно, очень веселые, но все-таки без зверей. Какие-то не такие. И поэтому я решил обязательно сходить в Сокольники. И пошел. И несмотря на то, что на билете было написано: «Начало ровно в 2 часа», я все-таки пришел в половине третьего, потому что я опоздал. Я частенько опаздываю на всякие интересные дела, — просто беда какая-то. Один раз явился я в театр, а на сцене какой-то парень поцеловал белокурую девушку, и тут все захлопали и стали кричать «браво», «бис». Тут вспыхнул свет под потолком, и этот парень и его девушка стали кланяться, как будто они бог весть какое чудо сотворили. И еще я много раз опаздывал. Помню, мама испекла пирог и говорит:

— Погуляй с полчасика и приходи пирог есть!

И мы во дворе с Мишкой потренировались в хоккей, и я тут же пришел домой, а у нас уже полно гостей, и мама сказала:

— Опоздал, братец! Съели твой пирог! Иди на кухню!

И я пошел на кухню, и мне там дали студня и борща. А разве это замена? Против пирога? Никакого сравнения.

И в этот раз я хотя и встал в семь часов утра, но сумел-таки провозиться со всякой чепухой и опоздал на елку.

В Сокольниках народу было видимо-невидимо. Повсюду стояли маленькие домики на курьих ножках, как у Бабы Яги, и веселые, как скворечники, домики, раскрашенные, нарядные и приветливые. В них продавались книжки, сладости, пончики или блины. Еще в Сокольниках стояли сделанные из снега большущие фигуры, красивые кони, ужасающие драконы, и была мертвая голова, и с нею сражался непобедимый Руслан. И были сделаны тридцать три богатыря, и Царевна-Лебедь, и космический корабль, и конца этим фигурам и выставкам не было, и я переходил от одной к другой, мне это очень интересно было, потому что я тоже умею лепить, поэтому я оторваться не мог от всей этой снежно-ледяной красоты и, шаг за шагом, не заметил, что я ушел далеко-далеко от людей в лес по этой аллее, и не обратил даже внимания на то, что она все время поворачивала в разные стороны и петляла, а некоторые фигуры стояли совсем не в ряд, а где-то

посередине, и я постепенно немного заблудился.

В это время с неба посыпался снег, вокруг потемнело, и мне показалось, что пройдет еще очень много времени, если я пойду обратно по этой аллее, держась вблизи снеговых фигур. Я решил сократить расстояние и двинулся напрямик, через лесок, потому что я знал, приблизительно конечно, где стоит елка. Я помнил, откуда пришел, поэтому я довольно весело побежал обратно по узенькой, засыпанной снегом тропинке. Она тоже петляла в разные стороны: влево, вправо и по-всякому, и были такие куски дороги, что нипочем не скажешь, где метро, где Большая Елка и где вообще какие-нибудь люди.

Так я бежал довольно долго и даже начал уставать и тревожиться, но вдруг невдалеке я увидел большой раскрашенный дом и сразу успокоился. В окне этого дома мелькнул свет, на душе у меня стало повеселее, и я прямо-таки поскакал вперед, но не успел сделать и несколько скачков, как вдруг из-за здоровенной кривой сосны, стоявшей впереди, на тропку прямо передо мной выскочил огромный разъяренный медведь. Ужас! Он ревел и мчался прямо на меня. У меня сердце оборвалось. Я захотел крикнуть, но не смог. Язык не шевелился. В горле моментально пересохло.

Я остановился как вкопанный и поднял руки кверху, и хотел было повернуться и удрать, но вспомнил, что медведь догоняет свою жертву с дьявольской быстротой, и если я побегу от него, это, пожалуй, разозлит его еще больше, и тогда уж он, наверное, настигнет меня в какие-нибудь три прыжка и разорвет в клочки! Я так думал, а медведь несся прямо на меня и пыхтел как паровоз, рычал и махал лапами, и я вспомнил, что читал, как надо спасаться, если встретишь медведя. Нужно притвориться мертвым, он мертвых не ест! И в ту же четверть секунды я грохнулся наземь и закрыл глаза, и стал сдерживать дыхание, и все-таки дышал, потому что все это получилось с разбегу, и живот у меня так и ходил ходуном. И я слышал, что медведь все еще бежит ко мне, и подумал: «Все! Теперь капут!» Но он все не подбегал…

И за эту секунду я столько успел передумать, такое про себя шептал!.. Никому не расскажу этого. Никогда и никому. Но потом меня все-таки заело любопытство. Я все-таки подумал: «Интересно, а как это бывает, когда медведь задирает мальчишку? Ведь про это только в книжках читаешь, а наяву никогда не удается посмотреть». И я начал потихоньку раскрывать левый глаз. Он очень

неохотно раскрывался, потому что страшно или ресницы чересчур крепко слепились, не знаю, но я его поборол, этот глаз, и все-таки раскрыл. Смотрю, а медведь стоит надо мной, опять-таки на задних лапах, и у него такой вид, словно он не знает, как ему быть. И сквозь меня снова, как молния, пролетела мысль. Я вспомнил еще одно средство спасения. Медведь очень нервный, и нужно его испугать как следует. Может быть, заорать? Я сразу подумал, как в сказке Иванушка-дурачок:

«Э, была не была! Двум смертям не бывать, а одной не миновать!»

И я заорал страшным голосом:

— Пошшел вон отсюда!

Медведь вздрогнул и шарахнулся в сторону. Он отскочил от меня, как будто его током ударило. А когда отскочил, то уже не остановился, а припустился от меня. Он бежал прекрасной резвой рысью и все еще не вставал на четвереньки, видно, был очень испуган и забыл про все на свете. А я схватил ледышку, килограмма на два, что лежала рядом со мной, да как метну ему вдогонку, чтоб он, значит, еще лучше бежал от меня, теперь небось поймет, что со мной шутки плохи! И эта ледышка довольно метко угодила ему в самую

башку. Тюкк! Лучше не надо. Медведь даже споткнулся от этого удара. И тут случилось чудо!

Медведь вдруг остановился, обернулся ко мне и сказал:

— Мальчик, не хулигань!

А я был так разгорячен и испуган, что сразу даже не сообразил, что так на свете не бывает, чтобы медведи по-человечески разговаривали, я просто сказал ему:

— Вы сами не хулиганьте! Сам сожрать меня хотел!

Тут он сказал:

— Ты что? Серьезно? Ты испугался меня? Ты что, подумал, что я настоящий? Не бойся, не бойся, я не медведь! Я артист! Понял? Я хотел с тобой пошутить, а ты в обморок упал… Я артист…

У меня прямо отлегло от сердца… Я засмеялся. В самом деле, какой же я глупый! Я и позабыл, что на елках артисты часто наряжаются медведями, чтобы ребят потешать, и это, видно, был именно такой артист. Я успокоился и сказал:

— А чем докажете?

Он сказал:

— Да вот.

И снял с себя голову. Как горшок с частокола. Как шапку. Взял и снял. Очень красивая была

голова, с большими клыками и со свирепо-малинового цвета языком. Лохматая, и глаза блестящие. Артист держал ее на вытянутых руках и говорил:

— На, возьми! Подержи, не бойся. А я подышу свежим воздухом, отдохну немного. Уж очень тяжела. А ты метко в нее попал, хорошо, что она не моя, а была бы настоящая, что тогда, а?

И он стал вертеть своей настоящей головой. Настоящая была у него какая-то неказистая. Лысая. С жалобными круглыми глазами…

Да, вот какие дела бывают. Только что я умирал от страха, а теперь вот стою и держу медвежью голову под мышкой, как арбуз, а хозяин этой ужасной головы, оказывается, артист. Я стоял разинув рот, а артист смотрел на меня и улыбался. Потом он чуточку искривился и сказал:

— Сердце колет… Нельзя мне волноваться. И бегать нельзя. Пойдем, проводи меня.

И он протянул мне лапу, то есть руку, и мы пошли к дому, который стоял неподалеку. Это я к нему бежал недавно. Мы почти уже дошли, но вдруг из дома выскочил какой-то клоун и, увидев нас с медведем, закричал:

— Аврашов, что же вы? Где же вы? Опаздываем! Спешим, нам надо еще у Книжного Городка

сплясать.

— Как? — закричал артист-медведь. — Еще плясать? Я сегодня уже пять раз плясал! Хватит с меня!.. Что они там, все с ума посходили?

— Гусажин велел, — сказал клоун, — у него там прорыв. Надо подбавить смеху. Бежим!

— У меня сердце колет, — сказал артист-медведь, — а вы, Гоша, «бежим». Пойдем потихоньку. Давай, мальчуган, — сказал он мне, — давай сюда мою голову, ничего не попишешь. — Он еще раз посмотрел на меня своими жалобными глазами и криво усмехнулся: — Ну, что ж, старая кляча, пойдем пахать своего Шекспира!

Я ничего не понял. Какая кляча? Кто кляча? Где? Но сейчас было некогда, и я помог ему нахлобучить медвежью голову.

Он пожал мне руку своими когтистыми лапами.

— Иди туда, — сказал он и показал в сторону, — сейчас я там плясать буду.

И я пошел, куда он сказал, и скоро пришел, и там были артисты, они задавали вопросы, а ребята отвечали в рифму. Это было скучновато, но вдруг неожиданно появился клоун. Он колотил в медный таз, а за ним ковылял мой знакомый медведь. Клоун пищал, и чихал, и показывал

фокусы, и потом он вытащил из кармана маленькую гармошку и стал на ней пиликать. А медведь затоптался на месте и, наконец, видно, разогрелся и пошел плясать. Он неплохо плясал, и выламывался, и вывертывался, и рычал, и бросался на ребят, и те со смехом отскакивали. Он много еще вытворял всякой потехи, это все долго длилось. А я стоял в стороне и ждал, когда закончится его выступление, потому что мне во что бы то ни стало нужно было увидеть еще раз его человеческое лицо, его жалобные усталые и круглые глаза.

Гусиное горло



Когда мы сели обедать, я сказал:

— А я сегодня в гости пойду. К Мишке. На день рождения.

— Ну да? — сказал папа. — Сколько же ему стукнуло?

— Девять, — ответил я. — Ему девять лет, папа, стукнуло. Теперь десятый год пошел.

— Как бежит время, — вздохнула мама. — Давно ли он лежал на подоконнике в ящике от комода,

а вот пожалуйте, уже девять лет!

— Ну что ж, — разрешил папа, — сходи, поздравь юбиляра. Ну-ка, расскажи, а что ты подаришь своему дружку в этот памятный день?

— Есть подарочек, — сказал я, — Мишка будь здоров обрадуется…

— Что же именно? — спросила мама.

— Гусиное горло! — сказал я. — Сегодня Вера Сергеевна гуся потрошила, и я у нее выпросил гусиное горло, чтобы Мишке подарить.

— Покажи, — сказал папа.

Я вытащил из кармана гусиное горло. Оно было уже вымытое, очищенное, прямо загляденье, но оно было еще сыроватое, недосушенное, и мама вскочила и закричала:

— Убери сейчас же эту мерзость! Ужас!

А папа сказал:

— А зачем оно нужно? И почему оно скользкое?

— Оно еще сырое. А я его высушу как следует и сверну в колечко. Видишь? Вот так.

Я показал папе. Он смотрел внимательно.

— Видишь? — говорил я. — Узкую горловину я всуну в широкую, брошу туда горошинок штук пять, оно когда высохнет, знаешь как будет греметь! Первый сорт!

Папа улыбнулся:

— Ничего подарочек… Ну-ну!

А я сказал:

— Не беспокойся. Мишке понравится. Я его знаю.

Но папа встал и подошел к вешалке. Он там порылся и карманах.

— На-ка, — он протянул мне монетки, — вот тебе немного деньжат. Купи Мишке конфет. А это от меня добавка. — И папа отвинтил от своего пиджака чудесный голубой значок «Спутник».

Я сказал:

— Ура! Мишка будет на седьмом небе. У него теперь от меня целых три подарка. Значок, конфеты и гусиное горло. Это всякий бы обрадовался!

Я взял гусиное горло и положил его на батарею досушиваться. Мама сказала:

— Вымой руки и ешь!

И мы стали дальше обедать, и я ел рассольник и потихоньку стонал от удовольствия. И вдруг мама положила ложку и сказала ни с того ни с сего:

— Прямо не знаю, пускать его в гости или нет?

Вот тебе раз! Гром среди ясного неба! Я сказал:

— А почему?

И папа тоже:

— В чем дело-то?

— Он нас там опозорит. Он совершенно не умеет есть. Стонет, хлебает, везет… Кошмар!

— Ничего, — сказал я. — Мишка тоже стонет, еще лучше меня.

— Это не оправдание, — нахмурился папа. — Нужно есть прилично. Мало тебя учили?

— Значит, мало, — сказала мама.

— Ничему не учили, — сказал я. — Я ем как бог на душу положит. И ничего. Довольно здорово получается. А чему тут учить-то?

— Нужно знать правила, — сказал папа строго. — Ты знаешь? Нет. А вот они: когда ешь, не чавкай, не причмокивай, не дуй на еду, не стони от удовольствия и вообще не издавай никаких звуков при еде.

— А я не издаю! Что, издаю, что ли?

— И никогда не ешь перед обедом хлеб с горчицей! — воскликнула мама.

Папа ужасно покраснел. Еще бы! Он недавно съел перед обедом, наверное, целое кило хлеба с горчицей. Когда мама принесла суп, оказалось, что у нее уже нет хлеба, папа весь съел, и мне пришлось бежать в булочную за новым. Вот он теперь и покраснел, но промолчал. А мама продолжала на него смотреть и все говорила беспощадным голосом. Она говорила как будто

бы мне, но папе от этого было не по себе. И мне тоже. Мама столько наговорила, что я просто ужаснулся. Как же теперь жить? Того нельзя, этого нельзя!

— Не роняй вилку на пол, — говорила мама. — А если уронил, сиди спокойно, не становись на четвереньки, не ныряй под стол и не ползай там полчаса. Не барабань пальцами по столу, не свисти, не пой! Не хохочи за столом! Не ешь рыбу ножом, тем более если ты в гостях.

— А это вовсе не рыба была, — сказал папа, и лицо у него стало какое-то виноватое, — это были обыкновенные голубцы.

— Тем более. — Мама была неумолима. — Еще чего придумали, голубцы — ножом! Ни голубцы, ни яичницу не едят ножом! Это закон!

Я ужасно удивился:

— А как же голубцы есть без ножа?

Мама сказала:

— А так же, как и котлеты. Вилочкой, и все.

— Так ведь останется же на тарелке! Как быть?

Мама сказала:

— Ну и пусть останется!

— Так ведь жалко же! — взмолился я. — Я, может быть, еще не наелся, а тут осталось… Нужно доесть!

Папа сказал:

— Ну доедай, чего там!

Я сказал:

— Вот спасибо.

Потом я вспомнил еще одну важную вещь:

— А подливу?

Мама обернулась ко мне.

— Что подливу? — спросила она.

— Вылизать… — сказал я.

У мамы брови подскочили до самой прически. Она стукнула пальцем по столу:

— Не сметь вылизывать!

Я понял, что надо спасаться.

— Что ты, мама? Я знаю, что вылизывать языком нельзя! Что я, собачонка, что ли! Я, мама, вылизывать никогда не буду, особенно при комнибудь. Я тебя спрашиваю: а вымазать? Хлебом?

— Нельзя! — сказала мама.

— Так я же не пальцем! Я хлебом! Мякишем!

— Отвяжись, — крикнула мама, — тебе говорят!

И у нее сделались зеленые глаза. Как крыжовник. И я подумал: ну ее, эту подливку, не буду я ее ни вылизывать, ни вымазывать, если мама из-за этого так расстраивается. Я сказал:

— Ну ладно, мама. Я не буду. Пусть пропадает.

— А вот, кстати, — сказал папа, я серьезно хочу тебя спросить…

— Спрашивай, — сказала мама, — ты ведь еще хуже маленького.

— Нет, верно, — продолжал папа, — у нас, знаешь, иногда банкеты бывают, всякие там торжества… Так вот: ничего, если я иногда захвачу что-нибудь с собой? Ну, яблочко там или апельсин…

— Не сходи с ума! — сказала мама.

— Да почему же? — спросил папа.

— А потому, что сегодня ты унес яблоко с собою, а завтра начнешь винегрет в боковой карман запихивать!

— Да, — сказал папа и поглядел в потолок, — да, некоторые очень хорошо знают правила хорошего тона! Прямо профессора! Куда там!.. А как ты думаешь, Дениска, — папа взял меня за плечо и повернул к себе, — как ты думаешь, — он даже повысил голос, — если у тебя собрались гости и вдруг один надумал уходить… Как ты думаешь, должна хозяйка дома провожать его до дверей и стоять с ним в коридоре чуть не двадцать минут?

Я не знал, что ответить папе. Его это, видимо, очень интересовало, потому что он крепко сжал

мое плечо, даже больно стало. Но я не знал, что ему ответить. А мама, наверно, знала, потому что она сказала:

— Если я его проводила, значит, так было нужно. Чем больше внимания гостям, тем, безусловно, лучше.

Тут папа вдруг рассмеялся. Как из песни про блоху:

— Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! А я думаю, что он не умрет, если она не проводит его! Ха-ха-ха-ха-ха!

Папа вдруг взъерошил волосы и стал ходить туда-сюда по комнате, как лев по клетке. И глаза у него все время вращались. Теперь он смеялся с каким-то рывком: «Ха-ха! Ррр! Ха-ха! Рр!» Глядя на него, я тоже расхохотался:

— Конечно, не умрет! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!

Тут случилось чудо. Мама встала, взяла со стола чашку, вышла на середку комнаты и аккуратно бросила эту чашку об пол. Чашка разлетелась на тысячу кусочков. Я сказал:

— Ты что, мама? Ты это зачем?

А папа сказал:

— Ничего, ничего. Это к счастью! Ну, давай, Дениска, собирайся. Иди к Мишке, а то опоздаешь! Иди и не ешь рыбу ножом, не позорь фамилию!

Я собрал свои подарки и пошел к Мишке. И мы там веселились вовсю. Мы подскакивали на диване чуть не до потолка. Мишка даже стал лиловый от этого подскакивания. А фамилию нашу я не опозорил, потому что угощенье было не обед или ужин, а лимонад и конфеты. Мы поели все конфеты, какие были, и даже ту коробочку съели, что я Мишке принес в подарок. А вообще подарков Мишке понанесли видимо-невидимо: и поезд, и книжки, и краски. И Мишкина мама сказала:

— Ох сколько подарков у тебя, Мишук! А тебе какой больше всех нравится?

— Какой может быть разговор? Конечно, гусиное горло!

И покраснел от удовольствия.

А я так и знал.



Рыцари



Когда репетиция хора мальчиков окончилась, учитель пения Борис Сергеевич сказал:

— Ну-ка, расскажите, кто из вас что подарил маме на Восьмое марта? Ну-ка ты, Денис, докладывай.

— Я маме на Восьмое марта подарил подушечку для иголок. Красивую. На лягушку похожа. Три дня шил, все пальцы исколол. Я две такие сшил.

А Мишка добавил:

— Мы все по две сшили. Одну — маме, а другую — Раисе Ивановне.

— Это почему же все? — спросил Борис Сергеевич. — Вы что, так сговорились, чтобы всем шить одно и то же?

— Да нет, — сказал Валерка, — это у нас в кружке «Умелые руки» — мы подушечки проходим. Сперва проходили чертиков, а теперь подушечки.

— Каких еще чертиков? — удивился Борис Сергеевич.

Я сказал:

— Пластилиновых! Наши руководители Володя и Толя из восьмого класса полгода с нами чертиков проходили. Как придут, так сейчас: «Лепите чертиков!» Ну, мы лепим, а они в шахматы играют.

— С ума сойти, — сказал Борис Сергеевич. — Подушечки! Придется разобраться! Стойте! — И он вдруг весело рассмеялся. — А сколько у вас мальчишек в первом «В»?

— Пятнадцать, — сказал Мишка, — а девочек — двадцать пять.

Тут Борис Сергеевич прямо покатился со смеху.

А я сказал:

— У нас в стране вообще женского населения

больше, чем мужского.

Но Борис Сергеевич отмахнулся от меня.

— Я не про то. Просто интересно посмотреть, как Раиса Ивановна получает пятнадцать подушечек в подарок! Ну ладно, слушайте: кто из вас собирается поздравить своих мам с Первым мая?

Тут пришла наша очередь смеяться. Я сказал:

— Вы, Борис Сергеевич, наверное, шутите, не хватало еще и на май поздравлять.

— А вот и неправильно, именно что необходимо поздравить с маем своих мам. А это некрасиво: только раз в году поздравлять. А если каждый праздник поздравлять — это будет по-рыцарски. Ну кто знает, что такое рыцарь?

Я сказал:

— Он на лошади и в железном костюме.

Борис Сергеевич кивнул.

— Да, так было давно. И вы, когда подрастете, прочтете много книжек про рыцарей, но и сейчас, если про кого говорят, что он рыцарь, то это, значит, имеется в виду благородный, самоотверженный и великодушный человек. И я думаю, что каждый пионер должен обязательно быть рыцарем. Поднимите руки, кто здесь рыцарь?

Мы все подняли руки.

— Я так и знал, — сказал Борис Сергеевич, —

идите, рыцари!

Мы пошли по домам. А по дороге Мишка сказал:

— Ладно уж, я маме конфет куплю, у меня деньги есть.

И вот я пришел домой, а дома никого нету. И меня даже досада взяла. Вот в кои-то веки захотел быть рыцарем, так денег нет! А тут, как назло, прибежал Мишка, в руках нарядная коробочка с надписью: «Первое мая». Мишка говорит:

— Готово, теперь я рыцарь за двадцать две копейки. А ты что сидишь?

— Мишка, ты рыцарь? — сказал я.

— Рыцарь, — говорит Мишка.

— Тогда дай взаймы.

Мишка огорчился:

— Я все истратил до копейки.

— Что же делать?

— Поискать, — говорит Мишка, — ведь двадцать копеек — маленькая монетка, может, куда завалилась хоть одна, давай поищем.

И мы всю комнату облазили — и за диваном, и под шкафом, и я все туфли мамины перетряхнул, и даже в пудре у нее пальцем поковырял. Нету нигде.

Вдруг Мишка раскрыл буфет:

— Стой, а это что такое?

— Где? — говорю я. — Ах, это бутылки. Ты что, не видишь? Здесь два вина: в одной бутылке — черное, а в другой — желтое. Это для гостей, к нам завтра гости придут.

Мишка говорит:

— Эх, пришли бы ваши гости вчера, и были бы у тебя деньги.

— Это как?

— А бутылки, — говорит Мишка, — да за пустые бутылки деньги дают. На углу. Называется «Прием стеклотары»!

— Что же ты раньше молчал! Сейчас мы это дело уладим. Давай банку из-под компота, вон на окне стоит.

Мишка протянул мне банку, а я открыл бутылку и вылил черновато-красное вино в банку.

— Правильно, — сказал Мишка. — Что ему сделается?..

— Ну конечно, — сказал я. — А куда вторую?

— Да сюда же, — говорит Мишка, — не все равно? И это вино, и то вино.

— Ну да, — сказал я. — Если бы одно было вино, а другое керосин, тогда нельзя, а так, пожалуйста, еще лучше. Держи банку.

И мы вылили туда и вторую бутылку.

Я сказал:

— Ставь ее на окно! Так. Прикрой блюдечком, а теперь бежим!


30

И мы припустились. За эти две бутылки нам дали двадцать четыре копейки. И я купил маме конфет. Мне еще две копейки сдачи дали. Я пришел домой веселый, потому что я стал рыцарем, и, как только мама с папой пришли, я сказал:

— Мам, я теперь рыцарь. Нас Борис Сергеевич научил!

Мама сказала:

— Ну-ка расскажи!

Я рассказал, что завтра я маме сделаю сюрприз. Мама сказала:

— А где же ты денег достал?

— Я, мам, пустую посуду сдал. Вот две копейки сдачи.

Тут папа сказал:

— Молодец! Давай-ка мне две копейки на автомат!

Мы сели обедать. Потом папа откинулся на спинку стула и улыбнулся:

— Компотику бы.

— Извини, я сегодня не успела, — сказала мама.

Но папа подмигнул мне:

— А это что? Я давно уже заметил.

И он подошел к окну, снял блюдечко и хлебнул прямо из банки. Но тут что было! Бедный папа

кашлял так, как будто он выпил стакан гвоздей. Он закричал не своим голосом:

— Что это такое? Что это за отрава?!

Я сказал:

— Папа, не пугайся! Это не отрава. Это два твоих вина!

Тут папа немножко пошатнулся и побледнел.

— Какие два вина?! — закричал он громче прежнего.

— Черное и желтое, — сказал я, — что стояли в буфете. Ты, главное, не пугайся.

Папа побежал к буфету и распахнул дверцу. Потом он заморгал глазами и стал растирать себе грудь. Он смотрел на меня с таким удивлением, будто я был не обыкновенный мальчик, а какой-нибудь синенький или в крапинку. Я сказал:

— Ты что, папа, удивляешься? Я вылил твои два вина в банку, а то где бы я взял пустую посуду? Сам подумай!

Мама вскрикнула:

— Ой!

И упала на диван. Она стала смеяться, да так сильно, что я думал, ей станет плохо. Я ничего не мог понять, а папа закричал:

— Хохочете? Что ж, хохочите! А между прочим, этот ваш рыцарь сведет меня с ума, но лучше я его

раньше выдеру, чтобы он забыл раз и навсегда свои рыцарские манеры.

И папа стал делать вид, что он ищет ремень.

— Где он? — кричал папа. — Подайте мне сюда этого Айвенго! Куда он провалился?

А я был за шкафом. Я уже давно был там на всякий случай. А то папа что-то сильно волновался. Он кричал:

— Слыханное ли дело выливать в банку коллекционный черный «Мускат» урожая 1954 года и разбавлять его жигулевским пивом?!

А мама изнемогала от смеха. Она еле-еле проговорила:

— Ведь это он… из лучших побуждений… Ведь он же… рыцарь… Я умру от смеха.

И она продолжала смеяться.

А папа еще немного пометался по комнате и потом ни с того ни с сего подошел к маме. Он сказал:

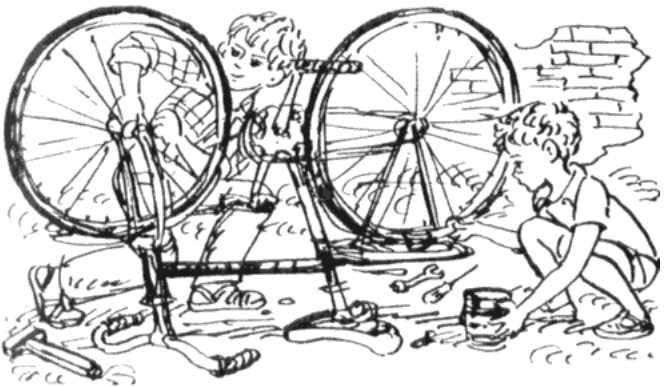
— Как я люблю твой смех.

И наклонился и поцеловал маму.

И я тогда спокойно вылез из-за шкафа.



На Садовой большое движение



У Ваньки Дыхова был велосипед. Довольно старый, но все-таки ничего. Раньше это был велосипед Ванькиного папы, но, когда велосипед сломался, Ванькин папа сказал:

— Вот, Ванька, чем целый день гонкА гонять, на тебе эту машину, отремонтируй ее, и будет у тебя свой велосипед. Он, в общем, еще хоть куда. Я его когда-то на барахолке купил, он почти новый был.

И Ванька так обрадовался этому велосипеду, что просто трудно передать. Он его утащил в самый конец двора и совсем перестал гонка гонять — наоборот, он целый день возился со своим велосипедом, стучал, колотил, отвинчивал и привинчивал. Он весь чумазый стал, наш Ванька, от машинного масла, и пальцы у него были все в ссадинах, потому что он, когда работал, часто промахивался и попадал сам себе молотком по пальцам. Но все-таки дело у него ладилось, потому что у них в пятом классе проходят слесарное дело, а Ванька всегда был отличником по труду. И я Ваньке тоже помогал чинить машину, и он каждый день говорил мне:

— Вот погоди, Дениска, когда мы ее починим, я тебя на ней катать буду. Ты сзади, на багажнике, будешь сидеть, и мы с тобой всю Москву изъездим!

И за то, что он со мной так дружит, хотя я всего только во втором, я еще больше ему помогал и, главное, старался, чтобы багажник получился красивый. Я его четыре раза черным лаком покрасил, потому что он был все равно что мой собственный. И он у меня так сверкал, этот багажник, как новенькая машина «Волга». И я все радовался, как я буду сидеть на нем, и держать-

ся за Ванькин ремень, и мы будем носиться по всему миру.

И вот однажды Ванька поднял свой велосипед с земли, подкачал шины, протер его весь тряпочкой, сам умылся из бочки и застегнул брюки внизу бельевыми защелками. И я понял, что приближается наш с ним праздник. Ванька сел на машину и поехал. Он сначала объехал не торопясь вокруг двора, и машина шла под ним мягко-мягко, и было слышно, как приятно трутся о землю шины. Потом Ванька прибавил скорости, и спицы засверкали, и Ванька пошел выкомаривать номера, и стал петлять и крутить восьмерки, и разгонялся изо всех сил, и сразу резко тормозил, и машина останавливалась под ним как вкопанная. И он по-всякому ее испытывал, как летчик-испытатель, а я стоял и смотрел, как механик, который стоит внизу и смотрит на штуки своего пилота. И мне было приятно, что Ванька так здорово ездит, хотя я могу, пожалуй, еще лучше, во всяком случае не хуже. Но велосипед был не мой, велосипед был Ванькин, и нечего тут долго разговаривать, пускай он делает на нем все, что угодно. Приятно было видеть, что машина вся блестит от краски, и невозможно было догадаться, что она старая. Она была лучше

любой новой. Особенно багажник. Любо-дорого было смотреть на него, прямо сердце радовалось.

И Ванька скакал так на этой машине, наверно, с полчаса, и я уже стал побаиваться, что он совсем забыл про меня. Но нет, напрасно я так подумал про Ваньку. Он подъехал ко мне, ногой уткнулся в забор и говорит:

— Давай влазь.

Я, пока карабкался, спросил:

— А куда поедем?

Ванька сказал:

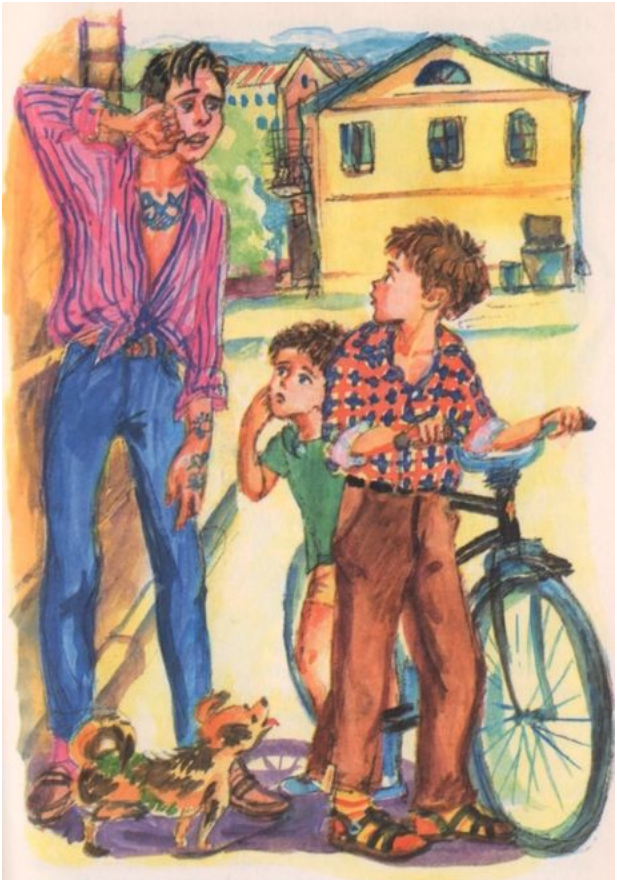
— А не все равно? По белу свету!

И у меня сразу появилось такое настроение, как будто на нашем белом свете живут одни только веселые люди и все они только и делают, что ждут, когда же мы с Ванькой к ним приедем в гости. И когда мы к ним приедем — Ванька за рулем, а я на багажнике, — сразу начнется большущий праздник, и флаги будут развеваться, и шарики летать, и песни, и эскимо на палочке, и духовые оркестры будут греметь, и клоуны ходить на голове.

Такое вот у меня было удивительное настроение, и я примостился на свой багажник и схватился за Ванькин ремень. Ванька крутнул педали, и… прощай, папа! Прощай, мама! Про-

щай, весь наш старый двор, и вы, голуби, тоже до свиданья! Мы уезжаем кататься по белу свету!

Ванька вырулил со двора, потом за угол, и мы поехали разными переулками, где я раньше ходил только пешком. И все теперь было совершенно по-другому, незнакомое какое-то, и Ванька все время позванивал в звонок, чтобы не задавить кого-нибудь: ззь! ззь! ззь!..



И пешеходы выпрыгивали из-под нашей ма-

шины, как куры, и мы мчались с неслыханной быстротой, и мне было очень весело, и на душе было свободно, и очень хотелось горланить что-нибудь отчаянное. И я горланил букву «а». Вот так: ааааааааааа! И очень смешно получилось, когда Ванька въехал в один старенький переулок, в котором дорога была вся в булыжниках, как при царе Горохе. Машину стало трясти, и моя оралка на букву «а» стала прерываться, как будто стоило ей вылететь изо рта, как кто-то сразу обрезал ее острыми ножичками и кидал на ветер. Получалось: а! а! а! а! а! Но потом опять подвернулся асфальт, и все снова пошло как по маслу: ааааааааааа!

И мы еще долго ездили по переулкам и наконец очень устали. Ванька остановился, и я спрыгнул со своего багажника. Ванька сказал:

— Ну как?

— Блеск! — сказал я.

— Тебе удобно было?

— Как на диване, — сказал я, — еще удобней. Что за машина! Прямо экстра-класс!

Он засмеялся и пригладил свои растрепанные волосы. Лицо у него было пыльное, грязное, и только глаза сверкали — синие, как тазики в кухне на стене. И зубы блестели вовсю.

И вот тут-то к нам с Ванькой и подошел этот парень. Он был высокий, и у него был золотой зуб. На нем была полосатая рубашка с длинными рукавами, и на руках у него были разные рисунки, портреты и пейзажи. И за ним плелась такая лохматенькая собачушка, сделанная из разных шерстей. Были кусочки шерсти черненькие, были беленькие, попадались рыженькие, и был один зеленый… хвост у нее завивался крендельком, одна нога поджата. Этот парень сказал:

— Вы откуда, ребята?

Мы ответили:

— С Трехпрудного.

Он сказал:

— Вона! Молодцы! Откуда доехали! Это твоя машина?

Ванька сказал:

— Моя. Была отцовская, теперь моя. Я ее сам отремонтировал. А вот он, — Ванька показал на меня, — он мне помогал.

Этот парень сказал:

— Да… Смотри ты. Такие неказистые ребята, а прямо химики-механики.

Я сказал:

— А это ваша собака?

Этот парень кивнул:

— Ага. Моя. Это очень ценная собака. Породистая. Испанский такс.

Ванька сказал:

— Ну что вы! Какая же это такса? Таксы узкие и длинные.

— Не знаешь, так молчи! — сказал этот парень. — Московский там или рязанский такс — длинный, потому что он все время под шкафом сидит и растет в длину, а это собака другая, ценная. Она верный друг. Кличка — Жулик.

Он помолчал. Потом вздохнул три раза и сказал:

— Да что толку? Хоть и верный пес, а все-таки собака. Не может мне помочь в моей беде…

И у него на глазах появились слезы. У меня прямо сердце упало. Что с ним?

Ванька сказал испуганно:

— А какая у вас беда?

Этот парень сразу покачнулся и прислонился к стене.

— Бабушка помирает, — сказал он и стал часто-часто хватать воздух губами и всхлипывать. — Помирает бабуся… У ней двойной аппендицит… — Он посмотрел на нас искоса и добавил: — Двойной аппендицит, и корь тоже…

Тут он заревел и стал вытирать слезы кулаком.

У меня заколотилось сердце. А парень прислонился к стенке поудобнее и стал выть довольно громко. А его собака, глядя на него, тоже завыла. И они оба так стояли и выли, жутко было слышать. От этого воя Ванька даже побледнел под своей пылью. Он положил руку на плечо этому парню и сказал дрожащим голосом:

— Не войте, пожалуйста! Зачем вы так воете?

— Да как же мне не выть, — сказал этот парень и замотал головой, — как же мне не выть, когда у меня нет сил дойти до аптеки! Три дня не ел!.. Ай-уй-уй-юй!..

И он еще хуже завыл. И ценная собака такс тоже. И никого вокруг не было. И я прямо не знал, что делать.

Но Ванька не растерялся нисколько.

— А рецепт у вас есть? — закричал он. — Если есть, давайте его поскорее сюда, я сейчас же слетаю на машине в аптеку и привезу лекарство. Я быстро слетаю!

Я чуть не подскочил от радости. Вот так Ванька, молодец! С таким человеком не пропадешь, он всегда знает, что надо делать.

Сейчас мы с ним привезем этому парню лекарство и спасем его бабушку от смерти. Я крикнул:

— Давайте же рецепт! Нельзя терять ни ми-

нуты!

Но этот парень задергался еще хуже, замахал на нас руками, перестал выть и заорал:

— Нельзя! Куда там! Вы что, в уме? Да как же это я пущу двух таких пацанят на Садовую? А? Да еще на велосипеде! Вы что? Да вы знаете, какое там движение? А? Вас там через полсекунды в клочки разорвет… Куда руки, куда ноги, головы отдельно!.. Ведь грузовики-пятитонки! Краны подъемные мчатся!.. Вам хорошо, вас задавит, а мне за вас отвечать придется! Не пущу я вас, хоть убейте! Пускай лучше бабушка умрет, бедная моя Февронья Поликарповна!..

И он снова завыл своим толстым басом. Ценная собака такс вообще выла без остановки. Я не мог этого вынести — что этот парень такой благородный и что он согласен рисковать бабушкиной жизнью, только бы с нами ничего не случилось. У меня от всего этого губы стали кривиться в разные стороны, и я понял, что еще немножко, и от этих дел я завою не хуже ценной собаки. Да и у Ваньки тоже глаза стали какие-то подмоченные, и он хлюпнул носом:

— Что же нам делать?

— А очень просто, — сказал этот парень деловитым голосом. — Один только выход и есть.

Давайте ваш велосипед, я на нем съезжу. И сейчас вернусь. Век свободы не видать!.. — И он провел ладонью поперек горла.

Это, наверно, была его страшная клятва. Он протянул руку к машине. Но Ванька держал ее довольно крепко. Этот парень подергал ее, потом бросил и снова зарыдал:

— Ой-ой-ой! Погибает моя бабушка, погибает ни за понюх табаку, погибает ни за рубль за двадцать… Ой-уюю…

И он стал рвать со своей головы волосы. Прямо вцепился и рвет двумя руками. Я уже не смог выдержать такого ужаса. Я заплакал и сказал Ваньке:

— Дай ему велосипед, ведь умрет бабушка! Если бы у тебя так?

А Ванька держится за велосипед и рыдает в ответ:

— Лучше уж я сам съезжу…

Тут этот парень посмотрел на Ваньку безумными глазами и захрипел как сумасшедший:

— Не веришь, да? Не веришь? Жалко на минутку дать свой драндулет? А старушка пусть помирает? Да? Бедная старушка, в беленьком платочке, пусть помирает от кори? Пускай, да? А пионер с красным галстуком жалеет драндулет?

Эх вы! Душегубы! Собственники!..

Он оторвал от рубашки пуговку и стал топтать ее ногами. А мы не шевелились. Мы совершенно изревелись с Ванькой. Тогда этот парень вдруг ни с того ни с сего подхватил с земли свою ценную собаку такс и стал совать ее то мне, то Ваньке в руки:

— Нате! Друга вам отдаю в залог! Верного друга отдаю! Теперь веришь? Веришь или нет?! Ценная собака идет в залог, ценная собака такс!

И он все-таки всунул эту собачонку Ваньке в руки, и тут меня осенило.

Я сказал:

— Ванька, он же собаку оставляет нам как заложника. Ему теперь никуда не деться, она же его друг, и к тому же ценная. Дай машину, не бойся.

И тут Ванька дал этому парню руль и сказал:

— Вам на пятнадцать минут хватит?

— Много, — сказал парень, — куда там! Пять минут на все про все! Ну ждите меня тут. Не сходите с места!

И он ловко вскочил на машину, с места ходко взял и прямо свернул на Садовую. И когда сворачивал за угол, ценная собака такс вдруг спрыгнула с Ваньки и как молния помчалась за ним.

Ванька крикнул мне:

— Держи!

Но я сказал:

— Куда там, нипочем не догнать. Она за хозяином побежала, ей без него скучно! Вот что значит верный друг. Мне бы такую…

А Ванька сказал так робко и с вопросом:

— Но ведь она же заложница?

— Ничего, — сказал я, — они скоро оба вернутся.

И мы подождали пять минут.

— Что-то его нет, — сказал Ванька.

— Очередь, наверно, — сказал я.

Потом прошло еще часа два. Этого парня не было. И ценной собаки тоже. Когда стало темнеть, Ванька взял меня за руку.

— Все ясно, — сказал. — Пошли домой…

— Что ясно… Ванька? — сказал я.

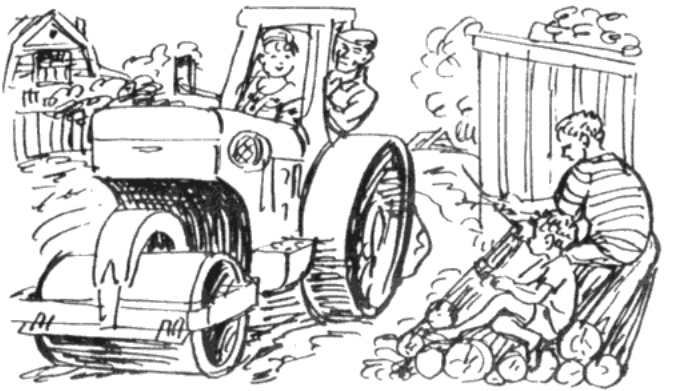
— Дурак я, дурак, — сказал Ванька. — Не вернется он никогда, этот тип, и велосипед не вернется. И ценная собака такс тоже!

И больше Ванька не сказал ни слова. Он, наверно, не хотел, чтобы я думал про страшное. Но я все равно про это думал.

Ведь на Садовой такое движение…



Человек с голубым лицом



Мы сидели возле дяди Володиной дачи на брев-нах, и папа обстругивал большенную ореховую палку для моего лука, а я в это время наващивал веревку для тетивы.

Все было тихо и спокойно, только в переулке тарахтела дорожная машина, и у нее вместо колес было два тяжелых катка — она делала в нашем поселке асфальтовую дорогу.

Сиденье на этой машине помещалось очень вы-

соко, и когда она проехала мимо нас, над нашим забором проплыла голова дорожного рабочего. Лицо у него было все голубое, потому что у него очень сильно росла борода. Он ее брил каждый день, и от этого лицо всегда было голубое. Рядом с этим голубым проплыло лицо румяной девушки, его помощницы, с красивыми черными глазами и длинными ресницами.

Я знал, что это рабочие поехали обедать на свою базу в Сосенки, потому что работать они начали еще ночью, когда все еще спали и было не жарко.

Этот дяденька с голубым лицом однажды довольно жгуче жиганул меня прутом по ногам за то, что я заводил его машину, когда он ушел. Он тогда здорово жиганул меня, и я его не любил. Я даже боялся, как бы он не пожаловался сейчас папе, что я озорую, но он, слава богу, меня не заметил и проехал мимо.

И мы с папой сидели так рядом на бревнышках, и я посвистывал, а папа помалкивал, и мы только улыбались друг другу, потому что нам очень нравилось жить в этом поселке. Мы здесь гостили уже шестой день, и я подружился с соседскими ребятами, и перезнакомился со всеми собаками, и знал каждую по имени и фамилии.

Мы катались на лодках, жгли костры и ходили по грибы и видели, как вдалеке полем пробежали лосиха и лосенок.

А сегодня мы с папой собирались пострелять из лука и потом запустить змея — высоко-высоко, под самое солнце.

И пока я про все это думал, вдруг хлопнула калитка, и к нам во двор вошел Александр Семеныч, наш сосед, у него есть своя автомашина «Волга». Они с папой друзья.

Он сел рядом с нами и сказал:

— Беда!

— Что такое?

Александр Семеныч сказал:

— У него, видите ли, свадьба! А мне какое дело? Сегодня свадьба, завтра крестины, послезавтра именины!.. А мне как быть? Сидеть без шофера? — Он погрозил кому-то кулаком. — У меня дела поважнее вашей свадьбы!

Папа сказал:

— Расскажите толком.

И Александр Семеныч сказал, что его шофер Леша решил жениться на одной своей знакомой и сегодня у него свадьба.

— Ну и пусть женится, — сказал папа, — вам-то что?

Но Александр Семеныч разгорячился.

— Мне в город нужно, — сказал он, — вот так! Понятно?

И он попилил ладонью себе горло. Мол, позарез. Но папа молчал.

— Ага, — ехидно сказал Александр Семеныч, — отмалчиваетесь? Палочки строгаете? А где чувство локтя?!

— Ведь отпуск, — сказал папа, — надо с сыном побыть.

— Никуда он не денется, — заявил Александр Семеныч и шлепнул меня по спине. — Мы просто возьмем его с собой! Надо парню удовольствие доставить. Пусть прокатится!

И тут я наконец понял, чего он добивается. И как это я сразу не догадался? Ведь ездить-то он не умеет. Не умеет управлять своей собственной «Волгой». А папа умеет. И «Волгой», и «Победой», и «Газ-51», и какой угодно. Потому что у папы есть водительские права, он даже ездил в автопробег Москва — Хабаровск. У него только машины собственной нет, а ездит он классно! И Александр Семеныч подкатывается, значит, к нам, чтобы папа отвез его в город и обратно.

И хотя я видел, что папе не очень-то охота ехать, потому что он пригрелся на солнышке, и ему

очень нравится сидеть в старых брюках около сарая и строгать потихоньку палочку, и никуда ему неохота, но сам-то я очень обрадовался, что можно будет слетать на автомобиле, и поэтому я сразу заорал:

— Поехали! Какой может быть разговор!

И Александр Семеныч вскочил как ужаленный и тоже завопил во все горло:

— Правильно! Урра! Поехали!..

Тут папа совсем сдался и только сказал умоляюще:

— Только, как говорится, взад-назад. Быстро! Чтобы к трем быть обратно!

Александр Семеныч расхохотался и положил руку на сердце:

— К двум! — И поклялся: — Чтоб мне провалиться на этом месте! К двум часам мы будем здесь. Как штык!

И мы с папой пошли переоделись, а потом вывели машину со двора Александра Семеныча, и они сели впереди, папа за рулем. А меня отправили в заднюю кабину и защелкнули за мной обе дверцы. И я сразу стал за папиной спиной, чтобы смотреть вперед, на дорогу, на спидометр, на лес, на встречные машины, и чтобы воображать, что это я веду машину, я, а не папа, и что она вовсе не

автомобиль, а космический корабль, а я самый первый человек, который полетел на небо, к прохладным звездам.

И так мне интересно было ехать, и приятно, и весело! Вокруг все было зеленое. Трава, и большие деревья, и тоненькие березки — все было зеленое вокруг. И ветер был такой сильный и теплый и тоже пахнул зеленым.

Я стоял позади папы и посвистывал и смотрел вперед на дорогу; она блестела как серебряная, и, если пригнуть голову, было видно, как дрожит над ней и вьется раскаленный воздух.

И то попадалась на дороге доска — видно, грузовик обронил, — то небольшая охапка сена, и тоже было понятно, откуда она здесь, то шоферские концы, какими руки вытирают. И получалось, что дорога как будто рассказывает, кто по ней проехал до нас с папой и Александром Семенычем.

А сейчас мы мчались довольно быстро, спидометр показывал семьдесят, и я наконец начал играть в космический корабль. Я включил приборы, и выжимал педали, и щелкал рычажками, и летел мимо Марса и Луны, еще и еще дальше, и скоро я решил, что вступил в состояние невесомости, и стал подпрыгивать, чтобы проверить, весомый я или невесомый.

Но папа сказал не оборачиваясь:

— Стой смирно!

И я опять стал смотреть вперед. И только я посмотрел вперед, я сразу увидел, что через дорогу идет девочка! То есть она бежит перед самой нашей машиной. Бежит и бежит. И откуда она взялась, ведь только что ее не было. Просто как будто из-под земли выскочила! Наша машина резко крутанула вправо, и страшно загудел гудок… И я успел заметить, что девочка тоже мотнулась вправо, опять под машину, и тут раздался какой-то дикий визг, и лязг, и скрежет, и машину как будто кто-то дернул за хвост, и дальше все пошло совершенно непонятно. Мне показалось, что через меня прошел электрический ток, и сразу что-то жалобно зазвенело, а потом словно бы хрустнуло, и гудок непрерывно гудел, а я весь прижался к переднему сиденью, я ухватился за него руками, локтями и грудью и вдруг увидел, что березки в окне упали все сразу налево, как подрезанные, а потом быстро появились снова и опять рухнули влево… и тут все остановилось. Я стоял на четвереньках. Надо мной было открытое окно, как будто я был в подводной лодке или на дне колодца. И вдруг, сам не знаю почему, я стал карабкаться, как кошка, и вцепляться во что

попало — в чехлы, в ручки, все равно во что, — и, в общем, я моментально выскочил наружу.

Наша машина лежала под откосом на боку. У нее не было никаких стекол. Из-под мотора вытекал небольшой дымок. Крыша была сплюснута, как старая шляпа. Машина все время гудела. Колеса у нее вертелись, как лапки у жука, когда его перевернешь.

Из другого окошка вылез человек. Это был Александр Семеныч. Он вылез и сразу подошел ко мне.

Он сказал:

— Ты не знаешь, где мой левый ботинок?

И правда, одна нога у него была разута… Он взглянул на машину, схватился за голову и опять сказал:

— Не могу понять, куда девался ботинок… Поищи.

И я стал шарить в траве.

Ботинка нигде не было, а машина все время гудела тоскливым голосом. Я не мог этого слышать, у меня мурашки бежали по затылку, и я отошел от нее подальше.

Около края дороги остановился грузовик, из него попрыгали солдаты и побежали вниз, к нам. Один солдат заглянул в машину и замахал рука-

ми остальным:

— Там человек! Быстро!..

И солдаты схватили машину и поставили ее на колеса. Она все гудела, как будто звала. И только тут я вдруг вспомнил, что там, за рулем, сидит мой папа!

Как я мог об этом забыть! Мне стало страшно… Я побежал к машине.

Папа сидел, неудобно скрючившись, все тело его было повернуто назад, как будто он смотрел в заднее окно. Рука его была в руле, она нажимала на гудок. Кружок сигнала и костяной круг переплелись между собой и как капкан держали папину руку возле локтя. Рука была синяя, распухшая, и из нее лилась кровь.

Солдаты стали раздирать руль. Они открыли дверцы, и папа вышел на воздух. Он был весь белый, и глаза у него были белые, и рука висела, как будто она была от другого человека. Я подбежал к папе и встал перед ним, но он не успел меня заметить, потому что в это время на мотоцикле подскакали милиционеры.

Один из них сказал:

— Предъявите права!

Папа стоял к нему боком, и этот милиционер не видел его руки, а папа медленно и неловко

полез левой рукой в правый карман и никак не мог в него залезть. Тогда я придвинулся к нему вплотную и достал права. Папа поглядел на меня. Он, как видно, только сейчас вспомнил, что я был с ним все время. Он левой рукой схватил меня за плечо и нагнулся ко мне близко-близко. Он сказал как будто издалека:

— Это ты? — И стал трясти меня, и закричал: — Где больно? Говори!..

Я сказал:

— Нигде не больно. Я весь целый…

Папа сел на корточки и привалился к колесу. У него лицо стало мокрое. Пот бежал у него со лба толстыми каплями. Он вдруг начал сползать на бок, как будто хотел прилечь. Я вцепился в его рубашку, чтобы он не ложился на землю. Но тут к нам протиснулся человек в белом халате. Он стал перед папой на колени и сразу схватил его за правую руку.

Папа сказал:

— Ко всем чертям…

И доктор встал на ноги. Он сказал:

— Перелом. Двойной.

И поднял папу, и повел его к большой машине. Народу вокруг было очень много, и по краю дороги стояли автобусы, и «Москвичи», и «газики».

Я даже заметил, что дорожная машина с нашей улицы тоже была здесь. Я пошел за доктором и папой, но меня оттирала толпа, и я еле пробирался сзади. Когда папа поднялся наверх по откосу, я увидел, что к нему подбежал дорожный рабочий с голубым лицом, тот самый, что когда-то давно жиганул меня прутом по ногам. Он что-то сказал папе на ходу, и папа кивнул. Потом папа стал садиться в «скорую помощь», и я понял, что он опять совсем забыл про меня. Но все равно я решил бежать за ним и его машиной, пока не догоню. Тут папа обернулся и что-то крикнул мне. Я не расслышал что. Машина тронулась и поехала, я побежал за ней, но не успел взбежать кверху — было высоко, и я остановился, потому что очень билось сердце.

Сверху была видна наша «Волга». Она стояла, как подбитый танк. Из-за нее вышел Александр Семеныч и сказал:

— Можешь себе представить, ботинок лежал в багаж-пике. Фантастика!

К нему подошел милиционер.

— Так, — сказал он и стал опять черкать в блокноте, — сейчас будем продолжать… А мальчишка этот, видать, в сорочке родился. Ни царапинки! Стало быть, это ваша машина?

Я хотел его спросить, когда же привезут обратно папу, но в это время сверху крикнули:

— Товарищ начальник! Мы мальчонку с собой заберем, чего ему тут на солнце печься!.. Мы на ихней улице асфальт кладем. Аккурат у ихнего дома. Иди, мальчик, сюда!

Это кричал со своей машины человек с голубым лицом.

Милиционер сказал:

— Поедешь?

Я не знал, что ответить, потому что мне было совестно оставлять Александра Семеныча одного. А он, видно, догадался, про что я думаю, и сказал:

— Ничего, поезжай…

— А вы без меня управитесь?

— Постараюсь. Мне помогут, поезжай…

Но я не двигался с места.

Тогда сверху соскочила красивая девушка, что сидела рядом с голубым человеком. Она взяла меня за руку и сказала:

— А мы ему руль дадим подержать. Да, Ваня? Товарищ начальник, вы ему разрешите, пожалуйста, за руль подержаться. Он у нас будет сам править, честное слово! Он даже, если захочет, будет сигналы дудеть. Да, Ваня? Он будет дудеть, и все ему будут завидовать, а вы, товарищ на-

чальник, наверно, тоже будете завидовать. Да? Иди сюда, мальчинька, золотко мое, на, держись за руль, чтоб ты был здоров!

Она так пела надо мной, как над маленьким, и поставила меня впереди голубого человека. От него сильно пахло бензином. Он положил мои руки на руль, а рядом свои, и я увидел, какие у него толстые пальцы, с широкими ногтями с черной каемкой.

Он нажал на педаль, загремел рычагами, и мы, все трое, отъехали от этого страшного места.

Все было зеленое вокруг — и трава, и тоненькие березки, — и ветерок пахнул чем-то зеленым, как будто ничего не случилось. И мы так ехали и молчали, и, хотя я держал руки на руле, я не играл ни во что. Мне не хотелось. А дяденька с голубым лицом вдруг сказал своей помощнице:

— Ты посмотри, Фирка, какой папаня у этого огольца! Ведь это не каждый рискнет… Не схотел, значит, чужую девочку жизни решить. Машину разбил! Хотя машина что, она железка, туды ей и дорога, починится. А вот ребенка давить не схотел, вот что дорого… Не схотел, нет. Сыном родным рыскнул. Выходит, душа у человека геройская, огневая… Большая, значит, душа. Вот таких-то, Фирка, мы на фронте очень уважали…

Он нащупал и надавил мой нос, как кнопку звонка:

— Ззынь...

И за то, что он сказал такое хорошее про моего папу, я изо всех сил сжал его толстый палец и заплакал.



Рабочие дробят камень



С самого начала этого лета мы все трое, Мишка, Костик и я, очень пристрастились к водной станции «Динамо» и стали ходить туда почти что каждый день. Мы раньше не умели плавать, а потом постепенно научились кто где: кто — в деревне, кто — в пионерских лагерях, а я, например, два месяца посещал наш плавательный бассейн «Москва». И когда мы все научились плавать, мы очень быстро поняли, что нигде не получишь

такого удовольствия от купания, как на водной станции. Даю слово.

Ох, хорошо лежать ясным утречком на водной станции на сыроватых и теплых ее деревянных дорожках, вдыхать всеми ноздрями свежий и тревожный запах реки и слышать, как на высоких мачтах и тонких рейках трещат под ветром разноцветные шелковые флажки и вода хлюпает и полощется где-то под тобой в дощатых щелях; хорошо так лежать, и молчать, и загорать, раскинув руки, и смотреть из-под локтя, как недалеко от станции, чуть-чуть повыше по течению, рабочие-каменщики чинят набережную и бьют по розовому камню молотками, и звук долетает до тебя немножко позже удара, такой тонкий и нежный, как будто кто-то играет стеклянными молоточками на серебряном ксилофоне. И особенно хорошо, когда накалишься как следует, бухнуться в воду, и наплаваться вдосталь, и напрыгаться с метровой тумбочки, и нанырятся досыта, до отвала. А потом, когда устанешь, хорошо пойти к своим ребятам, пойти по горячим досточкам, втянув живот до позвоночника, и выпятив грудь колесом, и распирая бедра, и напружинив руки, а ноги ставя непременно носками внутрь, потому что это красиво,

и на водной станции иначе не пойдешь, здесь так ходят все. Здесь тебе не самодельный пляжик с грязноватым песком и бумажками, здесь тебе не какой-нибудь травянистый бережок — это там можно чапать как угодно, — а здесь водная станция, здесь порядок, чистота, ловкость, спорт, шик-блеск, и поэтому все здесь ходят по-чемпионски, на «отлично», фасонно ходят — иногда даже ходят гораздо лучше, чем плавают.

И вот поэтому мы все, Мишка, Костик и я, — мы дня не пропускали, все лето ходили сюда купаться, и загорели как черти, и здорово поднаучились плавать, и у нас появились мускулы, бицепсы и трицепсы, и мы на нашей станции облазили все углы и знали, где медпункт, где игры и все такое, и в конце концов все здесь стало для нас вроде бы как родное и обыкновенное. Мы привыкли.

И однажды мы лежали, как всегда, на досточках и загорали, и Костик вдруг сказал ни с того ни с сего:

— Дениска! А ты мог бы прыгнуть с самой верхней вышки в воду?

Я посмотрел на вышку и увидел, что она не слишком-то уж высокая, ничего страшного, не выше второго этажа, ничего особенного.

Поэтому я сейчас же ответил Костику:

— Конечно, смог бы! Ерунда какая.

Мишка тотчас же сказал:

— А вот слабо!

Я сказал:

— Дурачок ты, Мишка, вот ты кто!

Костик сказал:

— Но десять же метров!

— Ну и что? — сказал я.

— Слабо! — отрезал Костик.

И Мишка, конечно, его поддержал:

— Слабо, факт, слабо! — И добавил: — Слабо — би-бо!!!

Я сказал:

— Дурачки вы оба! Вот вы кто!

И тут я встал, растопырил ребра, выкатил грудь, напружинил руки и пошел к вышке. А когда шел, все время ставил носки внутрь.

Сзади Костик крикнул:

— Сла-би-бу-бе-бо!

Но я не стал ему отвечать. Я уже всходил на вышку.

Все это время, что мы ходили на водную станцию, я каждый день видел, как с этой вышки прыгали в воду взрослые дядьки. Я видел, как они красиво выгибали спину, когда прыгали «ласточкой», видел, как они перекувыркивались через

голову по полтора раза, или переворачивались через бок, или складывались в воздухе пополам и падали в воду аккуратно и точно, почти совсем не подымая брызг, а когда выныривали, то выходили на доски, напружинив руки и выпятив грудь…

И это было очень красиво и легко, и я всю жизнь был уверен, что прыгаю не хуже этих дядек, но сейчас, когда лез, я решил для первого раза никаких фигур в воздухе не выстраивать, а просто прыгнуть прямо, вытянувшись в струнку, «солдатиком», — это легче легкого! Я так просто, без затей, прыгну только для начала, а уж потом, в следующие разы, я специально для Мишки такие буду выписывать кренделя, что Мишка только рот разинет. Пусть они с Костиком лучше молчат в тряпочку и кричат мне вдогонку свое дурацкое «сла-би-бо!!!».

И пока я так думал, у меня было веселое настроение, и я быстро бежал по маленьким лесенкам вверх и вверх и даже не заметил, с какой быстротой я оказался на самой высшей площадке, на высоте десяти метров над уровнем станции.

И тут я вдруг увидел, что эта площадка очень маленькая, а перед нею, и по бокам, и далеко вокруг, стоит какой-то раздвинутый, огромный

и прекрасный город, он стоит весь в каком-то легком тумане, а тут, на площадке, шумит ветер, шумит не шутя, как буря, того и гляди, сдует тебя с этой вышки. И совсем не слышно, как рабочие дробят камень, ветер заглушает их стеклянные молотки. И когда я глянул вниз, я увидел наш водный бассейн, он был голубой, но такой маленький, прямо величиной с папиросную коробку, и я подумал, что, если прыгну, вряд ли попаду в него, тут очень просто промахнуться, а тем более ветер не меньше шести баллов, он, того и гляди, снесет меня куда-нибудь в сторону, в реку, или я бухнусь прямо в буфет кому-нибудь на голову, вот будет история! Или я, чего доброго, угожу прямо в кухню, в котел с борщом! Тоже удовольствие маленькое. От этих мыслей у меня что-то зачесалось внутри коленок, и мне больше всего захотелось еще раз услышать, как рабочие чинят набережную, и увидеть Костика и Мишку рядом с собой, все-таки они мои друзья…

И я потихоньку сделал несколько шагов назад, ухватился за перила и стал спускаться вниз, а когда спустился, настроение у меня опять было хорошее и на сердце стало легко-легко, как будто гора с плеч свалилась. И я очень обрадовался, когда увидел Мишку с Костиком, и побежал к ним,

а когда подбежал, остановился как вкопанный!.. Эти дураки хохотали во все горло и показывали на меня пальцем! Они изображали, что сейчас лопнут от смеха. Они вопили:

— Он спрыгнул!

— Ха-ха-ха!

— Он сиганул!

— Хо-хо-хо!

— Ласточкой!

— Хе-хе-хе!

— Солдатиком!

— Хи-хи-хи!

— Храбрец!

— Молодец!

— Хвастец!

Я сел рядом с ними и сказал:

— Дурачки вы, и больше ничего! Неужели вы думаете, что я струсил?

Тут они прямо завизжали:

— Нет! Ха-ха-ха!

— Не думаем! Хо-хо-хо!

— Ты не струсил!

— Ты просто забоялся!

— Сейчас мы напишем про тебя в газету!

— Чтоб тебе медаль дали!

— За красивое спускание по лестнице!

Во мне прямо все бурлило от злости! Какие все-таки наглые типы, этот худущий Костыль и особенно Миха с его противным голосом! Они, видно, серьезно воображают, что я струсил! Какая глупость! Олухи царя небесного!

Но я не стал ругаться и оскорблять их, как они меня. Ведь я-то знал, что мне ничего не стоит спрыгнуть с этой жалкой вышки! Поэтому я сказал им спокойно и вежливо:

— Наплевать на вас!

И стремглав кинулся к вышке, и в пять секунд снова взбежал на самый верх! В это время солнце спряталось за тучу. Здесь было холодно и мрачно, ветер выл, и вышка немножко скрипела и покачивалась. Но я не стал задерживаться, я подошел к самому краю, сложил руки по швам, зажмурился, чуть-чуть согнул коленки, перед тем как прыгнуть, и… вдруг совершенно неожиданно я вспомнил про маму. И про папу тоже. И про бабушку. Я вспомнил, что сегодня утром, когда я убежал на «Динамо», я не попрощался с ними и что теперь очень может быть, что я убьюсь насмерть, и я подумал, какое это будет для них несчастье. Просто горе будет. Ведь им совершенно некого будет в жизни приласкать. Я представил себе, как мама всегда будет смотреть на мою

карточку и плакать, ведь я у нее единственный и у папы тоже. И у них в душе будет вечный траур, и они не будут ходить в гости и в кино — разве это жизнь? И кто же будет о них заботиться, когда они состарятся? Да и мне тоже без них будет плохо, я ведь тоже их люблю! Хотя мне-то уже плохо не будет, меня в живых не будет, я буду уже мертвый, и не увижу больше неба, и не услышу, как рабочие нежно дробят камень на набережной!..

И все это из-за этих негодных Костыля и Михи!

Я ужасно возмутился и весь вскипел, что из-за таких дураков столько народу пострадает, и я подумал, что гораздо лучше будет, если я пойду и насую им по шее, и чем скорее, тем лучше.

И я опять спустился вниз.

Костик, когда увидел меня, встал на четвереньки и уткнулся головой в пол. И так, на голове, он побежал по кругу, как какой-нибудь жук. А Мишка был совершенно синий и булькал — у него была смеховая истерика.

Возле них сидела небольшая толпа, разные девушки и парни. Они тоже смеялись. Видно, Костик с Мишкой рассказали им это дело. Они очень весело смеялись, незнакомые эти люди, а мои друзья смеялись с ними заодно, они все вместе дружно надо мной смеялись…

И тут я почувствовал, что все, что было до сих пор, — это была чепуха! Просто я до сих пор не понимал, в чем тут суть! А сейчас, кажется, понял. И я повернулся и пошел обратно на вышку. В третий раз! Они там сзади кукарекали мне вслед, блеяли и улюлюкали. Но я долез доверху и подошел к самому краю. Коленки у меня дрожали. Но я схватил их руками и сжал и сказал себе тихонько, а когда говорил, слышал, как дрожит мой голос и клацкают зубы.

Я бормотал:

— Рохля!.. Вахля!! Махля!.. Прыгай сейчас же! Ну! А то я разговаривать с тобой не буду! Руки тебе не подам! Ну! Прыгай же! Ну! Тухля! Протухля! Вонюхля!

И когда я обозвал себя вонюхлей, я не выдержал обиды и шагнул вперед. Сердце и желудок у меня сразу подкатились к горлу. И я, когда летел, не успел ничего подумать, просто я знал, что я прыгнул. Я прыгнул! Я прыгнул! Прыгнул все-таки!!!

А когда я вынырнул, Мишка и Костик протянули мне руки и вытащили на доски. Мы легли рядом. Мишка и Костик молчали.

А я лежал и слушал, как рабочие бьют молотками по розовому камню. Звук долетал сюда слабо, нежно и робко, как будто кто-то играл стеклян-

ным молоточком на серебряном ксилофоне.



Пожар во флигеле, или подвиг во льдах...



Мы с Мишкой так заигрались в хоккей, что совсем забыли, на каком мы находимся свете, и когда спросили одного проходящего мимо дяденьку, который час, он нам сказал:

— Ровно два.

Мы с Мишкой прямо за голову схватились. Два часа! Каких-нибудь пять минут поиграли, а уже два часа! Ведь это же ужас! Мы же в школу опоз-

дали! Я подхватил портфель и закричал:

— Бегом давай, Мишка!

И мы полетели, как молнии. Но очень скоро устали и пошли шагом.

Мишка сказал:

— Не торопись, теперь уже все равно опоздали.

Я говорю:

— Ох, влетит… Родителей вызовут! Ведь без уважительной же причины.

Мишка говорит:

— Надо ее придумать. А то на совет отряда вызовут. Давай выдумаем поскорее!

Я говорю:

— Давай скажем, что у нас заболели зубы и что мы ходили их вырывать.

Но Мишка только фыркнул:

— У обоих сразу заболели, да? Хором заболели!.. Нет, так не бывает. И потом: если мы их рвали, то где же дырки?

Я говорю:

— Что же делать? Прямо не знаю… Ой, вызовут на совет и родителей пригласят!.. Слушай, знаешь что? Надо придумать что-нибудь интересное и храброе, чтобы нас еще и похвалили за опоздание, понял?

Мишка говорит:

— Это как?

— Ну, например, выдумаем, что где-нибудь был пожар, а мы как будто ребенка из этого пожара вытащили, понял?

Мишка обрадовался:

— Ага, понял! Можно про пожар выдумать, а то еще лучше сказать, как будто лед на пруду проломился, и ребенок этот — бух!.. В воду упал! А мы его вытащили… Тоже красиво!

— Ну да, — говорю я, — правильно! Но пожар все-таки лучше!

— Ну нет, — говорит Мишка, — именно что лопнувший пруд интереснее!

И мы с ним еще немножко поспорили, что интересней и храбрей, и не доспорили, а уже пришли к школе. А в раздевалке наша гардеробщица тетя Паша вдруг говорит:

— Ты где это так оборвался, Мишка? У тебя весь воротник без пуговиц. Нельзя таким чучелом в класс являться. Все равно уж ты опоздал, давай хоть пуговицы-то пришью! Вон у меня их целая коробка. А ты, Дениска, иди в класс, нечего тебе тут торчать!

Я сказал Мишке:

— Ты поскорее тут шевелись, а то мне одному, что ли, отдуваться?

Но тетя Паша шуганула меня:

— Иди, иди, а он за тобой! Марш!

И вот я тихонько приоткрыл дверь нашего класса, просунул голову, и вижу весь класс, и слышу, как Раиса Ивановна диктует по книжке:

— «Птенцы пищат…»

А у доски стоит Валерка и выписывает корявыми буквами:

«Птенцы пестчат…»

Я не выдержал и рассмеялся, а Раиса Ивановна подняла глаза и увидела меня. Я сразу сказал:

— Можно войти, Раиса Ивановна?

— Ах, это ты, Дениска, — сказала Раиса Ивановна. — Что ж, входи! Интересно, где это ты пропадал?

Я вошел в класс и остановился у шкафа. Раиса Ивановна вгляделась в меня и прямо ахнула:

— Что у тебя за вид? Где это ты так извалялся? А? Отвечай толком!

А я еще ничего не придумал и не могу толком отвечать, а так, говорю что попало, все подряд, только чтобы время протянуть:

— Я, Раиса Иванна, не один… Вдвоем мы, вместе с Мишкой… Вот оно как. Ого!.. Ну и дела. Так и так! И так далее.

А Раиса Ивановна:

— Что-что? Ты успокойся, говори помедленней, а то непонятно! Что случилось? Где вы были? Да говори же!

А я совсем не знаю, что говорить. А надо говорить. А что будешь говорить, когда нечего говорить? Вот я и говорю:

— Мы с Мишкой. Да. Вот… Шли себе и шли. Никого не трогали. Мы в школу шли, чтоб не опоздать. И вдруг такое! Такое дело, Раиса Ивановна, прямо ох-хо-хо! Ух ты! Ай-яй-яй.

Тут все в классе рассмеялись и загалдели. Особенно громко — Валерка. Потому что он уже давно предчувствовал двойку за своих «птенцов». А тут урок остановился, и можно смотреть на меня и хохотать. Он прямо покатывался. Но Раиса Ивановна быстро прекратила этот базар.

— Тише, — сказала она, — дайте разобраться! Кораблев! Отвечай, где вы были? Где Миша?

А у меня в голове уже началось какое-то завихрение от всех этих приключений, и я ни с того ни с сего брякнул:

— Там пожар был!

И сразу все утихли. А Раиса Ивановна побледнела и говорит:

— Где пожар?

А я:

— Возле нас. Во дворе. Во флигеле. Дым валит — прямо клубами. А мы идем с Мишкой мимо этого… как его… мимо черного хода! А дверь этого хода кто-то доской снаружи припер. Вот. А мы идем! А оттуда, значит, дым! И кто-то пищит. Задыхается. Ну, мы доску отняли, а там маленькая девочка. Плачет. Задыхается. Ну, мы ее за руки, за ноги — спасли. А тут ее мама прибегает, говорит: «Как ваша фамилия, мальчики? Я про вас в газету благодарность напишу». А мы с Мишкой говорим: «Что вы, какая может быть благодарность за эту пустяковую девчонку! Не стоит благодарности. Мы скромные ребята». Вот. И мы ушли с Мишкой. Можно сесть, Раиса Ивановна?

Она встала из-за стола и подошла ко мне. Глаза у нее были серьезные и счастливые.

Она сказала:

— Как это хорошо! Очень, очень рада, что вы с Мишей такие молодцы! Иди садись. Сядь. Посиди…

И я видел, что она прямо хочет меня погладить или даже поцеловать. И мне от всего этого не очень-то весело стало. И я пошел потихоньку на свое место, и весь класс смотрел на меня, как будто я и вправду сотворил что-то особенное. И на душе у меня скребли кошки. Но в это время дверь

распахнулась, и на пороге показался Мишка. Все повернулись и стали смотреть на него. А Раиса Ивановна обрадовалась.

— Входи, — сказала она, — входи, Мишук, садись. Сядь. Посиди. Успокойся. Ты ведь, конечно, тоже переволновался.

— Еще как! — говорит Мишка. — Боялся, что вы заругаетесь.

— Ну, раз у тебя уважительная причина, — говорит Раиса Ивановна, — ты мог не волноваться. Все-таки вы с Дениской человека спасли. Не каждый день такое бывает.

Мишка даже рот разинул. Он, видно, совершенно забыл, о чем мы с ним говорили.

— Ч-ч-человека? — говорит Мишка и даже заикается. — С… с… спасли? А кк… кк… кто спас?

Тут я понял, что Мишка сейчас все испортит. И я решил ему помочь, чтобы натолкнуть его и чтобы он вспомнил, и так ласковенько ему улыбнулся и говорю:

— Ничего не поделаешь, Мишка, брось притворяться… Я уже все рассказал!

И сам в это время делаю ему глаза со значением: что я уже все наврал и чтобы он не подвел! И я ему подмигиваю, уже прямо двумя глазами, и вдруг вижу — он вспомнил! И сразу догадался, что

надо делать дальше! Вот наш милый Мишенька глазки опустил, как самый скромный на свете маменькин сынок, и таким противным, приличным голоском говорит.

— Ну зачем ты это! Ерунда какая…

И даже покраснел, как настоящий артист. Ай да Мишка! Я прямо не ожидал от него такой прыти. А он сел за парту как ни в чем не бывало и давай тетради раскладывать. И все на него смотрели с уважением, и я тоже. И наверно, этим дело бы и кончилось. Но тут черт все-таки дернул Мишку за язык, он огляделся вокруг и ни с того ни с сего сказал:

— А он вовсе не тяжелый был. Кило десять — пятнадцать, не больше…

Раиса Ивановна говорит:

— Кто? Кто не тяжелый, кило десять — пятнадцать?

— Да мальчишка этот.

— Какой мальчишка?

— Да которого мы из-подо льда вытащили…

— Ты что-то путаешь, — говорит Раиса Ивановна, — ведь это была девочка! И потом, откуда там лед?

А Мишка гнет свое:

— Как — откуда лед? Зима, вот и лед! Все Чистые

пруды замерзли. А мы с Дениской идем, слышим — кто-то из проруби кричит. Барахтается и пищит. Карабкается. Бултыхается и хватается руками. Ну, а лед что? Лед, конечно, обламывается! Ну, мы с Дениской подползли, этого мальчишку за руки, за ноги — и на берег. Ну, тут дедушка его прибежал, давай слезы лить…

Я уже ничего не мог поделать: Мишка врал как по писаному, еще лучше меня. А в классе уже все догадались, что он врет и что я тоже врал, и после каждого Мишкиного слова все покатывались, а я ему делал знаки, чтобы замолчал и перестал врать, потому что он не то врал, что нужно, но куда там! Мишка никаких знаков не замечал и заливался соловьем:

— Ну, тут дедушка нам говорит: «Сейчас я вам именные часы подарю за этого мальчишку». А мы говорим: «Не надо, мы скромные ребята!»

Я не выдержал и крикнул:

— Только это был пожар! Мишка перепутал!

— Ты что, рехнулся, что ли? Какой может быть в проруби пожар? Это ты все позабыл.

А в классе все падают в обморок от хохота, просто помирают. Раиса Ивановна ка-ак хлопнет по столу! Все замолчали. А Мишка так и остался стоять с открытым ртом.

Раиса Ивановна говорит:

— Как не стыдно врать! Какой позор! И я-то их считала хорошими ребятами!.. Продолжаем урок.

И все сразу перестали на нас смотреть. И в классе было тихо и как-то скучно. И я написал Мишке записку: «Вот видишь, надо было говорить правду!»

А он прислал ответ: «Ну конечно! Или говорить правду, или получше сговариваться».



Хитрый способ



— Вот, — сказала мама, — полюбуйтесь! На что уходит отпуск? Посуда, посуда, три раза в день посуда! Утром мой чашки, а днем целая гора тарелок. Просто бедствие какое-то!

— Да, — сказал папа, — действительно это ужасно! Как жалко, что ничего не придумано в этом смысле. Что смотрят инженеры? Да, да... Бедные женщины...

Папа глубоко вздохнул и уселся на диван.

Мама увидела, как он удобно устроился, и сказала:

— Нечего тут сидеть и притворно вздыхать! Нечего все валить на инженеров! Я даю вам обоим срок. До обеда вы должны что-нибудь придумать и облегчить мне эту проклятую мойку! Кто не придумает, того я отказываюсь кормить. Пусть сидит голодный. Дениска! Это и тебя касается. Намотай себе на ус!

Я сразу сел на подоконник и начал придумывать, как быть с этим делом. Во-первых, я испугался, что мама в самом деле не будет меня кормить и я, чего доброго, помру от голода, а во-вторых, мне интересно было что-нибудь придумать, раз инженеры не сумели. И я сидел и думал и искоса поглядывал на папу, как у него идут дела. Но папа и не думал думать. Он побрился, потом надел чистую рубашку, потом прочитал штук десять газет, а затем спокойненько включил радио и стал слушать какие-то новости за истекшую неделю.

Тогда я стал думать еще быстрее. Я сначала хотел выдумать электрическую машину, чтобы сама мыла посуду и сама вытирала, и для этого я немножко развинтил наш электрополотер и папину электробритву «Харьков». Но у меня не

получалось, куда прицепить полотенце.

Выходило, что при запуске машины бритва разрежет полотенце на тысячу кусочков. Тогда я все свинтил обратно и стал придумывать другое. И часа через два я вспомнил, что читал в газете про конвейер, и от этого я сразу придумал довольно интересную штуку. И когда наступило время обеда и мама накрыла на стол и мы все расселись, я сказал:

— Ну что, папа? Ты придумал?

— Насчет чего? — сказал папа.

— Насчет мойки посуды, — сказал я. — А то мама перестанет нас с тобой кормить.

— Это она пошутила, — сказал папа. — Как это она не будет кормить родного сына и горячо любимого мужа?

И он весело засмеялся.

Но мама сказала:

— Ничего я не пошутила, вы у меня узнаете! Как не стыдно! Я уже сотый раз говорю — я задыхаюсь от посуды! Это просто не по-товарищески: самим сидеть на подоконнике, и бриться, и слушать радио, в то время как я укорачиваю свой век, без конца мою ваши чашки и тарелки.

— Ладно, — сказал папа, — что-нибудь придумаем! А пока давайте же обедать! О, эти драмы

из-за пустяков!

— Ах, из-за пустяков? — сказала мама и прямо вся вспыхнула. — Нечего сказать, красиво! А я вот возьму и в самом деле не дам вам обеда, тогда вы у меня не так запоете!

И она сжала пальцами виски и встала из-за стола. И стояла у стола долго-долго и все смотрела на папу. А папа сложил руки на груди и раскачивался на стуле и тоже смотрел на маму. И они молчали. И не было никакого обеда. И я ужасно хотел есть. Я сказал:

— Мама! Это только один папа ничего не придумал. А я придумал! Все в порядке, ты не беспокойся. Давайте обедать.

Мама сказала:

— Что же ты придумал?

Я сказал:

— Я придумал, мама, один хитрый способ!

Она сказала:

— Ну-ка, ну-ка…

Я спросил:

— А ты сколько моешь приборов после каждого обеда? А, мама?

Она ответила:

— Три.

— Тогда кричи «ура», — сказал я, — теперь ты

будешь мыть только один! Я придумал хитрый способ!

— Выкладывай, — сказал папа.

— Давайте сначала обедать, — сказал я. — Я во время обеда расскажу, а то ужасно есть хочется.

— Ну что ж, — вздохнула мама, — давайте обедать.

И мы стали есть.

— Ну? — сказал папа.

— Это очень просто, — сказал я. — Ты только послушай, мама, как все складно получается! Смотри: вот обед готов. Ты сразу ставишь один прибор. Ставишь ты, значит, единственный прибор, наливаешь в тарелку супу, садишься за стол, начинаешь есть и говоришь папе: «Обед готов!»

Папа, конечно, идет мыть руки, и, пока он их моет, ты, мама, уже съедаешь суп и наливаешь ему нового, в свою же тарелку.

Вот папа возвращается в комнату и тотчас говорит мне:

«Дениска, обедать! Ступай руки мыть!»

Я иду. Ты же в это время ешь из мелкой тарелки котлеты. А папа ест суп. А я мою руки. И когда я их вымою, я иду к вам, а у вас папа уже поел супу, а ты съела котлеты. И когда я вошел, папа наливает супу в свою свободную глубокую тарелку, а

ты кладешь папе котлеты в свою пустую мелкую. Я ем суп, папа — котлеты, а ты спокойно пьешь компот из стакана.

Когда папа съел второе, я как раз покончил с супом. Тогда он наполняет свою мелкую тарелку котлетами, а ты в это время уже выпила компот и наливаешь папе в этот же стакан. Я отодвигаю пустую тарелку из-под супа, принимаюсь за второе, папа пьет компот, а ты, оказывается, уже пообедала, поэтому ты берешь глубокую тарелку и идешь на кухню мыть!

А пока ты моешь, я уже проглотил котлеты, а папа — компот. Тут он живенько наливает в стакан компоту для меня и относит свободную мелкую тарелку к тебе, а я залпом выдуваю компот и сам несу на кухню стакан! Все очень просто! И вместо трех приборов тебе придется мыть только один. Ура?

— Ура, — сказала мама. — Ура-то ура, только негигиенично!

— Ерунда, — сказал я, — ведь мы все свои. Я, например, нисколько не брезгую есть после папы. Я его люблю. Чего там… И тебя тоже люблю.

— Уж очень хитрый способ, — сказал папа. — И потом, что ни говори, а все-таки гораздо веселее есть всем вместе, а не трехступенчатым пото-

ком.

— Ну, — сказал я, — зато маме легче! Посуды-то в три раза меньше уходит.

— Понимаешь, — задумчиво сказал папа, — мне кажется, я тоже придумал один способ. Правда, он не такой хитрый, но все-таки…

— Выкладывай, — сказал я.

— Ну-ка, ну-ка… — сказала мама.

Папа поднялся, засучил рукава и собрал со стола всю посуду.

— Иди за мной, — сказал он, — я сейчас покажу тебе свой нехитрый способ. Он состоит в том, что теперь мы с тобой будем сами мыть всю посуду!

И он пошел.

А я побежал за ним. И мы вымыли всю посуду. Правда, только два прибора. Потому что третий я разбил. Это получилось у меня случайно, я все время думал, какой простой способ придумал папа.

И как это я сам не догадался?..

Как я гостил у дяди Миши



Так получилось, что у меня было несколько выходных дней в неделю подряд, и я мог целую неделю ничего не делать. Учителя в нашем классе заболели как один. У кого аппендицит, у кого ангина, у кого грипп. Совершенно некому заниматься.

И тут подвернулся дядя Миша. Он, когда услышал, что я могу целую неделю отдыхать, сразу подскочил до потолка, а потом подсел к маме и

сказал ей таинственным голосом:

— У меня идея!

Мама сразу притянула меня к себе.

— Давай выкладывай, — сказала она недовольным голосом.

Вот — человек не успел слова вымолвить, а маме уже не нравится. Беда! Всегда так! Просто наказание! Но я промолчал, а дядя Миша сказал:

— Сегодня я уезжаю к себе. Давай-ка я возьму Дениску с собой? Пусть съездит! Все-таки посмотрит Ленинград, прекрасный город, колыбель революции, на Неве легендарная Аврора стоит, как живая, а это знаешь как интересно!

Мама нахмурила брови и сказала:

— А как же обратно?

— Да я его встречу, — отозвался пана. — Ну! Скажи «да», и мы тебя расцелуем в награду.

И они бросились маму целовать. Она отмахнулась от них и сказала:

— Ну и подхалимы! — Потом добавила: — Что ж, поезжайте, — и вздохнула.

И мы поехали с дядей Мишей. Про дорогу в Ленинград я ничего не могу рассказать, потому что поезд отходил без пяти двенадцать ночи, и я сразу заснул как убитый. Посмотрел я вагон только рано утром, и мне все очень понравилось. И

уборная, и коридор, и лесенка для второго этажа. Дядя Миша сказал:

— Ну что? Сейчас встретишься со своим двоюродным братом Димкой. Познакомитесь, наконец!

Мы вышли из вокзала и сели в троллейбус, и не успели отъехать, как оказалось — нам уже нужно выходить. Мы бегом взбежали на второй этаж и отворили дверь, а там сидит какой-то парень и ест горячие пельмени. Он подвинулся и сказал мне:

— Давай помогай!

Я к нему подсел, и мы сразу с ним подружились.

— Ты почему не в школе? — спросил дядя Миша.

— Сегодня отец приезжает! — ответил Димка и улыбнулся и стал еще симпатичней. — Да не один, а с братцем. Как можно? Надо встретить!

Дядя Миша хмыкнул и пошел к себе на завод. Димка проводил его до дверей, и мы, еще подрубав пельменей, поскорей пошли смотреть Ленинград. Димка знал его назубок, и мы прежде всего побежали глядеть на Неву — какая она широкая. Мы бежали по набережной, никуда не переходили, и вдруг увидели — стоит корабль,

а на нем идет настоящая служба. Все по-военному — матросы, флаги, и написано на корабле: «АВРОРА». Димка сказал:

— Смотри, какой корабль.

Я сказал:

— «Аврора».

Димка сказал:

— Какой корабль… Он участник Октябрьской революции!

И у меня захватило дух, что я вижу «Аврору» своими глазами. И я снял шапку перед этим кораблем.

А потом Димка побежал дальше, а я за ним. Интересно ведь с Ленинградом знакомиться. И мы садились в автобусы, и выходили где-то, и опять садились. И видели памятник Пушкину на круглом скверике. Пушкин был маленький, не то что у нас в Москве, на Пушкинской площади. Нет, куда там! Тут он был помоложе, чем наш, вроде мальчишки из десятого класса. Он был маленький, но очень красивый и симпатичный. Но тут Димка сказал:

— Я проголодался, — и вошел в какую-то дверь.

Я — за ним. Вот, думаю, он уже проголодался! Только что съел целый пуд пельменей и уже! Он проголодался! Ну и парень! С таким не про-

падешь.

И мы вошли в большой зал, уставленный столиками. Это оказалось кафе. Мы там поели пирожков — такие трубочки с мясом, вроде блинчиков. Ох и вкусно! Мы потом еще одну порцию взяли, третью. А потом, когда поели, Димка важно так сказал:

— Сколько с нас?

Он заплатил, а я глядел на него во все глаза. Он засмеялся:

— Ну, чего глядишь? Это мне папа дал денег, специально чтобы тебя кормить. Ведь ты же у нас гость, верно?

И когда мы пошли домой, Димка сказал:

— Сейчас поедим, а потом в Эрмитаж.

Я сказал:

— Опять поедим? Ты что, с двойным животом, что ли? И потом, я уже был в Эрмитаже. В Москве. Я там зимой с горки катался. Еще во втором классе!

Димка даже покраснел:

— Да ты что, не знаешь, что в Москве ваш Эрмитаж — это просто садик для детворы, а у нас в Ленинграде это картинная галерея! Музей, понял?

А когда мы подошли к красивому дому на пло-

щади и я увидел, что крышу держат огромные великаны, я вдруг понял, что очень устал, и сказал Димке:

— А давай в картинную галерею завтра? А? А то я устал очень. Долго идем.

Димка взял меня под руку и спросил:

— До трамвая-то дойдешь?

Я кивнул, и мы скоро дошли до трамвая и поехали. Оказалось, далеко.

Вечером у меня глаза просто сами слипались. Тетя Галя подсунула под меня раскладушку, и я сразу уснул.

А утром Димка схватил меня за ногу и стал тянуть с раскладушки:

— Вставай, соня несчастная!

Я сказал:

— А разве уже утро?

Димка сказал:

— Утро, утро! Скорей вставай, побежим в Эрмитаж!

Пока мы все завтракали, Димка все время повторял: «Давай скорей!»

Тетя Галя сказала:

— Дима, не торопи Дениску, у него кусок в горле застревает. И вообще, нужно еще подождать.

И она на него выразительно посмотрела. Димка

сказал:

— Чего ждать? Нужно бежать скорей!

Дядя Миша и тетя Галя рассмеялись. В это время раздался звонок.

Димка скривился, как будто у него вдруг заболели все зубы.

Он сказал:

— Ну вот. Не успели.

Тетя Галя пошла открывать, и мы услышали девчоночьи голоса, смех и голос тети Гали:

— Димочка! А вот и твои учителя пришли.

Я спросил:

— Ты что, Димка, отстающий?

В это время вошли две девчонки. Одна была рыжая, с рыжими ресницами и рыжими веснушками, а вторая была какая-то странная. У нее были глаза длинные, прямо на висках оканчивались. Я сказал:

— Димка, какие у этой черненькой глаза большущие!

— А! — сказал Димка. — Это Ирка Родина. Знакомьтесь!

Девочки быстро объяснили Димке урок, и мы все вместе пошли в Эрмитаж.

Мне очень понравилось в Эрмитаже. Там такие красивые залы и лестницы! Как в книжках про

королей и принцесс. И всюду висят картины. Я уже немножечко устал ходить по залам, как вдруг увидел одну картину и подошел поближе. Там были нарисованы два человека, старые уже, один лысый, другой с бородой. У одного в руке книга, у другого ключ. У них были удивительные лица, грустные, усталые и в то же время какие-то сильные. Картина была какого-то необычного цвета, я такого никогда не видел.

Я стоял и смотрел на эту картину, и Димка, и девчонки. Мы все стояли и смотрели. Потом я подошел поближе. На табличке было написано: «Эль Греко».

Я прямо подпрыгнул! Эль Греко! Я про него читал, это был грек с острова Крит. По-настоящему его звали Доменико Теотокопули. Вот это художник так художник! Я сказал:

— Какая хорошая картина!

— Теперь понял, — сказал Димка, — что такое Эрмитаж? Это тебе не с горки кататься!

А Ирка Родина сказала:

— На этой картине краски как будто драгоценные камни…

Я даже удивился. Девчонка, а тоже понимает! А потом мы попали в зал, где стояли египетские вазы. На этих вазах все люди были нарисованы

сбоку, и у них были глаза длинные-длинные. До висков. Я сказал:

— Смотри, Димка, у Ирки Родиной глаза, как на вазе.

Димка засмеялся:

— Наша Ирка — ваза с глазами!

Мы с Димкой еще много где побывали. Мы были в Русском музее и в квартире Пушкина, забрались на купол Исаакиевского собора и даже съездили в Царское Село. Нас туда повез дядя Миша.

А когда я приехал в Москву, мама спросила:

— Ну, путешественник, как тебе понравился Ленинград?

Я сказал:

— Мама! Там стоит «Аврора»! Настоящая, понимаешь, та самая! И в Эрмитаже есть картина художника Эль Греко. А ты еще спрашиваешь! И еще я познакомился там с одной девочкой. Ее зовут Ира Родина. У нее глаза, как на египетской вазе, правда! Я ей напишу письмо.

Папа сказал:

— А ты что, взял адрес у этой Бекки Тэчер?

Я сказал:

— Ой, забыл…

Папа щелкнул меня по носу:

— Эх ты, тетеря!

А я сказал:

— Ничего, папа! Я напишу Димке, и он мне даст ее адрес. Я ей обязательно напишу письмо!



Белые амадины



Возле нашего дома появилась афиша, такая красивая и яркая, что мимо нее невозможно было пройти равнодушно. На ней были нарисованы разнообразные птицы и написано: «Показ певчих птиц». И я сразу решил, что обязательно схожу посмотрю, что это за новости такие.

И в воскресенье, часика в два дня, собрался, оделся и позвонил Мишке, чтобы и его захватить с собою. Но Мишка проворчал, что у него двойка

по арифметике — это раз и новая книжка про шпионов — это два.

Тогда я решил отправиться сам. Мама меня отпустила охотно, потому что я ей мешал убирать, и я поехал. Певчих птиц показывали на Выставке достижений, и я туда легко добрался на метро. У касс почти никого не было, и я протянул в окошко двадцать копеек, но кассирша дала мне билет и вернула десять копеек обратно за то, что я школьник. Это мне ужасно понравилось. Получилось, как будто мне платят за то, что я учусь в третьем классе, десять копеек с билета! Это здорово! Это просто прекрасно! У меня десять копеек осталось! А я и не знал про такую скидку! Теперь, пожалуй, с такими-то законами, мне надо будет почаще ходить на разные выставки и показы! Ведь так можно и на фотоаппарат накопить! Например, если аппаратик стоит сорок рублей, то мне, очень просто, надо сходить на четыреста выставок, и дело в шляпе! Полный порядок. У меня будет фотоаппарат! Это меня очень развеселило, и я шел к птицам в самом лучшем настроении. Вокруг стояли разные дома, то похожие на терема, то на дворцы, а то и вовсе ни на что не похожие. Это все были павильоны выставки.

Тут же некоторые папы и мамы катали своих

ребят на тройках, потому что в это время здесь происходил Праздник зимы и было катание на лошадях и оленях. Жалко только, очередь на катание была чересчур длинная, и я хотя и постоял в ней немного, но быстро сообразил, что если дело так будет двигаться, то я, может быть, прокачусь недельки только через полторы, а мне уж очень хотелось посмотреть певчих птиц. Поэтому я помахал рукой оленям и лошадям и пошел дальше. А около павильона, на котором было написано «Электроника», я устал. Тогда я спросил у прохожей девушки:

— Скажите, пожалуйста, далеко еще до певчих птиц?

Она показала рукой:

— А вот рядом, видишь павильон? На нем написано «Свиноводство». Там твои птицы. Иди скорей.

И я пошел в павильон «Свиноводство». Как только я открыл дверь, я понял, что не зря приехал сюда. Вокруг меня, по стенам, со всех четырех сторон, чуть ли не до потолка, одна за другой, как кубики, стояли маленькие клеточки. И в каждой клеточке жила птичка. И они все вместе пели. Хором. Но каждая свое. Кто «чирик-чирик», кто «фью-фить-фью», кто «чеки-щелк», а кто и

«пи-пи-пи». И все вместе было похоже на наш класс утром, до прихода Раисы Ивановны, мы тогда тоже галдим, всякий на свой лад. И потом, эти птицы были такие красивые, что я себе даже представить такого не мог. Я близко таких еще не видел. Близко я видел только воробьев. Воробьи, конечно, очень красивые и симпатичные, ничего не скажешь, но тут собрались просто какие-то невиданные чудеса. Например, тут был снегирь. Важный, сытый, круглый, ни дать ни взять мыльный пузырь, если ты его выдуваешь на заходе солнца, когда оно красное. Тут же были и крючконосые клесты, и щекастые синички, и славочки, такие свежие и пухлые на взгляд, что, кажется, прямо живую бы съел… шутя, конечно… Иволга тоже была крупная и зеленая, как болото, и черные ученые дрозды. И целый коридор занимали голуби. И они хотя и не певчие, но их, видно, со всякими диковинками сюда поместили уж заодно. Потому что если голубь якобин, так это не хуже любой другой птицы по красоте. Он похож на астру и бывает разных цветов: белый, и лиловый, и коричневый. Удивление! А монахи с черными хвостами! А драконы с жуткими глазами! А почтовые, которые летают со скоростью «Волги»! Восторг!

И еще из непевчих, но поразительных птиц здесь в большущих клетках сидели две попки. То есть два попки. Или нет! Двое попок! Вот. Один был белый, большой, назывался какаду. У него нос был как консервный ножик-открывалка, а из темечка рос целый пучок зеленого лука. А второй был кубинский амазон. Кубинский! Зеленый! А на груди красный галстук, как у пионера. Он все время на меня смотрел, а я ему улыбался, чтобы он знал, что я ему друг. Но это все было еще не самое главное в этом замечательном павильоне. Дело в том, что там был небольшой угол, и, постепенно переходя от клетки к клетке, я добрался и туда, совершенно еще не зная, что тут-то оно вот и есть, тут-то вот и хранится самое главное несметное сокровище.

Здесь стояли целые толпы народа. И люди отсюда никуда не отходили и не шумели совсем, а стояли плотными рядами. И я, конечно, стал потихоньку ввинчиваться в эти толпы и постепенно провинтился поближе к самому главному. Это были птички амадины. Маленькие-маленькие, белые снежки с блестящими клюквенными клювиками и величиной с полпальца. Откуда они взялись? Они, наверное, нападали с неба. Они, наверное, были осадки, а потом ожили, вы-

шли из сугробов и давай летать-гулять по нашим дворам и переулкам перед окнами, и наконец впорхнули в этот павильон «Свиноводство», и теперь устали и сидят, каждая в своем домике, отдыхают. А люди стоят перед ними целыми толпами, молча и недвижно, и любят их изо всех сил. Да, да. Все любят. Единогласно. И тут одна тетка с золотым зубом сказала ни с того ни с сего:

— Ну, какие маленькие… Худые… Куда их…

И все на нее оглянулись сурово, а один дедушка скривил рот и ядовито проговорил:

— Конечно, курица — она толшше…

И все опять сурово посмотрели на теткин золотой зуб, а она покраснела и ушла. И все мы, кто стоял тут, поняли, что тетка не в счет, потому что она не из нашей компании. И мы так молча стояли еще долго-долго, и я все не мог наглядеться на этих птиц. Они, видно, были с какого-то седьмого неба, из волшебной жизни, про которую писал Андерсен. Такие они были маленькие, слабые и нежные, но, видно, в том-то их и сила была, у маленьких и слабых, что мы стояли как вкопанные перед ними все — и дети и даже взрослые. И наверное, мы бы никогда отсюда не ушли, но в это время по радио чей-то голос сказал:

— Внимание. Сейчас в павильоне номер два

будет проведен конкурс певчих кенарей, начало через десять минут! Просим перейти во второй павильон!

И дедушка, который отбрил тетку, сказал, словно встряхнувшись:

— Надо идти… Семеновских певцов послушаем. И ушаковских тоже. — Он тронул меня за плечо: — Пошли, мальчик…

И сам двинулся вперед, и я увидел, что у него валенок сзади прохудился и оттуда торчал пучок соломы.

А во втором павильоне был маленький зал, сцена и стулья. А на сцене, сбоку, стояла кафедра-трибунка для докладчика, а в центре — стол, за который сразу уселись судьи птичьего пения. И я очень удивился, что дедушка, который отбрил тетку, сел в середине этого стола. Оказывается, он был тут главный; я не знаю, но все, кто садился с ним рядом, здоровались с ним за руку и вообще оказывали ему почет. И когда все утихло, этот дедушка сказал:

— Ну, Семенов, давай, что ли…

И откуда-то вышел высокий дядька с орденскими колодками на груди — двенадцать штук наград, я сосчитал. У него в руках был плоский чемодан. Он его открыл. В чемодане было полно

маленьких клеток, и в них были канарейки. Он вынул одну клеточку, в ней прыгал желтенький лимон. Семенов поставил эту клетку на кафедру-трибуну, и у Лимончика стал такой вид, как будто он и впрямь серьезный докладчик, но раз до доклада у него есть еще минут пять свободных, так он пока попрыгает. Все сохраняли тишину и ждали, когда Лимончик запоет. Но он и не думал петь. Он все прыгал и трепыхался. Кто-то сзади меня шепнул:

— Если через десять минут не запоет, снимут с конкурса. Вот тебе и Семенов.

А Лимончик все прыгал туда-сюда, потом уже было решался, открывал клювик, но, словно дразнил всех нас, не начинал петь и снова прыгал по-всякому. Мне уже надоело его ждать, и я хотел уйти, но главный дедушка вдруг сказал, и опять ядовито:

— Ну что, Семенов, запоет он когда-нибудь? Или стесняется? А может, он сегодня не в настроении?

Все засмеялись негромко, а на бедного Семенова жалко было смотреть. Он весь вытянулся к своему Лимончику и стал вдруг ему тихонько так подсвистывать на букву «С»:

— Сссс… Сссс… Сссс…

Лимончик внимательно к нему прислушался, посмотрел на него своим блестящим глазком, видно, узнал, раскрыл клювик, но снова раздумал и опять запрыгал как ни в чем не бывало. Дедушка тут же сказал — ему, наверное, нравилось ехидничать:

— Он не в голосе…

От этих дедушкиных слов Семенов чуть не заплакал. Он вынул спичку и стал скрести ею о коробок. Лимончик никак на это не отозвался. Чихать ему было на спичку. Тогда дедушка рукой подал знак, чтоб Семенов перестал скрести, и сам наклонился к Лимончику, и вдруг еле слышно… чирикнул! Да! Он чирикнул, а Лимончик как будто только этого и дожидался, весь встрепенулся, вытянулся, напрягся, похудел и запел!

Он пел долго-долго, взахлеб, свистел горошком, и тянул прямо в одну линию, и по-всякому, как в стихе, «на тысячу ладов тянул, переливался», и все больше худел, когда пел, словно таял, и все это время, пока он пел, я пел вместе с ним, только про себя, изнутри. Я пел вместе с Лимончиком и видел, какое счастливое и красное лицо у Семенова, а у дедушки, наоборот, гордое и ехидное. Это он задавался, что он один сумел заставить птицу петь. И когда Лимончик наконец замолчал и все

захлопали, дедушка откинулся на спинку стула и сказал небрежно:

— Золотая медаль! Убирай, Семенов! Перерыв.

И Семенов снял Лимончика с кафедры и спрятал и чемодан. И было видно, что у него дрожат руки. А все вокруг встали, зашумели и пошли курить.

И в эту минуту я подумал, что хорошо бы рассказать про все эти дела своим, и я, не долго думая, побежал на метро, а когда очутился дома, папа и мама уже ждали меня. Папа сказал:

— Рассказывай. Понравилось?

Я сказал:

— Очень!

Мама испугалась:

— Что это за голос? Что с тобой? Почему ты сипишь?

Я сказал:

— Потому что я пел! Я сорвал голос и вот осип.

Папа воскликнул:

— Где это ты пел, Козловский?

Я сказал:

— Я пел на конкурсе!

— Давай подробности! — сказала мама.

Я сказал:

— Я пел с канарейкой!

Папа прямо закатился.

— Воображаю, — сказал он, — какой был успех! На бис-то вызывали?

— Не смейся, — просипел я, — я пел про себя. Изнутри.

— А! Тогда другое дело, — успокоился папа, — тогда слава богу!

Мама положила мне руку на лоб:

— А как ты себя чувствуешь?

— Прекрасно, — сказал я еще более сипло и ни с того ни с сего добавил: — А Лимончик получил золотую медаль…

— Он заговаривается, — чуть не плача сказала мама.

— Просто он переполнен впечатлениями, — объяснил папа, — дай ему горячего молока с боржомом. Мне действует на нервы этот сип…

… А ночью я долго не мог заснуть, я все вспоминал этот необыкновенный день: наполненный чудесами павильон «Свиноводство», и дедушку, и тетку, и Семенова, и Лимончика, и самое главное — перед моими глазами все время летали маленькие и легкие снежинки, белые амадины, они прямо вклеились мне в сердце, эти клюквенные клювики, и я лежал, глядел в темноту и знал, что теперь уж никогда их не забуду.

Не смогу.



Чики-брык



Я недавно чуть не помер. Со смеху. А все из-за Мишки.

Один раз папа сказал:

— Завтра, Дениска, поедем пастись на травку. Завтра и мама свободна, и я тоже. Кого с собой захватим?

— Известное дело кого — Мишку.

Мама сказала:

— А его отпустят?

— Если с нами, то отпустят. Почему же? — сказал я. — Давайте я его приглашу.

И я сбегал к Мишке. И когда вошел к ним, сказал: «Здрасте!» Его мама мне не ответила, а сказала его папе:

— Видишь, какой воспитанный, не то что наш…

А я им все объяснил, что мы Мишку приглашаем завтра погулять за городом, и они сейчас же ему разрешили, и на следующее утро мы поехали.

В электричке очень интересно ездить, очень!

Во-первых, ручки на скамейках блестят. Во-вторых, тормозные краны — красные, висят прямо перед глазами. И сколько ни ехать, всегда хочется дернуть такой кран или хоть погладить его рукой. А самое главное — можно в окошко смотреть, там специальная приступочка есть. Если кто не достает, можно на эту приступочку встать и высунуться. Мы с Мишкой сразу заняли окошко, одно на двоих, и было здорово интересно смотреть, что вокруг лежит совершенно новенькая трава и на заборах висит разноцветное бельишко, красивое, как флажки на кораблях.

Но папа и мама не давали нам никакого житья. Они поминутно дергали нас сзади за штаны и

кричали:

— Не высовывайтесь, вам говорят! А то вывалитесь!

Но мы все высовывались. И тогда папа пустился на хитрость. Он, видно, решил во что бы то ни стало отвлечь нас от окошка. Поэтому он скорчил смешную гримасу и сказал нарочным, цирковым голосом:

— Эй, ребятня! Занимайте ваши места! Представление начинается!

И мы с Мишкой сразу отскочили от окна и уселись рядом на скамейке, потому что мой папа известный шутник, и мы поняли, что сейчас будет что-то интересное. И все пассажиры, кто был в вагоне, тоже повернули головы и стали смотреть на папу. А он как ни в чем не бывало продолжал свое:

— Уважаемые зрители! Сейчас перед вами выступит непобедимый мастер Черной магии, Сомнамбулизма и Каталепсии!!! Всемирно известный фокусник-иллюзионист, любимец Австралии и Малаховки, пожиратель шпаг, консервных банок и перегоревших электроламп, профессор Эдуард Кондратьевич Кио-Сио! Оркестр — музыку! Траби-бо-бум-ля-ля! Тра-би-бо-бум-ля-ля!

Все уставились на папу, а он встал перед нами

с Мишкой и сказал:

— Нумер смертельного риска! Отрыванье живого указательного пальца на глазах у публики! Нервных просят не падать на пол, а выйти из зала. Внимание!

И тут папа сложил руки как-то так, что нам с Мишкой показалось, будто он держит себя правой рукой за левый указательный палец. Потом папа весь напрягся, покраснел, сделал ужасное лицо, словно он умирает от боли, и вдруг он разозлился, собрался с духом и… оторвал сам себе палец! Вот это да!.. Мы сами видели… Крови не было. Но и пальца не было! Было гладкое место. Даю слово!

Папа сказал:

— Вуаля!

Я даже не знаю, что это значит. Но все равно я захлопал в ладоши, а Мишка закричал «бис».

Тогда папа взмахнул обеими руками, полез к себе за шиворот и сказал:

— Але-оп! Чики-брык!

И приставил палец обратно! Да-да! У него откуда-то вырос новый палец на старом месте! Совсем такой же, не отличишь от прежнего, даже чернильное пятно и то такое же, как было! Я-то, конечно, понимал, что это какой-то фокус и что я во что бы то ни стало вызнаю у папы, как он

делается, но Мишка совершенно ничего не понимал. Он сказал:

— А как это?

А папа только улыбнулся:

— Много будешь знать — скоро состаришься!

Тогда Мишка сказал жалобно:

— Пожалуйста, повторите еще разок! Чики-брык!

И папа опять все повторил, оторвал палец и приставил, и опять было сплошное удивление. Затем папа поклонился, и мы подумали, что представление окончилось, но оказалось, ничего подобного. Папа сказал:

— Ввиду многочисленных заявок, представление продолжается! Сейчас будет показано втирание звонкой монеты в локоть факира! Маэстро, трибо-би-бум-ля-ля!

И папа вынул монетку, положил ее себе на локоть и стал тереть этой монеткой о свой пиджак. Но она никуда не втиралась, а все время падала, и тогда я стал насмехаться над папой. Я сказал:

— Эх, эх! Ну и факир! Прямо горе, а не факир!

И все рассмеялись, а папа сильно покраснел и закричал:

— Эй ты, гривенник! Втирайся сейчас же! А то я тебя сейчас отдам вон тому дядьке за мороженое!

Будешь знать!

И гривенник как будто испугался папы и моментально втерся в локоть. И исчез.

— Что, Дениска, съел? — сказал папа. — Кто тут кричал, что я горе-факир? А теперь смотря: феерия-пантомима! Вытаскивание разменной монеты из носа прекрасного мальчика Мишки! Чики-брык!

И папа вытащил монету из Мишкиного носа. Ну, товарищи, я и не знал, что мой папа такой молодец! А Мишка прямо засиял от гордости. Он весь рассиялся от удовольствия и снова закричал папе во все горло:

— Пожалуйста, повторите еще разик чики-брык!

И папа опять все ему повторил, а потом мама сказала:

— Антракт! Переходим в буфет.

И она дала нам по бутерброду с колбасой. И мы с Мишкой вцепились в эти бутерброды, и ели, и болтали ногами, и смотрели по сторонам. И вдруг Мишка ни с того ни с сего заявляет:

— А я знаю, на что похожа ваша шляпа.

Мама говорит:

— Ну-ка скажи — на что?

— На космонавтский шлем.

Папа сказал:

— Точно. Ай да Мишка, верно подметил! И правда, эта шляпка похожа на космонавтский шлем. Ничего не поделаешь, мода старается не отставать от современности. Ну-ка, Мишка, идика сюда!

И папа взял шляпку и нахлобучил Мишке на голову.

— Настоящий Попович! — сказала мама.

А Мишка действительно был похож на маленького космонавтика. Он сидел такой важный и смешной, что все, кто проходил мимо, смотрели на него я улыбались.

И папа улыбался, и мама, и я тоже улыбался, что Мишка такой симпатяга. Потом нам купили по мороженому, и мы стали его кусать и лизать, и Мишка быстрей меня справился и пошел снова к окошку. Он схватился за раму, встал на приступочку и высунулся наружу.

Наша электричка бежала быстро и ровно, за окном пролетала природа, и Мишке, видать, хорошо там было торчать в окошке с космонавтским шлемом на голове, и больше ничего на свете ему не нужно было, так он был доволен. И я захотел стать с ним рядом, но в это время мама подтолкнула меня локтем и показала глазами на папу.

А папа тихонько встал и пошел на цыпочках в другое отделение, там тоже окошко было открыто, и никто в него не глядел. У папы был очень таинственный вид, и все кругом притихли и стали следить за папой. А он неслышными шагами пробрался к этому окошку, высунул голову и тоже стал смотреть вперед, по ходу поезда, туда же, куда смотрел и Мишка. Потом папа медленно-медленно высунул правую руку, осторожно дотянулся до Мишки и вдруг с быстротой молнии сорвал с него мамину шляпку! Папа тут же отпрыгнул от окошка и спрятал шляпку за спину, он там ее заткнул за пояс. Я все это очень хорошо видел. Но Мишка-то этого не видел! Он схватился за голову, не нашел там маминой шляпки, испугался, отскочил от окна и с каким-то ужасом остановился перед мамой. А мама воскликнула:

— В чем дело? Что случилось, Миша? Где моя новая шляпка? Неужели ее сорвало ветром? Ведь я говорила тебе: не высовывайся. Чуяло мое сердце, что я останусь без шляпки! Как же мне теперь быть?

И мама закрыла лицо руками и задергала плечами, как будто она горько плачет. На бедного Мишку просто жалко было смотреть, он лепетал прерывающимся голосом:

— Не плачьте… пожалуйста. Я вам куплю шляпку… У меня деньги есть… Сорок семь копеек. Я на марки собирал…

У него задрожали губы, и папа, конечно, не мог этого перенести. Он сейчас же состроил свою смешную рожицу и закричал цирковым голосом:

— Граждане, внимание! Не плачьте и успокойтесь! Ваше счастье, что вы знакомы со знаменитым волшебником Эдуардом Кондратьевичем Кио-Сио! Сейчас будет показан грандиозный трюк: «Возврат шляпы, выпавшей из окна голубого экспресса». Приготовились! Внимание! Чики-брык!

И у папы в руках оказалась мамина шляпка. Даже я и то не заметил, как проворно папа вытащил ее из-за спины. Все прямо ахнули! А Мишка сразу посветлел от счастья. Глаза у него от удивления полезли на лоб. Он был в таком восторге, что просто обалдел. Он быстро подошел к папе, взял у него шляпку, побежал обратно и что есть силы по-настоящему швырнул ее за окно. Потом он повернулся и сказал моему папе:

— Пожалуйста, повторите еще разик… чики-брык!

Вот тут-то и получилось, что я чуть не помер

со смеху.



Подзорная труба



Я сидел на подоконнике, натянув рубашку на колени, потому что штаны были у мамы.

— Нет, — сказала мама и отодвинула в сторону нитки с иголкой. — Я не могу больше с этим мальчишкой!

— Да, — сказал папа и сложил газету. — На нем черти рвут, он лазает по заборам, он скачет по деревьям и носится по крышам. На него не напасешься!

Папа помолчал, зловеще поглядел на меня и наконец решительно объявил:

— Но я наконец придумал средство, которое раз и навсегда избавит нас от этого бедствия.

— Я не нарочно, — сказал я. — Что я, нарочно, что ли, да? Оно само.

— Конечно, оно само, — ядовито сказала мама. — У твоих штанов такой скверный характер, что они нарочно целыми днями подстерегают каждый гвоздик, цепляются за него и потом рвутся специально для того, чтобы позлить твою маму. Вот какие коварные штаны! Оно само! Оно само!

Мама могла так кричать «оно само» до утра, потому что у нее уже разыгрались нервы, это было видно невооруженным глазом. Поэтому я сказал папе:

— Ну, так что же ты придумал?

Папа сделал строгое лицо и сказал маме:

— Тебе нужно напрячь все свои способности и изобрести аппарат, который обеспечивал бы тебе наблюдение за твоим сыном в часы отсутствия. Мне сегодня некогда, сегодня «Спартак» — «Торпедо», а ты, ты садись к столу и, не теряя времени, изобрети сейчас же подзорную трубу. У тебя это очень хорошо получится, я знаю, что ты человек

в этом отношении весьма талантливый.

Папа встал, порылся у себя в столе и положил перед мамой маленькое зеркальце с отбитым уголком, довольно большой магнит и несколько разных гвоздочков, пуговицу и еще чего-то.

— Вот, — сказал он, — это тебе необходимые материалы. В поиск, смелые и любознательные!

Мама проводила его к дверям, потом вернулась и отпустила и меня во двор погулять. А когда мы вечером все сошлись за ужином, у мамы были перепачканы клеем пальцы, и на столе лежала довольно симпатичная синенькая и толстая труба. Мама взяла ее, издалека показала мне и сказала:

— Ну, Денис, смотри внимательно!

— Это что? — спросил я.

— Это подзорная труба! Мое изобретение! — ответила мама.

Я сказал:

— Окрестности озирать?

Она улыбнулась:

— Никакие не окрестности! А за тобой присматривать.

Я сказал:

— А как?

— А очень просто! — сказала мама. — Я изоб-

рела и сконструировала подзорную трубу для родителей, вроде подзорной трубы для моряков, только гораздо лучше.

Папа сказал:

— Ты объясни, пожалуйста, популярно, в чем тут дело, какие принципы положены в основу изобретения, какие проблемы оно решает, ну, и так далее. Прошу!

Мама встала у стола, как учительница у доски, и заговорила докладческим голосом:

— Теперь, когда я буду уходить из дому, я всегда буду видеть тебя, Денис. Я могу удаляться от дома на расстояние от пяти до восьми километров, но чуть я почувствую, что давно тебя не видела и что мне интересно, что ты сейчас вытворяешь, я сразу — чик! Направляю свою трубу в сторону нашего дома — я готово! — вижу тебя во весь рост.

Папа сказал:

— Отлично! Эффект Шницель-Птуцера!

Тут я немножко оторопел. Я никогда не думал, что мама может изобрести такую штуку. Ведь такая с виду худенькая, а смотри-ка! Эффект Шницель-Птуцера!

Я сказал:

— А как же, мама, ты будешь знать, где наш дом?

Она ответила, нисколько не задумываясь:

— А у меня в трубе сидит компасный магнит. Он всегда показывает на наш дом.

— Реакция Бабкина-Няньского, — сказал папа.

— Совершенно верно, — продолжала мама. — Таким образом, если ты, Денис, заберешься на забор или еще куда, это мне сразу будет видно.

Я сказал:

— А там у тебя что? Экран, что ли?

Она ответила:

— Конечно. Помнишь зеркальце? Оно отбрасывает твое изображение прямо мне внутрь головы. Я сразу вижу, стреляешь ты из рогатки или просто так мяч гоняешь, безо всякого смысла.

— Обыкновенный закон Кранца-Ничиханца. Ничего особенного, — проворчал папа и вдруг, оживившись, спросил: — Прости, прости, пожалуйста, я перебью тебя. Один вопросик можно?

— Да, задавай, — сказала мама.

— Твоя подзорная труба что, она работает на электричестве или на полупроводниках?

— На электричестве, — сказала мама.

— О, тогда я тебя предупреждаю, — сказал папа, — ты берегись замыканий. А то где-нибудь замкнет, и у тебя в мозгах произойдет вспышка.

— Не произойдет, — сказала мама. — А предо-

хранитель на что?

— Ну, тогда другое дело, — сказал папа. — Но ты все-таки поглядывай, а то, знаешь, я буду волноваться.

Я сказал:

— Ну, а ты можешь сделать такую штуку для меня? Чтобы и я мог за тобой присматривать?

— А это зачем? — снова улыбнулась мама. — Я-то уж наверняка не полезу на забор!

— Это еще не известно, — сказал я, — может быть, на забор ты и не станешь карабкаться, но, может быть, ты за машины цепляешься? Или скачешь перед ними, как коза?

— Или с дворниками дерешься? И вступаешь в пререкания с милицией? — поддержал меня папа и вздохнул: — Да, жалко, нет у нас такой машинки, чтобы нам за тобой наблюдать…

Но мама показала нам язык:

— Изобретено и выполнено в единственном экземпляре, что, взяли? — Она повернулась ко мне: — Так что знай, теперь я все время держу тебя под своим неусыпным контролем!

И я подумал, что при таком изобретении у меня начинается довольно кислая жизнь. Но ничего не сказал, а кивнул и потом пошел спать. А когда проснулся и стал жить, то понял, что для меня

наступили черные дни. При мамином изобретении получалось, что моя жизнь превращается в сплошное мучение. Вот, например, сообразишь, что Костик за последнее время уж очень разнахалился и самая пора ему как следует накостылять по шее, а вот не решаешься, так и кажется, что подзорная мамина труба уставилась тебе прямо в спину. И наподдать Костику как следует просто невозможно в таких условиях. Я уж не говорю о том, что я вовсе перестал ходить на Чистые пруды, чтобы ловить там себе головастиков полные карманы. И вся моя счастливая, веселая прежняя жизнь теперь стала запретной для меня. И так тоскливо тянулись мои дни, что я таял, как свеча, и места себе не находил. И дело, уж наверное, просто приближалось к печальному концу, как вдруг однажды, когда мама ушла, я стал искать свою старую футбольную камеру, и в ящике, где у меня хранится всякая утильная хурда-бурда, я вдруг увидел… мамину подзорную трубу! Да, она лежала среди прочего мусора, какая-то осиротелая, облупившаяся, тусклая. По всему было видно, что мама уже давно ею не пользуется, что она про нее и думать-то забыла. Я схватил ее и расковырял поскорее, чтобы взглянуть, что у нее там внутри, как она устроена, но, честное слово,

она была пустая, в ней ничего не было. Пусто, хоть шаром покати!

Только тут я догадался, что эти люди обманули меня и что мама ничего не изобрела, а просто так, пугала меня своей ненастоящей трубой, и я, как доверчивый дурачок, верил ей и боялся, и вел себя как приличный отличник. И от этого всего я так обиделся на весь свет, и на маму, и на папу, и на все эти дела, что я выбежал сразу во двор как угорелый и затеял там великую срочную драку с Костиком, и с Андрюшкой, и с Аленкой. И хотя они втроем прекрасно меня отлупили, все равно настроение у меня было отличное, и после драки мы все вчетвером лазали на чердак и на крышу, а потом карабкались на деревья, а потом спустились в подвал, в котельную, в самый уголь, и извозились там просто до умопомрачения. И все это время я чувствовал, что у меня словно камень с души свалился. И хорошо было, и свободно на душе, и легко, и весело, как на Первое мая.



Дядя Павел истопник



Когда Мария Петровна вбежала к нам в комнату, ее просто нельзя было узнать. Она была вся красная, как Синьор Помидор. Она задыхалась. У нее был такой вид, как будто она вся кипит, как суп в кастрюльке. Она, когда к нам вомчалась, сразу крикнула:

— Ну и дела! — И грохнулась на тахту.

Я сказал:

— Здравствуйте, Мария Петровна!

Она ответила:

— Да, да.

— Что с вами? — спросила мама. — На вас лица нет!

— Можете себе представить? Ремонт! — воскликнула Мария Петровна и уставилась на маму. Она чуть не плакала.

Мама смотрела на Марию Петровну, Мария Петровна на маму, я смотрел на них обеих. Наконец мама осторожно спросила:

— Где… ремонт?

— У нас! — сказала Мария Петровна. — Весь дом ремонтируют! Крыши, видите ли, у них протекают, вот они их и ремонтируют.

— Ну и прекрасно, — сказала мама, — очень даже хорошо!

— Весь дом в лесах, — с отчаянием сказала Мария Петровна, — весь дом в лесах, и мой балкон тоже в лесах. Его забили! Дверь заколотили! Это ведь не на день, не на два, это не меньше чем на месяца на три! Обалдели совсем! Ужас!

— А почему же ужас? — сказала мама. — Видно, так нужно!

— Да? — снова крикнула Мария Петровна. — По-вашему, так нужно? А куда же, с позволения сказать, мой Мопся будет ходить гулять? А? Мой

Мопся уже пять лет ходит гулять на балкон! Он уже привык гулять на балконе!

— Переживет ваш Мопся, — весело сказала мама, — тут людям ремонт делают, у них будут сухие потолки, что же, из-за вашей собаки им весь век промокать?

— Не мое дело! — огрызнулась Мария Петровна. — И пусть промокают, если у нас такое домоуправление…

Она никак не могла успокоиться и кипела еще больше, было похоже, что она прямо перекипает, и с нее вот-вот соскочит крышка, и суп польется через край.

— Из-за собаки! — повторяла она. — Да мой Мопся умнее и благороднее всякого человека! Он умеет служить на задних лапках, он танцует краковяк, я его из тарелки кормлю. Вы понимаете, что это значит?

— Интересы людей выше всего на свете! — сказала мама тихо.

Но Мария Петровна не обратила на маму никакого внимания.

— Я на них найду управу, — пригрозила она, — я буду жаловаться в Моссовет!

Мама промолчала. Она, наверно, не хотела ссориться с Марией Петровной, ей трудно было

слушать, как та вопит визгливым голосом. Мария Петровна, не дождавшись маминого ответа, успокоилась немного и стала рыться в своей громадной сумке.

— Вы крупу «Артек» уже брали? — спросила она деловито.

— Нет, — сказала мама.

— Напрасно, — упрекнула ее Мария Петровна. — Из крупы «Артек» варят очень полезную кашу. Вот Дениске, например, не мешало бы поправиться. Я три пачки взяла!

— А зачем вам столько, — спросила мама, — ведь у вас нет детей?

Мария Петровна от изумления выпучила глаза. Она смотрела на маму так, словно мама сказала неслыханную глупость, потому что она уже ничего не может сообразить, даже самой простой вещи.

— А Мопся? — выкрикнула Мария Петровна с раздражением. — А мой Мопся? Ему очень полезен «Артек», особенно при его лишаях. Он каждый день за обедом съедает две тарелки и просит добавки!

— Он потому и запаршивел у вас, — сказал я, — что он у вас пережирает.

— Не смей вмешиваться в разговор старших, —

со злостью сказала Мария Петровна. — Еще чего не хватало! Ступай спать!

— Нет уж, — сказал я, — ни о каком «спать» не может быть и речи. Еще рано!

— Вот, — сказала Мария Петровна и обернулась всем телом к маме, — вот! Полюбуйтесь-ка, что значит дети! Он еще спорит! А должен беспрекословно подчиняться! Сказано «спать» — значит «спать». Я как только скажу моему Мопсе: «Спать!» — он сейчас же лезет под стул и через секунду хррр… хррр… готово! А ребенок! Он, видите ли, смеет еще спорить!

Мама вдруг стала вся ярко-красная: она, видно, очень рассердилась на Марию Петровну, но не хотела ссориться с гостьей. Мама из вежливости может разную чепуху слушать, а я не могу. Я страшно разозлился на Марию Петровну, что она меня все со своим Мопсей равняет. Я хотел ей сказать, что она глупая женщина, но я сдержался, чтоб потом не влетело. Я схватил в охапку пальто и кепку и побежал во двор. Там никого не было. Только дул ветер. Тогда я побежал в котельную. У нас там живет и работает дядя Павел, он веселый у него зубы белые и кудри. Я его люблю. Я люблю как он наклоняется ко мне, к самому лицу и берет мою руку в свою, большую и теплую, и улыбается,

и хрипло и ласково говорит:

— Здравствуй, Человек!



Фантомас



Вот это картина так картина! Это да! От этой картины можно совсем с ума сойти, точно вам говорю. Ведь если простую картину смотришь, так никакого впечатления.

А «Фантомас» — другое дело! Во-первых, тайна! Во-вторых, маска! В-третьих, приключения и драки! И в четвертых, просто интересно, и все!

И конечно, все мальчишки, как эту картину посмотрели, все стали играть в Фантомасов. Тут

главное — остроумные записки писать и подсовывать в самые неожиданные места. Получается очень здорово. Все, кто такую фантомасовскую записку получает, сразу начинают бояться и дрожать. И даже старухи, которые раньше у подъезда просиживали всю свою сознательную жизнь, сидят все больше дома. Спать ложатся просто с курами. Да оно и понятно. Сами подумайте: разве у такой старушки будет хорошее настроение, если она утром прочла у своего почтового ящика такую веселую записочку:

Бириги сваю плету! Она ща как подзарвется!

Тут уж у самой храброй старушки всякое настроение пропадет, и она сидит целый день на кухне, стережет свою плиту и пять раз в день Мосгаз по телефону вызывает. Это очень смешно. Тут прямо животики надорвешь, когда девчонка из Мосгаза целый день туда-сюда по двору шныряет и все кричит:

— Опять Фантомас разбушевался! У, чтоб вам пропасть!..

И тут все ребята пересмеиваются и подмигивают Друг другу, и неизвестно откуда с молниеносной быстротой появляются новые фанто-

масочные записочки, у каждого жильца своя. Например:

Ни выходи ночю на двор. Убю!

Или:

Все про тебя знаим. Боись сваей жены!

А то просто так:

Закажи свой партрет! В белых тапочках.

И хотя это все часто было не смешно и даже просто глупо, все равно у нас во дворе стало както потише. Все стали пораньше ложиться спать, а участковый милиционер товарищ Пархомов стал почаще показываться у нас. Он объяснял нам, что наша игра — это игра без всякой цели, без смысла, просто чепуха какая-то, что, наоборот, та игра хороша, где есть людям польза — например, волейбол или городки, потому что «они развивают глазомер и силу удара», а наши записки ничего не развивают, и никому не нужны, и показывают нашу непроходимую дурость.

— Лучше бы за одеждой своей последили, — го-

ворил товарищ Пархомов. — Вот. Ботинки! — И он показал на Мишкины пыльные ботинки. — Школьник с вечера должен хорошо вычистить их!

И так продолжалось очень долго, и мы стали понемногу отдыхать от своего Фантомаса и подумали, что теперь уже все. Наигрались! Но не тут-то было! Вдруг у нас разбушевался еще один Фантомас, да как! Просто ужас! А дело в том, что у нас в подъезде живет один старый учитель, он давно на пенсии, он длинный и худущий, все равно как кол из школьного журнала, и палку носит такую же — видно, себе под рост подобрал, к лицу. И мы, конечно, сейчас же его прозвали Кол Единицыч, но потом для скорости стали величать просто Колом.

И вот однажды спускаюсь я с лестницы и вижу на его почтовом ящике рваненькую, кривую записку. Читаю:

Кол, а Кол!
фкалю ф тибя укол!

В этом листке были красным карандашом исправлены все ошибки, и в конце стиха стояла большая красная единица. И аккуратная, четкая приписка:

Кому бы ты ни писал, нельзя писать на таком грязном, облезлом обрывке бумаги. И еще: советую повнимательней заняться грамматикой.

Через два дня на двери нашего Кола висел чистый тетрадный листок. На листе коротко и энергично было написано:

Плевал я на громатику!

Ну, Фантомас проклятый, вот это разбушевался! Хоть еще одну серию начинай снимать. Просто стыд. Одно было приятно: Фантомасова записка была сплошь исчеркана красным карандашом и внизу стояла двойка. Тем же, что и в первый раз, ясным почерком было приписано:

Бумага значительно чище. Хвалю. Совет: кроме заучивания грамматических правил, развивай в себе еще и зрительную память, память глаза, тогда не будешь писать «громатика». Ведь в прошлом письме я уже употребил это слово. «Грам-мати-ка», Надо запомнить.

И так началась у них длинная переписка. Дол-

гое время Фантомас писал нашему Колу чуть не каждый день, но Кол был к нему беспощаден. Кол ставил Фантомасу за самые пустяковые ошибочки свою вечную железную двойку, и конца этому не предвиделось.

Но однажды в классе Раиса Ивановна задала нам проверочный диктант. Трудная была штука. Мы все кряхтели и пыхтели, когда писали диктант. Там были подобраны самые трудные слова со всего света. Например, там под конец было такое выраженьице: «Мы добрались до счастливого конца». Этим выражением все ребята были совсем ошарашены. Я написал: «Мы добрались до щасливого конца», а Петька Горбушкин написал «до щесливого конца», а Соколова Нюра исхитрилась и выдала в свет свежее написание. Она написала: «Мы добрались до щисливыва конца». И Раиса Ивановна сказала:

— Эх вы, горе-писаки, один Миша Слонов написал что-то приличное, а вас всех и видеть не хочу! Идите! Гуляйте! А завтра начнем все сначала.

И мы разошлись по домам. И я чуть не треснул от зависти, когда на следующий день увидел на дверях Кола большой белоснежный лист бумаги и на нем красивую надпись:

Спасибо тебе, Кол! У меня по русскому тройка! Первый раз в жизни. Ура!

Уважающий тебя Фантомас!

Приключение



Прошлую субботу и воскресенье я был в гостях у Димки. Это такой симпатяга, сын моего дяди Миши и тети Гали. Они живут в Ленинграде. Если у меня будет время, я еще расскажу, как мы с Димкой гуляли и что видели в этом прекрасном городе. Это очень интересная и веселая история.

А сейчас будет простая история, как я должен был прилететь к маме в Москву. Это тоже занятно, потому что было приключение.

В общем-то, я на самолете летал, а один, самостоятельно, ни разу! Меня должен был посадить на самолет дядя Миша. Я благополучно прилечу, а в Москве, в аэропорту, меня должны будут встречать папа и мама. Вот как интересно и просто у нас все было задумано.

А к вечеру, когда мы с дядей Мишей приехали в ленинградский аэропорт, оказалось, что где-то произошла какая-то задержка с транспортом, и из-за этого много людей, не попавших на московские рейсы, скопились в аэропорту, и высокий, складный дядька толково разъяснил нам всем, что дело обстоит так: нас много, а самолет один, и поэтому тот, кто сумеет попасть в этот самолет, тот и полетит в Москву. И я дал клятву попасть именно в этот самолет: ведь меня папа будет обязательно встречать в Москве.

И дядя Миша, услышав эти «приятные» новости, сказал мне:

— Как только сядешь в самолет, помаши мне рукой, тогда я тотчас побегу к телефону, позвоню твоему папе, что ты, мол, вылетел, он проснется, оденется и поедет в аэропорт тебя встречать. Понял?

Я сказал:

— Все понял!

А сам подумал про дядю Мишу: «Вот какой добрый и вежливый. Другой бы довез и все, а этот еще и позвонит моим родным. И вот я буду как эстафета. Он позвонит, а папа приедет встречать, и я без них один только часок в самолете посижу, да и там, в самолете, тоже все свои. Ничего, не страшно!»

Я опять сказал вслух:

— Вы не сердитесь, что со мной одни беспокойства, я скоро научусь один летать, самостоятельно, и не буду вас столько утруждать…

Дядя Миша сказал:

— Что вы, милостивый государь! Я очень рад! А Димка как рад был тебя повидать! А тетя Галя! Ну, держи! — Он протянул мне билет и замолчал. И я тоже замолчал.

И тут неожиданно началась посадка на самолет. Это было столпотворение. Все кинулись к самолету, а впереди всех бежал я, за мной все остальные.

Я добежал до лестнички, там наверху стояли две девушки. Просто красавицы. Я бегом взбежал к ним и протянул билет. Они меня спросили:

— Ты один?

Я им все рассказал и прошел в самолет. Я уселся у окна и стал глядеть на толпу провожающих. Дя-

дя Миша был неподалеку, тут я стал ему махать и улыбаться. Он эту улыбку поймал, сделал мне под козырек и тотчас повернулся и зашагал к телефону, чтобы позвонить моему папе. Я перевел дух и стал оглядываться. Народу было много, и все торопились скорее сесть и улететь. Время было уже позднее. Наконец все устроились, разложили свои вещи, и я услышал, что запустили мотор. Он долго гудел и рычал. Мне даже надоело.

Я откинулся на сиденье и тихонько закрыл глаза, чтобы подремать. Потом я услышал, как самолет двинулся, и я широко открыл рот, чтобы уши не болели. Потом ко мне подошла стюардесса, я открыл глаза — у нее на подносе было сто или тысяча маленьких кисловатых, да и мятных тоже, конфет. Моя соседка взяла одну, потом вторую, а я взял сразу пяток и еще штучки три-четыре или пять. Все-таки конфеты вкусные, угощу ребят из класса. Они возьмут с охотой, потому что эти конфеты воздушные, из самолета. Тут уж не захочешь, а возьмешь. Стюардесса стояла и улыбалась: мол, берите сколько вашей душе угодно, нам не жалко! Я стал сосать конфету и вдруг почувствовал, что самолет пошел на снижение. Я припал к окну.

Моя соседка сказала:

— Смотри, как быстро прилетели!

Но тут я заметил, что впереди под нами появилось множество огней. Я сказал соседке:

— Вот поглядите — Москва!

Она стала смотреть и вдруг запела басом:

— «Москва моя, красавица…»

Но тут из-за занавески вышла стюардесса, та самая, которая разносила конфеты. Я обрадовался, что сейчас она будет раздавать еще. Но она сказала:

— Товарищи пассажиры, ввиду плохой погоды московский аэропорт закрыт. Мы прилетели обратно в Ленинград. Следующий рейс будет в семь часов утра. На ночь устраивайтесь по мере возможности.

Тут моя соседка перестала петь. Все вокруг сердито зашумели.

Люди сходили с лестницы и шли себе спокойненько домой, чтобы утром прийти обратно. Я не мог идти спокойненько домой. Я не помнил, где живет дядя Миша. Я не знал, как к нему проехать. Пришлось мне придерживаться компании тех, кому негде ночевать. Их тоже было много, и они все пошли в ресторан ужинать. И я пошел за ними. Все сели за столики. Я тоже сел. Занял место. Тут недалеко стоял телефон-автомат, меж-

дугородный. Я позвонил в Москву. Кто бы, вы думали, снял трубку? Моя собственная мама. Она сказала:

— Алло!

Я сказал:

— Алло!

Она сказала:

— Плохо слышно. Кого вам нужно?

Я сказал:

— Анастасию Васильевну.

Она сказала:

— Плохо слышно! Марию Петровну?

Я сказал:

— Тебя! Тебя! Тебя! Мама, это ты?

Она сказала:

— Плохо слышно. Говорите раздельно, по буквам.

Я сказал:

— Эм-а, эм-а. Мама, это я. Она сказала:

— Дениска, это ты?

Я сказал:

— Я вылечу завтра в семь часов утра. Наш московский аэродром закрыт, так что все благополучно. Пусть пэ-а-пэ-а вэ-эс-тре-тит эм-е-ня-меня!

Она сказала:

— Хэ-а-рэ-а-шэ-о!

Я сказал:

— Ну, будь зэ-дэ-о-ро-вэ-а!

Она сказала:

— Жэ-дэ-у! Папа выйдет встречать ровно в семь!

Я положил трубку, и у меня сразу стало легко на сердце. И я пошел ужинать. Я попросил принести себе котлеты с макаронами и стакан чая. Пока я ел котлеты, я подумал, увидев, какие здесь широкие, удобные стулья: «Э-э, да здесь прекрасно можно будет поспать на этих стульях».

Но покуда я ел, случилось чудо: ровно через полминуты я увидел, что все стулья, совершенно все, заняты. И подумал: «Ничего, не фон-барон, высплюсь и на полу! Вон сколько места!»

Просто чудеса в решете! Через полсекунды смотрю — весь пол занят: пассажиры, авоськи, чемоданы, мешки, даже дети, просто ступить некуда. Вот тут я даже обозлился!

Потом я пошел, осторожно ступая меж сидящих, лежащих и полулежащих людей. Просто пошел погулять по аэровокзалу.

Гулять среди спящего царства было неловко. Я посмотрел на часы. Уже половина двенадцатого.

И вдруг я дошел еще до одной двери, на которой было написано: «Междугородный телефон». И

меня сразу осенило! Вот где можно прекрасно поспать. Я тихонько открыл обитую войлоком дверь.

Стоп! Пришлось сразу отпрыгнуть: там уже устроились двое. Дядек. Офицеров. Они смотрели на меня, а я на них.

Потом я сказал:

— Вы кто такие?

Тогда один из них, усатый, сказал:

— Мы подкидыши!

Мне стало их жалко, и я спросил по глупости:

— А где же ваши родители?

Усатый скорчил жалобную рожу и как будто заплакал:

— Пожалуйста, прошу вас, найдите мне мою папу!

А второй, который был помоложе, захохотал, как тигр. И тогда я понял, что этот усатый шутит, потому что он тоже засмеялся, а за ним засмеялся уже и я. И мы хохотали теперь уже втроем. И они поманили меня к себе и потеснились. Мне было тепло, но тесно и неудобно, потому что все время звонил телефон и ярко горела лампочка.

Тогда мы написали на газете крупными буквами: «Автомат не работает», и молодой вывернул лампочку. Звонки затихли, света нет. Через ми-

нуту мои взрослые друзья задали такого храпака, что просто чудо. Похоже было, будто они пилят огромные бревна огромными пилами. Спать было невозможно.

А я лежал и все время думал о своем приключении. Получалось очень смешно, и я все время улыбался в темноте.

Вдруг раздался громкий, совершенно незаспанный голос:

— Вниманию пассажиров, летящих рейсом Ленинград — Москва! Самолет «Ту-104» номер 52–48, летящий вне расписания, вылетает через пятнадцать минут, в четыре часа пятьдесят пять минут. Посадка пассажиров по предъявлению билетов с выхода номер два!

Я мгновенно вскочил, как встрепанный, и принялся будить моих соседей. Я говорил им тихо, но отчетливо:

— Тревога! Тревога! Подъем, вам говорят!

Они сейчас же вскочили, и усатый нащупал и ввернул лампочку.

Я объяснил им, в чем дело. Усатый военный тут же сказал:

— Молодцом, парень!

Я с тобой теперь в любую разведку пойду.

— Не бросил, значит, своих подкидышей?

Я сказал:

— Что вы, как можно!

Мы побежали к выходу номер два и погрузились в самолет.

Красивых девушек-стюардесс уже не было, но нам было все равно. И когда мы поднялись в воздух, военный, который был помоложе, вдруг расхохотался.

— Ты что? — спросил его усатый.

— «Автомат не работает», — ответил тот. — Ха-ха-ха! «Автомат не работает»!..

— Надпись забыли снять, — ответил усатый.

Минут через сорок примерно мы благополучно сели в Москве, и когда вышли, то оказалось, нас совершенно никто не встречает.

Я поискал своего папу. Его не было… Не было нигде.

Я не знал, как мне добраться до дому. Мне было просто тоскливо. Хоть плачь. И я, наверное, поплакал бы, но ко мне вдруг подошли мои ночные друзья, усатый и который помоложе.

Усатый сказал:

— Что, не встретил папа?

Я сказал:

— Не встретил. Молодой спросил:

— А ты на когда с ним договорился?

Я сказал:

— Я велел ему приехать к самолету, который вылетает в семь утра.

Молодой сказал:

— Все ясно! Тут недоразумение. Ведь вылетели-то мы в пять!

Усатый вмешался в нашу беседу:

— Встретятся, никуда не денутся! А ты на «козлике» ездил когда-нибудь?

Я сказал:

— Первый раз слышу! Что это еще за «козлик»?

Он ответил:

— Сейчас увидишь.

И они с молодым замахали руками.

К подъезду аэропорта подъехал маленький кургузый автомобиль, заляпанный и грязный. У солдата-шофера было веселое лицо.

Мои знакомые военные сели в машину.

Когда они там уселись, у меня началась тоска. Я стоял и не знал, что делать. Была тоска. Я стоял, и все. Усатый высунулся в окошко и сказал:

— А где ты живешь?

Я ответил.

Он сказал:

— Алиев! Долг платежом красен?

Тот откликнулся из машины:

— Точно!

Усатый улыбнулся мне:

— Садись, Дениска, рядом с шофером. Будешь знать, что такое солдатская выручка.

Шофер дружелюбно улыбался. По-моему, он был похож на дядю Мишу.

— Садись, садись. Прокачу с ветерком! — сказал он с хрипотцой.

Я сейчас же уселся с ним рядом. Весело было у меня на душе. Вот что значит военные! С ними не пропадешь.

Я громко сказал:

— Каретный ряд!

Шофер включил газ. Мы понеслись.

Я крикнул:

— Ура!

«Тиха украинская ночь...»



Наша преподавательница литературы Раиса Ивановна заболела. И вместо нее к нам пришла Елизавета Николаевна. Вообще-то Елизавета Николаевна занимается с нами географией и естествознанием, но сегодня был исключительный случай, и наш директор упросил ее заменить захворавшую Раису Ивановну.

Вот Елизавета Николаевна пришла. Мы поздоровались с нею, и она уселась за учительский

столик. Она, значит, уселась, а мы с Мишкой стали продолжать наше сражение — у нас теперь в моде военно-морская игра. К самому приходу Елизаветы Николаевны перевес в этом матче определился в мою пользу: я уже протаранил Мишкиного эсминца и вывел из строя три его подводные лодки. Теперь мне осталось только разведать, куда задевался его линкор. Я пошевелил мозгами и уже открыл было рот, чтобы сообщить Мишке свой ход, но Елизавета Николаевна в это время заглянула в журнал и произнесла:

— Кораблев!

Мишка тотчас прошептал:

— Прямое попадание!

Я встал.

Елизавета Николаевна сказала:

— Иди к доске!

Мишка снова прошептал:

— Прощай, дорогой товарищ!

И сделал «надгробное» лицо.

А я пошел к доске. Елизавета Николаевна сказала:

— Дениска, стой ровнее! И расскажи-ка мне, что вы сейчас проходите по литературе.

— Мы «Полтаву» проходим, Елизавета Никола-

евна, — сказал я.

— Назови автора, — сказала она; видно было, что она тревожится, знаю ли я.

— Пушкин, Пушкин, — сказал я успокоительно.

— Так, — сказала она, — великий Пушкин, Александр Сергеевич, автор замечательной поэмы «Полтава». Верно. Ну, скажи-ка, а ты какой-нибудь отрывок из этой поэмы выучил?

— Конечно, — сказал я,

— Какой же ты выучил? — спросила Елизавета Николаевна.

— «Тиха украинская ночь…»

— Прекрасно, — сказала Елизавета Николаевна и прямо расцвела от удовольствия. — «Тиха украинская ночь…» — это как раз одно из моих любимых мест! Читай, Кораблев.

Одно из ее любимых мест! Вот это здорово! Да ведь это и мое любимое место! Я его, еще когда маленький был, выучил. И с тех пор, когда я читаю эти стихи, все равно вслух или про себя, мне всякий раз почему-то кажется, что хотя я сейчас и читаю их, но это кто-то другой читает, не я, а настоящий-то я стою на теплом, нагретом за день деревянном крылечке, в одной рубашке и босиком, и почти сплю, и клюю носом, и шатаюсь, но

все-таки вижу всю эту удивительную красоту: и спящий маленький городок с его серебряными тополями; и вижу белую церковку, как она тоже спит и плывет на кудрявом облачке передо мною, а наверху звезды, они стрекочут и насвистывают, как кузнечики; а где-то у моих ног спит и перебирает лапками во сне толстый, налитой молоком щенок, которого нет в этих стихах. Но я хочу, чтобы он был, а рядом на крылечке сидит и вздыхает мой дедушка с легкими волосами, его тоже нет в этих стихах, я его никогда не видел, он погиб на войне, его нет на свете, но я его так люблю, что у меня теснит сердце…

— Читай, Денис, что же ты! — повысила голос Елизавета Николаевна.

И я встал поудобней и начал читать. И опять сквозь меня прошли эти странные чувства. Я старался только, чтобы голос у меня не дрожал.

… Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой церковью сияет…

— Стоп, стоп, довольно! — перебила меня Елизавета Николаевна. — Да, велик Пушкин, огромен! Ну-ка, Кораблев, теперь скажи-ка мне, что ты понял из этих стихов?

Эх, зачем она меня перебила! Ведь стихи были еще здесь, во мне, а она остановила меня на полном ходу. Я еще не опомнился! Поэтому я притворился, что не понял вопроса, и сказал:

— Что? Кто? Я?

— Да, ты. Ну-ка, что ты понял?

— Все, — сказал я. — Я понял все. Луна. Церковь. Тополя. Все спят.

— Ну… — недовольно протянула Елизавета Николаевна, — это ты немножко поверхностно понял… Надо глубже понимать. Не маленький. Ведь это Пушкин…

— А как, — спросил я, — как надо Пушкина понимать? — И я сделал недотепанное лицо.

— Ну давай по фразам, — с досадой сказала она. — Раз уж ты такой. «Тиха украинская ночь…» Как ты это понял?

— Я понял, что тихая ночь.

— Нет, — сказала Елизавета Николаевна. — Пойми же ты, что в словах «Тиха украинская ночь» удивительно тонко подмечено, что Украина находится в стороне от центра перемещения

континентальных масс воздуха. Вот что тебе нужно понимать и знать, Кораблев! Договорились? Читай дальше!

— «Прозрачно небо», — сказал я, — небо, значит, прозрачное. Ясное. Прозрачное небо. Так и написано: «Небо прозрачно».

— Эх, Кораблев, Кораблев, — грустно и как-то безнадежно сказала Елизавета Николаевна. — Ну что ты, как попка, затвердил: «Прозрачно небо, прозрачно небо». Заладил. А ведь в этих двух словах скрыто огромное содержание. В этих двух, как бы ничего не значащих словах Пушкин рассказал нам, что количество выпадающих осадков в этом районе весьма незначительно, благодаря чему мы и можем наблюдать безоблачное небо. Теперь ты понимаешь, какова сила пушкинского таланта? Давай дальше.

Но мне уже почему-то не хотелось читать. Как-то все сразу надоело. И поэтому я наскоро пробормотал:

… Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух…

— А почему? — оживилась Елизавета Николаевна.

— Что почему? — сказал я.

— Почему он не хочет? — повторила она.

— Что не хочет?

— Дремоты превозмочь.

— Кто?

— Воздух.

— Какой?

— Как какой — украинский! Ты ведь сам только сейчас говорил: «Своей дремоты превозмочь не хочет воздух…» Так почему же он не хочет?

— Не хочет, и все, — сказал я с сердцем. — Просыпаться не хочет! Хочет дремать, и все дела!

— Ну нет, — рассердилась Елизавета Николаевна и поводила перед моим носом указательным пальцем из стороны в сторону. Получалось, как будто она хочет сказать: «Эти номера у вашего воздуха не пройдут». — Ну нет, — повторила она. — Здесь дело в том, что Пушкин намекает на тот факт, что на Украине находится небольшой циклонический центр с давлением около семисот сорока миллиметров. А как известно, воздух в циклоне движется от краев к середине. И именно это явление и вдохновило поэта на бессмертные строки: «Чуть трепещут, м-м-м… м-м-м, каких-то тополей листы!» Понял, Кораблев? Усвоил! Садись!

И я сел. А после урока Мишка вдруг отвернулся от меня, покраснел и сказал:

— А мое любимое — про сосну: «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна…» Знаешь?

— Знаю, конечно, — сказал я. — Как не знать?

Я выдал ему «научное» лицо.

— «На севере диком» — этими словами Лермонтов сообщил нам, что сосна, как ни крути, а все-таки довольно морозоустойчивое растение. А фраза «стоит на голой вершине» дополняет, что сосна к тому же обладает сверхмощным стержневым корнем…

Мишка с испугом глянул на меня. А я на него. А потом мы расхохотались. И хохотали долго, как безумные. Всю перемену.



Сестра моя Ксения



Один раз был обыкновенный день. Я пришел из школы, поел и влез на подоконник. Мне давно уже хотелось посидеть у окна, поглядеть на прохожих и самому ничего не делать. А сейчас для этого был подходящий момент. И я сел на подоконник и принялся ничего не делать. В эту же минуту в комнату влетел папа.

Он сказал:

— Скучаешь?

Я ответил:

— Да нет... Так... А когда же наконец мама приедет? Нету уже целых десять дней!

Папа сказал:

— Держись за окно! Покрепче держись, а то сейчас полетишь вверх тормашками.

Я на всякий случай уцепился за оконную ручку и сказал:

— А в чем дело?

Он отступил на шаг, вынул из кармана какую-то бумажку, помахал ею издалека и объявил:

— Через час мама приезжает! Вот телеграмма! Я прямо с работы прибежал, чтобы тебе сказать! Обедать не будем, пообедаем все вместе, я побегу ее встречать, а ты прибери комнату и дожидайся нас! Договорились?

Я мигом соскочил с окна:

— Конечно, договорились! Урра! Беги, папа, пулей, а я приберусь! Минута — и готово! Наведу шик и блеск! Беги, не теряй времени, вези поскорее маму!

Папа метнулся к дверям. А я стал работать. У меня начался аврал, как на океанском корабле. Аврал — это большая приборка, а тут как раз стихия улеглась, на волнах тишина, — называется штиль, а мы, матросы, делаем свое дело.

— Раз, два! Ширк-шарк! Стулья по местам! Смирно стоять! Веник-совок! Подметать — живо! Товарищ пол, что это за вид? Блестеть! Сейчас же! Так! Обед! Слушай мою команду! На плиту, справа по одному «повзводно», кастрюля за сковородкой — становись! Раз-два! Запевай:

Папа только спичкой
чирк!
И огонь сейчас же
фырк!

Продолжайте разогреваться! Вот. Вот какой я молодец! Помощник! Гордиться нужно таким ребенком! Я когда вырасту, знаете кем буду? Я буду — ого! Я буду даже ого-го! Огогугаго! Вот кем я буду!

И я так долго играл и выхвалялся напропалую, чтобы не скучно было ждать маму с папой. И в конце концов дверь распахнулась, и в нее снова влетел папа! Он уже вернулся и был весь взбудораженный, шляпа на затылке! И он один изображал целый духовой оркестр, и дирижера этого оркестра заодно. Папа размахивал руками.

— Дзум-дзум! — выкрикивал папа, и я понял, что это бьют огромные турецкие барабаны в честь маминого приезда. — Пыйхь-пыйхь! — под-

давали жару медные тарелки.

Дальше началась уже какая-то кошачья музыка. Закричал сводный хор в составе ста человек. Папа пел за всю эту сотню, но так как дверь за папой была открыта, я выбежал в коридор, чтобы встретить маму.

Она стояла возле вешалки с каким-то свертком на руках. Когда она меня увидела, она мне ласково улыбнулась и тихо сказала:

— Здравствуй, мой мальчик! Как ты тут поживал без меня?

Я сказал:

— Я скучал без тебя.

Мама сказала:

— А я тебе сюрприз привезла!

Я сказал:

— Самолет?

Мама сказала:

— Посмотри-ка!

Мы говорили с ней очень тихо. Мама протянула мне сверток. Я взял его.

— Что это, мама? — спросил я.

— Это твоя сестренка Ксения, — все так же тихо сказала мама.

Я молчал.

Тогда мама отвернула кружевную простынку, и

я увидел лицо моей сестры. Оно было маленькое, и на нем ничего не было видно. Я держал ее на руках изо всех сил.

— Дзум-бум-трум, — неожиданно появился из комнаты папа рядом со мной.

Его оркестр все еще гремел.

— Внимание, — сказал папа дикторским голосом, — мальчику Дениске вручается сестренка Ксения. Длина от пяток до головы пятьдесят сантиметров, от головы до пяток — пятьдесят пять! Чистый вес три кило двести пятьдесят граммов, не считая тары.



Он сел передо мной на корточки и подставил руки под мои, наверно, боялся, что я уроню Ксе-

нию. Он спросил у мамы своим нормальным голосом:

— А на кого она похожа?

— На тебя, — сказала мама.

— А вот и нет! — воскликнул папа. — Она в своей косыночке очень смахивает на симпатичную народную артистку республики Корчагину-Александровскую, которую я очень любил в молодости. Вообще я заметил, что маленькие детки в первые дни своей жизни все бывают очень похожи на прославленную Корчагину-Александровскую. Особенно похож носик. Носик прямо бросается в глаза.

Я все стоял со своей сестрою Ксенией на руках, как дурень с писаной торбой, и улыбался.

Мама сказала с тревогой:

— Осторожно, умоляю, Денис, не урони.

Я сказал:

— Ты что, мама? Не беспокойся! Я целый детский велосипед выжимаю одной левой, неужели же я уроню такую чепуху?

А папа сказал:

— Вечером купать будем! Готовься!

Он взял у меня сверток, в котором была Ксенька, и пошел. Я пошел за ним, а за мной мама. Мы положили Ксеньку в выдвинутый ящик от

комода, и она там лежала спокойно.

Папа сказал:

— Это пока, на одну ночь. А завтра я куплю ей кроватку, и она будет спать в кроватке. А ты, Денис, следи за ключами, как бы кто не запер твою сестренку в комоде. Будем потом искать, куда подевалась…

И мы сели обедать. Я каждую минуту вскакивал и смотрел на Ксеньку. Она все время спала. Я удивлялся и трогал пальцем ее щеку. Щека была мягкая, как сметана. Теперь, когда я рассмотрел ее внимательно, я увидел, что у нее длинные темные ресницы…

И вечером мы стали ее купать. Мы поставили на папин стол ванночку с пробкой и наносили целую толпу кастрюлек, наполненных холодной и горячей водой, а Ксения лежала в своем комоде и ожидала купания. Она, видно, волновалась, потому что она скрипела, как дверь, а папа, наоборот, все время поддерживал ее настроение, чтобы она не очень боялась. Папа ходил туда-сюда с водой и простынками, он снял с себя пиджак, засучил рукава и льстиво покрикивал на всю квартиру:

— А кто у нас лучше всех плавает? Кто лучше всех окунается и ныряет? Кто лучше всех пузыри пускает?

А у Ксеньки такое было лицо, что это она лучше всех окунается и ныряет, — действовала папина лесть. Но когда стали купать, у нее такой сделался испуганный вид, что вот, люди добрые, смотрите: родные отец и мать сейчас утопят дочку, и она пяткой поискала и нашла дно, оперлась и только тогда немного успокоилась, лицо стало чуть поровней, не такое несчастное, и она позволила себя поливать, но все-таки еще сомневалась, вдруг папа даст ей захлебнуться… И я тут вовремя подсунулся под мамин локоть и дал Ксеньке свой палец и, видно, угадал, сделал, что надо было, она за мой палец схватилась и совсем успокоилась. Так крепко и отчаянно ухватилась девчонка за мой палец, просто как утопающий за соломинку. И мне стало ее жалко от этого, что она именно за меня держится, держится изо всех сил своими воробьиными пальчиками, и по этим пальцам чувствуется ясно, что это она мне одному доверяет свою драгоценную жизнь и что, честно говоря, все это купание для нее мука, и ужас, и риск, и угроза, и надо спасаться: держаться за палец старшего, сильного и смелого брата. И когда я обо всем этом догадался, когда я понял наконец, как ей трудно, бедняге, и страшно, я сразу стал ее любить.



Поют колёса — тра-та-та



Этим летом папе нужно было съездить по делу в город Ясногорск, и в день отъезда он сказал:

— Возьму-ка я Дениску с собой!

Я сразу посмотрел на маму. Но мама молчала.

Тогда папа сказал:

— Ну что ж, пристегни его к своей юбке. Пусть он ходит за тобой пристегнутый.

Тут у мамы глаза сразу стали зеленые, как крыжовник. Она сказала:

— Делайте что хотите! Хоть в Антарктиду!

И в этот же вечер мы с папой сели в поезд и поехали. В нашем вагоне было много разного народу: старушки и солдаты, и просто молодые парни, и проводники, и маленькая девчонка. И было очень весело и шумно, и мы открыли консервы, и пили чай из стаканов в подстаканниках, и ели колбасу большущими кусками. А потом один парень снял пиджак и остался в майке; у него были белые руки и круглые мускулы, прямо как шары. Он достал с третьей полки гармошку, и заиграл, и спел грустную песню про комсомольца, как он упал на траву, возле своего коня, у его ног, и закрыл свои карие очи, и красная кровь стекала на зеленую траву.

Я подошел к окошку, и стоял, и смотрел, как мелькают в темноте огоньки, и все думал про этого комсомольца, что я бы тоже вместе с ним поскакал в разведку и его, может быть, тогда не убили бы.

А потом папа подошел ко мне, и мы с ним вдвоем помолчали, и папа сказал:

— Не скучай. Мы послезавтра вернемся, и ты расскажешь маме, как было интересно.

Он отошел и стал стелить постель, а потом подозвал меня и спросил:

— Ты где ляжешь? К стенке?

Но я сказал:

— Лучше ты ложись к стенке. А я с краю.

Папа лег к стенке, на бок, а я лег с краю, тоже на бок, и колеса застучали: трата-та-трата-та…

И вдруг я проснулся оттого, что я наполовину висел в воздухе и одной рукой держался за столик, чтоб не упасть. Видно, папа во сне очень разметался и совсем меня вытеснил с полки. Я хотел устроиться поудобней, но в это время сон с меня соскочил, и я присел на краешек постели и стал разглядывать все вокруг себя.

В вагоне уже было светло, и отовсюду свисали разные ноги и руки. Ноги были в разноцветных носках или просто босиком, и была одна маленькая девчонская нога, похожая на коричневую чурочку.

Наш поезд ехал очень медленно. Колеса тарахтели. Я увидел, что зеленые ветки почти касаются наших окон, и получилось, что мы едем, как по лесному коридору, и мне захотелось посмотреть, как оно так выходит, и я побежал босиком в тамбур. Там дверь была открыта настежь, и я ухватился за перильца и осторожно свесил ноги.

Сидеть было холодно, потому что я был в одних трусиках, и железный пол меня прямо захолодил,

но по том он согрелся, и я сидел, подсунув руки под мышки. Ветер был слабый, еле-еле дул, а поезд шел медленно медленно, он поднимался в гору, колеса тарахтели, и я потихоньку к ним подладился и сочинил песню:

Вот мчится поезд — красота!

Стучат колеса — тра-та-та!

И случайно я посмотрел направо и увидел конец нашего поезда: он был полукруглый, как хвост.

Я тогда посмотрел налево и увидел наш паровоз: он вовсю карабкался вверх, как какой-нибудь жук. И я догадался, что здесь поворот.

А рядом с поездом была тропочка, совсем узкая, и я увидел, что впереди по этой тропочке идет человек. Издалека мне показалось, что он совсем маленький, но поезд все-таки шел побыстрее его, и я постепенно увидел, что он большой, и на нем голубая рубашка, и что он в тяжелых сапогах. По этим сапогам было видно, что он уже устал идти. Он держал что-то в руках.

Когда поезд его догнал, этот дядька вдруг спустился со своей тропочки и побежал рядом с поездом, сапоги его хрупали по камешкам, и камешки разлетались из-под тяжелых сапог в

разные стороны. И тут я поравнялся с ним, и он протянул мне решето, затянутое полотенцем, и все бежал рядом со мной, и лицо у него было красное и мокрое. Он крикнул:

— Держи решето, малый! — и ловко сунул мне его на колени.

Я вцепился в это решето, а дяденька ухватился за перильца, подтянулся, вскочил на подножку и сел рядом со мной. Он вытер лицо рубашкой и сказал:

— Еле влез…

Я сказал:

— Нате ваше решето.

Но он не взял. Он сказал:

— Тебя как звать?

Я ответил:

— Денис.

Он кивнул головой и сказал:

— А моего — Сережка.

Я спросил:

— Он в каком классе?

Дяденька сказал:

— Во вторым.

— Надо говорить: во втором, — сказал я.

Тут он сердито засмеялся и стал стаскивать полотенце с решета. Под полотенцем лежали

серебристые листья, и оттуда пошел такой запах, что я чуть не сошел с ума. А дяденька стал аккуратно снимать эти листья один за одним, и я увидел, что это — полное решето малины. И хотя она была очень красная, она была еще и серебристая, седая, что ли; и каждая ягодка лежала отдельно, как будто твердая. Я смотрел на малину во все глаза.

— Это ее холодком прикрыло, ишь притуманилась, — сказал дядька. — Ешь давай!

И я взял ягоду и съел, и потом еще одну, и тоже съел, и придавил языком, и стал так есть по одной, и просто таял от удовольствия, а дяденька сидел и смотрел на меня, и лицо у него было такое, как будто я болен и ему жалко меня. Он сказал:

— Ты не по одной. Ты пригоршней.

И отвернулся. Наверно, чтоб я не стеснялся. Но я его нисколько не стеснялся: я добрых не стесняюсь, я стал сразу есть пригоршней и решил, что пусть я лопну, но все равно я эту малину съем всю.

Никогда еще не было так вкусно у меня во рту и так хорошо на душе. Но потом я вспомнил про Сережку и спросил у дяденьки:

— А Сережа ваш уже ел?

— Как же не ел, — сказал он, — было, и он ел.

Я сказал:

— Почему же было? А например, сегодня он уже ел?

Дяденька снял сапог и вытряхнул оттуда мелкий камешек.

— Вот ногу мозолит, терзает, скажи ты! А вроде такая малость.

Он помолчал и сказал:

— И душу вот такая малость может в кровь истерзать. Сережка, браток, теперь в городе живет, уехал он от меня.

Я очень удивился. Вот так парень! Во втором классе, а от отца удрал!

Я сказал:

— А он один удрал или с товарищем?

Но дяденька сказал сердито:

— Зачем — один? С мамой со своей! Ей, видишь ли, учиться приспичило! У ней там родичи, друзья-приятели разные… Вот и выходит кино: Сережка в городе живет, а я здесь. Нескладно, а?

Я сказал:

— Не волнуйтесь, выучится на машиниста и приедет. Подождите.

Он сказал:

— Долго больно ждать.

Я сказал:

— А он в каком городе живет?

— В Курским.

Я сказал:

— Нужно говорить: в Курске.

Тут дяденька опять засмеялся — хрипло, как простуженный, а потом перестал. Он наклонился ко мне поближе и сказал:

— Ладно, ученая твоя голова. Я тоже выучусь. Война меня в школу не пустила. Я в твои годы кору варил и ел. — И тут он задумался. Потом вдруг встрепенулся и показал на лес: — Вот в этим самым лесу, браток. А за ним, гляди, сейчас село Красное будет. Моими руками это село построено. Я там и соскочу.

Я сказал:

— Я еще одну только горсточку съем, и вы завязывайте свою малину.

Но он придержал решето у меня на коленях:

— Не в том дело. Возьми себе.

Он положил мне руку на голую спину, и я почувствовал, какая тяжелая и твердая у него рука, сухая, горячая и шершавая, а он прижал меня крепко к своей голубой рубашке, и он был весь теплый, и от него пахло хлебом и табаком, и было слышно, как он дышит медленно и шумно.

Он так подержал меня немножко и сказал:

— Ну, бывай, сынок. Смотри, веди хорошо…

Он погладил меня и вдруг сразу спрыгнул на ходу. Я не успел опомниться, а он уже отстал, и я опять услышал, как хрупают камешки под его тяжелыми сапогами.

И я увидел, как он стал удаляться от меня, быстро пошел вверх на подъем, хороший такой человек в голубой рубашке и тяжелых сапогах.

И скоро наш поезд стал идти быстрее, и ветер стал чересчур сильный, и я взял решето с малиной и понес его в вагон, и дошел до папы.

Малина уже начала оттаивать и не была такая седая, но пахла все равно как целый сад.

А папа спал; он раскинулся на нашей полке, и мне совершенно негде было приткнуться, и некому было показать эту малину и рассказать про дядьку в голубой рубашке и про его сына.

В вагоне все спали, и вокруг по-прежнему висели разноцветные пятки.

Я поставил решето на пол и увидел, что у меня весь живот, и руки, и колени красные, — это был малиновый сок, и я подумал, что надо сбегать умыться, но вдруг начал клевать носом.

В углу стоял большой чемодан, перевязанный крест-накрест, он стоял торчком; мы на нем вчера резали колбасу и открывали консервы. Я подо-

шел к нему и положил на него локти и голову, и сразу поезд стал особенно сильно стучать, и я пригрелся и долго слушал этот стук, и опять в моей голове запелась песня:

Вот мчится поезд —
кра —
со —
та!
Поют колеса —
тра —
та —
та!



Волшебная сила искусства



— Здравствуйте, Елена Сергеевна!..

Старая учительница вздрогнула и подняла глаза. Перед нею стоял невысокий молодой человек. Он смотрел на нее весело и тревожно, и она, увидев это смешное мальчишеское выражение глаз, сразу узнала его.

— Дементьев, — сказала она радостно. — Ты ли это?

— Это я, — сказал человек, — можно сесть?

Она кивнула, и он уселся рядом с нею.

— Как же ты поживаешь, Дементьев, милый?

— Работаю, — сказал он, — в театре. Я актер. Актер на бытовые роли, то, что называется «характерный». А работаю много! Ну, а вы? Как вы-то поживаете?

— Я по-прежнему, — бодро сказала она, — прекрасно! Веду четвертый класс, есть просто удивительные ребята. Интересные, талантливые… Так что все великолепно!

Она помолчала и вдруг сказала упавшим голосом:

— Мне комнату новую дали… В двухкомнатной квартире… Просто рай…

Что-то в ее голосе насторожило Дементьева.

— Как вы это странно произнесли, Елена Сергеевна, — сказал он, невесело как-то… Что, мала, что ли, комната? Или далеко ездить? Или без лифта? Ведь что-то есть, я чувствую. Или кто-нибудь хамит? Кто же? Директор школы? Управдом? Соседи?

— Соседи, да, — призналась Елена Сергеевна, — понимаешь, я живу как под тяжестью старого чугунного утюга. Мои соседи как-то сразу поставили себя хозяевами новой квартиры. Нет, они не скандалят, не кричат. Они действуют. Выки-

нули из кухни мой столик. В ванной заняли все вешалки и крючки, мне негде повесить полотенце. Газовые горелки всегда заняты их борщами, бывает, что жду по часу, чтобы вскипятить чай… Ах, милый, ты мужчина, ты не поймешь, это все мелочи. Тут все в атмосфере, в нюансах, не в милицию же идти? Не в суд же. Я не умею с ними справиться…

— Все ясно, — сказал Дементьев, и глаза у него стали недобрыми, — вы правы. Хамство в чистом виде… А где же это вы проживаете, адрес какой у вас? Ага. Спасибо, я запомнил. Я сегодня вечером к вам зайду. Только просьба, Елена Сергеевна. Ничему не удивляться. И полностью мне во всякой моей инициативе помогать! В театре это называется «подыгрывать»! Идет? Ну, до вечера! Попробуем на ваших троглодитах волшебную силу искусства!

И он ушел.

А вечером раздался звонок. Звонили один раз.

Мадам Мордатенкова, неспешно шевеля боками, прошла по коридору и отворила. Перед ней, засунув ручки в брючки, стоял невысокий человек, в кепочке. На нижней, влажной и отвисшей его губе сидел окурок.

— Ты, что ли, Сергеева? — хрипло спросил че-

ловек в кепочке.

— Нет, — сказала шокированная всем его видом Мордатенкова. — Сергеевой два звонка.

— Наплевать. Давай проводи! — ответила кепочка.

Оскорбленное достоинство Мордатенковой двинулось в глубь квартиры.

— Ходчей давай, — сказал сзади хриплый голос, — ползешь как черепаха.

Бока мадам зашевелились порезвей.

— Вот, — сказала она и указала на дверь Елены Сергеевны. — Здесь!

Незнакомец, не постучавшись, распахнул дверь и вошел. Во время его разговора с учительницей дверь так и осталась неприкрытой. Мордатенкова, почему-то не ушедшая к себе, слышала каждое слово развязного пришельца.

— Значит, это вы повесили бумажку насчет обмена?

— Да, — послышался сдержанный голос Елены Сергеевны. — Я!..

— А мою-то конуренку видела?

— Видела.

— А с Нюркой, женой моей, разговор имела?

— Да.

— Ну, что ж… Ведь я те так скажу. Я те честно:

я бы сам ни в жисть не поменялся. Сама посуди: у мине там два корешка. Когда ни надумаешь, всегда на троих можно сообразить. Ведь это удобство? Удобство… Но, понимаешь, мне метры нужны, будь они неладны. Метры!

— Да, конечно, я понимаю, — сдавленно сказал голос Елены Сергеевны.

— А зачем мне метры, почему они нужны мне, соображаешь? Нет? Семья, брат, Сергеева, растет. Прямо не по дням, а по часам! Ведь старшой-то мой, Альбертик-то, что отмочил? Не знаешь? Ага! Женился он, вот что! Правда, хорошую взял, красивую. Зачем хаять? Красивая — глазки маленькие, морда во! Как арбуз!!! И голосистая… Прямо Шульженко. Целый день «ландыши-ландыши»! Потому что голос есть — она любой красноармейский ансамбль переорет! Ну прямо Шульженко! Значит, они с Альбертиком-то очень просто могут вскорости внука отковать, так? Дело-то молодое, а? Молодое дело-то или нет, я те спрашиваю?

— Конечно, конечно, — совсем уж тихо донеслось из комнаты.

— Вот то-то и оно! — хрипел голос в кепочке. — Теперь причина номер два: Витька. Младший мой. Ему седьмой пошел. Ох и малый, я те доложу.

Умница! Игрун. Ему место надо? В казаки-разбойники? Он вот на прошлой неделе затеял запуск спутника на Марс, чуть всю квартиру не спалил, потому что теснота! Ему простор нужен. Ему развернуться негде. А здесь? Ступай в коридор и жги чего хошь! Верно я говорю? Зачем ему в комнате поджигать? Ваши коридоры просторные, это для меня плюс! А?

— Плюс, конечно.

— Так что я согласен. Где наша не пропадала! Аида коммунальные услуги смотреть!

И Мордатенкова услышала, что он двинулся в коридор. Быстрее лани метнулась она в свою комнату, где за столом сидел ее супруг перед двухпачечной порцией пельменей.

— Харитон, — просвистела мадам, — там бандит какой-то пришел, насчет обмена с соседкой! Пойди же, может быть, можно как-нибудь воспрепятствовать!..

Мордатенков пулей выскочил в коридор. Там, словно только его и дожидаясь, уже стоял мужчина в кепочке, с прилипшим к губе окурком.

— Здесь сундук поставлю, — говорил он, любовно поглаживая ближний угол, — у моей маме сундучок есть, тонны на полторы. Здесь мы его поставим, и пускай спит. Выпишу себе маму из

Смоленской области. Что я, родной матери тарелку борща не налью? Налью! А она за детьми присмотрит. Тут вот ейный сундук вполне встанет. И ей спокойно, и мне хорошо. Ну, дальше показывай.

— Вот здесь у нас еще маленький коридорчик, перед самой ванной, опустив глаза, пролепетала Елена Сергеевна.

— Игде? — оживился мужчина в кепочке. — Игде? Ага, вижу, вижу.

Он остановился, подумал с минуту, и вдруг глаза его приняли наивно-сентиментальное выражение.

— Знаешь чего? — сказал он доверительно. — Я те скажу как своей. Есть у меня, золотая ты старуха, брательник. Он, понимаешь, алкоголик. Он всякий раз, как подзашибет, счас по ночам ко мне стучится. Прямо, понимаешь, ломится. Потому что ему неохота в отрезвиловку попадать. Ну, он, значит, колотится, а я, значит, ему не отворяю. Мала комнатенка, куды его? С собой-то ведь не положишь! А здесь я кину на пол какую-нибудь тряпку, и пущай спит! Продрыхнется и опять смирный будет, ведь это он только пьяный скандалит. Счас, мол, вас всех перережу. А так ничего, тихий. Пущай его тут спит. Брательник все же…

Родная кровь, не скотина ведь…

Мордатенковы в ужасе переглянулись.

— А вот тут наша ванная, — сказала Елена Сергеевна и распахнула белую дверь.

Мужчина в кепочке бросил в ванную только один беглый взгляд и одобрительно кивнул:

— Ну, что ж, ванна хорошая, емкая. Мы в ей огурцов насолим на зиму. Ничего, не дворяне. Умываться и на кухне можно, а под первый май — в баньку. Ну-ка, покажь-ка кухню. Игде тут твой столик-то?

— У меня нет своего стола, — внятно сказала Елена Сергеевна, — соседи его выставили. Говорят — два стола тесно.

— Что? — сказал мужчина в кепочке грозно. — Какие такие соседи? Эти, что ли?! — Он небрежно ткнул в сторону Мордатенковых. — Два стола им тесно? Ах, буржуи недорезанные! Ну, погоди, чертова кукла, дай Нюрка сюда приедет, она тебе глаза-то живо выцарапает, если ты только ей слово поперек пикнешь!

— Ну, вы тут не очень, — дрожащим голосом сказал Мордатенков, — я попросил бы соблюдать…

— Молчи, старый таракан, — прервал его человек в кепочке, — в лоб захотел, да? Так я брызну! Я

могу! Пущай я в четвертый раз пятнадцать суток отсижу, а тебе брызну! А я-то еще сомневался, меняться или нет. Да я за твое нахальство из прынцыпа переменюсь! Баушк! — Он повернулся к Елене Сергеевне. — Пиши скорее заявление на обмен! У меня душа горит на этих подлецов! Я им жизнь покажу! Заходи ко мне завтра утречком. Я те ожидаю.

И он двинулся к выходу. В большом коридоре он, не останавливаясь, бросил через плечо, указывая куда-то под потолок:

— Здесь корыто повешу. А тут мотоциклет. Будь здорова. Смотри не кашляй.

Хлопнула дверь. И в квартире наступила мертвая тишина. А через час…

Толстый Мордатенков пригласил Елену Сергеевну на кухню. Там стоял новенький сине-желтый кухонный столик.

— Это вам, — сказал Мордатенков, конфузясь, — зачем вам тесниться на подоконнике. Это вам. И красиво, и удобно, и бесплатно! И приходите к нам телевизор смотреть. Сегодня Райкин. Вместе посмеемся…

— Зина, солнышко, — крикнул он в коридор, — ты смотри же, завтра пойдешь в молочную, так не забудь Елене Сергеевне кефиру захватить. Вы

ведь кефир пьете по утрам?

— Да, кефир, — сказала Елена Сергеевна.

— А хлеб какой предпочитаете? Круглый, рижский, заварной?

— Ну, что вы, — сказала Елена Сергеевна, — я сама!..

— Ничего, — строго сказал Мордатенков и снова крикнул в коридор: Зинулик, и хлеба! Какой Елена Сергеевна любит, такой и возьмешь!.. И когда придешь, золотко, постираешь ей, что нужно…

— Ох, что вы!.. — замахала руками Елена Сергеевна и, не в силах больше сдерживаться, побежала к себе. Там она сдернула со стены полотенце и прижала его ко рту, чтобы заглушить смех. Ее маленькое тело сотрясалось от хохота.

— Сила искусства! — шептала Елена Сергеевна, смеясь и задыхаясь. — О, волшебная сила искусства…

Повести

Он упал на траву
1

Очень темная была ночь, когда я, нагруженный разными свертками, усталый как черт и голодный, подошел к своему переулку. Здесь, у аптеки, я должен был подождать ее. На улице уже было тихо и глухо. Москва отдыхала после тревожного дня перед тревожной ночью. Все мы, москвичи, знали, что через несколько минут обязательно прозвучит сигнал воздушной тревоги, фриц опять начнет рваться к нашему городу и мы уведем женщин, детей и стариков в бомбоубежище, а сами побежим на свои места — в лестничные клетки, в подъезды и на крыши, будем слушать надсадный вой чужого мотора и с надеждой смотреть на кинжально-перекрещивающиеся лезвия прожекторов. Нетерпеливым сердцем будем подгонять зенитчиков и будем радоваться, когда услышим первые удары наших батарей, — они такие сильные, молодые и стучат полновесно, как весенний первый гром, когда, резвяся и играя, — как там дальше? Ах да, — грохочет в небе голубом! Знал я также, что молодой командир

батареи у зала Чайковского будет командовать: «Огонь!», и это всем нам, дежурящим на окрестных крышах, будет как маслом по сердцу.

Да, скоро объявят воздушную тревогу, а пока Москва немножко отдыхала и я стоял на перекрестке в полной темноте, и, видно, никогда не забыть мне этого часа в последнюю августовскую ночь в Москве, когда я ждал на углу возле аптеки эту женщину и знал, что завтра я уйду из моего врезанного в сердце города, и от нее уйду, и буду делать что-то большее, чем дежурство на крышах и тушение зажигалок.

А время все шло, и от нетерпения я уже насчитал несколько раз по пятисот, а Валя все не приходила. Я вошел в парадное, где стояла будка автомата, опустил гривенник и, отсчитывая в синей темноте буквы и цифры на телефонном диске, набрал ее номер. Телефон басисто прогудел, и Валя сняла трубку. Это сразу ударило меня по сердцу. Я слышал ее голос, а ведь она не должна была быть дома. Это поразило меня. Она, значит, дома, а я стою на ветру и жду ее, а она вовсе и не собирается проводить меня, провести со мной вечер, проститься…

Я сказал:

— Это я, что ж ты не идешь?

И я услышал, как она ответила мгновенно, как будто знала, что я позвоню, и как будто давно уже отрепетировала свой ответ.

— Понимаешь, Зойка, — сказала она, — ничего не выйдет, мне не вырваться сегодня. Семейные дела заели. Да и поздно уже!

Какая, к черту, Зойка? Я почувствовал, что у меня упало сердце. Я сказал:

— Я не Зойка. Это Митя говорит.

Она засмеялась.

— Нет, Зойчик, не могу. Не проси.

Я сказал:

— Я завтра уезжаю. Ведь ты же плакала. Что ты несешь? Мы не простимся?

Она помолчала, потом сказала тихо и очень внятно:

— Неудобно. Надеюсь, ты напишешь. Будь здорова.

Я услышал комариный писк разъединения и механически повесил трубку.

Вышел я из будки, так резко толкнув дверь, что ушиб кого-то, стоящего там в темноте.

— Ох, — сказал кто-то, — чуть-чуть не убил.

В парадном стояла девушка. Синий свет не давал возможности разглядеть ее лицо.

Я сказал:

— Извините, — и хотел было уйти.

Но она сказала:

— Я вас давно жду. Одолжите мне гривенник, пожалуйста, или разменяйте двадцать копеек.

Я протянул ей монету. У меня их всегда полны карманы. Она взяла гривенник, нашарив в темноте мою руку, и я ощутил прикосновение горячих и сухих пальцев. Она сказала:

— Если можно, не уходите. Я мигом.

Я остался в парадном. Я не мог как следует осознать все случившееся, и на душе у меня было непоправимо скверно. Ведь, черт побери, честно говоря, я был в эти дни, в эти ужасные первые дни войны, как какой-нибудь сумасшедший: я был счастлив. То есть я был потрясен войной, я ненавидел фрица, я знал, что уйду на войну во что бы то ни стало, но вот в глубине сердца у меня, несмотря на такое ужасное горе, как война, светилось счастье. Это было потому, что я верил в Валину любовь и сам любил ее всем сердцем. А теперь, после разговора по телефону, особенно после ее правдивого голоса, который так здорово врал и обзывал меня Зойкой, после этого я почувствовал, что ничего хорошего в моей жизни не осталось и что я теперь как солдат, у которого отняли его личное оружие и все могут стрелять в

него, как в бессмысленный столб. Я совершенно растерялся от этого разговора и не знал, что делать. Из автомата вышла девушка.

— Спасибо, что подождали. Вы меня знаете?

— Нет.

— Да мы же рядом живем, вы в конце переулка, а я не доходя, наискосок. Я недавно в Москву переехала, а раньше жила в Туле. А теперь мама там, а я у тети… А вас я часто встречаю в переулке, и одна девочка мне про вас все рассказала.

Ну и ну, все ей рассказала. Вот это да. А что рассказывать-то?

— Так что я все про вас знаю, Митя Королев. Дайте руку, а то я боюсь ходить по этому переулку.

Она взяла меня за руку, и мы вышли. Ночь стала еще темней. Вокруг слышались сдержанные голоса прохожих, люди говорили тихо, как будто боялись, что их услышит какой-нибудь фриц, там, наверху.

Мы постояли немного с незнакомой девушкой на краю тротуара и пошли домой. Не хотелось мне идти домой, прямо скажем, противно было, особенно потому, что я весь был обвешан покупками, как какой-нибудь пижон. А еще противней было, что покупочки эти оказались ни к чему, ни для кого. Все эти пакеты и свертки хрустели

новой бумагой, как окаянные, словно смеялись надо мной. Девушка вдруг сказала:

— Значит, никто не придет проводить вас и проститься?

Я сказал:

— Это не ваше дело.

Она вздохнула.

— Всегда, когда стоишь у автомата, слышишь чужой разговор. Конечно, это нехорошо.

Мы сделали еще несколько шагов, и девушка вдруг остановилась.

— Это, наверно, горько и обидно — звонить куда-то и узнавать, что тебя не придут проводить и проститься?

— Да.

Она как будто рассердилась, потому что спросила сухо:

— Может, мне отстать от вас?

— Да. Отстаньте, пожалуйста.

Она крепче сжала мою руку.

— Это не дело прогонять меня, раз я боюсь ходить этим переулком. Ладно, я буду молчать и не буду мешать вам переживать.

Я с удовольствием дал бы ей затрещину, но меня мучило сейчас другое, и я промолчал.

Мы проходили мимо большого серого дома,

когда она сказала:

— Вот я здесь живу.

Я сказал:

— Ну, пока.

Но она не отпустила мою руку.

— Я провожу вас, мне не хочется домой.

Мы вошли в наш двор, где нас тихонько окликнули дежурные, и прошли в самый дальний конец. Моя дверь была налево от садика, я жил теперь один на нашем первом этаже. Я пошарил в почтовом ящике и взял ключ.

Я сказал:

— Ну вот. Пока.

Но она сказала:

— Можно, я к вам зайду? Давайте уж я провожу вас, раз никого больше нет.

Я никак не реагировал на ее слова. Меня мучило совсем другое, и то, что говорила эта девчонка, не имело никакого значения. Я отпер дверь и впустил ее к себе. В темноте я проверил, опущены ли шторы затемнения, и зажег свет. Потом я свалил всю эту сотню свертков на стол и вынул из бокового кармана плоскую бутылочку старки — я купил ее в коктейль-холле, мне нравилось, что она плоская, как у какого-нибудь отчаянного героя старого кинофильма.

Девушка в это время, не дожидаясь моей помощи, сняла с себя плащ и повесила его на гвоздик, торчавший в стене у дверей. Она с любопытством осмотрелась. Особенно ее заинтересовали Валины карточки в разных ролях, которые я развесил в своей комнате.

Я сел на стул у окна. Она подошла ко мне и сказала:

— Хотите есть?

— Нет, — сказал я.

— Надо поесть, — сказала она и показала на свертки. — Вон сколько еды, у меня слюнки текут. Сейчас я накрою на стол, у нас будет прощальный ужин, а потом я уйду, и вам не надо будет меня провожать. Здесь я не боюсь совсем ведь рядом.

Я сказал:

— Действуйте как хотите.

Она принялась вертеться вокруг столика и хлопотать, и на лбу у нее появились забавные заботливые морщинки, она начала играть во взрослую хозяйку, брала с полки посуду, и все это получалось у нее очень симпатично и ловко. И как она комкала освободившийся пергамент и обсасывала палец было тоже очень забавно. Я подумал: как жалко, что у меня нет никого на свете близких, и как хорошо было бы иметь такую вот

забавную сестренку с девчонскими повадками и серьезным личиком. Я бы уже смог сделать так, чтобы моя сестренка меня любила, я бы ей покупал всякие ленточки и вообще баловал бы.

Я сидел у окна, больная нога привычно ныла, и хотя меня непрерывно мучила вся эта подлая история с Валей, я все-таки вдруг захотел есть и подсел к столу.

Девушка сидела напротив меня, она тоже ела и все поглядывала на меня, словно удивлялась, что вот я такой невежливый, ужинаю с дамой и не веду оживленную светскую беседу. В общем-то она была права. Она-то ни в чем не была виновата.

Поэтому я сказал:

— Давайте выпьем!

— Ну что ж…

Я налил из плоской бутылочки ей и себе. И увидел, что она никак не может решиться выпить.

— А вы в общем-то пили когда-нибудь?

Она поставила рюмку и прикрыла ее сверху ладошкой.

— Честно?

— Да.

— Это в первый раз.

Она сконфуженно улыбнулась. Просто давно не видел такой занятной девчушки. Я сказал:

— Если в первый раз, — лучше не пейте, не надо. Обожжет горло, захватит дыханье, слезы побегут. Не пейте.

Я выпил свою рюмку. Она смотрела на меня и явно побаивалась. Я налил себе еще.

— Ну, хорошо, — сказала она, — я не буду пить. А вам интересно узнать наконец, кто же я такая?

— Нет. Неинтересно. Мама в Туле, тетя здесь. Чего же еще?

— Ну, а как меня зовут, — тоже неинтересно?

— Абсолютно, — сказал я. — Ну так как, будете пить, нет? А то ваша рюмочка выдыхается, давайте ее сюда — я сам ее выпью…

— Нет, — сказала она и отодвинула от меня свою рюмку, — нельзя! А то вы узнаете все мои мысли…

— Ого! Значит, вы скрываете свои мысли. Любопытно, какие же это ужасные мысли, если их нужно скрывать?

Честное слово, она покраснела. Она отвернулась к окошку, и я увидел, что она вся покраснела, у нее шея стала розовой. Я пожалел даже, что так сказал.

— Слушайте, — сказал я, — только не обижайтесь. Я сам обиженный. Скажите мне, наконец, как вас зовут.

Она вся засияла и благодарно взглянула на меня.

— Меня зовут Лина…

Я сказал:

— Знаете что? Тяпнем, Лина. Тяпнем за нашу с вами мужскую дружбу.

— Тяпнем! — сказала она.

У нее такая была напряженная мордочка, и вся она такая была забавная и трогательная, ну, сестренка, просто сестренка моя, которой нет.

Я сказал:

— Вы домой шли, Лина. Вас, наверно, ждут?

Но она махнула вилкой, на которой висела шляпка белого грибка.

— А… была не была!

— Отчаянная, да? — сказал я. — Сорвиголова?

— Оторви да брось, — сказала она и засмеялась, и было видно штук шестьдесят белых зубов, один в один, крепких, как орешки.

И тут она меня удивила. Она скинула туфельки, вскочила на стул и высоко подняла свою рюмочку.

— Я пью за самое большое в нашей жизни, — сказала Лина, и ее милое юное лицо стало торжественным и важным. Она трезво и строго посмотрела на меня. — Я пью за Победу.

Она это так тихо и значительно сказала, что у меня сжалось сердце.

Я выпил свою рюмку, и Лина выпила тоже. Она все еще стояла на стуле и смотрела на меня трезво и сурово. Я подошел к ней, взял ее за талию и опустил на пол. Она все смотрела мне в глаза без улыбки. Я крепко прижал ее к себе и поцеловал. Никогда не забуду прохладное прикосновение ее губ. Как будто меня отбросило назад в детство, и я пробежал по июльскому росному лугу босиком, и где-то за зеленым лесом в синем небе звенели колокола. Я держал Лину в своих руках и слышал, как бьется ее сердце, и вдыхал запах ее волос, ее платья, всего ее милого девичьего существа. Я долго так стоял, очень долго, целую вечность. В это время завыла сирена. Я разжал руки. Лина заметалась по комнате.

— Тревога, — шептала она. — Боже мой, опять тревога! Что же делать?

Она была бледная, и губы у нее дрожали, у бедняжки, так испугалась. И все это росистое утро на цветущем лугу, что сейчас цвело в этой комнате, отлетело, ушло от нас, развеялось как дым, поглощенное страшным, рвущим душу воем сирены. Мне нужно было идти на крышу. Я подал Лине плащ.

Ее недопитая рюмка осталась на столе. Мы вышли во двор. Ночь была бодрая, свежая, и в небе ясно блестели небрежно насыпанные звезды. Лина сказала:

— Я тетю возьму. Отведу в метро, она больная. Она пошла по двору и исчезла в темноте, только слышно было, как простучали ее туфельки и где-то в глубине двора хлопнула наша входная калитка.

2

А я помчался по черной лестнице вверх, быстро добрался до седьмого этажа и сделал еще несколько шагов по железным ступенькам маленькой лестницы, ведущей на чердак. Пахло старой чердачной пылью, все балки были покрыты этой мягкой пылью дома, они были словно замшевые, эти балки, добрые и теплые, я знал их каждую в лицо. Наш мальчишечий мир лазил сюда еще в «те баснословные» года, когда мы играли в «казаки-разбойники», и каждый чердачный поворот, каждый каменный уступ был знаком мне и дружествен, я мог пройти по чердаку до любого слухового окна, закрыв глаза и не рискуя ушибиться.

На крыше уже сидел дядя Гриша — дворовый водопроводчик, мой напарник по посту ПВО. Брезентовые рукавицы, щипцы и ящик с песком были в полном порядке — мы с дядей Гришей считались лучшими дежурными. Мы гордились этим, особенно дядя Гриша, он был в нашей паре начальником. Сейчас его силуэт темнел возле люка, я окликнул его и сел рядом. После чердачной непроглядной тьмы здесь, на крыше, было совсем светло, я видел маленькую тощенькую фигурку дяди Гриши, замасленную его кепочку с умилительной пуговкой и хитроватые, круглые сорочьи глаза, настороженно поблескивающие в темноте. Он поднял короткий твердый палец, ткнул им в небо и сказал:

— Подходит…

Я уже давно слышал этот накатный злой звук и тоже уставился в небо. Прожекторы наши метались по небу, толкались, на мой взгляд, без всякого смысла и всячески суетились. Бомбежка еще не начиналась, зенитки молчали, и в этой погоне прожекторов за невидимым зудящим звуком, за этой личинкой смерти, которая его издавала, было что-то в высшей степени странное, лихорадочное. Так протянулись несколько томительных минут, и вдруг далеко на горизонте,

как мне показалось, где-то за Самотекой, а то и за Марьиной Рощей, прожекторы вдруг сбежались к одной точке на ночном небе, скрестились, образовав в центре своего соприкосновения как бы маленький молочно-голубой экран, и все вместе плавно потянули этот экран направо. Мгновенно грянули зенитки. Это было в самом деле как музыка, как весенний радостный гром, и я услышал, как рядом со мной засмеялся дядя Гриша.

— Схватили, — сказал он и всхлипнул. — Повели!

Я ничего не мог разглядеть, волнение ослепило меня, но дядя Гриша точно уставил свой маленький твердый палец куда-то вверх, крепко стиснул мое плечо, не отпускал его и все приговаривал:

— Вот он, фриц, вот он, гляди же, раззява!

Я наконец увидел небольшое серо-металлическое пятно, тускло поблескивающее в тисках прожекторов. Вот когда мне сжало сердце! И хотя чудеса редко бывают в жизни, но здесь чудо случилось. Немецкий самолет вдруг резко клюнул, потом замедленно, нехотя лег на крыло, неожиданно круто дернулся вниз и полетел, уже без порядка вертясь и кувыркаясь, как лист, и оставляя за собой черный коптящий след. Прожекторы провожали его за небосклон до земного предела,

зенитки умолкли, и суровая тишина, сладчайшая тишина первого отмщения, повисла над московскими крышами. Я закрыл лицо руками. Дядя Гриша вынул из кармана краюшку хлеба и разломил ее пополам.

— На, — сказал дядя Гриша, — покушай хлебца.

Я взял хлеб и стал жевать. Да будь оно проклято, вот когда я понял свое несчастье! Хромой. Хромуля. Хромоног. На призывной комиссии, когда пришел мой год, меня даже не стали осматривать. Они сидели все рядом, все в белом, важные и властные, и когда увидели меня, сразу согласно зачиркали карандашами. Один из них сказал:

— Негоден.

И все неторопливо покивали головами. Я тогда пошел домой не слишком огорченный. Я не думал, что будет война. Я не знал, что эта проклятая нога не даст мне делать самое нужное дело — бить врага. Я тогда увлекся живописью и решил стать художником. Я прочитал, наверно, тыщи полторы книг и целыми днями ходил по музеям. Осваивал наследство. А потом высокий худой человек завербовал меня в театр. Он привел меня за кулисы, дал мне краски, кисти, научил варить клейстер и кроить полотна, и театр покорил

меня, поглотил меня всего, околдовал и поработил. Я ничего не видел тогда на свете, кроме кулис и декораций. Я полюбил запах клейстера и холста, волшебный запах грима, сухой запах париков и терпкий запах дешевого одеколона. Я знал и любил запах сырых афиш и горячий запах раскаленных ламп. Театр ухватил меня крепко, и ничто, кроме писаных задников, картонных замков, фанерных бастилий, слюдяных речек и электрических звезд, не интересовало меня. Там, в театре, я и увидел эту удивительную женщину. У нее были прекрасные тонкие руки, и она не посмотрела, что я хромой. Нет, она не посмотрела, не сказала «негоден». И когда я сказал ей вчера, что ухожу в ополчение, она упала головой на гримировальный столик и заплакала. Она здорово плакала — я поверил. И как она спокойно предала меня сегодня. Как это у нее просто получилось. Обещала прийти и не пришла, только и всего. Мило и грациозно…

— …Второй заходит, — сказал дядя Гриша.

В небе опять плясали прожекторы. Били зенитки. Рычал, словно собираясь залаять, немецкий мотор.

И вдруг в воздухе что-то завыло, засвистело с ужасающим нарастанием. Воздух как бы заколе-

бался, разорвался, меня вдруг бросило и втиснуло в крышу и потянуло с силой вниз, я распластался, заскользил и зацарапал ногтями, пытаясь вцепиться в уходящую жизнь, но смерч все несся надо мной, и меня тянуло за ним, увлекало все дальше и дальше к краю крыши семиэтажного дома. Носки моих ног уперлись в водосточный желоб, воздух давил меня в затылок, пихал, чтобы проломить мною эту ничтожную жестянку, а я упирался ногами и кричал, но огромный взрыв заглушил мои крики. Дом задрожал весь, как в ознобе, и во внезапно наступившей тишине я услышал мелодические, робкие звуки разбивающегося стекла.

— В шестьдесят восьмой угодило, — сказал дядя Гриша, высовываясь из-за люка. — Разбомбило, видать. На палку-то, держись, ай встать не можешь?

Он протянул мне сверху багор, я взялся за него мягкими бескостными руками и полежал так несколько секунд, набираясь жизни от дяди Гриши. Это было как переливание крови. Потом я сжал пальцы посильнее и сказал:

— Подтяни чуть-чуть!

И дядя Гриша втащил меня.

— Мог слететь, — сказал он, — и очень просто.

Мы опять сидели с ним рядом, уже светлело, и мы смотрели на огромный столб пыли и дыма, подымавшийся совсем недалеко от нас.

— Везучие мы с тобой, — весело сказал дядя Гриша. — Ей-богу, везучие. Ведь это фугаска, полтонны, а то и тонна, не меньше, били небось по нас, да промазали.

Я сказал:

— Я пойду туда.

Но дядя Гриша не пустил меня.

— Мы на посту, парень, — сказал он. — Дай дождаться отбоя. Еще не вечер.

Но все-таки это был конец. Наступал рассвет. Побелевшие лучи прожекторов словно истаяли в огромном небе и исчезли один за другим. Снизу послышался звон колоколов пожарной команды. Долетали какие-то крики видимо, начинались спасательные работы.

Было трудно сидеть здесь и ничего не делать, но приходилось терпеть.

Так прошло еще с полчаса. Когда диктор наконец объявил отбой, я спустился вниз и побежал к разбомбленному дому. Он был оцеплен, пожарники и милиционеры никого не пускали. Их одутловатый начальник распоряжался работами. Сбежавшиеся со всех концов Москвы машины

«скорой помощи» стояли с открытыми дверями и включенными моторами. Отдельно стоял большой черный фургон. Под ногами хрустело битое стекло. Утренний ветер перегонял с места на место обрывки газет и легкие ватные хлопья. Горький запах пепелища, запах несчастья и сиротства пронзал душу. Два высоких санитара пронесли мимо меня носилки. На носилках лежала Лина. Она была голубая. На левой Лининой ноге не было туфельки. Санитары несли Лину бегом, неосторожно, не боясь причинить ей боль. Они вошли в большой черный фургон вместе с Линой и почти мгновенно вернулись уже без нее. Фургон никуда не уехал.

Я повернулся и пошел домой.

3

Я вошел в маленькую, обитую темной жестью дверь одной из комнат в подвале нашего театра. Было девять часов утра, и кладовщик Борис Филиппыч сидел уже на своем месте. Он не оглянулся, когда я вошел, он барабанил пальцами по аккуратно прибранному столу. Набарабанившись, старик неприязненно глянул на меня из-под нависших лысых надбровий и протянул

мне новенький, приятно пахнущий грецкими орехами, защитного цвета ватник:

— Прикинь.

Я надел ватник прямо на пиджак, он был мне чуть широковат. Борис Филиппыч посмотрел на меня и неодобрительно качнул головой. Потом он пошарил под столом и вытащил оттуда пару новых яловых сапог. Он кинул их мне под ноги. Сапоги упали, тяжелые, как утюги.

— Примерь, — сказал Борис Филиппыч.

Я разулся. Сапоги тоже оказались немного великоваты, но я не обратил на это внимания и надел их без портянок, прямо на носки. Свои ботинки я оставил у Бориса Филиппыча, он взял их не глядя, кинул под стол и протянул мне какую-то серую разграфленную бумагу, это была, по-видимому, ведомость. Старик ткнул в нее пальцем.

— Распишись. — Он посмотрел на меня и побарабанил пальцами по столу. Потом сказал: — Ну, будь.

Сапоги стучали и плохо сгибались при ходьбе. Они касались острыми краями голенищ моих подколенок. Они стучали очень красиво, так, наверно, стучат голландские сабо. Добротные были сапоги, громоздкие, как рояли.

Волоча их по пустынному фойе театра, я прошел

на сцену. Было очень рано. Сцена была обставлена вчера ночью, рабочие еще не появлялись. Артисты приходят позже рабочих, но все равно я не хотел никого дожидаться, потому что не мог себе представить, как я буду себя держать, если придет Валя. Слишком мне это было бы трудно. Я вышел на улицу и постоял у рекламных щитов, в холодке. Валя смеялась мне с этих щитов щедрой солнечной улыбкой. Она была здесь в разных видах, дирекция делала на нее ставку — молодая звезда. Солнце стояло над городом, оно лило свою благодать на пустынную площадь, оно припекало во всю ивановскую, и меня совсем разморило в моей ватной кольчуге. Мне стало жарко и не захотелось по жаре стучать в тяжелых сапогах до дома, чтобы собирать вещевой мешок.

Из-за угла вышел Федька, наш молодой режиссер. Он подошел ко мне, ухватил меня своей мясистой рукой за локоть и сказал, поправляя роговые очки:

— Вот чертова жара, пошли в Эрмитаж, а? Там певец какой-то приехал из-за границы. Прослушивание идет.

Федька хрипло засмеялся, закашлялся, засипел, глазки его стали серьезными, он поправил очки и невесело добавил:

— Фриц прет как скаженный, а нам понадобились интимные песенки. Пошли полюбуемся?

Я сказал:

— Не хочется.

Федька близоруко сощурился и спросил:

— Ты чего это в ватник нарядился, как Чайльд-Гарольд? И при сапогах?

— Я в пять часов уезжаю.

— Куда?

— В ополчение.

— Так, — сказал Федька.

Он постоял, помаргивая и томясь и растерянно переступая с ноги на ногу. Потом он решительно шагнул ко мне.

— Слушай, — сказал Федька, — у меня вопросик: а не наплевать ли нам на интимные песенки? Пошли погуляем, пока тихо.

У меня словно камень с души свалился. Я сказал:

— Ну что ж, пошли…

И я пошел с Федькой, с этим тюленем, с этим близоруким бегемотом. Я шел с ним рядом, скинув ватник, стуча сапогами, и радостно было мне, потому что человеку нужен друг, и на войну его должен провожать друг, а без друга человек не человек.

Мы пошли с ним по улице Горького, вышли на Красную площадь, постояли перед храмом Василия Блаженного. Мы всегда им восторгались. Потом мы перешли через мост, походили по Болоту и — снова под мост, на набережную. Москва-река дышала в наши лица, остужая их, и Кремль глядел на нас своими несказанными куполами, и зеленой травы на спуске у Большого дворца было так много, и такого она была изумрудного яркого цвета, что действовала просто как болеутоляющее. Мы перешли еще один мост и пошли Александровским садом обратно к улице Горького. Она была красива и широка, и нам, москвичам, все еще трудно было привыкнуть к новым ее масштабам и к новым огромным домам, выросшим так недавно. Мягкий асфальт таял под ногами, и мои сапоги уже давали себя знать неприятной болью где-то над пятками. Мы шли вверх по улице Горького, прошли телеграф и Моссовет. Мы больше помалкивали, но когда дошли до Елисеевского магазина и прошли его, Федька вдруг сказал:

— А может быть, выпьем?

— После, — ответил я, — ближе к отъезду.

4

Мы с Федькой пошли ко мне. Дома у меня все было по-прежнему неприбрано. Линина недопитая рюмка стояла на столе, и гвоздик, на котором висел вчера ее плащ, торчал на своем месте.

— Плохо у тебя, — сказал Федька. — Это чья рюмка?

— Не тронь, — сказал я.

Федька отдернул руку.

— Дамы? — сказал он. — Красотки кабаре?

— Она уже умерла, — сказал я.

Федька посмотрел на меня странно увеличившимися глазами.

— Ничего не понимаю.

— Сегодня разбомбило дом, в котором она жила, — сказал я. — Я, видел, как выносили ее тело.

Федька отошел от стола.

— Хорошая? — сказал он. — Красивая?

— Ты не про то, — сказал я.

— Любил? Крепко?

— Совсем не любил, — сказал я.

— Жалко как мне тебя, и эту девушку жалко, всех так жалко, хоть помирай.

Он скрипнул зубами и лег на постель.

А я быстро стал собираться. Положил в мешок полотенце, рубаху, чашку, носки, булку, остатки вчерашней колбасы, ножик, галстук, сахар и карандаш. Подпершись локтем, Федька лежал на боку и смотрел на меня молча и сочувственно.

— Ну, а она? — сказал он.

— Кто? — сказал я.

— Сам знаешь.

Я промолчал.

— Тяжелый ты человек, — пробормотал Федька, уминая под себя подушку. Потому что хромой. Ты думаешь — ты гордый, а ты просто тяжелый. — Он укоризненно покачал головой. — Может быть, что-нибудь передать на словах? — крикнул он. — Не молчи!

Но я все-таки промолчал. Федька сел на кровать и стал причесывать прямые волосы толстой пятерней.

— Вот что, — сказал он неожиданно. — Я решил: я с тобой поеду. Нельзя тебя одного отпускать. Слышишь? Я еду с тобой!

Это он говорил совершенно серьезно, даю голову на отсечение.

— Не смеши народ, Федька, — сказал я.

Он погрозил мне кулаком и снова улегся на спину. Кровать прогибалась под ним, он покрях-

тывал, глядя в потолок. А я вышел на кухню, разделся до пояса, умылся холодной водой и потом долго стоял, не вытираясь, от этого было еще прохладней и благостней.

Потом я прибрал на столе, вылил старку из Лининой рюмочки, подобрал с пола обрывки бумаги, взял мешок, надел, встряхнул, чтобы он улегся на спине посноровистей, и сказал:

— Пошли, Федька. Пора.

Он вскочил с кровати и тоже побежал к крану. Я оправил за ним кровать. Федька кончил мыться. Он сказал:

— Пошли.

Мы вышли в коридор. Я запер дверь комнаты и положил ключ в почтовый ящик.

Федька спросил:

— Это зачем?

Я сказал:

— Для ребят. Мало ли кто зайдет, Андрюшка или Санька Гинзбург, у меня так всю жизнь.

— А может, сдать в домоуправление?

— У них есть запасной. Да они и про этот прекрасно знают.

— Ну что ж…

— Да, — сказал я, — пора. Пошли, Федька.

Мы пошли со двора. Солнце уже не палило

так нещадно, и идти по теневой стороне было приятно.

— Далеко нам? — спросил Федька.

— Пять минут ходу, — сказал я.

Мы уже подходили к углу, когда кто-то окликнул нас. Это был наш актер Зубкин. Маленький, надутый, с большим лягушачьим ртом, этот деятель давно действовал мне на нервы. Ставка на карьеру во что бы то ни стало, при сером характере дарования, неукротимый подхалимаж и хамелеонская способность ежеминутно перестраиваться отталкивали меня от него. Он кричал на уборщиц и гнул спину перед первачами. В общем, все ясно. Подлец, и больше ничего.

Зубкин шел за нами, через плечо у него была перекинута солдатская скатка — ярко-голубое детское одеяльце. В руках Зубкин держал большую хозяйственную сумку.

— Далеко собрались? — молодцевато спросил он.

— Недалеко, — сказал я.

— Он уходит в ополчение, — объяснил Федька. — Сегодня. Сейчас.

— А ты, значит, его провожаешь?

— Да.

— Ну что ж, — сказал Зубкин. — Все правильно.

Ты, Королев, ведь сам просился?

— Сам, — сказал я.

— Значит, исполнилась твоя мечта.

Можно было подумать, что он мне завидует, что у него была такая же мечта, но она не исполнилась.

Мы подходили к залу Чайковского. Там стояла длинная очередь стариков, детей и женщин. Они ждали открытия метро. С четырех часов метро открывалось как бомбоубежище. Зубкин замедлил шаг и пристроился к печальному этому хвосту.

— Ну, бывай, — сказал он браво. — Желаю успеха в борьбе с озверелым фашизмом.

Он протянул мне руку, я не взял ее. Зубкин покраснел. Мы пошли дальше.

— Подожди, — сказал Федька.

Я остановился. Федька вернулся к Зубкину. Он тронул рукой свои очки и, уставив толстый палец Зубкину в грудь, громко сказал:

— Зубкин! Ты сволочь!

Мы пошли дальше.

— Он тебя съест, — сказал я Федьке.

— Подавится, — ответил он. — Не мог я себе отказать в этом. Если бы я сдержался, я бы сам был сволочь.

— Не кипятись, — сказал я.

Мы пошли еще веселей, снова мимо нашего театра, я еще раз увидел, как смеется на афише Валя. Скоро мы пришли в большую школу-новостройку, стоявшую в маленьком, мохнатом от зелени дворе.

Народу здесь было видимо-невидимо, и особенно бросалось в глаза, что это в большинстве своем пожилой народ. Молодых было мало, очень мало, а вот морщинистых, толстых, седых было вполне достаточно. Все эти пожилые, толстые и седые люди были окружены женами и детьми. Во дворе стояла та особенная тишина, которая часто бывает в приемных больниц, когда человек знает, что ложиться на операцию нужно, это неизбежно, тут ничего не поделаешь, и все это на пользу, во имя здоровья и, может быть, самой жизни. А все-таки внутри у тебя сиротливо, и боязно тебе, и торжественно. Близкие люди смотрят на тебя с любовью и страхом, с надеждой. И ты сам ощущаешь, что ты уже не с ними, а там, за чертой, ты сел на пароход, плывущий в неведомые суровые края, низко и протяжно запел гудок, швартовы отданы, судно отваливает от дебаркадера, и на берегу осталась твоя прежняя милая жизнь с васильками и веснушками. По мере того как пароход выходит на середину реки, струна,

связывающая тебя с берегом, натягивается все туже, становится все тоньше, и от этого больно, но ты знаешь, что струна эта не лопнет никогда, она только истончается от расстояния и времени, и пронзительней делается боль.

Я пошел в глубь двора, где стояли столики с цифрами и буквами, разыскал свою литеру, отметился и спросил у человека в железных очках, что мне делать дальше. Он сказал:

— Ступай, Королев, за дом. Там котелки выдают, получи себе. Ты теперь под моим началом будешь, я твой командир. Бурин Семен Семенович. Жди во дворе команды.

И он улыбнулся мне, но тут же насупился. Видно, считал, что командиру не к лицу улыбаться.

Я пошел за Федькой, потом мы вместе пошли за котелком, и Федька ни с того ни с сего взял котелок и себе. Он был угрюмый и все время поправлял очки. Мы стояли во дворе и ни о чем уже больше не говорили, а я все думал, что во дворе много, очень много женщин, и как же это Валя сидит сейчас дома, или репетирует, или слушает интимные песенки, когда я стою тут в сапогах, у меня уже натерты ноги и котелок в руке, и скоро-скоро поезд грянет, и прости-прощай, прощевай пока… Мне было непонятно, что ее здесь нет, но я

не ругался, не клял, просто я совершенно ничего не мог понять.

Так длилось довольно долго. Наконец ко двору подъехало несколько старых грузовиков, раздалась команда: «По машинам! Второй взвод, ко мне!» Я протянул Федьке руку, и он пожал ее. Мы обнялись. Котелки гремели в наших руках во время объятья, я взял Федькин котелок и нацарапал на нем ножом: «На память» — и расписался. На зеленой краске было приятно резать, и получилось совсем неплохо. Федька еще раз пожал мне руку, снял очки и стал их протирать углом пиджака. Я побежал строиться. Началась перекличка. Потом мы сели в машину, поехали на Киевский вокзал, повыскакивали из машин и погрузились в вагоны. Провожающих не было, мы сидели кто на скамейках, а кто на полу на корточках, еще не знакомые, еще не сдружившиеся, но уже связанные одной солдатской ниточкой. Вечерело, и за окном было слышно, как поездная бригада постукивает молоточками по колесам, и доносился тихий чей-то разговор: «Отправляемся?» — «Да, с минуту осталось».

В это время в дверях нашего пахнущего карболкой вагона появилась стройная маленькая женщина… Она остановилась, держась за концы

накинутого на плечи полушалка, и поглядела темными исплаканными глазами в глубь вагона. Негромким тоскливым голосом женщина крикнула:

— Василь Сергеич, ты здесь? Отзовись!..

Тотчас откуда-то из темноты кто-то испуганно откликнулся:

— Галя?

И, шагая прямо по ногам, мимо меня пробежал высокий седой человек. Женщина прильнула к нему, было слышно, как она плачет. Седой человек поднял ее на руки, как маленькую, и вынес из вагона. Состав дернулся, седой вскочил на подножку, что-то неразборчиво крича, за окном бежала маленькая женщина, держась за концы стянутого на груди платка, колеса тарахтели, поезд набирал скорость. Мы поехали.

5

Тепло было в этом трясущемся вагоне, тепло и уютно. Где-то в самом отдаленном уголке горела единственная тусклая лампочка, в полураскрытые окна задувало прохладительным ветерком, сладко и ново пахло махоркой. Высоко в синем небе зажглись бледные звезды и побежали за на-

ми, я смотрел на них, смотрел неотрывно, и, хотя в вагоне было чересчур тесно и в общем очень неудобно, я чувствовал, что здесь уже поселился и жил невидимый, но горячий дух солдатского братства, и я сразу пошел с ним на сближение, я раскрылся ему, и мне тотчас стало спокойней, даже душевная боль как будто немного притупилась.

Я старался не думать о Вале, просто сидел в темноте и вроде дремал. Я вообще дьявольски устал за эти мои последние сутки. Я привалился к стене, осторожно протянул ноги и задремал чуть-чуть покрепче, и тут-то оказалось, что прошедшие сутки не отпускают меня. Дремля и качаясь вместе с вагоном, я все звонил куда-то в полусне, звонил, звонил и не мог добиться ответа и исходил бессильным отчаянием и сердечной тоской.

Видно, кто-то, проходя по вагону, толкнул меня, и я проснулся от несильной боли в боку. В вагоне стало еще теплей и немного светлей. Прямо против меня, на уголышке, сидел русоволосый складный парень с простым и добрым лицом. Он снял с себя верхнее и сидел в одной майке, сверкая мощным разворотом белых плеч и бильярдными шарами бицепсов. Маленький человек, которого в полумраке можно было бы

принять за мальчишку, маленький, но вполне взрослый человек, с седеющими висками, в огромном кожаном пальто и в такой же кожаной кепке, сидел рядом с русоволосым богатырем. Кепка спадала на уши маленького, и рукава его пальто были много длинней рук. Тут же, сложив на коленях загорелые мосластые руки, сидел человек, на три четверти состоящий из буйной, ячменного цвета бороды. Я подумал, что такая борода немыслима без ярко-голубых глаз, похожих на цветок льна. Да, глаза у этого медведя были льняные, голубые, веселые, смекалистые, такие глаза имеют только бывалые, настоящие люди, и мне очень понравились Лен и Ячмень. Там была еще и Кукуруза. В улыбке человек обнажал ряд ровненьких, уже пожелтевших, как кукурузные зерна, зубов. За ним — некто высокий в сером, с лошадиной челюстью, дальше виднелись бухгалтерский профиль, ежиковая голова, орлиный нос, слоновое ухо и много, много еще…

— Надо спеть, — сказал маленький человек и вздохнул, — надо спеть хорошую песню.

— Верно, — сказал сидевший в майке. — Валяй, Тележка, затягивай!

Меня поразило, что они уже были знакомы, были на «ты» и что у них даже и прозвища какие-то

появились.

Маленький человек закрыл глаза.

Там вдали за рекой

Загорались огни…

начал он, и в вагоне сразу стало тихо, и над перестуком колес поплыл, зазвенел тонкий, качающийся голос маленького человека, запевшего первую нашу общую песню:

В небе ясном

Заря догорала…

Он перевел дыхание, получилась маленькая пауза, все мы вдохнули воздух и

Сотня юных бойцов (это пели уже все)

Из буденновских войск

На разведку в поля поскакала…

Когда повторяли во второй раз, русоволосый парень взвился голосом куда-то высоко-высоко, в самое поднебесье, словно задумал совсем от нас улететь,

Из буденновских войск…

но его удержал на земле чей-то глубокий темно-синий бас:

На разведку в поля поскакала...

И тут мы все стали глядеть на маленького человека, стали глядеть с надеждой, нетерпеливо, торопя его и понукая, поощряя и прося...

Они ехали молча
В ночной тишине,
Ах, по широкой

Украинской степи... с виду бы совершенно спокойно повел рассказ дальше маленький человек, но все мы знали, что встреча и бой неминуемы:

Вдруг вдали,
У реки,
Засверкали
Штыки,
Это белогвардейские цепи.

И тут маленький человек заторопился, он пел, захлебываясь от ветра, свистящего в ушах, и дрожа от бешеной скачки:

И без страха
Отряд наскочил
На врага!..

Теперь песня уже не гремела, она стлалась по

низким волнам седого ковыля:

Он упал на траву,
Возле ног
У коня
И закрыл свои карие очи...
— Ты, конек вороной,
Передай, дорогой,
Что я честно
Погиб за рабочих!

Слушая эту песню, я пел ее вместе со всеми и думал, что это хорошая песня, что ее не забыть никогда и что теперь пришла моя очередь ее петь. То дело давно было, в восемнадцатом году, а теперь уже сорок первый, но это все равно, пришла моя очередь, и пусть это будет не так красиво, без тонконогих быстрых лошадей и без свиста серебряной сабли, все равно я горжусь тем, что пришло время, пришла моя очередь, и я пою эту песню вместе с моим отрядом и без страха иду на врага. И, может быть, думал я, у меня когда-нибудь будет сын, и я научу его этой неумирающей песне.

...Тусклая лампочка вдруг часто замигала, поезд как будто споткнулся на ходу, залязгали, набегая

один на другой, буфера, и мы остановились.

Тотчас же от дверей вагона раздался негромкий, но повелительный голос:

— Выгружаться! На платформе повзводно стройс-сь!

Один за другим мы протиснулись к выходу и попрыгали на платформу. В этой толчее и суете я потерял своих новых товарищей. Когда спрыгнул вниз, отбежал два шага в сторону и встал, озираясь по сторонам. Было здорово темно. Тучи плотно задернули небо, и в воздухе запахло крепким спиртовым запахом ночного дождя. Две-три капли, тяжелых, как монеты, упали мне на плечо.

Я не знал, куда мне идти, не узнавая в этих суетящихся в темноте тенях никого из моих товарищей по вагону. Вдруг откуда-то слева донесся протяжный и требовательный голос:

— Второй взвод, ко мне-е-е!

Я обрадовался этому голосу как родному и побежал к нему. У палисадника я остановился, узнав в кричащем человеке командира Бурина. Он раскинул руки и крикнул:

— Ста-а-новись!

Я встал в строй. Дождь усилился. Послышалась команда: «Направо! За мной ша-гом арш!» — и

мерное похрустыванье наших шагов. Мы обогнули палисадник, прошли позади станционного здания и снова услышали строго заботливый голос взводного:

— Под ноги! Ноги!

Впереди идущие чуть замешкались. Потом и я перепрыгнул через какой-то брус, взвод свернул вправо, прошел мимо плоских и длинных амбаров, обогнул молчаливую группу огромных ветел и вышел на мягкую, мокрую, начинающую раскисать от дождя дорогу.

Сзади кто-то сказал:

— Мы на фронте.

6

Мы шли через темную дождливую ночь по размытой вязкой дороге, и я чувствовал, как набухает от дождя мой новенький ватник и въедливая, холодная сырость просачивается сквозь него. Лямки вещевого мешка натерли ключицы, и они ныли и саднили. Я поминутно оступался, спотыкался, терял равновесие и хватался за товарищей по шеренге, чтобы удержаться на ногах, но все это была бы ерунда, если б не ноги. Еще сегодняшним далеким утром сапоги начали

свою черную работу, и они не прекращали ее ни на минуту, скребли и натирали мне своими каменными задниками пятки. Но по сравнению с теперешней болью утренние ссадины были просто пустяки. Сейчас сапоги разрушали мои ноги по-серьезному, и я понял, что мне несдобровать, что с этим делом не шутят. Я шел, не видя дороги, а ноги мои грызла страшная боль, каждую минуту я говорил себе, что не дойду, что больше уже не могу сделать ни шагу, и все-таки шел.

Я не знаю, сколько это продолжалось, наверно очень долго. Темнота все сгущалась, мы шли через самую толстую завесу ночи, был слышен наш недружный разрозненный шаг, и впереди иногда что-то неразборчиво выкрикивал взводный.

Наконец часа через три мы втекли в какую-то маленькую настороженную деревушку, и в рядах стало известно, что здесь мы будем ночевать.

— Да в любом сараюшке, — говорил кому-то человек, — по голосу я узнал ячменную бороду. Он шел почти рядом со мной. — Сено, солома, сухо — чего еще? Отоспимся, а там дале пойдем, к месту назначения…

Я сказал голосу:

— Я с вами пойду.

Он живо откликнулся:

— А то с кем же? С нами, с нами, конечно. Вон и Тележка с нами, и Лешка, да и ты тоже. Мы вроде как своя компания. Тебе как фамилия?

Я ответил. Он сказал вдруг важно, и мне показалось, что я вижу в темноте Ячмень и Лен.

— А меня будешь звать Степан Михалыч, я постарше тебя.

Этот разговор очень пришелся мне по душе. Хорошо, что уже есть своя компания и что я тоже в компании, а я этого совершенно не знал. Я теперь шагал особенно внимательно и все поглядывал в сторону Степана Михалыча.

Мы шли еще и еще, кружась по деревне и плутая в ее переулках, случайно набрели на колодец, услышали скрип, увидели маленький огонек, и тотчас к колодцу побежали прямо из строя многие из наших ребят. У меня давно уже пересохло горло, во рту было сухо, хоть помирай. Пот бежал по лицу и сейчас же высыхал, такой я был разгоряченный, а дождем не напьешься, особенно на ходу, так что я вместе с другими тоже отбежал к колодцу.

Там стоял маленький керосиновый фонарик. Как он дожил до нашего времени — непонятно, такой он был старомодный, древней формы, как паровоз, на котором ехал Стефенсон. Колодец

был обыкновенный «журавль», распоряжалась здесь молодая женщина, она опускала легкое ведерко вниз, ловко перебирая руками, как будто мерялась в чижика, жестяное ведерко шлепалось где-то неглубоко, и женщина подымала его кверху. Подавая нам воду, женщина глядела на пьющих, и из прекрасных огромных ее глаз бежали небыстрые слезы. Мы пили из ее теплых родных рук чистую холодную воду. Старые, молодые, хорошие или плохие, мы все пили из ее рук, это была наша женщина, и хотя она была молодая и очень красивая, я услышал, как старый человек с толстым носом сказал ей, отдавая ведерко:

— Спасибо, мать.

Я напился воды досыта, а все стоял. Жалко было уходить. Здесь на ветру, у маленького фонаря, в брызгах и скрипе старого колодца, сияли добрые прекрасные глаза, они отогревали душу, и не хотелось уходить. Но откуда-то издалека раздался негромкий, но слышный тенорок Степана Михалыча:

— Ми-и-тя-я!..

Я взглянул на женщину, она улыбнулась мне сквозь слезы, я кивнул ей и побежал на зов, прихрамывая сильнее, чем обычно.

…Это был довольно большой сарай, наполовину

набитый соломой, в темноте уже пахло черным хлебом, и слышно было, как возятся люди, шуршa соломой и устраивая себе ночлег. Слышно было уже сладкое позевывание с подвыванием, и звякание отстегиваемых ремней, и только что народившийся ядреный храп.

Я сказал наугад:

— Степан Михалыч?

Он как будто ждал меня.

— Митька? — отозвался он строго откуда-то слева.

— Ага, — сказал я и двинулся к нему.

— Шляешься, — сказал Степан Михалыч. — Иди сюда, тут вся наша публика. Иди, малый, не бойсь. Тележка, посунься-ка малость. Лешка, пусть-ка он с тобой лягет.

Степан Михалыч был за старшого. Все его слушались.

— Давай сюда, — сказал Лешка.

Я пошел на его голос и, дойдя, опустился на солому. За моей спиной солома стояла твердой колючей стеной, на нее можно было опереться. Надерганная из этой стены, она лежала подо мной как хрустящий, роскошный пуховик. Мне казалось, она светится в темноте небывалым золотым светом.

— Еще суток двое пройдет, пока до места доберемся, — сказал Степан Михалыч. — Есть-то хочешь, малый?

— Нет, — сказал я, — устал…

— Отдыхай, — сказал Степаныч. — Устал, так отдыхай.

Я снял с себя ватник и положил его в головах. Теперь я пытался снять сапоги. Они не давались, и я сопел от напряжения.

— Давай помогу, — сказал кто-то рядом, и на фоне открытой двери я узнал маленького Тележку.

Я сказал:

— Не надо, я сам.

— Давай я, — сказал лежавший рядом Лешка. — Сиди, Тележка.

Он встал на колени и помог мне стащить сапоги.

Снять носки я побоялся, потрогал только руками, носки прилипли к пяткам, и я знал, что под ними раны.

— Ноги сбил, — сказал я, — стер к чертовой матери, еле дошел.

— Ноги надо беречь, за ноги солдата на губу сажают, — сказал Степан Михалыч.

— Ну и сапожищи же, — сказал Лешка, — тут

сотрешь! Как из листового железа.

— Ты, Лешка, — опять вмешался Степан Михалыч, — ты завтра разбей ему, ведь погибнет.

— Ладно, сделаем, — сказал Лешка. Он помолчал, а потом спросил, чуть придвинувшись, как бы уже заводя разговор, касающийся только нас двоих: Парень, а ты кто?

— Маляр я, — сказал я, — в театре маляр.

— В театре? Вот интересно! — живо воскликнул Лешка. — Там всегда интересно. Артисты... Слушай, скажи, верно говорят, что артисты, когда на сцене плачут, они себе незаметно глаза луком натирают, чтобы слезы текли?

— Брехня, — сказал я.

— А артистки красивые? — спросил Лешка.

— Красивые.

— Все?

— Все.

— До одной?

— До одной!

— Врешь.

— Леша, — спросил я, — а ты кем работаешь? Кто ты?

— Я разнорабочий, — сказал он, — на заводе болванки таскаю. Делу еще не выучился. Года не те, на фронт и то года не подошли.

— Выучишься, — сказал Степан Михалыч, который, видно, слушал нас. Выучишься и будешь инженер или, как Тележка, — архитектор.

— Воевать нужно, — сказал Тележка. — Вам понятно? Нужно воевать, а мы что? Грыжевик да хромой, младенец да старик, да изжога…

— Не скажи, — сказал Степан Михалыч. — Ты, может, и грыжевик, а я изжога, а мы все равно дело сделаем. Мы свое дело сделаем. Не скрипи, Телега.

— Я не скриплю, — сказал Тележка. — Не в том дело, Просто хочется дать больше, чем можешь, понял? Больше и еще в два раза больше.

— Это-то я понял, как не понять. Это в тебе душа горит, рвется душа! Это понятно, это я вижу!

— Все-то вы видите, все-то вы знаете, дорогие наши Степаны Михалычи, вздохнул Тележка. — Не вахтер с «Самоточки», а чистый профессор кислых щей. Все про людей понимает.

— Не строй из себя, — сказал Степан Михалыч. — Брось смешки. Не глупей вас.

— Да нет, я серьезно, — сказал Тележка и снова вздохнул. — Может, поспим?

— Пора, верно, — сказал Степан Михалыч. — Мить, ты что, уснул, что ли?

— Да нет, — сказал я, — нога болит.

— А ты где ее взял… эту твою… хромость-то? — деликатно, боясь обидеть, спросил Лешка.

— В детстве. Машиной стукнуло…

— Беда, — сказал Степан Михалыч.

— Но он ловко шкандыбает, — заступился Лешка. — Ничего не скажешь, управляется. Это как у тебя получилось?

Он уже меня спрашивал. Но мне не хотелось об этом говорить, и я сказал:

— В другой раз, Леша. Спать охота.

Он ничего не ответил, замолчал. А мне уж очень не хотелось вспоминать. Не хотелось, но оно само пошло. Все-таки я снова увидел, какой я был тогда маленький, я еще поднимался на цыпочки, вставал на приступку, чтобы позвонить домой. На дворе было солнечно и весело, мы играли с ребятами в салочки. Отец вышел из дому с соломенной корзинкой в руках, он шел на рынок, а мне всегда нравилось ходить с ним не только на рынок, а куда угодно, и когда я увидел его, я помчался к нему, уцепился за корзинку и стал просить его взять меня с собой. Но отец сказал, что ему нужно очень быстро обернуться и что я буду только мешаться под ногами. Я отстал он вышел из ворот, помахал корзинкой, а мне вдруг стало обидно и тоскливо, и я побежал по-

смотреть, как он свернет за угол. На улице было мало народу, я видел, как отец свернул за угол, и я стал возвращаться, а в это время из каких-то ворот задом выскочил грузовик и огромной своей шиной переехал мне левую ногу.

Когда отец вернулся с рынка, я уже лежал в больнице. Я долго там лежал, а когда вышел, уже был хромой. Отец никогда не мог простить себе, что не взял меня тогда. С тех пор он всюду меня брал, всегда держал меня на коленях или, если это было нельзя, старался погладить по голове. И когда он меня так гладил, мама всегда плакала.

Я лежал в сарае, в темноте, закинув руки за голову, укрытый соломой, рядом со мной лежал разнорабочий Лешка, обдавая меня своим молочным дыханьем, за широко открытыми дверьми в огромном небе бегали рваные тучи, дождь возился в соломе, как осенняя мышь…

7

Утром нас снова построили, и мы, отдохнувшие за ночь, пошли дальше и двигались довольно бодро. Ноги мои еще болели, но Лешка перед выходом взял у меня сапоги, долго колотил камнем и в конце концов раздробил чугунные задники

и насовал по полпуда соломы в каждый сапог. Сейчас я шел «почти не страдая» и чувствовал себя как в раю. К тому же и утро было веселое, светило солнце, молодые облака разбегались по небу врассыпную, словно стараясь поскорее скрыться от строгого хозяина. С небольшими привалами шли мы почти весь день, и наконец нам сказали, что мы пришли.

Это было огромное поле, распластавшееся подле небольшой деревушки, стоявшей на двух берегах маленькой речки, от нее метрах в пятистах. Мы остановились на этом поле и вытянулись длинной, неровной, пестрой шеренгой. Теперь на солнце хорошо была видна наша разноперая одежда, возрастная наша путаница и полная несогласица во всем, начиная от манеры двигаться до манеры стоять вольно. Нет, это была не армия, куда там, никакого сравнения! И у меня снова заныла старая косточка обиды на судьбу, не давшую мне стать настоящим солдатом.

Тем временем среди нас появились люди с веревками и колышками и стали натягивать эти веревки и колышки по одной прямой, только им одним ведомой линии. Это продолжалось довольно долго, шеренга наша расстроилась, многие уже сидели на земле или лежали, поку-

ривая. Вдруг мы услышали звук автомобильного мотора, и прямо к нам, переваливаясь через кочки и ухабины, откуда-то выскочила маленькая «Эмка», по уши заляпанная грязью. Машина не успела еще остановиться, как из нее вырвался человек с измятым, желтым, нездоровым лицом. Человек этот взбежал на пригорок, повернулся к нам лицом и заговорил. Он был довольно далеко от меня, сильный ветер хватал слова у самого его рта и отбрасывал на правый фланг, и я почти ничего не слышал. Но по тому, как крылато взметались руки этого человека, по злому напряжению всего его тела было видно, что говорил он хорошо. Он потрясал кулаками и показывал в землю, он грозил врагу, и приказывал, и вел нас за собой, и, когда правофланговые нестройно закричали «ура», мы, ничего не слышавшие, но хорошо почуявшие ненависть, пылающую в сердце оратора, мы тоже крикнули «ура».

Подъехали грузовики, нам раздали лопаты, и человек, говоривший речь, первым схватил лопату и со страшной силой вонзил ее в землю. Он выворотил здоровенный ком, было слышно, как трещал дерн. Не раздеваясь, не ожидая команды, мы похватали свои лопаты и накинулись на землю. Земля сотрясалась от наших ударов.

Человек, говоривший речь, вскочил в машину, и она поскакала вдоль фронта работ. Вслед за ее колесами катилось горячее «ура». Мы рыли землю, мы копали, мы строили рвы, эскарпы и контрэскарпы… Как мы хотели, чтобы здесь, о сделанные нами укрепления, споткнулся и сломал бы свои омерзительные лапы коричневый паук! В этом был смысл работы, в этом была цель нашей жизни, и нас нельзя было остановить. Это было вдохновение. Потное, алчное до успеха, до осязаемых результатов.

Через час огромный вал свежеотрытой коричневой земли протянулся по трехверстному фронту. Это было ослепительное начало. Мы смотрели и не верили, что это сделали мы. Мы гордились этой комковатой неприбранной землей, и, хотя самое трудное было впереди, мы уже видели, что сможем можем, черт побери! Вот они, результаты нашего труда, они пахнут сыростью, в них копошатся дождевые черви, но намечена первая линия огромного рва, значит, дело будет доделано и сослужит свою службу.

Я захотел пить. Река была неподалеку. Низкий неказистый кустарник рос на ее берегу. Спустившись, я увидел нашего Тележку. Он сидел, сняв шапку и распахнув грудь. С седых его висков

сбегали струйки, под глазами лежали лиловые тени, щеки пылали. Небольшой кружечкой Тележка черпал воду из реки и пил. Я взял у него кружечку.

— Митя, — сказал Тележка, клацая зубами. — Ты ноги сбил, а я руки натер до крови — два сапога пара.

Он показал свои руки. На ладонях были огромные, уже успевшие лопнуть волдыри, из-под них выглядывала нежная, розовая, вся в кровавых ссадинах кожа.

Из-за куста вышел Степан Михалыч.

— Надо перебинтовать, — сказал он. — Не набрасывайся на лопату, не жми, не в том дело. Здесь умом надо, а так ты совсем из строя выйдешь, Телега…

Тележка сидел и смотрел на реку.

— Меня знобит, — сказал он.

— Ты эту воду пил?! — закричал Степан Михалыч. — Ну что мне с вами делать, интеллигенция необразованная! Ведь она речная, зябкая, в ней бог весть что плавает. Ведь это риск! Не смей пить! — крикнул он мне и вышиб кружечку из моих рук. — Привезут воды или отведут на ночевку — колодезной попьешь! Посдыхаете тут, а кто работать будет?

Я прополоскал водой рот, зубы заныли, заломило челюсти. Я с удивлением посмотрел на хлипкого Тележку, как он мог пить такую?

Мы снова вернулись на место и стали копать. Оратор давно уехал, многие бегали по нужде за кусты, первый порыв пролетел, и на нашем участке как бы наступили будни.

В это время к нам пришел еще один парень, я уже видел его издалека. Он был в очках, с наискосок сломанным передним зубом, щегольски одетый в галифе и ковбойку.

— Кто здесь отделенный? — спросил парень.

Мы переглянулись. У нас не было отделенного. Лешка сказал:

— Пусть Степан Михайлович.

Парень в очках сказал:

— Норму задания будете получать на пятерых. Я пятый. Меня Бурин прислал. Прошу любить и жаловать — Сергей Любомиров.

Степан Михалыч сказал:

— Студент?

Парень сказал:

— Откуда вам это известно?

— По запаху чую, — улыбнулся Степан Михалыч. — Во мне рентген сидит на вашего брата. Становись.

Любомиров снял свитер и обнажил желтые неширокие плечи с рельефно выступающими, узкими, тугими мышцами. Не торопясь он взял лопату и отрезал аккуратный полновесный ломоть земли и аккуратно, как пекарь только что испеченный хлеб, ссунул эту землю позади себя.

Степан Михалыч сказал:

— Вполне.

Мы стали работать впятером. Мы работали так почти до вечера, и у нас дело здорово двинулось вперед. Наша пятерка ушла почти по пояс в землю, когда Тележка отложил лопату в сторону и сел на сырую землю.

— У меня температура, — сказал он, и все мы услышали его хриплое дыханье. — У меня, наверное, не меньше тридцати восьми.

— Час от часу, — сказал Степан Михалыч. — Говорил я тебе.

Лешка положил свою выпачканную землей ладонь на лоб Тележке.

— Ага, — сказал он, — можно оладьи печь.

— Мне бы попить, — сказал Тележка тихо.

— Терпи, — попросил его Степан Михалыч.

— У меня там фляжка, я сейчас, — сказал Серега Любомиров и ловко выскочил наверх. — У меня есть немного кипяченой.

Он убежал. Мы стояли вокруг маленького хилого Тележки, смотрели на его взъерошенные редкие волосы и не знали, что делать. Тележка дышал ртом, и хрипы резвились в его груди.

По гребню земли пробирался человек в перевязанных бечевками бутсах. Торс его был обнажен и разукрашен разнообразной татуировкой. На груди, конечно, «Боже, храни моряка» и «Не забуду мать родную» — литература не новая. Длинный, кривой, как турецкая сабля, нос.

Человек подошел к нам и уставился на Тележку спокойным и наглым взглядом выпуклых глаз.

— Доходяга, — сказал он, мотнув носом в сторону Тележки. — Фитилек. Когда догорит, отдайте мне его пайку.

— Здесь тебе не малина, — сказал Тележка. — Иди, блатной, я еще тебя переживу.

— Я не блатной, — сказал человек нагло. — Осторожней выражайтесь…

— Каторжан ты, — перебил его Степан Михалыч. — Самый что ни на есть каторжан. Форменная каторга.

— Ну, отделенный! — восхищенно засмеялся Лешка. — Ведь как прилепил! Каторга — каторга и есть.

Человек на гребне, видно, не захотел скандала.

— Наплевать на вас, — сказал он презрительно. — До следующего раза!

И ушел. А к нам спрыгнул вернувшийся Сережа Любомиров. Он открыл фляжку и дал ее пососать Тележке. Тележка устал сосать и сказал, отворачиваясь:

— Себе оставьте.

Наверху стоял Семен Семеныч Бурин — наше высшее начальство. Его привел с собой Сережа. Бурин сказал сверху:

— Обычная история. Работает горячо, вода ледяная. Пьет эту воду, устал, вспотел, ветер, а он грудь растворяет. Чего же ждать? Только воспаления легких. А ну, подсадите его сюда!

Мы стали подсаживать Тележку. Бурин протянул ему руку.

— Сегодня ночуешь в школе со мной — там штаб. Таблетки, то да се. Если завтра полегчает, поставлю на легкую работу: гальюны будешь рыть. Не полегчает — отправлю в Москву.

— Полегчает, — сказал Тележка. — А что это за птица — гальюны?

— Это морское выражение, — серьезно ответил Бурин, — а по-нашему, по-пехотному, — значит отхожие места.

— Но почему же именно я? — вскинулся Тележ-

ка. — Людей мало?

— Не разговаривать, слабосильная команда! — сказал Бурин. — Счастья своего не понимаешь! Иди за мной!

Он вроде бы улыбнулся, но, видно, опять спохватился, что командиру нельзя.

— Сказал и в темный лес ягненка поволок, — вяло пошутил Тележка и поплелся за ним следом.

8

Это просто удивительно, до чего у меня болело все тело. То есть не было буквально ни одного мускула, ни одного сустава, который не болел бы. Цирковые артисты называют это явление странным, царапающим словом «крепатура». Это случается, когда, давно не тренированные, они вдруг сразу в один прекрасный вечер бросаются в работу. Тут-то их и настигает эта самая «крепатура», явление крайней болезненности в мышцах, вызванное непомерной нагрузкой. Потом постепенно, в результате ежедневной тренировки, оно исчезает бесследно. Я, во всяком случае, надеялся, что оно исчезнет, потому что я так наломался за первый день нашей работы, что еле добрел до предоставленного нам овина

и грохнулся на солому, чуть не воя от страшной разрывающей боли во всех мышцах. Руки я, к счастью, почти не натер, потому что всю жизнь у меня были довольно крепкие мозоли, да и краски растирать в десятилитровом ведре — дело не для слабеньких.

Но с ногами было худо. Утром Лешка подарил мне пару новых портянок, но теперь, сняв сапоги, я с трудом оторвал портянки от пяток. Было темно, рассмотреть я не мог, да и все равно заживить-то невозможно — ведь работать нужно каждый день, а босиком много не накопаешь.

Разговоров вокруг меня уже не было слышно, все спали, встать предстояло в пять утра, и я растянулся на соломе рядом с Лешей. Я стал засыпать и, засыпая, подумал, что вот сон сразу одолевает меня и я могу не думать о Вале. Война и моя работа на войне вытесняют ее из моей жизни. Эта мысль задела меня самым тоненьким краешком, она словно пролетела мимо моего сознания, едва коснувшись его, но потом покружилась где-то и прилетела обратно. На этот раз она дала знать о себе сильным и грубым толчком в сердце — и сна как не бывало. И я опять стал думать о моей невезучей и удивительной любви.

...Я нес тогда за нею цветы.

Первый взрыв аплодисментов отбушевал, а на стихающую, вторую волну, когда зрители аплодируют уже от желания убить время, которое все равно пропадет в очереди на вешалку, на эту волну Валя не выходила. Она пробежала мимо меня и сказала на ходу:

— Цветы принесите мне, ладно?

Я стоял у кулисы возле выхода. Она успела еще и улыбнуться мне, и я, как обожженный, побежал к середине сцены, где стояли ее цветы. Это была большущая безвкусная корзина, в ней застыли, словно сделанные из маргаринового крема, гортензии. Эти ресторанные цветы, мертвые, ничем не пахнущие, всегда меня раздражали, и все же я поднял эту тяжеленную пошлость и понес, хромая и спотыкаясь. Когда добрел до Валиной маленькой двери, я, не стучась, толкнул ее ногой, вошел и сразу опустил корзину на пол. Когда я разогнулся, Валя стояла передо мной.

Я до сих пор не понимаю, что со мною сталось.

— Извините, — сказал я и схватил ее за плечи.

Я хотел поцеловать ее, а она отворачивалась, и я все время думал, что сейчас она вырвется и я поцелую ухо или подбородок, и это будет самое ужасное. Все это мелькало в моей голове со страшной быстротой. Но все-таки я поцеловал

ее в губы. Да, это было так. Потом выпустил ее. Она сказала:

— Ну и ну! Смел, нечего сказать! Ступайте. Подождите на улице.

Я шел по коридору, и все, кого я встречал по пути, казались мне красивыми и добрыми, даже этот новый гусак в лосинах, поступивший к нам не иначе как в поисках брони, артист на роли молодых подлецов, фашистов и разных дантесов. Совершенно одуревший, я вышел на улицу. Стал ждать Валю и дождался ее. Она прошла мимо и процедила сквозь зубы:

— Перейдите на ту сторону и сверните налево...

Я опять молчаливо покорился ей, пошел на ту сторону и свернул, догнал ее в темном переулке с подслеповатыми фонарями. И тут она подхватила меня под руку и прижалась ко мне.

Дома у себя такая она была веселая и простая, что даже странно было, почему ее в театре называют стервой...

— Вы мой поклонник? — сказала она.

Я сказал:

— Это какое-то не такое слово. Поклонник это ерунда...

Она поправилась:

— Я имею в виду, ну, знаете, — театральный поклонник! Болельщик… Вам нравится смотреть меня на сцене?

— Я всегда смотрю вас.

— Я знаю… Я всегда вас вижу. Ага, думаю, хроменький опять здесь.

У меня застучало в висках.

— Над этим не смеются.

Она отошла еще дальше.

— Байрон был хромым… Вы знаете, о ком я говорю?..

Я встал.

— «Прощай, прощай, и если навсегда, то навсегда прощай…»

— Ого, — сказала она, — смотри-ка — интеллектушко! Не уходите… Тем более что, по-моему, вы и еще кое-чем похожи на Байрона.

— Чем же?

Она сказала тихо и внятно:

— Байрон тоже был красивый… Вот что: после всех ваших безумств там в театре нам ничего не остается другого, нам нужно выпить на брудершафт.

Я подошел к ней. Мы переплели наши руки и выпили.

И она поцеловала меня, а я ее… Трудно про это

вспоминать.

А в ту ночь на дворе стоял май, я был совсем молодой, и я шел по моей прекрасной Москве. И все-таки не было полного счастья во мне. Не знаю почему. Впрочем, к чему же притворяться, — знаю. Прекрасно знаю.

Я все это понял много дней спустя. Я как-то лежал у себя на кровати, в окно начинал входить рассвет, и я вдруг подумал, что тогда, в первый вечер, она боялась пойти со мной рядом. Потом я подумал: а почему же она в театре никогда не разговаривает со мной, виду не подает, что любит меня? Ведь она же не замужем.

И я любил, любил ее…

…А потом началась война. Я узнал, как бомбили Брест и Киев и как гибли тысячи людей. В это время начали бомбить и нас, Россию залило кровью, и я не находил себе места. Я пошел в военкомат, но меня не взяли, и это было хуже всякого оскорбления. Я был обречен на тыловое прозябание, я не находил себе места и метался по городу в поисках возможности попасть на фронт.

Были дни, когда казалось, что мне повезло, я сумел попасть в списки добровольцев кавалерийского корпуса, который формировался в Москве. У меня там был знакомый парнишка из осоавиа-

химовских активистов, он-то и подсунул мою фамилию эскадронному. Я возликовал, начал ходить на Хамовнический плац и ждал окончательного сформирования. Не хватало конского поголовья, лошадей проминали немногие ребята — старички этого дела, и все ждали: из армии обещали подкинуть конского брачку.

Я ходил на плац и стоял в сторонке у изгрызанной коновязи, все привыкли ко мне, и мечта моя, может быть, и исполнилась бы, но я сам себя разоблачил. Однажды, когда я только входил на плац, мимо пробежал какой-то старшина и крикнул, подтолкнув меня в спину:

— Седлай Громобоя, скачи на Плющиху к Никитченке, он тебе пакет даст. Духом! Аллюр — полевой карьер!!!

Не стоит об этом вспоминать. Ну его к черту! Они выгнали меня, едва увидели, как я вхожу в стойло. Этот сволочной Громобой за версту почуял, какой я кавалерист. Не успел я с уздечкой в руках войти к нему, как он тут же, без промедления, прижал меня своим костлявым боком к стенке и стал давить. В фиолетовом его глазу, в каждой кровавой прожилочке играла насмешка. Я застонал, пихая его кулаками, но он все нажимал и, наверно, раздавил бы меня, если бы кто-то

не крикнул в это время настоящим, серьезным кавалерийским голосом:

— Прррринять!..

Тут он сразу отскочил как ошпаренный.

В общем, меня выгнали, и комэск Иванов химическим карандашом вычеркнул меня из жизни добровольного кавкорпуса.

Да, теперь это вроде смешно, а тогда я думал — совсем пропаду.

Вале я про все это не рассказывал, она ходила в последнее время какая-то притихшая, словно оглядывалась, словно искала своего места. Мы встречались с ней по-прежнему, только, может быть, не так часто, как в мае, и я крепко верил, что она любит меня. Эта вера держала меня на поверхности, а то бы давно бросился с Крымского моста в реку. Я тоже продолжал искать свое место в этой войне и однажды услышал, что набирают людей в ополчение, рыть окопы в Подмосковье. Я быстро все разведал, вцепился в глотку райкомщикам, и тут уж я своего не упустил, я своего добился, и меня зачислили. Нельзя рассказать, как я обрадовался, что хоть куда-нибудь годен. Я первый из театра уходил туда, ближе к войне, артисты еще только сколачивались в агитбригады или готовили репертуар для раненых бойцов,

чтобы выступать перед ними в госпиталях. А в действующую армию, так сложилось, у нас пока никого не взяли.

И вот я зашел к Вале, она сидела в своей уборной и учила какую-то роль. Когда я вошел, она сказала:

— Среди бела дня, могут войти, уходите…

Я сказал:

— Валя, прощай! Я послезавтра ухожу в ополченье.

Я сказал ей «ты», поэтому она поверила сразу.

Она спросила:

— А как же… Я понял.

— Там хромота не мешает.

Тогда она медленно положила голову на гримировальный столик, прядь волос опустилась в пудру. Она плакала. И я почувствовал, что буду любить ее всегда. Я сказал ей, плачущей, придерживая плечом дверь:

— Завтра в девять приходи к аптеке. Проводи меня. Это прощание.

Она согласно качнула головой. Я вышел и отправился за разными справками, а весь следующий день мотался как проклятый, но к вечеру, к девяти, я был уже свободен, я накупил всякого барахла для закуски и стоял у темной аптеки и

ждал. Напрасно, зря стоял.

...Так и не удалось мне спать в эту ночь, хотя всего меня ломило и здорово ныли побитые ноги. Не вышло мне тогда спать в открытом ветру и звездам сарае, хотя все кругом давно уже спали, потому что вставать надо было в пять утра.

9

Когда где-нибудь в доме отдыха целый день забиваешь козла или когда в выходной выедешь с ребятами за город и тоже целый день собираешь землянику, то потом, ночью, когда земляника уже давно съедена или костяшки убраны, все равно перед глазами долго еще мелькают красные ягодиночки или белые очочки, и никак от них не избавишься. Так было и сейчас. Что бы я ни делал, в голове моей мерно взлетали лопаты. Лопаты. Лопаты. Лопаты. Они погружались в мягкую глинистую почву, сочно чавкающую под режущим лезвием. Они отрывали комья, цепляющиеся за родной пласт, они несли на себе землю, эти непрерывно движущиеся лопаты, они качали землю в своих железных ладонях, баюкали ее или резали аккуратными ломтями. Лопаты шлепали по земле, били по ней, дробили ее, поглаживали,

рубили и терзали, заравнивали и подскребывали ее каменистое чрево. Иногда одна лопата, которой орудовал стоящий глубоко внизу человек, взлетала кверху только до половины эскарпа, до приступочки в стене, оставленной для другого человека, тот подставлял другую свою лопату и ждал, пока нижняя передаст ему свой груз, после чего он взметал свою ношу еще выше, к третьему, и только тот выкидывал этот добытый трудом троих людей глиняный самородок на гребень сооружения. Лопаты, только лопаты, ничего, кроме лопат.

И мы держались за эти лопаты, это было наше единственное орудие и оружие, и все-таки, что там ни говори, а мы отрыли этими лопатами такие красивые, ровные и неприступные ни для какого танка рвы, что сердца наши наполнялись гордостью. Эти лопаты, любовь к ним и ненависть крепко сплотили нас, лопатных героев, в одну семью.

Постепенно, день за днем, я узнавал новых людей на трассе. Теперь я уже знал, что вон там, за леском, показывает небывалые рекорды казах Байсеитов — батыр с лицом лукавым и круглым, как сковорода. Ученые говорят, что нависающие веки У азиатов появились для защиты глаз от вет-

ра и солнца. В таком случае Байсеитов защитился особенно надежно. Я его глаз никогда не видел. Две черточки, и все. Но им гордились, его знали все, и я гордился тоже, что знаю его. Я знал также, что слева от меня работает Геворкян, оператор из кино, знаток фольклора и филателист, а с ним рядом Ванька Фролов, голенастый пекарь, белый, словно непроявленный негатив. Вон частушечник, толстый, как сарделька, Сечкин, он любит показывать фотокарточку своих четырех ребят, похожих друг на дружку, точно капельки. Это вот Киселев, печатник, он хворый, грудь болит. Вот неугомонный шестидесятилетний бабник аптекарь Вейсман. Волосатый гигант Бибрик, задумчивый пожарник Хомяков. Масса ополченцев, такая безликая вначале, распалась для меня на сотни частичек — разных, по-разному интересных, построенных на свой манер каждая. Снег падает, вон его сколько, сугробы, а каждая снежинка откована по-особому — протри глаза!

В эти дни установилась славная, почти летняя погодка, здесь не было затемнения, налетов не было и бомбежек, не было патрулей, ночных дежурств, и все мы немного оздоровились, подзагорели, налились в мускулах. Работали горячо, на совесть, потому что отчаянно верили, что делаем

самое главное, помогаем своими руками, своим личным трудом близкому делу победы. Так что настроение могло быть и ничего, но мешало, что не было радио и газет. Это очень нам мешало и срывало душевный настрой. Люди все ждали чего-то, томились, болели сердцем за близких и за все общее, и при встречах, когда шли на работу, или домой, или на перекуре, все спрашивали друг друга, не слыхал ли кто чего? А слыхали, конечно, часто и все больше плохое…

Тяжело это было, люди тревожились и теперь уже не бросались молча в солому после восемнадцати часов труда, не засыпали сразу, нет. Теперь подолгу сидели, покуривали, вглядывались в темноту и разговаривали негромко. По вечерам и ночью на соломе — я заметил — говорят тихо, настороженно, как будто враг близко, где-то рядом, и может услышать наши голоса и открыть по ним шквальный смертельный огонь.

10

— Орел отдали, — сказал холодным ветреным утром Степан Михалыч.

— Да, — сказал Фролов, — прет, зараза, на Тулу. Есть сведения.

— Скоро сюда объявится, — сказал Лешка и улыбнулся. Ему казалось, что он шутит.

Но Сережка Любомиров крикнул так яростно, что стало жутко:

— Хрен ему в горло! Здесь ему конец!!!

Мне вдруг стало тошно от одной мысли, что фриц может подойти так близко к Москве. Меня сразу всего покрыло испариной, и, в который раз кляня свою мешающую идти на фронт уродскую ногу, я взял лопату и пошел. За мною потянулись все, и мы снова начали работать, и работали сегодня особенно яро, молча, без разговоров.

Дело было на новом участке, я уже выкинул с кубометр. Лешка был где-то рядом. Мы с ним теперь крепко сдружились, потому что он был золотой, золотой человек, иначе не скажешь. Мы работали с ним на склоне. Вокруг торчало много пней, видно, здесь сводили когда-то лес, а фронт наших эскарпов тянулся как по ниточке, и если нам по пути попадались пни, то мы их корчевали.

Мы с Лешкой стали как раз корчевать огромный пнище. Пень запустил свои берендеевы пальцы глубоко в землю и не хотел вылезать. Мы собирались поотрубать ему все щупальца и спихнуть его в реку. Дело было нелегкое, мы с Лешкой

сопели и пыхтели, не зная, как бы управиться половчей. В это время недалеко от нас раздался крик. Мы выскочили из окопа. За гребнем стоял Каторга. Увидев людей, он замахал руками и завопил:

— Кро-от! Давай сюда-а-а! Кро-от выкопался!!!

Мы сбежались и сгрудились вокруг Каторги. У него на лопате лежала маленькая, черная шерстистая свинка. У нее был розовый подвижный пятачок. Свинка упористо шевелила передними сильными и когтистыми лапами. Городские жители, мы уставились на крота, как на чудо. Лешка улыбнулся и наморщил лоб. Тележка присел на корточки, чтоб лучше видеть, Байсеитов сказал:

— Животная…

И на странное, ханское его лицо легла легкая, нежная тень.

Каторга пошевелил лопатой, чуть-чуть тревожа крота, ему хотелось отличиться, наглый, кривой его нос висел в задумчивости. Наконец вдохновение осенило его, и он заорал:

— Топить!

И, широко размахнувшись, подкинул крота к небу. Маленькая свинка взлетела, превратилась в точку и, описав кривую, булькнула в речку. Все это произошло очень быстро, и можно было

расходиться.

Но Геворкян тихо сказал:

— А жаль. Крот — он ведь нашей породы. Слушай, он же землекоп.

По реке плыла щепочка. Щепочка вдруг клюнула, как поплавок, а через секунду рядом с ней уже торчало маленькое рыльце: это наш бодрый работяга крот подумал, что жизнь — чересчур распрекрасная штука, чтобы расставаться с ней на заре туманной юности, всплыл и уцепился за щепочку. Лешка первый это понял и, хлопнув себя по бокам, закричал, повизгивая от восторга:

— Ай, кротяга! Всплыл! Ай, чертова сопелка! Спасать!!! — И, в чем был, золотой наш Леха пошлепал по течению вниз, зашел в воду, подождал и вытащил крота.

Он вынес его на берег, встал на колени и, подув зачем-то на землю, положил крота. Крот трясся, и мы опять стояли над ним тесным кругом. Лешка сказал строго:

— Дайте солнца!

И мы раздвинулись, чтобы крот мог отогреться.

Крот грелся, оживал, и все становилось на место.

Нужно было идти работать, и так сколько вре-

мени потеряли. Я прошел и задел Каторгу плечом. Я это сделал без умысла. Он посмотрел на меня и сказал, ухмыляясь:

— Ходи вежливо, жлобяра. А то тебе выйдет боком. Я накопляю на тебя матерьял.

Я не стал ему отвечать. Я пошел к своему пню, стал с ним возиться и ждать Лешку.

11

А ночью вдруг задул северный леденящий ветер, он сотрясал ветхий наш сарай, расшвыривал солому на крыше, и в открытые двери полетела сухая белая крупа. Мы проснулись полузамерзшие и сбились в кучу. Ветер пробирал до костей, было тоскливо, хоть вешайся, да иначе и быть не могло — на дворе стоял октябрь, проклятый октябрь сорок первого года, такой несчастливый для нашей земли.

— Теперь сарайной жизни конец, надышались вольным воздухом, — сказал Лешка и вздохнул. — Чуть рассветлит — надо в деревню перебираться.

— Переведут организованно, — сказал Тележка. Он уже давно вырыл гальюны на всю нашу армию и теперь снова жил и работал с нами.

Но Лешка, несмотря на свой незрелый возраст, был мужичок себе на уме. Предприимчивость так и кипела в нем.

— На Бога надейся, — сказал Лешка с мудрой улыбкой.

Деревня Щеткино лежала немножко левее нашего фронта работ, километрах в полутора. Мы жили в ее гумнах, совсем неподалеку от крайних домов, не встречаясь с ее обитателями, занятые только своей работой, не имея никакой возможности выбиться из жестокого ее ритма. Мы уходили затемно и приходили в темноте. Полевая наша кухня окопалась в лесочке, там мы и ели. Деревня нам была не нужна, мы были сами по себе, они — сами по себе. Знали только, что стоит Щеткино на двух берегах расширявшейся в деревенской своей части речки, что большая часть деревни стоит на той стороне, ближе к нашей трассе, и там же помещается наш штаб, и что есть еще малая часть Щеткина, как бы затыльная, заречная его часть.

В сарае становилось все холодней, но небо начало светлеть, и было уже видно, как серые недобрые тучи всползали на небо. Мы все стояли у сарайных дверей и смотрели в поле.

— Сходим постучимся, — сказал Лешка. — Чем

зябнуть, все лучше.

Он двинулся к двери. Я пошел за ним.

— А ты посиди, — сказал Лешка, не оглядываясь. — Чего тебе-то. Я все сделаю.

— Я с тобой, — сказал я.

Мы пошли по узкой невидной тропке, по застывшей, сцепленной крепким заморозком земле. Было еще темновато, и, хотя брезжило утро, казалось, что это сумерки и скоро настанет вечер. Деревня была голая и грязная, как немытая ладонь, вся какая-то пустая. Безрадостно было идти по ее неприветной улице.

Дома были какие-то полуслепые, и по Лешкиной походке я видел, что ему неохота идти и проситься на ночлег ни в один из этих домов.

— Пойдем туда, за речку, через мост, — сказал он.

Мы спустились и пошли через ветхий мостик, пугливо вздрагивающий под нашими шагами, потом поднялись в гору. Здесь у домов не было даже палисадников, ограды дворов сплетены из веток, из пиалок с надетыми на них ржавыми банками, из обрезков старой кровли, разноцветных тесинок, хвороста и прочего барахла.

— Бедность, — сказал Лешка пригорюнившимся голосом. — Бедность, куда там. Толканемся

сюда?

Я кивнул. Дом был серый, старый, с похилившеися набок крышей, похожий на больного человека, которому уже трудно держать голову прямо. В окнах мелькал слабый огонек; видно, хозяйка встала спозаранку и теперь растапливала печь.

Лешка взошел на крылечко и постучал. Дверь открылась.

Лешка сказал:

— Баушк, мы хочем у тебя ночевать.

Она сказала:

— А вас сколько?

Лешка сказал:

— Ну, пятеро! Не замерзать же в сарае!

— Вы московские, что ль, ополченцы?

— Ну да.

— Прямо не знаю. Не знаю и не знаю. Изба-то махонькая, кроватев нету.

— Мы на полу, что вы, баушк.

— Было бы тепло, — сказал я.

— Топить-то мы топим…

— И мы когда дров притащим, — сказал я.

— Мы каждый день будем таскать, — сказал Лешка. — Ведь мы из лесу ходим. Насчет дров не сомневайтесь, баушк.

— Прямо и не знаю. Тесно уж очень. А люди, видать, хорошие.

— Мы очень хорошие, — сказал Лешка. — Мы платить будем вам, баушк, у нас деньги есть.

— Деньги — это не надо, — сказала она. — Стесняюсь я, плохо вам будет у нас. Ведь нас трое. Да вас вон сколько — пять душ!

— В тесноте да не в обиде. Верно, баушк?

— Это-то верно, — сказала она, и мне послышалась какая-то невысказанная обида в ее голосе.

А Лешка пошел с козыря:

— Мы вашей внучке сахарку будем давать, баушк.

— А когда придете-то? — сказала она. — Я полы вымою. А так у меня мальчик, Васька, есть, ему если только сахарку, а внучек нет никаких…

— Мы вечерком придем, — сказал Лешка. — Вы только нам соломки натаскайте. Как стемнеет, мы придем.

— Ну, я буду в ожидании, — сказала старуха и протянула Лешке руку. Ребята вы больно участливые.

— До свиданья, — сказал я.

— Спасибо, баушк, — заключил Лешка.

— Да не зови ты меня баушкой, — вдруг встрепенулась старуха. — Какая я баушка, я хозяйка,

а не баушка. Это я неприбранная, утрешняя, вот тебе и мнится все баушка. Я еще хоть куда!

Она улыбнулась тихо и несмело.

— Вы зовите меня теткой Груней, — сказала она, вдруг повеселев. — Ну, а вас как?

Мы назвались ей поочередно, и она сказала:

— Очень приятно…

Еще раз простившись, мы ушли. Несколько минут мы шли молча, а когда сбежали к мостику, протопали по нему на штабную сторону и пошли потише, я сказал:

— До свиданья, баушк. Спасибо, баушк. Уж вы как-нибудь, баушк! Верно, баушк! Мы, баушк, да вы, баушк.

Лешка схватился руками за живот, остановившись у края дороги, согнулся в три погибели.

— Сдохну! — закричал он. — Сейчас лопну! Ой, перестань!

— Что с вами, баушк? — сказал я.

— Замолчи! — орал Лешка. — Умру! Я, говорит, еще хоть куда!

— Я вас не понимаю, баушк.

— Перестань! — застонал Лешка. — Ведь я подольститься хотел, повежливей чтоб выходило, понял, нет?

— Понял, баушк.

— Ой! — И Лешка снова схватился за живот.

Наконец, отдышавшись, мы пошли с ним дальше.

— Устроились все же, — сказал Лешка. — Теперь в тепле будем, а это, брат, великая вещь. Возьмем Сережу, Степан Михалыча и Тележку, напишем на доме: второе отделение второго взвода, — и ура.

Я сказал:

— Надо бы Геворкяна к нам и еще казаха.

— Ага, — сказал Лешка, — обязательно. И Фролова бы хорошо, и хворого этого, как его, забыл фамилию…

— Киселев, — сказал я.

— Во-во. Его, — сказал Лешка. — И еврея этого, что баб любит, хороший мужик, и пожарника, конечно, Хомяка.

— Давай, давай, — сказал я, — будем жить в одном доме тыща человек.

— А хорошо бы, — засмеялся Лешка. — Я согласен. Гляди-ка!

Он показал пальцем в проулок. Там стояла замурзанная деревенская лошадка ростом с небольшого ослика, а за ней, на земле, лежала телега, груженная бревнами. Телега лежала на боку, и, видно, бревна были увязаны ладно, по-хо-

зяйски, потому что они не рассыпались, а только съехали набок и своею тяжестью перевернули телегу. Простоволосая девчонка в клочковатом полушубке пыталась поставить телегу на колеса. Она кричала на лошадь свирепым мужичьим голосом:

— Р-разом! Давай! Ну, господа бога, давай же!

Лошадь корячилась задними ногами, тужилась, отставляя репицу, девочка налегала ключицей, а телега, конечно, оставалась на месте. Я пошел в проулок к этой девчонке, и Лешка пошел за мной. Мы подошли поближе. Девочка разогнулась, обернулась к нам лицом, и тут у меня похолодело в груди. Передо мной в стареньком рваном полушубке стояла васнецовская Аленушка. В руках ее был кнут, и она тяжело дышала, платочек висел на шее, держась одним концом. Так вот она какая стала, когда подросла! Мастер, написавший ее у ручья, наверно, не знал ее дальнейшей судьбы, вот почему так задумался он вместе с нею тогда. Теперь Аленушка уже заневестилась, ей можно было дать на вид лет шестнадцать, и как же была она красива, передать нельзя! Увидев нас, она перевела дыхание, поправила платочек и сказала хрипловато и дерзко:

— Давай, помогай, кавалеры!

Мы поставили ее телегу на колеса. Когда ставили, я видел рядом со своей Аленушкину руку, озябшую и красную и такую удивительно маленькую. Мы все кричали на бедную коняшку, и Аленушка кричала что-то дикое и устрашающее.

Потом она поправила волосы и сказала:

— Ай да мужики! Что значит мужики-то… Плохо бабам без мужиков!

Лешка сказал строго:

— Тебе сколько лет?

Она удивилась.

— А тебе на кой?

— Больно ругаться здорова. Не дело.

Она отвернулась и сказала, уставившись в забор:

— Это я без души и мысли. От тягости. А тебе не нравится — вали отсюдова.

Я сказал:

— Как вас зовут?

Она обернулась и посмотрела недоверчиво.

— Дуня. Табариновы мы.

Я протянул ей руку, и она тотчас, улыбаясь, протянула мне свою озябшую, маленькую ручку.

Я сказал:

— Мы теперь у тети Груни будем жить.

— За речкой?

— Да.

— Там тише…

— Вот и хорошо.

— Кто как любит…

— Верно.

— Ну что ж. Спасибо.

Она взялась за вожжи.

— Не стоит, что вы. Увидимся?

Она снова посмотрела удивленно.

— А у вас есть желание?

— Есть.

Она ответила:

— Было бы желание, а там, бог даст, увидимся…

Она задергала вожжами, закричала на лошадь, быстро глянула на меня из-под шелковых, небывалых ресниц и пошла за лошадью, пошла такая маленькая и такая гордая и сама по себе. Только она уже не ругалась больше, нет, она только помахивала своим умилительным кнутиком. А я остался и не мог двинуться с места, а рядом со мной стоял Лешка, и, наверно, у меня был не совсем обычный вид, потому что Лешка вдруг толкнул меня и окликнул испуганно:

— Ну? Ты что? Окаменел, что ли?

12

Как только мы с Лешкой пришли, товарищ Бурин, наш командир, собрал нас всех, построил и сказал:

— Наступает зима. Вот. Чего же ожидать? Безусловно холода. Переходим, значит, на зимнее положение. Уже договорились: спать будем в домах. Теперь новые распоряжения: побудка устанавливается в четыре утра. Перекуры — это бич. Сокращаем перекуры с десяти минут ежечасно до пяти. Обед — час. Много. Полчаса. Из этого приказа мы видим о том, что рабочий день выигрывает сами считайте насколько. Чем вызывается? Последним напряжением. Прет, бандюга. Так что надеюсь на вас.

Он кончил свою речь и ушел, поблескивая железными очками. А мы разошлись и снова стали грызть нашу землю. Буринский приказ иссушал душу. Не потому, что он ухудшал нашу жизнь, а потому, что было ясно: это не его приказ, не он это выдумал, чтоб нам меньше спать, этот приказ — результат обстановки на фронте, этот приказ идет сверху, а если там так приказывают, значит, дело наше плоховато, значит, пока еще ничего

нет хорошего после трех месяцев войны.

Горько это было, сказать нельзя как. Оторванные от мира, от близких, без газет, замерзшие, плохо оснащенные и безоружные, мы готовы были работать, работать, работать — только бы увидеть в глазах командира светлый отблеск успеха, услышать в его голосе торжествующий отзвук первых побед.

Небо было серое, цвета солдатских шинелей. Ветер усилился, и скоро пошел дождь, осенний, крупный, седой от горя дождь. Над трассой висело молчание. Лопаты шли туго, темп работы упал. За этой завесой дождя, снега и туч послышался одинокий саднящий звук. Над нами пролетал фриц. Все подняли головы к небу. Звук ушел по направлению к Москве. В перекур мы развели костер. Голая ольха, стоящая на берегу реки, ломалась легко, как сахар, и шла в огонь. Она горела ярко и красиво, почти не давая тепла. Я стоял близко у костра, и, когда отошел, — мой ватник тлел в двух местах. Я прибил огонь ладонью.

— Хоть бы по винтовке дали, в случае чего, — сказал Лешка.

— Да, лопата не стрелит, — поддержал его Горшков, беззубый плотник с «Борца».

Вот, вот. Это было то самое, что давно уже гло-

дало наши души. Сережа Любомиров остервенело ударил по комку глины, навалившейся ему на сапог.

— Ах, черт его раздери, — он весь затрясся и стал растирать себе шею. Это-то и терзает. Драться же хочется, драться! Разгромить его в порошок, в пыль, в тлен и прах, чтобы кончить раз и навсегда. А где оружие? Я вас спрашиваю, где оружие, ну?

— У армии есть оружие, — сказал Степан Михалыч. — Не робь, Серега!

— Да я тоже хочу, пойми ты! Я что, рыжий, да?! — Сережа кричал как безумный. Ой поднял лопату над собой и, не в силах сдержаться, вымахнул на гребень. Он потрясал лопатой. — Вот она, — кричал он, срываясь и захлебываясь. — Вот она, лопатка, старый друг! И все! А что еще? Когти, да? Зубы, да? Мало этого, мало!

— Все сгодится, — снова сказал Степан Михалыч и покачал головой. — На этот раз, сынка, все сгодится. Одному там танок или, скажем, миномет, а нам с тобой лопата. Не впадай ты, Сережка, в панику, без тебя тут не ай какой вечер танца.

Сережка снова спрыгнул к нам и принялся за работу. Ветер полоснул как ножом, деревья завыли и стали бить веткой о ветвь в тщетной

надежде согреться. А мы работали молча и зло, и я все время думал, что Сережка тысячу раз прав.

А к полудню ветер немного расчистил небо, стало виднее вокруг, и долгий седоволосый дождь прекратился. Солнце блеснуло, яркое и холодное. Близилось время обеденного перерыва, и к нам на участок принесли газету. Номер этот был недельной давности, но мы и такому были рады. Степан Михалыч бережно развернул газету и передал ее голубоглазому наборщику Моте Сутырину. Мы встали вокруг Моти широким полукругом, закурили, наскребывая остатки махорки, и засунули застывшие руки в карманы. Степан Михалыч убедился, что мы готовы.

— Давай, Мотя, — негромко сказал он. — Послухаем наши дела…

Да, плохие вести читал нам свежим певучим голосом Мотя Сутырин, плохие, не дай бог. Каждое слово сводки резало нас как ножом, било безменом по темени, валило с ног.

«Оставили». «Отступили». «Отошли». «Потеряли». И это все мы должны были слышать про нашу армию, про нас? А немцы, значит, гуляли по нашим полям, они топали и свистели, жгли что ни попадя и пытали комсомольцев?! И все это мы слышим наяву, не в кинофильме, не в

старой книжке про гражданскую войну, а сегодня, сейчас, под Москвой, мы, живые, стоим и слушаем это, засунув руки в карманы?!! Это было невозможно, нельзя, нельзя понять…

— «В деревне Дворики, — читал Мотя, — фашистский ефрейтор изнасиловал четырнадцатилетнюю Матрену Валуеву…»

— Громче! Не слышно… — перебил Мотьку Каторга и стал расчесывать грязные цыпки на потрескавшихся руках.

Мотька замолчал и поднял на Каторгу свои пасхальные глаза. Было видно, как задрожала газета в Мотькиных руках.

— Врут это, — снова сказал Каторга, глумясь. — Один на один не изнасилуешь!

Я обошел Лешку, пройдя перед Бибриком и Киселевым, вышел вплотную к Каторге и прямо с ходу дал ему по морде. Он зашатался и отскочил.

— Ну, все! — торжественно сказал Каторга и выплюнул длинную тесемку крови. Он все еще отступал, словно для разбега. — Уж пошутить нельзя человеку! — крикнул он надрывно. — Шуток не понимаешь, хромая ты гниль? Теперь все! — Он стал приседать в коленках для пущей зловещности. — Теперь пиши скорей мамаше, чтобы выписала тебя из домовой книги!

Я видел, как рвется к нему Лешка. Но Байсеитов остановил Лешку и вежливо взял Каторгу за руку. Каторга мгновенно позеленел, руки у Байсеитова были страшней волчьего капкана. Байсеитов отпустил его.

— Читай, Мотя, дальше, — тихо сказал Степан Михалыч.

И Мотя стал читать дальше.

13

Наш учетчик Климов заболел. Он метался на соломе, хрипел, никого не узнавал и дико кричал: «Бей» — на каждого, кто подходил к нему. Случилось это на второй день нашей жизни у тетки Груни. Маленький желтоволосый ее сынок смотрел на Климова и боялся. Я сходил к Бурину и доложил ему обо всем. К концу дня стало известно, что Климова повезут в Москву на каком-то чудом добытом грузовике. Повезет Климова наш Вейсман, аптекарь, старик с лицом президента, бабник и звонарь. Представлялась возможность написать письмо. После работы мы сидели кто где и строчили.

Я сидел у изголовья Климова, слушая его бред, и писал письмо Вале:

«Валя, я жив. Я посылаю тебе это письмо с оказией, чтоб ты знала, что я жив. Ты плакала в тот день, когда я сказал тебе, что уезжаю. Ты плакала, Валя, и я вдруг поверил, что любишь меня. Верно ли я подумал? Ведь ты никогда еще не говорила мне о любви. Но когда ты заплакала, узнав, что я уезжаю, я вдруг совершенно поверил, что ты меня любишь. И понял еще и то, что я-то тебя люблю, и что это написано во мне большими буквами, и я всегда могу сказать это при всех, не стыдясь. Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ.

Почему ты не пришла проводить меня? Ведь мы бог знает когда встретимся. Я ступил на тропу войны, как говорили индейцы моего детства, и теперь не сойду с этой тропы до самого конца. А если я выживу сегодня, здесь, я пойду дальше, а если и там я выживу в пятистах боях, я пойду в пятьсот первый. Я пойду несмотря на то, что хочу быть рядом с тобой, живой и желанной, я пойду несмотря ни на что. И это не мальчишеская жажда подвига, нет, это железная необходимость, это моя правда, мой долг, мне иначе не

жить. И вот вопрос: зачем я пишу тебе об этом? Тут ответ простой, Валя: сказать нужно, нельзя молчать, а ты вот меня любишь — значит — тебе. Но ты пойми правильно, это не печальное письмо, я хочу дожить до Победы, и я доживу до нее, я вернусь домой живой и здоровый, и я тебе очень понравлюсь, потому что я буду весь в орденах и со шпорами, и я увижу тебя и обниму.

Я сижу сейчас в полутемной комнате тетки Груни, приютившей нас в своей ветхой хибарке. Нас здесь немного, четырнадцать человек да трое хозяев. Невообразимо тесно, мои товарищи тоже пишут письма, они яростно скребут карандашами. Карандаши скрипят, я слышу любовный хор карандашей, их соловьиный мощный разлив…

Если бы ты написала мне! Это письмо передаст тебе один из наших, верный человек. Напиши хоть три слова, ты сама догадаешься, какие слова я хочу услышать от тебя. М.»

Я сложил нескладное это письмо в треугольник

и заклеил его сахаром. Аптекарь Вейсман сидел в углу и штопал носки. Я подошел к нему.

— Вейсман, — сказал я, — хотите иметь слугу и раба?

— А на хрена? — сказал Вейсман. — Что я — барон?

— Слушайте, старик, урвите для меня десяток минут. Заезжайте по этому адресу и передайте это письмо в собственные руки. И возьмите ответ.

Он поскреб в затылке и сказал:

— Если дело любовное, то я постараюсь.

— Любовное, — сказал я, — не беспокойтесь.

— Красивая? — спросил Вейсман, и в глазах его зажглись огоньки.

— Ну, — сказал я, — вы таких и не видали.

— Почем ты знаешь, что я видал и чего не видал?.. — Он посмотрел на меня с превосходством. — Я такое видел в этом смысле, что тебе и не снилось… Так красивая, говоришь?

— Да, — сказал я твердо, — красивая!

— Приложим усилия, — сказал Вейсман важно, как президент. — Только бы не подвели с обратной машиной. Готовсь, привезу тебе целую жменю маринованных поцелуев. Иди, не мозоль глаза!

И он сунул мое письмо в карман, как суют из-

мятый носовой платок.

14

Этот собачий пень портил нам с Лешкой линию нашего участка, его обязательно нужно было свалить в реку. Я возился с ним долго, срубить корневища лопатой было очень трудно. Лешка возился немножко ниже по склону. Мы с ним договорились, что когда пень будет подготовлен, мы вместе спихнем его. А пока я уже настолько взмок, что мне нужно было скидывать ватник. На таком холоде. Вообще я никогда не думал, что ватник может так быстро износиться и продырявиться в стольких местах. Ветер свободно простреливал его во многих направлениях, и я прямо не знал, что делать с этим треклятым холодом. Я был весь замерзший. Я был всегда и везде замерзший. Снизу доверху, и вдоль и поперек, и внутри тоже. Согревался я только тогда, когда непрерывно махал лопатой, вот тогда было ничего, тепло. Поэтому я работал бойко. Еще я согревался ночью в избе у тетки Груни и дяди Яши. Славные были они люди, и тетка эта и дядька. Жаль только, что мы не успели еще толком познакомиться, две-три раскуренные в дружелюбном

молчании самокрутки — вот, пожалуй, и все. Времени у нас не было на знакомство. Ночь, темнота, теснота, храп. Стук в окошко. Темнота, теснота, оделись, пошли. Лопаты, лопаты, лопаты. Земля, земля, земля. И снова ночь, темнота, теснота, храп. Вот как оно было. Но все-таки дядю Яшу я полюбил. Он был похож на Иисуса Христа или на князя Мышкина. Они вообще, по-моему, похожи. Дядя Яша дома всегда ходил в рубашке враспояску. Дядя Яша был слабогрудый и говорил глухо. Вместо прощания он всегда по утрам изрекал:

— Бей фрица, и больше ничего!

И уходил, прямой, с чахлой бородой, ну пророк и пророк.

Он уходил еще раньше нас. Трудно было прокормить даже себя и сына, война несла с собой и голод, и отсутствие рабочих рук в деревне, как и в городе, словом, все, как полагается…

Когда дядя Яша уходил, мы кормили его Васятку, маленького, хилого и милого, как больной котенок, мальчонку. Мы давали Ваське хлебца и сахару. Тетка Груня плакала неслышно, когда мы кормили малыша, а он грыз сахар и протягивал на липкой ладошке матери, делился, значит, угощал. Она отказывалась, а мы отворачивались, чтоб не видеть всего этого. Потом мы уходили,

напившись кипятку. Два раза я в сырой предутренней мгле за мостиком видел васнецовскую Аленушку, Дуню Табаринову, я махал ей рукой, и она приветливо отвечала мне тем же, милая, сказочно красивая девочка с красными, озябленными руками.

В эти дни мы должны были соединиться с идущими нам навстречу ополченцами, и линия контрэскарпов казалась мне бесконечной. Я представлял себе, как она опоясывает всю Москву — широкая, надежная, недоступная… Я представлял себе всех нас сидящими внутри этого прочнейшего пояса. Вот он, фашист, прет, прут его танки, пехота, они наступают, но стоп! Шалишь, фашистская морда, не тут-то было, не пройдешь! Танки их растерянно тычутся вправо и влево, шутка ли, перед ними неодолимое препятствие, они замешкались, выключили моторы, а мы их поливаем, а мы их поливаем огнем! Они валятся во рвы, вырытые нашими руками, и здесь находят свою смерть, и благодарная история вписывает наши безвестные имена золотыми буквами на свои сияющие страницы…

…Но пень покамест портил мне все дело. Он все-таки заставил меня скинуть ватник, в такую-то погоду. Пень уже висел на одном корешке, но

сколько я его ни пихал, он и не думал двинуться с места. Я решил подрыть его еще немного. Невдалеке, немногим пониже меня, копошились Лешка с Тележкой. Они выкорчевали уже три пня. Чуть левее их орудовал Степан Михалыч с Сережкой Любомировым, и у них тоже были успехи, а я все еще возился со своим Берендеем. Я стал сбоку подрывать под ним яму. Здоровый был пнина и страшный, как леший. Я выкинул две-три лопаты из-под туго вросшего, похожего на морской канат корня и увидел, что пень пошел. Он наклонился вперед всем своим почерневшим, заросшим плесенью срезом и, видно, собирался кувыркнуться. Он уже заходил на кувырок и мог меня придавить. Я отскочил, положив руку на его жесткий кабаний бок и подпихивая его. В двух шагах под пнем, спиной к нему, стоял на четвереньках Лешка. Пень заходил уже за ту точку, перейдя которую, он понесется вниз стремглав, страшный, как зверь. Я попытался остановить его и схватил за торчащий снизу сук. Лешка все еще возился. Язык у меня стал толстый, он не поворачивался во рту, это было как во сне, но я превозмог наваждение и крикнул:

— Лешка! В сторону! Берегись!

Он сразу понял, пригнул голову и быстро пере-

двинулся на коленях вправо, а пень повалился боком, очень мягко подвернул мой палец под сучок и наконец, словно окончательно надумав, как мальчишка, ринулся галопом вниз, скача и подпрыгивая легко, несмотря на свой вес. Он так и докатился до самой речки, скача и приплясывая, вбежал в речку по сукастые свои колени и встал.

А я смотрел на свой большой палец. Он висел почти отдельно, как с чужой руки. Он уже синел. Испарина выступила у меня на висках. Лешка подбежал ко мне. Он сказал:

— Сломал?

Я сказал:

— Не знаю.

Вокруг уже собралось много народу. Степан Михалыч положил мою кисть на свою широкую ладонь.

— Нет, — сказал он, — не сломал, нет.

— Растяжение, — сказал Тележка.

— Вывих…

— Теперь тебя отправят…

— Не работник, ясно.

Стоявший неподалеку Каторга, вытянув шею, крикнул:

— Это он сам над собой сделал, самострел клятый…

Лешка погрозил ему кулаком.

— Позовите Сему, — сказал Байсеитов.

Сережа Любомиров сказал:

— Сейчас.

Но кто-то уже вел Сему. Он был как гном, бородатый и горбатенький. Я его знаю по Москве, он расклейщик афиш, свой брат, такой же, как и я, служитель муз.

— Ну-ка, — сказал Сема, — покажь.

Он погладил мой палец, осторожно, не причинив боли, наоборот, даже приятно было.

— Этот палец, — сказал Сема важно, — этот самый палец выскочил из своего гнезда. Держите огольца. И ничего особенного.

Лешка обнял меня сзади за плечи и прижал к себе. Мне было слышно, как в левую мою лопатку сильно стучится Лешкино сердце. Сема взял мою руку и сказал убаюкивающе:

— Закрой глаза.

Я закрыл, но не сдержался. А Сема сказал, отходя:

— А зачем орешь? Орать не надо. Операция закончилась. Затяни чем-нибудь. Освобождение, конечно. Ну, хошь на день. Доложись командиру.

Я смотрел на его горбик, бородку, кривые ноги

и подумал, что он, наверно, в самом деле гном и колдун, это он притворяется, что он расклейщик. Палец, хоть и болел, и был синий, и опух ужасно, а все-таки он болел нормально, как-то по-другому, чем минуту назад. Да здравствуют гномы!

Я пошел к штабу и разыскал Бурина. Он долго и пытливо рассматривал мою вздутую кисть и синий палец, потом подозрительно спросил:

— Это как же вышло?

Я рассказал ему. Он рассердился.

— Испугался, значит, за дружка?

— Да.

— Он бы сам отбег. Надо бы тебя на губу или судить как дезертира!

Я сказал:

— Ты спятил, Бурин. А если бы задавило Фомичева?

— Брось, — сказал он жестко. — Не ной. Я тебя знаю, не думай. И только поэтому, черт с тобой, отдыхай, гуляй, ваше сиятельство, барствуй! Валяй, значит, лодыря, через свои нервьы. — Это он в насмешку так сказал «нервьы» и покривил едко губы. — Но завтра выходи на трассу! Не сможешь отправлю. Иди.

Он отвернулся. Ишь ты, какой железный командир! Он меня отправит! Ты подавишься семь

раз, прежде чем меня отправишь. Я тебе покажу «нерьвы». Я шел от него, проклиная все на свете.

15

— Здравствуйте. Что не на работе?

Она окликнула меня из своего проулка, когда я шел от Бурина, злой как черт. Я шел к нам в избу, к тетке Груне. Не обратно ж на трассу идти, стоять там столбом. Я очень обрадовался, когда увидел ее. Я просто опять окаменел: да разве бывает такое лицо не на картинах?.. В кино у нас все уступили бы ей по красоте, если честно подходить — они и пятки ее не стоили.

Я сказал:

— Здравствуйте, Дуня. Освобождение получил. Вот палец…

Она осматривала палец, а я думал: ландыш. Только ландыш такой красивый, и Дуня — это ландыш.

— Чем бы перевязать? Вы знаете, Дуня, его надо подзатянуть.

— Ну да, — сказала она заботливо. — Зайдем-ка до нас.

Она взяла меня за руку и повела к себе. Дома у нее никого не было. Против печи шкафчик со

стеклянным верхом, там стояла кой-какая посуда. Герани и фикусы на подоконниках и на полу, а пол дощатый, голый, чисто вымытый, по такому полу хорошо ходить босиком. Левый угол был отделен занавеской, видно, там стояла кровать. Еще там была скамья, старая, серо-белая, я очень люблю этот цвет старого домашнего дерева.

— Садитесь, — сказала Дуня, — я сейчас.

Она скинула свой клочковатый полушубок и оказалась в простом ситцевом платье. Она была стройная и держала торс очень прямо, как цирковая балерина. Обута она была в огромные валенки с калошами. Калоши она тоже скинула, а валенки нет. Так и ходила — ноги слона и торс юной балерины, и лицо. Она принесла какую-то тряпочку и села передо мной. Я повернулся к ней, и она стала перевязывать мне руку. Пальчики ее согрелись, прикосновение их было ласковое, и русая ее головка с недлинной косой и неслыханной красоты лицо, все это брало за душу, и славно становилось жить подле нее, как-то доверчиво и любовно.

— Вы сами московский будете? — спросила Дуня.

— Московский.

— С матерью живете?

— Один.

— Что так?

— Она умерла.

— Ах ты… давно?

— Год уже…

— Отчего она, бедная?

— У нее болезнь была… тяжелая… Она в больнице лежала.

— В больнице?

— Да.

— Плохо в больнице лежать…

— Это все от людей, какие люди…

Я сам не знаю, почему мне вдруг захотелось рассказать Дуне. Хоть немного. Я сказал:

— Я один раз был у нее в больнице, раньше не пускали, а тут вызвали. Посиди, говорят, с мамой, повидайся. Я и не понял ничего, с радостью пошел. И когда я пришел, я пожалел. Там у них был доктор. Наглый такой, сановитый… Ему все можно. Например, резать правду-матку в глаза. То есть такую правду, которой не надо. Терпеть не могу. Я к нему пришел и дожидался очереди и случайно услышал, как он одному тихому такому парню, рабочему, говорит: «Послушайте, любезнейший»… Слышите, Дуня? «Любезнейший» — в наши дни в обращении к рабочему. Вы чувствуе-

те, что стоит за этим словом «любезнейший»?

— За этим словом стоит, что доктор сволочь, — сказала Дуня.

Я обрадовался, что она поняла, уловила, в чем дело.

Я вообще не очень-то людимый стал в последнее время, но, странное дело, я чувствовал, что говорить с Дуней можно. Вот именно — можно, она меня поймет так, как я хочу быть понятым.

— Ну, а дальше-то что? — поторопила меня Дуня.

Я сказал:

— Так этот доктор и лепит ему в глаза: «Вот, любезнейший, должен вас огорчить, надеяться не на что, жена ваша плоха, предвижу летальный исход». Тот так и закачался, ноги подкосились, сел, воздух ловит ртом.

— Это что ж за исход такой? — спросила Дуня.

— Летальный? Это смерть. От слова Лета — река забвения. Я и дожидаться его не стал, так мне противно было. Я пошел в палату, сидел у матери и держал ее руку. И вот в какую-то минуту ей стало больно и, видно, уж очень. Лицо исказилось, и она отвернулась, чтобы я не видел. А меня насквозь пронзило…

— Как это все тяжело и прискорбно, — грустно

сказала Дуня и замолчала. Глаза у нее стали влажные, и она сказала, положив мне руку на плечо:

— А батя ваш где?

Я сказал:

— Отец погиб на Хасане. Он герой.

— О Господи, — сказала Дуня. — Значит, вы сирота?

Я сказал:

— Да.

Она задумалась.

— Круглый, значит, сирота. — Она посмотрела на меня каким-то новым взглядом, более близким взглядом старшего и сильнейшего. Ах, славная, бесценная Дуня. Она сказала: — Жалею я вас, нельзя сказать, как жалею! Вы сами с какого?

— С двадцать второго. А вы с какого?

— Угадайте.

— С двадцать второго.

— Что вы? Неужели я выглядываю на с двадцать второго?

Она обиделась. Вот история! Я сказал:

— Ну, с двадцать третьего.

Она сказала недовольно:

— Конечно, теперь будете перебирать по одному.

— Я не умею угадывать!

Она улыбнулась.

— Молодой еще.

Я сказал:

— Так с какого же вы, Дуня?

Она сказала, словно желая сделать мне радостный сюрприз:

— Я с двадцать четвертого!

— Ну да? — сказал я. — Значит, вы маленькая?

— Семнадцать годов — маленькая?

— Ну, не грудная, конечно, но все-таки маленькая. Очень молодая…

Она опустила ресницы, улыбнулась уголком рта и сказала лукаво:

— Самые года.

Я сказал:

— Конечно! Невеста!

— Не смейтесь!

— Нет, — сказал я, — я не смеюсь. А сватались? Только честно!

Она притворно зевнула:

— Глупости все это. Учиться надо.

— А на кого?

— Я на учительницу хочу. Я очень понимаю маленьких ребят. Я с ними, хоть с каким, сразу как своя.

— Хорошее дело, — сказал я. — Я тоже ребят

люблю, всех маленьких люблю, жеребят и щенят. Ну, а ребята, конечно, всех лучше. Они воробьями пахнут.

Она засмеялась и снова глянула на меня долгим, испытующим взглядом.

— Вот вам и надо сто ребят завести своих. А вы холостой?

— Да… Я холостой…

— Что это вы как будто сомневаетесь… Может, неправда?

— Нет, нет, что вы. Я холостой.

— И никого нету?

— Где?

— Ну, на примете.

— Ох, так нельзя.

— Почему же?

— Ну, нельзя… А если бы я вас так спросил? Вы что бы мне сказали?

— Я?

— Да. Вы.

— Раз у меня никого бы не было, я бы так и сказала, а если бы я виляла, значит, что-то бы у меня на уме было, что я бы скрыть хотела…

— От кого?

— От вас. Да что вы все на меня-то повернули?..

— Я не сворачивал… Дуня, мне, пожалуй, идти надо…

— Куда же вы так быстро? Поговорите еще со мной.

— А про что?

— Да про что хотите, мне все интересно. Хоть про книжки…

— Да про книжки что ж рассказывать, их читать нужно. Вы что читали?

— Я? Много кой-чего… Ну, Толстого читала «Анну Каренину», Пушкина «Капитанскую дочку», Бляхина «Красные дьяволята» — много вообще… «Железный поток»… Это Станюковича…

— Серафимовича…

— Ой да, Серафимовича…

— Ну, а что больше всего понравилось?

— «Анна Каренина», конечно. Ах, бедная, несчастная… Я всегда слезами обливаюсь, как она с сыночком своим виделась. Несчастная Аннушка, красавица, а несчастная.

Я сказал:

— Да ты сейчас-то не плачь. Конечно, она несчастная, да ведь это книжка.

— Нет, — живо сказала Дуня, — это хоть и книжка и про старое время, а все-таки так было. Это жизнь. Так в жизни бывает. Это все про жизнь.

— Дуня, — сказал я, — Дуня, ты просто я не знаю какая!

Она быстро повернулась ко мне, балерина в валенках.

— Понравилась? — сказала она.

У нее было радостное лицо.

— Выше макушки, — сказал я с таким видом, что шучу.

— Сватайся! — сказала она.

Я сказал, но не сразу:

— Война.

— Да, — задумчиво сказала она, опустив руки, — война! Не можешь ты свататься. Скоро вас под присягу повезут.

— Это как? — У меня забилось сердце.

— Так. Привезут знамя — и под присягу, и все. И на фронт.

— Дуня, вы это серьезно или так? Неужели правда?

— Да вы чего всколыхнулись-то? Ай на фронте сладко?

— Слаще, чем здесь.

Она задумалась, подошла к окошку и закинула руки за голову. Потом обернулась ко мне и сказала укоризненно:

— А кто же с нами будет? С бабами и с девками

да с малыми ребятами? Ведь мы бьемся, сил нет никаких. Я вот девушка, а тогда ругалась при вас на лошадь, как пьяный бандит. Разве это хорошо? Зачем это так жизнь заставляет? Я раньше никогда себе этого не позволяла, да и сейчас с души воротит от дурного слова, а вот поди ты… А где мои папаня с братом? А, вот то-то… Мы с матерью работаем, а у ней кила, разве ей можно? Значит, все я да я. А тетка, она придурок, все с сектантами шушукается, кто ей мозги вправит? Опять я? Да она меня так шуганет, что я и костей не соберу! Вот… А вы все на фронт тянетесь, души у вас нет…

Она с досадой задернула марлевую занавеску. Рука у меня успокаивалась, она пульсировала ровно и болела сладко, выздоравливала. Я подошел к Дуне. Мы стояли рядом и молчали.

— Осерчал? — сказала она тихо.

— Нет, — сказал я, — и нисколько.

16

Никогда еще ни с одной женщиной или девушкой я не чувствовал себя так легко, как с Дуней. Мне с ней и говорить было легко, и дышать легко, я ей рассказал про больницу, и даже это мне с

ней было легко. Такого еще ни разу в моей жизни не случалось. Не рассказал бы я этого Вале — внутри затормозило бы. Она назвала бы меня сентиментальным, но это не сентиментальность. Нет. Чувства ведь все-таки есть? Бывает тебе грустно или нет? Вот тут-то и нужно, чтоб тебе попался такой человек, как Дуня… Но это редко бывает, я таких не встречал. Я вообще до Вали никого не встречал, у меня, кроме Вали, никаких романов не было. Нельзя же считать романом наши поцелуи с Адой Ляминой. Давно это было, еще в пятом классе. Мы выходили после школы на бульвар, она заставляла меня прятать руки за спину, и сама прятала свои. Мы стояли на расстоянии двух шагов и наклонялись друг к другу, выпятив губы и приблизившись, сухо и быстро клевали друг дружку носами. Это называлось целоваться и считалось страшным грехом. А потом выяснилось, что нет в классе мальчишки, не целовавшегося так с Адой. Нет, это был не роман. Это все детство… Какой это роман.

…В избе у тети Груни было пусто и неуютно, я даже пожалел, что так быстро ушел от Дуни. Там было чисто, а здесь солома лежала на полу, сбитая, старая, в комнате стоял наш знаменитый ополченческий запах, воздух был синий от невы-

ветрившегося махорочного дыма. Маленький Васька играл в чурочки возле холодной печи. Я сел к окну и подозвал его и отдал ему два кусочка сахару, они лежали у меня в кармане — я еще утром припас. Васька снова сел на пол, босые его ножки, грязные и твердые на подошвицах, были раскинуты. Он поел сахару, глядя на меня неотрывно. Дело это было минутное, и Васька обтер мокрые руки о женское лиловое трико, в которое был одет. Подошел ко мне и приткнулся у колена, и искательно погладил мой сапог.

— Ты, Митька, всегда носи мне сахару, — сказал он.

— Ладно, — сказал я, — а где мама?

— Пошла. Сказала, чтоб я не баловался.

Я взял его под локотки, поднял эти полфунта ребрышек и посадил на колени. Он стал смотреть в окошко. Я понюхал его всклокоченную головенку. Пахло воробьями. Под моей рукой билось маленькое сердце, билось гораздо чаще, чем у меня. Мы сидели так с Васькой и молчали. Он пригрелся у меня на коленях, растаял, притих и, видимо, боялся, что я взял его ненадолго, сейчас снова уйду и оставлю его на весь день. Поэтому он затаился, как мышонок, — не хотел спугнуть меня, боялся шелохнуться, чтобы не напомнить

мне о моих непонятных взрослых делах. А я снова думал, что если я люблю этого Ваську и всех других, таких же, кто сиротливо сидит один на полу в грязи, у холодной печи, то чего же я здесь сижу, надо идти, идти, идти на большую войну и сделать что-то большее, чем я делаю сейчас. Опять заскрипела душа, заныла гордость, и долг застучал кулаком в сердце.

За окном уже стало темнеть, скоро должны были прийти наши. Впервые я встречал их здесь, и я решил прибрать избу, проветрить ее, вскипятить воду. Неловко мне было, что я весь день проваландался с пальчиком, как обыкновенная рохля. Я встал, Васька соскочил с колен и уставился на меня. Я сказал:

— Большая приборка! Свистать всех наверх! Эй, на юте! Пошевеливай! За мной, Василь Яклич!

И мы с ним начали орудовать. Он мне здорово помогал. Такой маленький, а работу он знал. Я подмел пол, принес свежей соломы, открыл надолго дверь и впустил свежего воздуха. Затопил печь, поставил кипятить чугун воды. Хлеб ополченцы должны были принести свой, а может быть, и кашу или консервы. Мы долго возились с Васькой, и он все время помогал и шлепал за мной маленькими ножками и стукался об углы.

Я вытер ему сопливый нос, пригладил всклокоченные волосы, и он оказался очень даже ничего себе. Мы крепко с ним вообще подружились. Я решил прилечь и подождать, уложил Ваську на кровать, а сам лег на солому и, как только лег, мгновенно заснул. Спал я крепко и проснулся оттого, что Лешка укладывался со мною рядом.

— Это ты, Лешка?

— Ага, — сказал Лешка, — болит рука-то?

— Утихает…

— Что ж ты не ужинал?

— Проспал.

— На вот хлеб. Освободил Бурин-то?

— Ругался. Судить бы, говорит, тебя как дезертира!

— Плюнь. Это он сгоряча. А ты думал, меня раздавит пнем?

— Он уж начал переваливаться на тебя.

— Что ж руку-то не выдернул?

— Да не успел, черт его знает.

— Я теперь должен тебе отплатить!

— Спи, друг.

— Да. Это так, я тебе друг, запомни.

— Так и я тебе друг. Так и знай.

Лешка придвинулся ко мне еще ближе.

— Слушай, — сказал он. — Сережка-то прямо

спятил. Бежать хочет в Москву.

— Не может быть!

— Сражаться надо, — спокойно сказал из темноты Сережа.

— Ты не спишь? — спросил я.

— Я все ночи не сплю!

— Это не дело!

— А ты не учи! Не учи ученого!

Я хотел ему ответить как-нибудь порезче, но в это время что-то завыло, загудело, и страшный нарастающий визг пронесся над нами, как будто ведьма на помеле пролетела, потом ужасно трахнуло, дом наш зашатался из стороны в сторону, и в углах его послышался треск.

— Бомба! — крикнул с постели дядя Яша. — Васька, ты где?..

Васька откликнулся ему, тетя Груня заплакала и запричитала в темноте, а мы повскакивали с соломы. Кто-то чиркнул спичку, мы стали одеваться, толкаясь и хватая чужую одежду.

— Пойти взглянуть, — сказал Степан Михалыч в случайно образовавшейся паузе.

Его голос подействовал успокаивающе. Стало тише, люди, уже не теснясь, вышли на улицу. Было темно. На горизонте пылало зарево.

— В лес, что ли, упала, — сказал дядя Яша. — Но

то не эта, нет. Больно далеко. Горит где-то около Боровска. Видно, фриц за Боровск взялся терзать. А если он его возьмет, нам всем хана.

— Это почему же? — зло спросил Сережа Любомиров.

— Отрежет, — просто сказал дядя Яша, — отрежет, и нету нам никакого пути. Если только левее, на Наро-Фоминск. Ну, так и фриц, коли он Боровск возьмет, неужели он Наро-Фоминском погребает?

— Не каркай, дядя Яша, — сказал Тележка. — Как вы это все любите в хате сидя располагать.

— Думать надо, умом надо своим пользоваться, — сказал дядя Яша, — и тогда картина сама себя окажет.

— Наполеон, чисто Наполеон, — сказал Бибрик.

Киселев тяжко дышал, слышно было, как он скребет свою щетину.

— Стой не стой, завтра рано на работу, — сказал Степан Михалыч. — Наша война продолжается.

Он пошел в избу. И все пошли за ним. А я пошел на деревню. Спать не хотелось, вот что было странно. Ну, да я ведь поспал уже часа три. Почти норма. Я перешел через мостик, и он опять пугливо задрожал под моими ногами. На этой,

штабной, стороне было как-то тише и спокойнее, и люди, которых я встречал, все держались спокойно, а если и были встревожены, то друг перед другом этого не показывали. И я подумал, что надо бы мне пройти мимо Дуниного дома, мало ли что: может, я им понадоблюсь.

Как только я вошел в маленький проулок, так сразу от забора отлетела легкая тень, и Дуня прильнула ко мне.

— Испугалась? — сказал я. — Дунечка ты моя маленькая.

— Испугалась, — сказала Дуня и вздохнула прерывисто, по-детски, — ужас как испугалась. Я в амбарушке спала, там у меня жаровенка есть, а он как тарарахнет, ну, думаю, конец света…

— Нет, это еще не конец, — сказал я, и мне стало тоскливо. — Много еще будет бомб, надо привыкать…

— Холодно, — сказала она и повела плечами.

Я сказал:

— Пойдем провожу.

Мы пошли с ней в глубь проулка, вошли к ним во двор, и я увидел, что слева от ворот стоит крохотный нахохленный домик, просто как декорация, такие строят у нас в Сокольниках под Новый год для детей.

— Вот здесь и сплю, — сказала Дуня и открыла дверь. — Входи.

Там были нары или скамья, прикрытые какими-то дерюжками и веретьем, и красным раскаленным глазком смотрела маленькая железная жаровенка, похожая на керогаз. Дуня села на скамью, в красном призрачном свете были видны ее таинственные глаза.

— Как хорошо, что ты пришел, — сказала Дуня. — Я так хотела, чтобы ты пришел.

— А я стоял на крыльце с нашими, смотрел, где бомба упала. А потом все пошли спать, а я сюда.

— Само потянуло?

— Само…

— Сердце сердцу весть подает… Садись, что ты…

— Да я не устал, ведь я не работал.

— Садись со мной, — сказала Дуня.

И я сел с ней рядом. Она положила свою руку в мою, и долго мы так сидели с ней, и я держал эту милую руку и глядел на эти несказанные глаза, на жемчужные зубы несмело улыбающегося рта…

— Ну, а если бы не война? — вдруг сказала Дуня.

— Что?

— Я говорю, если бы не война, а вот мы с тобой

встретились, и тебя бы сюда тянуло, как сегодня, а меня к тебе. Вот если бы можно нам было, ты бы посватался ко мне?

Как она сказала это слово «можно»! Я сегодня все время думал, что вот с тобой мне все можно. Болтливым быть или даже глупым, молчать или хромать, заплакать тоже можно, все можно. И насмешек не будет, и зла за пазухой не будет, и оглядки и фальши не будет, нет.

— Что молчишь-то? — сказала Дуня. — Не посватался бы, значит?

Да что я, каменный? Кто же это выдержит. Ведь все равно мне с ней нельзя по десятку причин, но зачем же обижать — ведь лучше ее нет в целом свете, и потом, ведь это правда.

— Посватался бы, — сказал я, — еще как. Семьсот верст пешком бы к тебе бежал.

Она придвинулась, и прильнула ко мне, и положила мне голову на плечо.

— Ты девочка, Дуня, — сказал я. — Ты маленькая. Нельзя тебе стать сейчас моей женой, война раскидает нас завтра, как пылинки в разные концы…

Она заплакала, я погладил ее лицо и омыл пальцы ее слезами. Я понимал, что наш с ней разговор в этот странный час, при свете маленькой жа-

ровни, это и есть высшее счастье нашей жизни, какого я, может быть, никогда уже не достигну, и горячая тоска давила мне на горло, не давала биться сердцу.

Дуня говорила, глядя в окно и сложив руки на груди, и слезы все бежали по ее лицу:

— Возьми меня с собой! Ведь я, Митя, не вдруг это говорю. Я как тебя в первый раз увидела, тогда, с товарищем твоим, когда ты мне телегу поднял, я тогда сразу поняла, что ты верный человек. Не умею сказать… Ты верный человек, это по лицу видно. Детей как хорошо любишь… Вон ты какой… Мне без тебя нельзя здесь оставаться. Кто защитит? Как подумаю о фрице, как подумаю…

Она это так говорила, что лучше бы вынула из жаровни уголья и прожгла бы мне глаза…

Я сказал:

— Не плачь, Дуня, родная моя…

Она потянулась ко мне, и я обнял ее и поцеловал, и она тоже меня поцеловала, и время летело мимо нас, и я все целовал Дуню, ее маленькие твердые ручки, и губы, и шелковые мокрые ресницы, и ситец на ее коленях целовал, и это было лучшее, что я испытал в своей жизни.

Я ушел от Дуни за час до побудки. Она плакала беззвучно и все не отпускала меня и еще, и еще

целовала. Я ушел от нее в ту ночь. Я не сделал ее своей женой. Я любил Валю.

17

Утром приехал Вейсман. Он очень осунулся. Когда он стоял над нами на гребне, было видно, какой это старый и больной человек. Лишняя кожа свисала с его лица. Стоя на ветру в вытертом своем «цивильном» пальто и качаясь от ветра, Вейсман сказал:

— Шоссе обстреливают насквозь. Я отдал Климова в больницу и позвонил его родным. Плачут. Я говорю: как вам не стыдно, надо радоваться, парень в больнице, уход как за графом. Вы плачьте не по нем, говорю я, вы плачьте по мне, мне еще обратно ехать. Никакого впечатления… Между прочим, я заезжал в райком, скандалил насчет махорки. Они мне стали вкручивать, что через недельку, и пятое, десятое, но когда я взял их за грудки, сразу нашлась пара ящичков.

Внизу восхищенно засмеялись. Старый враль никого не мог обмануть, но все-таки приятно было представить, что Вейсман кого-то там мог брать за грудки. И потом, он привез махорку! Ванька Фролов, больше всех страдавший без

курева, подбросил в воздух монетку.

— Мировой старик! Жук, а не старик! Докладывай дальше.

— Еще в райкоме говорили, что скоро сюда придут боевые части нашей армии. Они здесь займут оборону. И может быть, нас тоже вооружат…

Сережка Любомиров крикнул коротко:

— Ура! — И еще раз: — Ура!

Вейсман поклонился, как будто это он приведет сюда Красную Армию и выдаст нам оружие. Отойдя в сторонку и поймав мой взгляд, он деловито кивнул мне. Я взлетел кверху.

— Не волнуйся, — сказал он и положил мне руки на плечи. — Я все сделал.

— Ну?

— Я ее видел, хотя мне это было дьявольски трудно устроить.

Старик набивал себе цену, а мне было стыдно его доброты, и набивать ничего не надо было. Просто это был геройский старик.

— Я ее видел, — сказал Вейсман. — Хорошенькая, и все такое, ничего не скажешь. Но ты не расстраивайся… — Вейсман отошел на шаг, чтобы мне удобнее было падать. — Она сказала: ответа не будет.

Удивительно, что я это знал раньше. Никакого

впечатления это известие на меня не произвело. Провожать — неудобно. На письмо — ответа не будет. Вот так. Вот так.

Вейсман смотрел на меня с мудрой проникновенностью.

— Да, — сказал он, — такие вещи убивают. Тут не до слез. Я все это хорошо понимаю. Что мне тебе сказать?

— Вейсман, — сказал я ему. — Милый ты человек. Спасибо за хлопоты.

— Иди сшей себе шубу из твоего спасибо! — закричал Вейсман грубо. Он, видимо, был растроган. Неловко пятясь, он задрал полу своего пальто и полез в карман. — На, развеселись, вот тебе письмо! Какой-то обормот подошел, когда я говорил с твоей красоткой, симпатичный такой обормот, в очках, толстый, как боров.

— Федька! — сказал я и вырвал у старика клочок бумаги, сложенный пакетиком.

> «Друже! — это были ужасающие каракули. — Во первых строках сопчаю, что я жив и здоров, чего и вам желаю, а второе — огромная новость: я иду на фронт. Как говорится, следую примеру лучших, читай — твоему! Приедешь в Москву живой,

позвони моей матери. Она будет знать, как и что.

Жму. Твой Федор».

Я сжал эту бумажку, как Федькину руку, и мне захотелось повидать его. Я спрятал Федькино письмо в нагрудный карман и начал спускаться. И тут я услышал их снова. Они летели звеном прямо над нами. Широкие кресты лежали на их фюзеляжах. Когда они пролетели, у одного из них из брюха выпала какая-то масса. Я подумал — бомба, но цвет и форма были непохожи на бомбу. Все вокруг застыли в ожидании, подняв головы кверху. Масса, оторвавшаяся от самолета, вдруг рассыпалась на тысячи мелких, величиной с игральную карту, пластинок, и эти пластинки, кружась, планируя и вертясь, стали снижаться.

— Листовки, — сказал кто-то.

Они летели, колеблемые ветром, отравленные эти листовки, они летели в нашем подмосковном небе, фрицевские самолеты скрылись, оставив в воздухе эти вонючие бациллы. Они низвергались на нас, потом ветер отнес их в сторону, и они осыпались на оголенный угрюмый лес. Один из листков упал шагах в двухстах от нас. Сережка Любомиров кинулся к нему. Мы следили за ним.

Он возвращался, держа двумя пальцами серова-тый листок. Лицо его было ужасно. Взглянув в текст, как бы опасаясь осквернить свои глаза, он произнес прерывающимся голосом:

— «Массами к нам перебегайте!»

И тотчас бросил листок наземь. Потом Сережа Любомиров резко размахнулся и с ужасающей силой рубанул бумажку лопатой, как живого и ненавистного врага.

К нему подбежал Лешка, и оба они, Сережка и Лешка, стали мочиться на этот листок.

В это время снова послышался вой его моторов, и мы увидели, что вдоль вырытой нами линии, на небольшой высоте, летит фриц. Он летел, как мог, медленно и низко, и снова мы стояли, задрав голову, а он пролетел и превратился почти в точку, но развернулся и опять пошел по линии, снизившись до бреющего полета. Он выпустил короткую очередь, никого не ранил, но когда пролетел, мы высыпали наверх и кинулись к деревьям. По двое, по трое вцеплялись мы кто в осинку, кто в ольху, стараясь слиться с ними и оберечь себя. Фриц снова пролетел по трассе.

— Фотографирует! — крикнул Тележка с отчаянием. Мы стояли бессильные, держась за стволы подмосковных деревьев, ища у них защиты, за-

мерзшие и ненавидящие. Фриц же по-хозяйски летал над нами, делал что хотел, изредка постреливая для острастки, чтоб мы не смели носу высунуть из лесу. И такой дул стылый, проклятый ветер, и так мы замерзали без движенья, и такое горькое отчаяние вцепилось в наши сердца, что в эту минуту уже не верилось ни во что хорошее. И тут из леса на гребень наших контрэскарпов, с громким посвистом выбросился Каторга. Он разорвал на себе ворот, двумя руками сдернул с головы шапку и что было силы шлепнул ее в грязь.

— А ну, больше жизни, лопатные герои, — закричал нам Каторга. — Что вы там затухли? Жизнь продолжается! Давайте спляшем! — И он топнул двумя ногами, и грязь, как фейерверк, брызнула из-под его перевязанных веревками бутс. — Что?!! Или мы уже не советские?! А? Неужели мы скиснем из-за этого летучего дерьма?! — Он вложил в рот два стянутых в кольцо пальца, дико свистнул и забил ладонями по груди и бедрам. — Алеш-ша, ша! Держи полтона ниже! — крикнул он в небо. — Заткнись там, подонская морда! Да здравствует Евгений Онегин!

Он заплясал в грязи, этот чертов проходимец, этот непонятный человек с кривым носом, запля-

сал с ужимками и «кониками», по всем правилам одесского шика, и открылся нам в эту стыдную минуту нашей слабости чистой и прекрасной своей стороной. И мы, словно опомнились, скинули наваждение, словно обрели себя, мы кинулись все на гребень и пошли плясать всею ватагой, смеясь, и толкаясь, и размахивая руками, как малые дети. Мы жили, жили, жили так, как считали нужным, мы жили своим законом под обстрелом фашистского гада. У нас в руках были только кривые затупленные лопаты, а вот же мы знали, что мы сильнее того растленного типа там, наверху, куриное сердце которого позволяло ему бить в безоружных.

18

В обед я сидел у окна в нашей избе и поджидал Сережку с Лешкой. Они должны были принести из кухни щи. Мы съедали наше варево в доме, это давало возможность подкормить хозяев. Так делали почти все. Я сидел один в избе. Васька еще не появлялся, видно, заигрался где-то с ребятами, я скучал по нем. Ни тети Груни, ни дяди Яши тоже не было. Лешка освободил меня сегодня от очередного дневальства и не в очередь пошел за

щами. Рука моя все-таки давала себя знать, и на работе я еще ворочал с трудом. Я сидел у окна, смотрел на деревенскую улицу, лежавшую передо мной, и думал, что, слава богу, наша работа подошла к концу. Было приятно видеть бесконечную ровную линию наших контрэскарпов, их трехметровую ширину и страшную глубину, их насыпи и зализанные закраины — работа была отличная, мы сознавали это и гордились своим трудом. Все это было еще более приятно и потому, что вейсмановская версия подтверждалась и шли усиленные разговоры о том, что сюда со дня на день, с часу на час придут наши части и встанут здесь защищать Москву. Здесь, у сделанных нами рубежей. Да, время приходить нашим, самое время!

В эту минуту я увидел, что через мостик, осторожно ступая, идет Лешка, держа в одной руке дымящиеся котелки, а другой прижимая к груди полкирпичика хлеба. Я помахал ему из окна, и он широко улыбнулся и кивнул головой. Я вышел к нему навстречу и помог донести котелки. Мы поставили еду на стол, положили по углам алюминиевые ложки.

Я сказал:

— А Сережка где?

Лешка мотнул головой.

— Следом идет.

За окном послышался треск моторов. Я кинулся к окну. По улице шла танкетка, за ней другая, за той третья. Я обернулся к Лешке и сказал, улыбаясь:

— Ну, кажется, наши пришли!

Лешка тоже прильнул к окошку. Теперь уже было лучше видно, первая танкетка подошла ближе к нам. Вдруг она остановилась, не дойдя до нашей избы метров пятнадцать, развернулась и пристроилась задом к огородному плетню. Тотчас из короткого ствола ее пушки вылетел белый дымок, раздался выстрел, и возле красного флага нашего штаба на той стороне взлетели кверху щепки, пыль и дым. В эту страшную минуту мы, наверно одновременно с Лешкой, увидели черный крест на боку танкетки, такой же мы видели на фюзеляжах самолетов. Все это происходило очень быстро и не сразу дошло до сознания. Из-за танкетки вышел длинный фриц. Он двигался в сторону нашей избы. Через плечо его неряшливо висел автомат. Мы замерли. Фашист шел к нам. Навстречу ему бежал через мост Сережа Любомиров. Он что-то кричал скривленным набок ртом и бежал на немца, высоко замахнув через правое

плечо лопату. Немец остановился, расставив ноги, и смотрел на него — глаза его ничего не выражали, они были тусклые, задернутые пленкой, как на плавленом олове. Видно, не раз уже на него бросались безоружные люди, и немец знал, что ему делать. Он ждал удобного момента.

Сережка бежал на немца, и когда он уже почти добежал, тот небрежно шевельнул автоматом. Я услышал очень короткое: та-та. Немец отступал, пятился, а Сережка все бежал на него с лопатой, но я уже видел, что Сережки нет, что он уже мертв, что это бежит одна неутолимая Сережкина ненависть, которая не умирает.

Лешка схватил меня за руку и дернул за собой. Мы выбежали на задний двор и легли наземь.

— За огород, — прохрипел Лешка, — под плетень, а там вырвемся.

Я пополз за его сапогами по мокрой грязной земле, а позади слышались выстрелы, пушки работали исправно, чередуясь. Мы ползли не оборачиваясь, бежали, а немец бил по красному флагу нашего штаба. Там сейчас было много народу, много наших друзей, они собирались сейчас похлебать горячих щей, а немец крыл их без пощады хладнокровным огнем, а мы с Лешкой все ползли, проползли под плетень и еще

ползли, а потом встали и побежали за деревню. Минут через пятнадцать мы достигли леса. Мы остановились. Я сказал:

— Откуда, откуда они?

— Десант, верно, — сказал Лешка. — Перелетел, гад.

Лешка задергал губами и заплакал.

— Пойдем, Леша, — я тронул его за плечо, — надо отходить.

Он пошел за мной покорно, как мальчик, и огромным, грязным своим кулаком утирал глаза. Надо было спасаться, бежать от верной и бесполезной смерти, дорваться до Москвы, получить оружие и вернуться, вернуться во что бы то ни стало! Нельзя было оставлять эти места — в эту землю была вбита наша душа, наша вера в победу, слишком близкие люди остались там за нашими плечами, у домика с красным флагом.

Меня всего жгло. Слава богу, никто не видел, как мы шли вдвоем с Лешкой и ревели. Я ковылял впереди, Лешка за мной. Мы шли напрямик через лес примерно с полчаса и ушли версты за две, потому что выстрелы стали тише, и здесь нам показалось гораздо безопасней.

— Что теперь? — сказал я. — Дальше что?

— Кабы знать, куда идти.

— Ищи дорогу, — сказал я. — Ищи, Лешка.

— Надо искать — да, — сказал он, — а то заплутаем, как бы в обрат не наскочить…

— Левей надо.

— Верно, и я так помню. Там много дорог должно сходиться, помнишь? Когда сюда шли, я запомнил.

А я ничего не запомнил, я тогда не обращал внимания на дороги. Я горожанин, и не было у меня этой привычки. Я сказал:

— Теперь ты иди впереди, Лешка.

Он прошел мимо меня вперед, и я побрел за ним.

Ах, горько так идти по своей земле среди бела дня, идти и знать, что ты идешь не по своей воле, не гуляешь, не грибы собираешь, нет, ты бежишь, скрываешься, спасаешь свою жизнь от злого и наглого осквернителя, и нельзя тебе остановиться и принять бой. Горько так идти, никому не пожелаю, трудно! Но мы шли, нужда гнала. Мы шли напролом, продираясь сквозь подлесок, сквозь тесные группы молодых деревьев, стоящих густо, непроходимой стеной. Исцарапались мы, еще больше изодрались и плутали, но был у нас все-таки какой-то собачий нюх, да и сама земля, наверно, помогала, ведь мы были ее дети,

и минут через сорок мы все-таки выскочили на дорогу.

— Смотри-ка — никого, — сказал Лешка.

Он посмотрел на меня, и я понял, о чем он думает… Я и сам этого боялся.

— Неужели мы одни? — спросил я у Лешки. — Неужели мы одни ушли?

— Прямо не знаю, — сказал он упавшим голосом.

— Может, постоим немного?

— Дай освоиться, — сказал Лешка.

Мне почудился треск сучьев.

— Тихо! — сказал я шепотом. — Идут!

— Фриц?

— Не знаю…

— Прячься…

И Лешка зашел за огромную ветлу, стоявшую у дороги. Мы спрятались за кривое двустволое ее тело.

— Не может быть, чтоб фриц, — шепнул Лешка.

Треск становился все сильнее, ближе к нам, и противно было то, что у меня забилось сердце. Но я решил, что, если это фашисты, я брошусь к ним навстречу и хоть одного да задушу. Среди деревьев замелькали какие-то силуэты, и я увидал

ватники. Лешка перевел дыхание: наверно, и он переживал. На дорогу вырвались люди. Это были Степан Михалыч, Каторга и Тележка.

— Вот она, дорога, — сказал Степан Михалыч. — Сейчас определимся — что и как. Не робь, Телега!

— Москва где? — жадно спросил Каторга.

Степан Михалыч встал на дорогу и резко рубанул рукой куда-то наискосок и вправо.

— Вот, — сказал он, — так держать, и будет тебе Москва.

Мы с Лешкой вышли из-за ветлы.

— Глядите, товарищи, Митя, — сказал Тележка и нежно улыбнулся. — Митя и Леша. Наши.

Мы подошли к своим. Мы молчали, они трое и мы с Лешкой. Мы только смотрели друг на друга. Как будто десять лет не виделись. Я чувствовал, что все сейчас плачут.

— Вот оно как вышло, — сказал Степан Михалыч виновато.

— Да, — сказал я, — хуже не бывает.

— Сережка-то… — сказал Лешка и отвернулся.

Все замолчали. Словно сняли шапки у свежей могилы. Степан Михалыч двинулся первым. Мы пошли за ним.

— Наших там тыщи три осталось, — сказал

Тележка.

— Больше.

— Уйдут! Многие ушли, многие вырвутся.

— Где ж они?

— Прячутся…

— Или другими дорогами идут…

— Тут кто как сможет, — сказал Каторга.

На дороге, по которой мы шли впятером, было пусто, и лес стоял сквозной и пустой, и небо было пустое. Стрельба позади прекратилась, и это был плохой признак.

— Все, видно, заняли Щеткино, — сказал Степан Михалыч. — Теперь польется наша кровь…

— Пойдут теперь расправляться… Коммунистов искать… — сказал Лешка.

— И некоммунистов тоже, — сказал Тележка.

— Коммунистам хуже всех, — повторил Лешка печально. — У меня отец коммунист и брат тоже.

— Теперь и не узнаешь, кто коммунист, кто нет, — процедил Каторга.

Степан Михалыч остановился и поглядел на него в упор.

— Я член партии непобедимых коммунистов, — громко сказал Степан Михалыч, и губы его побелели. — Я член партии, и ты можешь называть меня комиссаром, Каторга.

Он отвернулся и пошел дальше. Мы двинулись за ним.

Каторга перегнал его и заступил дорогу.

— Каторга да Каторга, — сказал он тихо. — Сколько можно? Какой я Каторга, я Гришка Полещук! Я вас очень уважаю, Степан Михалыч.

Тот двумя кулаками расшебаршил свою бороду.

— Пойдешь со мной, Гриня, — сказал он Каторге. — И ты, Телега, пойдешь со мной. Нельзя мне вас всех вместе вести, а вдруг да я что и не так сделаю. Не туда вас заведу. Пусть мы разделимся.

— Нет, мы вместе, — сказал я.

— Это мой приказ, — сказал Степан Михалыч. — Теперь пришло расставанье, Митя. Мы трое вон там пойдем, — он показал направление. — На Боровск. Мы будем его огибать справа и, может, выйдем на железную дорогу. А вы, Митя с Лешей, вот здесь идите. — Он и нам показал, где бы нам, по его мнению, лучше было идти. — Вы всегда вместе, вы дружки, вам вместе надо. Теперь: в Москву придете, вступайте в армию, ребята, добровольно идите. Вы теперь народ подготовленный. Ну все. Два, значит, у нас отряда во временном отступлении. Всего вам, ребята!

Он протянул мне теплую, согретую добром

руку. Я пожал ее. Прощай, Ячмень и Лен! И если навсегда, то навсегда прощай. Тележка протянул мне свою узкую руку, я взял ее и покрыл сверху левой рукой. Он тотчас же положил свою левую руку на мою. Мы трясли так руками, смотрели друг на друга, что-то хотели сказать друг другу и не смогли, постеснялись.

— До свиданья, — сказал Тележка.

— До свиданья, — сказал я.

Потом я пожал корявую руку моего товарища Гришки Полещука — грязную корявую руку человека, которого мы несправедливо дразнили Каторгой…

Лешка простился тоже. Они пошли по большой, пустой дороге к далекому горизонту, а я смотрел им вслед и понимал, что это уходят из моей жизни люди, без которых мне никогда не будет вполне хорошо.

— Айда и мы, — сказал Лешка.

19

Мы шли с ним скорым приемистым шагом по огромной разметанной дороге, тянущейся сквозь низкий красновато-серый осинник. День перевалил на вторую половину, грязь на дороге

уже начала застывать в предчувствии ночного заморозка, идти стало легче, и мы прошли уже верст шесть или восемь, не встретив ни одного человека.

— Где теперь наши? — сказал Лешка.

— Какие?

— Кто вышел оттуда.

— Плутают…

— Повидать бы…

— А может, кто-нибудь сзади идет, кто позже добрался до дороги.

— Покричим?

Мы несколько раз останавливались и кричали. Никто не откликнулся.

Мы были одни с Лешкой. Словно одни во всей России, так пусто было вокруг. И мы снова шагали с ним по дороге вперед и сворачивали у развилков, не раздумывая. У нас появилась уверенность, что мы не можем ошибиться и мы выйдем к Москве. Крупинки железа притягиваются к магниту, они не ошибаются никогда.

— Такому человеку, — сказал Лешка, и голос его дрогнул, — такому человеку надо поставить памятник. Узнать, где он жил, и на его улице поставить памятник. Пусть малые дети на него восхищаются и все другие тоже.

Я сказал:

— Да. Сереге надо памятник.

— Приду домой, — сказал Лешка, — доберусь только до дома, мать повидаю и спать не лягу, побегу записываться в добровольцы. Теперь-то меня возьмут… Теперь люди нужны. Верно?

Я сказал:

— Верно.

Лешка посмотрел на меня и понял:

— Хорошо бы, — сказал он, — нам быть вместе. Да, Митя?

Я сказал:

— Гроб дело. Меня не возьмут.

Несколько минут он молчал, потом зашел ко мне слева и горячо заговорил:

— Я знаю, что надо делать. Нам с тобой, Митя, одна дорога. Нам надо в партизаны идти, вот куда!

Я посмотрел на Лешку. Это было как озарение. Как я сам не додумался до этого?

Я сказал:

— Ты, Лешка, бог!

— Верно? — Он как будто даже удивился похвале. — Значит, пойдешь? В партизаны, да, Митя?

Я сказал:

— Я тебе могу поклясться. Я не знаю даже, как я

это сам не дотумкался. А что ты это так быстро сообразил, я тебе никогда не забуду. Значит, идем?

Лешка сказал:

— Факт. Возьмут, не бойся. Мы вместе будем. И не беспокойся, что ты хромой, ты молодой, ты сильный, у тебя руки, как камень.

Он просто лечил меня, этот парень.

— Ты ходкий, ты же быстро ходишь, ты никогда не отставал. Я тоже, как медведь, здоровый. Мы с тобой так возьмемся, мы такое ему устроим! У него и правда под ногами земля загорится.

Ну и здорово же он говорил, Лешка Фомичев — златоуст, ничего не скажешь. Я даже засмеялся от удовольствия.

А он продолжал:

— И мы с тобой еще до победы доживем, увидишь! Она скоро будет, не думай! Это он временно прет, на шарапа берет, а мы еще не опомнились. А потом такое будет, что он и кишок не соберет, да, Митя?

Я сказал:

— То есть конечно!

— Вот, — сказал Лешка удовлетворенно, — мы его добьем, а потом вернемся домой и будем жениться…

Я сказал:

— А на ком? У тебя есть?

Лешка засмеялся и стал глядеть в сторону.

— Есть одна.

— Как звать?

— Таська! — сказал он и улыбнулся снова. У него улыбка была замечательная, добрая очень.

Я сказал:

— Что ж ты невесту так называешь несолидно — Таська!

— Какая ж она невеста. Она в седьмом классе. Таська и есть!

— Ну да? — я очень удивился. — Она что, школьница? А как же она согласилась?

— Она не соглашалась, она и не знает даже ничего…

— То есть как не знает? Чего не знает?

— Ну что я на ней женюсь!

— Как же она не знает?

— Ну, не знает, и все. Это я пока один решил. Я ее заприметил и решил.

Я сказал:

— Ну, ты и ловок. Прямо чертов сын!

Лешка снова засмеялся. Этот разговор будоражил его и счастливил, и ему еще хотелось про это говорить, он ведь мальчик был, совсем мальчик.

— Вот, значит, годика через три я на ней и по-

женюсь!

— Ну, победа-то раньше будет, — сказал я.

— Это конечно, но я все равно подожду. Тут особо торопиться нельзя, да и родители ее не отдадут раньше…

— А у нее кто родители?

— Академики какие-то…

— Значит, ты будешь тоже академик?

— Нет, куда там, мне бы хоть на инженера пока… по металлу. Ну, а ты? — вдруг спросил Лешка. — У тебя тоже есть невеста?

Я сказал:

— Нет, Леша, у меня нет никого.

Не знаю, что меня заставило так сказать. Но у меня не было права сказать, что есть у меня невеста.

Дорога лежала перед нами нескончаемая и грязная, и мы пробирались теперь не так уж ходко. Вдруг позади что-то бахнуло, и нам показалось, что это поблизости. Лешка прибавил шагу. Я сказал:

— Я так быстро не могу.

Он сейчас же пошел потише и сказал:

— Я не спешу. Это ноги сами.

Я сказал:

— Выйдем мы, Леша, как думаешь?

Он помолчал. Оживление его уже прошло, он понимал, что дело наше нелегкое, но он был настоящий человек. Он сказал тихо, но твердо:

— Иначе не может быть.

Мы замолчали опять. Стало холодней, время шло уже к четырем. Не помню, сколько мы так шли с Лешкой. Потом опять услышали мотор. Он рычал еще где-то далеко, но мы сразу услышали его. Мы остановились с Лешкой и стали глядеть в небо. Рокот становился все ближе, и вдруг мы увидели, что с вершины далекого неба, как на салазках с невидимой снежной горы, катился самолет. Он снизился, выровнялся уже совсем недалеко от нас и потом низко-низко по-над самым леском рванулся в нашу сторону. Он давно нас заметил и теперь снизился специально из-за нас.

— Беги, — крикнул Лешка, побежал вперед, метнулся в сторону, перепрыгнул заросшую пожухлой травой обочину и бросился под невысокую ольху, обнял ее и втянул голову в плечи. Я сделал то же самое. Мы под одним деревом лежали, я — с одной стороны, Леша — с другой, и держались мы с ним за одно дерево. Я лежал, вдавливаясь, вжимаясь в землю, зажмурил глаза и поджал плечи. Я слышал рокот и услышал длинное, не в пример

утреннему: та-та-та-та-та-та. И ветер. И дерево гнется и дрожит: р-р-р-та-та-та-та-та-та. Стихает… Да, слава богу, я почувствовал, что стихает звук и напряжение уменьшается, слабеет, удаляется… Дерево, в которое я судорожно вцепился, уже не трепещет больше, и, выждав еще несколько секунд, я из-под руки глянул в небо. фрица уже не было. Он побаловался и пошел дальше.

Я сказал:

— Ушел, дерьмо такое.

Я приподнялся на локтях и переполз на другую сторону, где лежал Лешка. Он все еще лежал на животе, так же, как я секунду тому назад. Он обнимал дерево, и было похоже, что он целует землю, на которой лежит. Возле его уха лежала тугая, нерасплывающаяся лужица. Она не блестела. Она лежала выплеснувшись вся, как в блюдечко. Темно-красная тусклая лужица, и это была убежавшая из веселого Лешкиного тела жизнь.

Я не знаю, что со мной случилось и почему я это сделал. Я, наверно, соскочил с зарубки. Со мной случилось что-то странное. Я не знаю. У меня все заболело сразу, опоясало, и перекрестило, и запеленало болью. И ощущая невыносимую боль во всем теле, и стоная от боли, и плача, я приподнялся, подтянулся и сел, прислонившись

спиной к нашему с Лешей дереву, рядом с ним. И вот тут-то я услышал в себе:

Он упал
На траву,
Возле ног у коня…

Я услышал это четверостишие до конца и посидел потихоньку, покачиваясь, и услышал снова:

Он упал
На траву,
Возле ног у коня…

Ничего другого я не мог делать. Я сидел так, как самый настоящий тяжелый псих, и повторял эти слова, наверно, пять тысяч раз подряд:

Он упал
На траву,
Возле ног у коня…

Я пел эту песню и видел свою Дуню, ненаглядную свою Дуню, родимую свою, которая осталась там, в Щеткине, за мостиком, в своем проулке, ее сейчас, верно, ломают и гнут, и крутят руки, и бесстыдно рвут ее платье, и хрустят ее косточки. И я видел маленького Ваську, как бьют его пахнущую воробьями головенку об угол сарая.

Я видел Вейсмана, как его сжигают живьем, и я видел распятого дядю Яшу, и лежащего на деревенской улице мертвого Сережу, и мертвую девочку Лину…

Я ничего не мог с собой поделать. Я сидел у дерева, и рядом со мной холодела живая человеческая золотинка, мой друг, мой товарищ, мой брат Леша. А я не мог встать и похоронить его, оказать ему последнее уважение. Я смотрел вперед перед собой и держал руку на безответном Лешкином плече и все повторял и повторял одни и те же слова:

Он упал
На траву,
Возле ног у коня…

Я сам себя не слышал, вернее, слышал, но так, как будто я пою где-то вдалеке, а здесь вот сижу тоже я и плохо слышу того себя, который поет вдалеке.

Уже совсем стемнело, когда ко мне подошел Байсеитов. Он подошел, как будто все давно знал, постоял возле нас с Лешей и ничего не говорил. А потом опустился на колени и стал рыть, рыть своим ножиком землю. Я слышал его удары о землю и короткое дыхание. Он долго копал и скреб, и до

меня дошло тогда, что ему одному не управиться. Я встал, подошел к нему и стал помогать. Я рыл сначала пряжкой пояса, а потом просто ногтями, и мы наконец вырыли вдвоем с Байсеитовым неглубокую овальную яму, неровную и некрасивую, и я взял Лешу за плечи, а Байсеитов за ноги, и мы его, как сонного, уложили в сырую, безвестную, ненадежную постель. Мы засыпали его землей и заложили голыми безлистными ветвями, и я опустился на колени и поцеловал эти ветви там, где у Леши сердце, и Байсеитов сделал так же. Мы встали потом у могилы, и Байсеитов спел со мной:

Он упал
На траву,
Возле ног у коня…

Потом мы пошли по дороге вперед.

20

Он пытался меня пожалеть и два раза брал меня под руку, как старуху, но я пихнул его локтем в грудь, и он отстал. Мы шли с ним уже часа два-три, над лесом встала кривобокая луна, и на дороге были видны замерзшие лужицы. Под

тонкой прозрачной корочкой льда переливалась нежным узором еще живая вода, и лужицы были похожи на кружева. Они были похожи на узоры из наряда царевны Волховы. Они были похожи на серебряные слитки. И на причудливые обломки зеркал. И на удивленные глаза.

Мы давно уже шли с Байсеитовым и еще не сказали друг другу ни слова. Часа полтора тому назад небо за нашей спиной заполыхало кровавыми перьями пожаров, и бомбы стали разрываться за нашей спиной. Они прямо наступали на пятки. Видно, фриц двинулся вперед. Надо было нажимать, и мы шли очень быстро, не так, как ходят в строю, а просто вовсю, и мне было трудно. Да и Байсеитову тоже, ведь мы давно ничего не ели, а шли уже в общей сложности часов десять, а впереди ничего не было — ни огня, ни жилья. Но все-таки мы шли и шли, влекомые Москвой, все вперед и вперед, несмотря на то, что ноги у меня опять болели и мне казалось, что они кровоточат. Мы шли вдвоем с Байсеитовым. Теперь Байсеитов был моим спутником, а Лешка отстал в пути, прилег на дороге и не догонит никогда…

— Потерять друга — счастье потерять, — сказал Байсеитов. Он догадался, понял, о ком я думаю, идя с ним рядом.

Я сказал:

— Да.

Байсеитов расстегнул ватник. Прямо в лицо нам дул ледяной ветер, но Байсеитов подставил ему свою коричневую дубленую грудь, которая не чувствовала холода.

— Обида жгет, — сказал он гортанно, — когтит душу, как кобчик перепелку.

Он замолчал и потом снова сказал кому-то гневно, с укором:

— Нельзя так, слушай, — так нельзя!

Да, обида грызла нутро. И с этой обидой, как с пулей в груди, закусив губы и шатаясь, в тяжелых сапогах, мы шли с Байсеитовым, мы шли, шли, шли, шли без конца. Мы только с ним и делали, что шли, шли, шли, шли… Дорога лежала перед нами, бесконечная ночная дорога, стылая и молчаливая, холодюга стоял собачий, ветер подвывал в голых вершинах, и два десятка километров остались за нашими плечами, как два десятка лет. И казалось, что конец нам, никогда мы не выйдем из этой тьмы и холода, и все равно надо было идти, идти, идти и идти. После полуночи силы отказались мне служить, мне стало наплевать на все на свете, и снова боль охватила все тело. Она сжимала меня обручами,

особенно грудь, и не давала мне ни вдохнуть, ни выдохнуть. В глазах моих встало какое-то марево, оно кружило голову, и странная полусонная одурь нашла на меня. Я хотел спать. Плюнуть на все и завалиться поспать. Простое желание, и я высказал его Байсеитову.

— Я посижу, Байсеитов, — сказал я, садясь. — Иди. Я догоню.

Я сел у дороги и уютно привалился к дереву.

Байсеитов стоял подле. Он попытался поднять меня, но я выскользнул из его рук и снова стал моститься у дерева.

— Встать! — крикнул Байсеитов, как командир. — Встать немедленно!

Я встал, пошатываясь. Это было неожиданно для меня самого. Я встал и вытянул руки по швам и закрыл глаза. Меня качало.

— Открой глаза, — сказал Байсеитов. — На!

Я увидел в его руке маленькую круглую жестяночку из-под вазелина, она была открыта, в ней что-то белело. Байсеитов приподнял мою левую руку и подставил под нее свое плечо. Рука его опоясала меня, это был спасательный круг.

— Масло, — сказал Байсеитов. Он поднес вазелиновую баночку к самому моему лицу. — Двадцать пять граммов. Паек. Я со стола ухватил, когда

побежал.

Он сунул палец в банку, подковырнул масло и вложил мне палец в рот. Оно растаяло во рту мгновенно и сделало свое дело. Я сказал:

— Пошли, Байсеитов.

Он лизнул пустую банку два раза и отшвырнул ее. Мы двинулись по дороге. Он шел впереди, и мы опять занялись с ним делом: мы шли, шли, шли… Сколько — не знаю. Знаю, что бесконечно долго. Я опять начал пошатываться и засыпать на ходу, и железный Байсеитов тоже шел неверной походкой, плечи его опустились, голова подалась вперед вместе с шеей, и он шел, шел, шел под горящим небом, а за ним, то догоняя его, то далеко отставая, шел, шел, шел я. Ночь застыла, она отказалась двигаться, она забыла про нас, и до рассвета было еще сто лет. И никого, никого, кроме нас, на дороге.

Идем, опять идем, опять идем, идем, ковыляем, идем, спотыкаемся. И вдруг, спустившись в маленькую ложбинку, мы увидели бредущую нам навстречу лошадь.

— Ну вот, — сказал Байсеитов облегченно, — вот и все! Сейчас мы верхом поедем!

Он стал подходить к лошади, протянув перед собой руку ладонью кверху. Лошадь доверчиво

шла к нему навстречу. Она подошла к нам и стала тыкаться нежным храпом в руку Байсеитова.

— Хлеба хочет, — сказал Байсеитов.

Я сказал:

— Нету хлеба.

Байсеитов прислонился к лошади, и она пошатнулась. Он повернулся к ней лицом и взял ее за холку левой рукой. Он попытался вскочить на нее, на костистую жалкую ее спину. Он бормотал:

— Счас… Счас… я сяду. Потом тебя втащу. Прр, тпру…

Но сесть ему не удавалось, он слишком устал, ослаб и отощал, и слишком тяжелые были на нем сапоги, он только тщился бесполезно и корябал бока лошади сапогами. Лошадь терпела все это. Но Байсеитов не мог на нее взобраться. Тогда он взял ее за ноздри и повлек за собой, он брел так, покуда не увидел того, что искал. Это был пенек. Байсеитов поставил лошадь у пенька и взошел на него. Лошадь стояла тихо, она понимала наше положение и хотела нам помочь. Я это видел. Байсеитов подпрыгнул и лег животом на острый хребет. Он повисел так, отдуваясь, и, наконец, перекинул правую ногу. Он уже сидел, когда лошадь вдруг подогнула передние ноги и рухнула на

колени. Байсеитов сполз к шее и слез на землю.

Я сказал:

— Она умирает.

Байсеитов закрыл лицо руками. Лошадь легла на бок и пошевелила ногами. Она хотела нам помочь, я это знал. Но у нее не вышло. Она была стара, и она умирала. Байсеитов пошел по дороге. Лошадь тихонько ржанула ему вслед. Байсеитов не оборачивался. Я пошел за ним.

21

Утром мы увидели Наро-Фоминск. Первый же косматый старичок, встретивший нас у самого выхода дороги на окраину города, увидев нас, замер от испуга, и когда мы попросили у него воды, вынес нам целое ведро. Он долго глядел на нас и наконец сказал хрипло и натужливо:

— Вы откуль вышли-то, ребята?

— Из Щеткина, — сказал Байсеитов.

— Вона, — сказал дед. — Как же вы из Щеткина? Из Щеткина много народу пришло еще ночью.

Мы переглянулись с Байсеитовым.

Я сказал:

— Где же они выходили?

— Да вона, — дед показал рукой, — у вокзала

— во-она!

— А мы отсюда выходили, вот здесь, за вашим домом, — сказал я.

— Вот что, — дед показал два зуба на голых деснах, — это, милые, старая дорога, по ней никто не ходит, это вы крюку дали верстов двадцать, а то и двадцать пять!

И он засмеялся добродушно так, сердечно.

И мы пошли с Байсеитовым через весь город и увидели, правда, другую дорогу, по которой шло множество всякого народа, двигались машины и крестьяне на телегах, и скотина, и весь этот живой поток вливался в широкую улицу, ведущую к вокзалу. Мы шли вдвоем, опираясь на суковатые палки — на рассвете Байсеитов оснастил нас этими чудовищными полупосохами-полукостылями. Мы шли и чувствовали на себе внимательные взгляды встречных, идти было невыносимо трудно и больно, и хотя я знал, что скоро конец этому моему походу, но я все равно каждую минуту думал, что умру. Нас догнала телега, рядом с ней шла высокая костистая старуха в мужском пальто и шляпе поверх платка.

— Садись, — сказала старуха зычно. — Подвезу.

Мы еле всползли на телегу, и старуха подсаживала нас.

Она была громогласная и разговорчивая. Мы неудобно пристроились с самого края. Телега была завалена маленькими полосатыми, как арбузы, мандолинами и крутобедрыми гитарами. Наверху лежала гигантская балалайка. Весь этот странный товар позванивал и потренькивал от тесноты, и когда Байсеитов неловко шевельнулся, жалобно зазвенела какая-то басовая струна.

— Полегче, полегче, — сказала старуха трубным своим голосом. — Смотри не раздави мне музыку — она государственная. Оркестр народных инструментов колхоза «Восход»…

Она шевельнула вожжами, и мы заскрипели по улице. Старуха шагала рядом с нами. У нее были удивительно крупные шаги.

— Спасаю музыку от фрица, — сказала старуха. — Ему на ней не играть… Одна я в клубу-то — все на войну ушли. И заведующий, значит, и библиотекарь, все побегли душить проклятого. Ну а я гляжу, этак он ненароком до нас дорвется, шалавый черт, — запрягла да всю музыку-то и навалила валом. Пережду где-нибудь, пока его отобьют, а потом в обрат. Не играть ему в нашу музыку, лешему, нет! Так, что ли, ребята?

— Вы правильно делаете, бабушка, — сказал я.

Старуха удовлетворенно хмыкнула. Лошадь

двигалась медленно, улица была запружена народом, забита транспортом, глаза мои слипались, но я не спал, не мог спать, наверное, от голода. Я смотрел на дорогу, на людей, которых обгонял, и видел, как в толпе мелькнули Киселев и, кажется, Ванька Фролов, и еще кто-то, не Хомяков ли. Не узнал, не успел догнать взглядом, а окликнуть просто не было сил. Только я видел многих наших и видел, что они были такие же слабые, как мы, если не слабее.

Байсеитов тоже не спал, он растирал свои набитые ноги, налитые кровью пятипудовые ноги.

Старуха остановила лошадь.

— Стой, тпрр, — сказала она. — Вам куда?

— На вокзал, — сказал я.

— Слезайте тогда — вот он, вокзал!

Перед нами была маленькая площадь. В центре стояло здание вокзала. Мы слезли с телеги. Не успел я встать на ноги, как меня резанула по пояснице резкая боль. Байсеитов вскрикнул тоже.

— Ослабли мы, — сказал он и смущенно улыбнулся.

Старуха все не отъезжала. Я спохватился.

— Спасибо, — сказал я.

Байсеитов тоже сказал:

— Большое спасибо!

Старуха взмахнула кнутом, свистнула и, пробежав за телегой несколько шагов, вскочила по-мужицки на бочок. Телега скрылась. Перед нами был вокзал. За невысоким его палисадничком был виден небольшой ладный паровоз, он пыхтел, выпуская плотные клубы дыма. Зеленые вагончики пристроились к нему длинной очередью. Было до них — рукой подать. Но Байсеитов не двигался. Он показывал пальцем за угол.

— Смотри, — сказал Байсеитов странным прерывающимся голосом. — Скорее смотри!

Я глянул туда, куда указывал Байсеитов, и чуть не закричал. Это была Армия! Да, это шла наша Армия! Был слышен ее мерный, твердый, уверенный шаг. Может быть, это была одна только рота, но мне показалось, что я вижу необозримую массу солдат, полки, дивизии, корпуса. И главное чудо было в том, что они шли нам навстречу. Они шли туда, откуда мы ушли. Они спешили, они торопились, они двигались на ускоренном марше, они бежали вперед на выручку, на помощь к своим, на бой кровавый, святой и правый.

Они шли, придерживая автоматы на груди, шагали упругими, здоровыми, молодыми ногами. Здесь не было плохо навернутых портянок, здесь все было пригнано удобно, точно, наилуч-

шим образом, и земля хрустела под сапогами, как кочерыжка на молодых зубах, и для меня не было ничего слаще этого звука, любимого еще с детских лет, звука, с которым была неразрывно связана в моей душе память об отце, звука похода, неотвратимой поступи приближающейся Победы, идущей с развевающимися алыми знаменами впереди. Да, наверно, все было не так красиво на самом деле, и солдат было мало, и много грязи налипло на их сапоги, но все равно наша Победа шла сейчас нам навстречу, это наша Победа собирала свои войска в подмосковных лесах, и это было наше светлое будущее, и мне сжало горло…

Солдаты проходили мимо нас. Лица их были чисты и строги. Мне хотелось побежать с ними рядом и показать им дорогу на Щеткино, и сказать на ходу каждому из них, чтобы они шли скорее, и дрались беспощадно, и спасли бы мою Дуню, перед которой я виноват без вины, и спасли бы всех наших, которые ждут их сейчас, призывают и кличут. Солдаты шли мимо нас, и я не успел побежать за ними, потому что вдруг понял, что не нужно мне делать этого, солдаты все знают сами. Они сделают свое дело во что бы то ни стало, у них такое же сердце, как мое, и бедное сельцо Щеткино для них Родина, и Дуня

для них тоже Сестра и Любовь.

Байсеитов негромко крикнул:

— Бей фрица, ребята, бей!

И в колонне блеснули ответные горячие взгляды, и замыкающий солдат, проходя мимо, метнул на нас быстрые огневые свои глаза и негромко и страстно сказал Байсеитову:

— Будь спок!

Он улыбнулся краем рта и прошел вперед. И мы долго еще смотрели им вслед, как они идут быстро и согласно, и Байсеитов сказал по-восточному напевно:

— Сердце мое идет с ними рядом…

Мы двинулись. Паровоз все дымил.

На вагонных окнах белели чистенькие занавески. Это было странно. Просто невероятно.

— Чудно, — сказал Байсеитов, словно не понимая и не веря, что после прожитой ночи в мире могут существовать такие белые занавески…

— Скорее, — прокричал на ходу какой-то парень, — скорее, поезд отходит в десять!

Мы заторопились, вдруг смертельно испугавшись, что опоздаем.

На площадке последнего вагона стояли две рослые девушки в шинелях, краснощекие грудастые девушки с наведенными бровями. Они

протягивали нам руки, и мы, стыдясь, протягивали им свои, и девушки втащили нас в вагон. Когда поднимали Байсеитова, его ноги стучали о ступеньки, как деревянные.

— Этот полегше будет, — сказали девушки про меня, и, когда втащили, одна шлепнула меня пониже спины, — давай, хромай веселее!

Я вошел в вагон. Он был набит до отказа. На чистых сверкающих скамейках и на чистом сверкающем полу, под чистыми сверкающими занавесками сидел измазанный наш, усталый, измученный и голодный народ. Странно было знать, что это те же самые люди, которые так недавно ехали сюда такие чистые, сытые и здоровые. Но это были они, те же самые, и вид у них был отработанный, они смахивали на отходы, на второй сорт, потому что горе и обида иссушили их за одни сутки. Но я-то хорошо знал, что этот народ не сдался, нет, не сдался! Просто мы все ехали перезаряжаться.

Байсеитов нашел мне место в дальнем углу вагона, рядом с собой, и я опустился на пол. Было тепло и, несмотря на большое количество людей, очень тихо. Народу все прибывало. Потом больше уже никто не входил: видно, грудастые проводницы никого не пускали, люди шли вперед, к голове

состава, я слышал голоса за окнами. Вдруг дверь открылась, и к нам в вагон вошел слепой старик. Лысая его голова была обнажена, водянистые серые глаза смотрели строго. Старик все время что-то неслышно шептал, губы его непрерывно шевелились. Впереди него пробиралась крохотная девочка-поводырь. Она была в ладненьком, перевязанном веревочкой зипунчике, головка повязана платочком. В больших, наморщенных, синеватых своих руках старик держал каравай хлеба. Он прижимал его к груди. Войдя в вагон, старик остановился и строго сказал что-то шедшей за ним проводнице. Она скрылась и быстро вернулась, протянув старику длинный и острый нож. Тонким и осторожным движением старик отрезал от буханки небольшую горбушечку. Он отдал ее девочке, и та подошла к первому из нас и протянула ему хлеб. Человек взял, а девочка тотчас вернулась к старику. Он уже ждал ее с новым небольшим ломотком черного хлеба. Девочка взяла ломоток и отдала следующему. Так шли они по вагону, старик и девочка, и оделяли голодных людей, и мы принимали этот хлеб с благодарностью, и грудастые проводницы стояли и плакали.

22

Совершенно не помню, сколько я спал и сколько мы ехали, какие места проезжали, ничего не помню. Вскочил я, когда поезд стоял у перрона Киевского вокзала и половина наших людей уже покинула вагон. Надо мной стоял Байсеитов, он трогал сапогом мои ноги.

— Вставай, — говорил Байсеитов, — вставай же. Москва!

Не передать того, что я почувствовал, когда услышал это слово. Не стоит об этом. Я жадно, до исступления жадно вбирал глазами Киевский вокзал, его грязный, немытый стеклянный купол, нехитрые киоски вокруг и большой разлет площади. Мы стояли на ступеньках вокзального здания, на площади было пустынно, знакомые с детства камни лежали передо мной. Да, это была Москва, в этом было все дело, и сердце билось тяжело и сильно, как язык многопудового колокола.

Слева с Бородинского моста, четыре девочки вели аэростат. Четыре ладные девочки с узенькими талийками вели под уздцы допотопное чудище. Девочки знали, как с ним обращаться, и

чудище безропотно подчинялось им. Байсеитов не смотрел на девочек.

— Мне на Можайку, — сказал Байсеитов и переступил с ноги на ногу, прощаться надо.

— Напиши адрес, — сказал я.

Мы пошли к перронной кассе, попросили карандаш и кусочек бумажки и обменялись адресами.

Я сказал:

— Я написал тебе адрес, Байсеитов, не просто так. Байсеитов, слышишь, приходи ко мне. Мой ключ лежит всегда в почтовом ящике, и если меня не будет дома, ты входи и обожди. Я тоже к тебе приду.

Мы протянули друг другу руки, и Байсеитов раскрыл глаза. Я увидел глаза Байсеитова. Оказывается, это были прекрасные глаза, не маленькие, не узкие, нет. Это были огромные человеческие глаза, наполненные нежностью и грустью. Я долго смотрел в эти глаза. Мы обнялись. Он спустился по ступеням и быстро пошел, не оглядываясь. Он шел, а я смотрел ему вслед. Без него тоже никогда не будет совсем хорошо.

И я пошел домой. Быстро идти я не мог, да и не хотел. Коряга-костыль был теперь моим спутником. Он постукивал слева, и ноги саднили,

но сердце оживало, дело было в Москве, идти было легко.

Над городом висел странный и неприятный запах гари, черный дым вываливался из многих труб, людей было мало, изредка проносились машины, груженные узлами и разной рухлядью. На узлах сидели насупленные люди. Окна магазинов были завалены мешками. Мрачно было и строго. Москва была сжатая, подобранная, и мне показалось, что я вижу ее лицо, подлинное лицо, без гари и машин с узлами. Многое в ней изменилось за время моего отсутствия, в самом воздухе изменилось, и я чувствовал, что это неспроста, что еще серьезнее дело стало. Москва напоминала мне сейчас бойца, что стоит вот так же сумрачно и тихо, широко расставив ноги, и глядит исподлобья, прежде чем одним разом, одним ударом смыть с себя позорное оскорбление, скверное надругательство врага, которому если не отомстить, то и жить уж нельзя на свете. Я вспомнил строки и сказал вслух:

Изловчился он,
Приготовился...
И ударил!!!
Своего ненавистника!

Прямо в левый висок!

Со всего!!!

Плеча!!!

Это было у Смоленского. А на Арбате мимо меня проскакал конный. Лошадь стлалась по центральной улице Москвы, всадник свистел плетью и жег коня, он гнал его как безумный, стоя в стременах и качая поводьями, чтобы еще ускорить этот дикий бег. Бледные искры взлетали из-под конских копыт. Да, наверняка дело серьезное.

В нашем дворе никого не было, никто не видел, что я пришел домой, бородатый, с костылем, и я долго стоял у своего почтового ящика не в силах побороть волненье. Потом я наконец решился и пошарил в нем рукой. Он был пуст, в нем не было ни одного письма, и ключа от моей комнаты тоже не было. Я нашарил в полутьме свою дверь и толкнул ее. Она была открыта.

Вот он, гвоздик на стене, где висел плащ девочки Лины.

Я шагнул в комнату. За столом, на стульях и на кровати сидели женщины. Много женщин. Старые и молодые, разные. Они повернули ко мне головы. Все молчали. Первой заговорила стриженая курчавая женщина, стоявшая у стены.

Она сказала требовательно и сухо:

— Вам кого, товарищ?

— Никого.

— Не понимаю вас, — сказала она и прищурилась.

— Я пришел домой, — сказал я. — Я здесь живу.

Женщина еще не понимала.

— Черт знает что, — воскликнула она. — Райсовет предоставил нам это помещение для занятий медсестер.

— И прекрасно, — сказал я, — молодец райсовет.

— Но нас уверили, что помещение совершенно свободно!

— Я не помешаю вам, — сказал я. — Занимайтесь, сестрички, меня действительно не было, но я пришел. Я из ополчения, — добавил я. — Я спать хочу. Занимайтесь, сестрички.

Те из них, кто сидел на кровати, вскочили. Я прошел к кровати и снял сапоги. В комнате сразу запахло портянками. Я лег в чем был и повернулся к стене.

— Занимайтесь, — сказал я. — Занимайтесь, сестрички.

23

Было совсем темно. Я вскочил и начал лихорадочно одеваться, мне показалось, что это побудка и нужно растолкать Лешку, но рядом никого не было, рука моя ткнулась в подушку, соломы не было, воздух был чист, не слышно было храпа. Я вспомнил, что дома. Медленно, ощупью пробрался и проверил затемнение. Оно было в полном порядке, можно зажигать свет. Я щелкнул выключателем. В комнате все было чисто прибрано, все было как всегда, только на стенах не было Валиных фотографий — на стенах висели прибитые большими гвоздями плакаты, объясняющие, как лучше переносить раненых, как накладывать повязки, делать уколы и так далее. На столе лежало несколько кусков хлеба, куски эти имели разные оттенки и даже разные цвета, еще там лежал небольшой кусок колбасы, конфетка «прозрачная» и кусок сахара. Я вспомнил женщин с курсов медсестер и понял, что это они оставили мне поесть, позаботились обо мне и собрали между собой кто что может. Я налил в огромную кастрюлю воды и поставил ее на керосинку. Пока вода грелась, я нашел чистую рубашку, трусы,

носки и снял с полки красивый плотный кусок мыла. Потом я подождал у керосинки и водил пальцем в воде, пока она не согрелась.

Я налил немного воды в таз и вымыл голову. Потом, в новой воде, я мыл ноги. Там, где у меня были язвы, теперь была новая розовая кожа.

Потом я разделся весь донага и развел оставшуюся воду холодной и кое-как вымыл тело. Живот у меня так ввалился, что я удивился даже. А грязи на мне было столько, что когда вода стекала в корыто, я смотрел на нее и только приговаривал сто раз подряд:

— Ну-ну! Ну и ну!

Потом я встал у стола и поел оставленного мне медицинскими сестрами разнокалиберного и разноцветного хлеба: черного, серого и коричневого. Я съел сахар, конфету, маленький кусок колбасы и запил все это холодной водой. Потом потушил свет и, отодвинув штору из черной бумаги, глянул в окно. На дворе было светло. Значит, был день и я проспал часов шестнадцать. Нужно было идти…

24

Войдя в театр, я почувствовал странную атмосферу безлюдья. Никто не встретил меня в служебном проходе, и я, опираясь на Байсеитовский костыль, прошел через внутренний коридор, не встретив ни одного человека. В коридоре, загораживая проход, стоял ящик. На нем было написано: «Аппаратура». Он был перевязан толстыми веревками. Протиснувшись боком, я прошел дальше и увидел сквозь неплотно закрытую дверь следующей комнаты Зубкина. Он был похож на лягушку больше, чем когда-либо. Воровато озираясь, он вытащил какую-то папку и разорвал ее в клочки. Я смотрел на него. Я не понимал, что он делает, но во всей его повадке в эту минуту было что-то такое мерзкое, подлое и даже предательское, что у меня просто почки заболели от отвращения, и я ушел.

Пройдя налево, я услышал голоса в буфете.

Вот и еда, подумал я и толкнул дверь.

Валя шла через комнату на подламывающихся каблучках. Она шла, обходя голые мраморные столики, прямо к стойке. Там стоял человек. Он был в узких брюках, мне показалось, что это лоси-

ны. Валя шла, протягивая к нему руки. Он подал ей стакан. Валя взяла его и пошла за свой столик. Она меня не видела. Я шагнул к ней навстречу.

Я сказал:

— Почему ты не ответила на письмо?

Она взглянула на меня и выронила стакан. Он упал на каменный пол, и кисель разлился розовой лужицей.

А Валя смотрела на меня, и вдруг я увидел, что ее глаза до краев переполнены злостью. Она сказала негромко и внятно:

— Как вы изменились. Вы что, с того света, что ли? Я получила вашу записку, она патетична. Меня тошнит от патетики!

Она подошла ко мне близко, и никто не мог слышать ее слов. Я ожидал чего угодно, но она всегда была полна неожиданностей. И тут она сказала мне, глядя в глаза очень откровенно:

— Письмо — это документ, братец… — И пошла мимо.

Значит так: я получу твое письмо и потом буду показывать его каждому встречному и поперечному и буду похваляться?!

Я спустился вниз, в кладовую, кладовщик сидел и барабанил пальцами по столу. Увидев меня, он сказал:

— Вернулся?

Я сказал:

— Да. Примите.

Я снял с себя ватник и, привалившись к стене, стянул сапоги. Старик долго и сокрушенно осматривал прожженный истершийся ватник. Он поворачивал его и так и этак, поближе к свету, и все поглядывал неодобрительно на меня, качал головой и цокал. Сапоги мои окончательно расстроили его, и он сердито бросил мне мои ботинки. Я снял портянки и переобулся. Стало удивительно легко ногам. Просто казалось, что я босиком. Я поднялся наверх и вышел из театра.

Мне надо было попасть на Тверской бульвар, в райком. Я знал, что делать. Пусть попробуют мне отказать. Я не от себя прошу. Так мы сговорились с Лешкой Фомичевым. Он упал на траву, там, на этой проклятой дороге, он упал на траву и закрыл свои карие очи. Меня надо взять, это за меня просит моя единственная, моя ненаглядная Дуня, она ждет, что я приду и возьму ее в жены. Сережа Любомиров просит за меня и те, кто остался позапрошлой ночью на той стороне, у нашего штаба, когда фриц перелетел и отрезал им путь к жизни. Они посылают меня к вам, товарищ Райком. Я остался цел, но это чудо, и значит только то, что

я должен доделать работу. Эту страшную работу войны. Я буду делать ее всегда, пока цел. А если я цел не останусь, — то останется другой.

Вот так я и скажу в райкоме, пусть попробуют меня не послать, я черт знает до кого дойду — не имеют права меня браковать!

25

Я еле протолкался через толпы людей. Повсюду стояли столы, кого-то записывали, выкликали, проверяли. Здесь были студенты, рабочие, служащие и даже школьники. Здесь никто не собирался зажимать меня.

— Иди в МК. Раз ты в партизаны, иди туда. Колпачный переулок.

— Возьмут? — грубо спросил я, нервы мои были напряжены.

— Иди сходи, — уклончиво сказал вихрастый инструктор.

Хотелось мне тогда иметь крылья, но пришлось все-таки идти пешком. Но я не такие куски хаживал, я отдохнул, я надеялся и поэтому дошел быстро и споро.

В коридоре толкался народ. Я увидел женщину в черном платке, крест-накрест, туго-натуго об-

легавшем грудь. Она была похожа на ту, которая звала с плаката «Родина-мать зовет».

— Двух сынов убили и мужа, — сказал кто-то за ее спиной.

Я с любовью смотрел на ее прекрасное лицо. К человеку, от которого все зависело, была очередь, входили по двое-трое. Я долго ждал. Когда меня вызвали, я вошел в просторную, плохо прибранную комнату, в ней тяжело пахло холодным табачным дымом, и за столом сидел человек с густо заросшим лицом. Он сидел на табуретке, она скрипела под ним, под его вертким телом. Он был в кожанке. Перед этим человеком стояла девочка в синем пальто. Из-под пальто торчала коричневая юбка, а из-под юбки красные лыжные штаны. Из-под огромной шапки-ушанки свисали две косички. Я видел ее худенькое личико, освещенное серыми глазами, огромными и чистыми. Девочка стояла перед человеком в кожанке и что-то говорила. В голосе ее была мольба. С решимостью и надеждой смотрела она на привыкшего к запаху холодного табачного дыма человека. Он же смотрел на нее из-за барьера своих бессонных ночей и моргал красными, воспаленными веками. Он все наклонялся вперед, табуретка скрипела, видимо, человек хотел

получше разглядеть девочку. Выслушав ее, он болезненно поморщился и спросил:

— И что же ты собираешься делать в наших партизанских отрядах?

Девочка взмахнула худенькой рукой и шагнула к столу.

— Взрывать, — сказала она.

Человек в кожанке взглянул на нее, и вдруг что-то осветило его заросшее щетиной лицо. В глазах появились нежность и боль. Но он тотчас сдержался, погасил свой свет изнутри и сказал, отвернувшись:

— Иди, девочка, домой…

Она отошла от него и, прислонившись к грязной стене, заплакала. Он скрипнул табуреткой и сказал:

— Следующий.

Я подошел к нему, стараясь не хромать, он поговорил со мной и сказал, что ладно, я вполне подойду и что завтра меня, возможно, отправят к месту назначения, чтоб я не уходил.

— А пока, — сказал он мне, черкнув что-то на бумажке, — а пока, Королев, можешь спуститься вниз в подвал, найдешь там товарища Андреева, предъявишь ему эту записку, и он тебе выдаст сапоги и ватник…



Сегодня и ежедневно
1

Это был, пожалуй, самый лучший рыжий парик из всех, в которых мне приходилось работать. Он был удивительного алого цвета, волосы на нем лежали, как живые, врассыпную, и, кроме этого, он был снабжен всей возможной техникой: в его монтюр были вшиты и резиновые трубочки слезопроводы, и крылья его поднимались оба вместе и каждое в отдельности, и, главное, он был по мне, он был мой любимый. Сделал его несколько лет тому назад сам Николай Кузьмин, непревзойденный мастер всяких наших цирковых парикмахерских ухищрений. Я редко надевал этот парик, все берег, экономил, а сейчас вот вынул его из туго набитого чемодана и надел. И как только надел, так снова убедился в необычайной его добротности и в удивительном свойстве: лицо мое под этим париком мгновенно изменилось до неузнаваемости, стало именно таким, каким бы я хотел его видеть перед выходом, и от этого мне сразу стало весело и захотелось работать. Я взял на палец немного второго тона,

растер его чуть-чуть и аккуратно замазал все лицо, законопатил все его чудовищные рытвины и морщины, особенно возле носа и у глаз, затем я хорошенько зашпаклевал все свои синие веснушки и плотно загрунтовал шов, чтобы совершенно не видно было того места, где гладкий лобик парика соединяется с моим довольно морщинистым лбом. Потом я растушевал краску от скул и подбородка к шее, свел ее на нет и прибавил как следует красного у висков. Нос я сегодня сделал себе из гуммоза, он хорошо взялся и торчал такой добродушной картошечкой, я и его подкрасил, да и губы тоже, никак, впрочем, их не деформируя, не уменьшая и тем более не увеличивая, — рот у меня, слава богу, от природы не маленький. Настоящий клоунский рот, во всяком случае его отовсюду видно, в этом я не сомневаюсь. Светло-кофейный пиджак и брюки с мотней, оранжевый бант, полуметровые ботинки и зеленая кепка. Собственно говоря, я готов, можно уже идти. Но еще рановато, и можно посидеть перед зеркалом несколько минут. Хорошо было сидеть в старом цирке, в маленькой старой гардеробной, в которой когда-то, может быть, сиживал мой отец, сидеть в полном клоунском облачении перед зеркалом и слушать знакомые звуки цирка, и

прежде всего далекую музыку, и стараться угадать по музыке, какой там номер работает сейчас на манеже, и как он — нравится публике или нет, «проходит» артист в программе или так, еле ползет и получает в награду лишь вежливые аплодисменты. Минуты бежали, я сидел у зеркала и, сказать по правде, немного волновался. Теперь нужно было идти. Я улыбнулся в зеркало и скорчил знаменитую гримасу… Все в порядке.

— Ура-ри-ру! Вот он я!..

Я вышел из гардеробной. В коридоре было пусто, звуки оркестра стали явственней, и я подумал, что где-то уже слышал эту музыку и что она мне не нравится. Я так шел, и думал, и старался вспомнить, и наконец вспомнил Ташкент и лысого молодого человечка, Лыбарзина — лысого, уже толстеющего жонглера. Мы работали в одной программе, он скользкий был, этот тип, и большой ходок по бабам, он пудрился, и от него всегда несло дешевым одеколоном. И когда мы в первый раз увиделись, познакомились, я помню, он коснулся моей руки своими холодными скользкими руками. Потом он куда-то неожиданно уехал и в спешке забыл со мной проститься, и сейчас мы снова с ним встретились в программе, и он, наверно, сконфузится, когда увидит меня.

Чепуха какая. А все-таки артистом этот Лыбарзин никогда не станет. Нет, нет. На мой взгляд, не станет. Начнем с того, что его фамилия вот уже несколько лет встречается на афишах разных цирков, а кидает он все равно не больше пяти предметов и то, как правило, «сыплет» — нет отработанности, нет блеска в номере, того самого блеска, который достигается непрерывной, жестокой и требовательной тренировкой. У него все случайно, напряженно, никогда нельзя быть вполне уверенным, что номер пройдет гладко. Правда, он прыгает немножко и после каждого трюка крутит колесо, как на первом курсе, или еще что-нибудь в этом же бесхитростном роде, а то под финал скрутит даже задний сальто-мортале, и все это с прикриком, с продажей, с вольтажом-куражом и черт его знает еще с чем, и в результате все-таки удается подэлектризовать публику, и ему хлопают, и девочки десятых классов пищат: «Лыбарзин», — и этот дурак улыбается им улыбкой уличной девки. Не артист, нет.

Я спускался вниз, никого не встретив по пути, лишь в самом низу из-за занавески навстречу мне вырвался молодой испуганный униформист. Я никогда в жизни не видел его. Узнав меня, он остановился как вкопанный.

— А, дядя, Коля, — сказал он и вздохнул. — Это вы… уже идете?

Он, видно, недавно в цирке. Поэтому и подумал, что я могу опоздать на выход. Я сказал:

— Да, это я. Ступай в манеж. И не пыхти так.

Он хихикнул и побежал обратно. Сзади хорошо было видно, какие у него смешные торчащие уши с резко срезанным углом внизу.

У репертуарной доски никого не было. Я посмотрел программу. В третьем отделении было написано: «Слоны», и я понял, что Ванюша Русаков здесь, это было очень хорошо, номер международного класса, работу Русаков показывал такую, какую нигде больше нельзя было увидеть, и этого одного было бы достаточно для полных сборов в любой столице мира. Второе отделение, видимо, было еще не полностью сформировано, в программе белые пропуски, но все-таки было ясно, что номера будут отличные, по первому классу, разнообразные по жанрам, и хотя там были и случайности вроде Лыбарзина, но, в общем, все строилось неплохо и, может быть, даже с расчетом на экстра-класс. Уже одно то, что я заканчивал первое отделение, говорило о многом, ведь мое законное место в нормальных программах всегда было в конце второго отделения,

здесь обычно нашей режиссурой устанавливался этакий смеховой пик программы, потому что я давал два-три сцепленных антре одно за другим, низал их в целое ожерелье, смеха получалось, в общем, довольно много, и можно было на этом успокоиться. Но здесь, видно, был другой замысел, здесь все было немножко передвинуто, и раз уж меня поставили в первое отделение, значит, у них в кармане есть нечто более интересное, значит, готовится что-то грандиозное, какой-то ошеломляющий сюрприз. Программа еще только собирается, и артисты съезжаются сюда со всех концов Союза, официальная премьера состоится через несколько дней, а сегодня первая черновая репетиция, прогон программы и просмотр уже прибывших номеров. А по-настоящему лепить, выстраивать программу начнут не раньше чем послезавтра, когда съедутся все гастролеры.

Я прикидывал в уме самые различные варианты. Из комнаты инспектора вышел Борис. Мы с ним старые товарищи. Он знал меня еще молодым, розовым мальчишкой. Мы с ним старые товарищи, но я его молодым не знал. Он всегда был высоким, плотным, одет в отличную черную пару, тщательно причесан на пробор. Увидев меня, Борис ускорил шаги. Он подошел ко мне.

Мы пожали друг другу руки.

— Ты приехал, Николай? — сказал Борис, как всегда чуточку в нос. — Ты приехал?

— Вот он я.

Он положил мне руку на плечо. Значит, рад был свидеться. Он дружил еще с моим отцом. Однажды, когда мать спала, я снял с ее руки кольцо и проглотил его. Оно встало у меня поперек горла. Отец схватил меня на руки и побежал. Я задыхался и синел. Отец бежал по цирку как слепой. Он тыкался во все двери и не мог найти выхода. Его увидел Борис. Он отнял меня у отца, этот решительный человек, и мизинцем вытащил застрявшее в горле кольцо. Теперь он стоял, положив руку мне на плечо, и радовался, что мы свиделись. Я радовался, наверно, еще больше. Я знал, что мы хотим поцеловаться. Мы оба знали это, и с нас было достаточно.

— Что-нибудь нужно? — спросил Борис.

— Нет, — сказал я, — ничего не нужно. Я выйду, а ты стой сбоку сыграем мою любимую. Классику.

— Вильгельм Телль? — спросил Борис.

— Да, Вильгельм Телль, — сказал я.

Я люблю это старое, классическое, наивное и уморительное антре. Я видел многих исполни-

телей этой бесподобной сценки, но я никого их не сравню с отцом, сам я только подражаю ему, и теперь выбором этой сценки для сегодняшнего вечера я хотел сделать приятное Борису. Он это понял, я видел, как благодарно сбежались морщинки к углам его глаз. В это время к нам подошел Жек. Тоже старый друг, профессор всех возможных и невозможных цирковых искусств, в униформе нет никого старше его, опытней и умелей. Да он, собственно, и не униформист, он гораздо выше любого инженера, он прекрасно разбирается во всех цирковых аппаратах, сам может сконструировать удивительные вещи, отремонтировать все на свете — от медвежьего намордника до какого-нибудь капризничающего подшипника в «воздушной ракете». Он — главный помощник Бориса, его верная опора, и я люблю его юмор, его седые волосы, шрам на лбу и коричневый румянец.

— Кого мы видим! — сказал Жек. — Мы видим короля клоунады! И мы видим его уже готовым. Запишите, он уже в костюме! Ну, здорово! Как она, жизнь?

— Как в сказке, — сказал я. — Чем дальше, тем интересней.

— Ага, живой! — сказал Жек. — Раз шутит —

значит, живой. А про тебя здесь говорили, что ты подорвался!

— Это верно, — сказал я. — Что верно, то верно — подорвался.

Борис придвинулся ко мне близко и стал рассматривать мое лицо. Он внимательно осмотрел меня сверху вниз, потом снизу вверх. Это было похоже на обнюхивание.

— Ничего не вижу, — сказал Борис, — а сказали — подорвался, все лицо изуродовал. Где же следы? Ничего не видать…

— Есть следы, — сказал я. — Я теперь весь в синюю крапочку. Очень интересный.

— Хорошо, что глаза не выжгло, — сказал Жек. — Но небось исчезла вся ваша неземная красота? Бедные девочки, погиб ихний красавчик.

— Не беспокойся за моих девочек, я еще лучше стал, тебе говорят. Теперь девочки со стульев падают, как только я выхожу на манеж.

— Ах, вот оно что! — сказал Жек. — Там у центрального входа целых три штуки валяются, это, случаем, не через вас? Не ваши это жертвы?

— Ну да, мои, — сказал я. — Неужели вы не знали? Одичали вы тут как-то.

— Слушай, — сказал Борис, — сколько можно разыгрывать? Расскажи-ка, что будешь делать?

Я тебе нужен?..

— Да ведь я говорил. Вильгельм Телль.

— Ну да. А на выход?..

— На выход «собачку».

— «Собачку»?

Было видно, что ему по душе мое пристрастие к старым «классическим» репризам. Но что-то его тревожило.

— Да, — сказал я, — «собачку». А что? Ты имеешь что-нибудь против?

— Да нет, — сказал он нерешительно. — Я ничего не имею против. Но ведь ее давно не делают. Вышла из моды. Забытые страницы.

— Ну да, беззубое зубоскальство…

— Безыдейщина, — вздохнул Жек. — Куда там!

— Тогда сделаем так, — сказал я. — «Добрый вечер! — скажу я. — Здрасте! Я клоун! Разрешите мне приветствовать вас от имени всего нашего дружного, спаянного коллектива.

Вот бежит речушка,
А за нею лес!
А над ним сияют
Огни только что открытой,
но довольно-таки мощной ГЭС».

— Во-во! — сказал Жек. — Очень хорошо. Все будут хохотать как сумасшедшие. Они попадают

прямо со стульев. Пойду соломки постелю.

— Понимаешь, я какой-то странный, — сказал я, — чокнутый, наверно. Мне хочется, чтобы они действительно смеялись. Наяву. Раз я клоун и раз я к ним вышел, они должны смеяться. Понимаешь, я чокнутый, и мне так кажется. Иначе я никуда не гожусь. И не беспокойся, они будут смеяться вполне идейно. Я это умею. Я живу как раз для этого, уважаемые члены дорпрофсожа!

— Разошелся, — сказал Жек, — кипятится…

Я сказал:

— Если они не смеются, если они не будут смеяться, когда я выхожу в манеж, можете послать меня ко всем собачьим свиньям. Меня вместе с моим париком, штанами и репертуарным отделом Главного управления цирков.

— Тише, — сказал Жек, — говори шепотом. Начальство услышит — голову оторвет.

— Плевал я на твое начальство.

— Замолкни, Жек, — сказал Борис, — не зли его. Ведь он же перед выходом. Ему сейчас работать… — И он повернулся ко мне.

А я не злился. Сказал, что думаю, вот и все.

— Ты где остановился? — спросил Борис.

— Еще нигде. Прямо с вокзала в цирк. Прошел наверх, заглянул в малый коридор, а на дверях

моя афиша. Ты устроил?

— Ну, я, — сказал Борис.

— Спасибо, — сказал я, — это здорово, когда есть собственная гардеробная. Маленькая, но своя. Это дом.

Да, да. Мы бездомные бродяги, и для нас своя отдельная гардеробная это дом и мир. Не люблю гримироваться в длинной общей комнате на восемнадцать человек, в комнате, где шумно, как на стадионе, и где твоя соседка справа, юная акробатка, — обязательно кормящая мать, а сосед слева занят тем, что целый день лечит собачку-математика от нервного расстройства.

— Спасибо, — сказал я еще раз.

— Вы заслужили, родные. — Жек все шутил.

Борис прислушался и скрылся за занавеской. Через секунду он вернулся к нам.

— Лыбарзин кончает, — сказал он, — сейчас выпущу следующую. Ты, Коля, постой здесь. Идем, Жек, слышишь?

Мимо нас пролетела какая-то барышня. Она была в белом, осыпанном бриллиантами трико. Накрахмаленная юбочка торчала всеми тремя слоями. Она остановилась у занавески. Я видел ее впервые в жизни. И сказал:

— А вот и каучук.

Она улыбнулась мне, ямочки украшали ее забавную мордочку.

— Здрасте, дядя Коля, — сказала она и грациозно присела. — С приездом.

— Здрасте! — сказал я. — По-моему, я вижу вас первый раз в жизни.

— Я Валя Нетти, — сказала она, — вы меня просто не узнали, Валя Нетти, дочка Сергея Петровича.

Черт побери, я ее видел лет пятнадцать тому назад где-то в Ижевске, тогда ее носили на руках, она уже тогда щеголяла в одних передничках и юбочках. Правда, без трико. Тогда эта артистка была известна тем, что повсюду оставляла за собою лужицы. Даже у меня на коленях. Но теперь я не сказал ей об этом. Ей бы не пришлись по сердцу подобные воспоминания. После того как она мне сообщила, кто она такая, она смотрела на меня, видимо, ожидая, что я сейчас умру от восторга. Поэтому я всплеснул руками и сказал:

— Ой-ой, смотрите, как время бежит. Смотрите, какая вы большая, а я вас на руках носил.

Она засветилась вся и повертелась передо мной:

— Как вам костюм, дядя Коля? Только сегодня сшили, у нас всегда горячка.

— Хорош, — сказал я восхищенно, — хорош, и тебе очень идет. — Она вся расцвела. — Только вот что, — продолжал я, — ты подтяни резинки повыше, а то ты все время стесняешься и опускаешь их, натягиваешь, они врезаются, и у тебя получаются повсюду шрамы и тело красное — некрасиво. Ты уж лучше сразу задери их повыше — и дело с концом.

Она так и сделала, а потом спросила:

— А не чересчур голо?

— Ну, — сказал я, — тут уж ничем не поможешь. И так чересчур голо, и этак то же самое.

На плечах у нее был легонький свитер, а ноги были голые, они начинали синеть и покрылись пупырышками. Она стала разминаться, подпрыгивать, и приседать, и высоко выкидывать ноги на батман, и сгибаться, и проворачивать корпус, почти касаясь пола затылком. В это время раздались недружные аплодисменты, и мимо нас проскочил разгоряченный Лыбарзин, за ним бежал пожилой униформист. Лыбарзин не заметил меня, он взбегал по лестнице, роняя на ходу разрисованные яркие мячи, кольца и булавы. Его униформист спотыкался и поминал черта. Я не стал окликать Лыбарзина. Не та была минута. С манежа донесся гулкий голос Бориса, он что-то

прокричал, и сейчас же грянул оркестр. Из-за занавески выглянуло испуганное лицо ушастого униформиста. Он крикнул:

— Нетти! Что же ты? Давай!..

И Валя побежала на выход, махнув мне рукой.

Я подумал, что надо бы мне посмотреть ее работу, совсем молоденькая, а в такой программе соло выступает, это не шутки. С другой стороны, уже одно то, что она дочка Сергея Петровича, говорит, что она должна быть хорошей артисткой, тут все должно быть на сливочном масле, старик не потерпит «туфты»: я, мол, хорошенькая, где чего недоделаю, так доулыбаюсь, оно и сойдет. Можно ручаться, что здесь и труд есть, и красота, и умение, иначе батя не выпустил бы ее.

В это время с манежа вернулся Борис, Жек шел за ним.

— Электрик эффекты знает? — спросил его Борис.

— Два раза утром проходили, — ответил Жек, — все в порядке, не идиот же он!

— Кто вас знает, — сказал Борис, — все вы такие. С первого взгляда вроде не идиот, а если, товарищи, глубже копнуть… В общем, если будут накладки, ты у меня за все в ответе.

Они подошли ко мне.

— После Нетти пойдешь, Коля, — сказал Борис. ~ Тебе-то не все равно? После тебя — лошади, и кончим отделение. Это пока на сегодня так, не против?

— Ладно, — сказал я, — тогда иди в манеж. Стой у форганга.

— Я тоже пойду, — сказал Жек.

— Значит, не объявлять? — спросил Борис.

— Да, не надо, — сказал я, — пошли. Ты только стой у форганга. Я выйду, и сработаем. Ты только «собачку» вовремя подай. Реплика в реплику. А дальше само пойдет.

— Да что я, в первый раз, что ли? — сказал Борис. — Ну, ни пуха!

— К черту, — сказал я, — иди к черту.

2

Жек побежал вперед, Борис поспешил за ним. Я прошел не торопясь к занавеске. Со стороны кулис висит довольно старая служебная занавеска, неприглядная, обшарпанная и затерханная, покрытая пятнами, жесткая и коротковатая. И я не люблю ее, когда иду в манеж... От нее, от этой старой тряпки, остается всего только восемь шагов до другого, парадного, занавеса, работаю-

щего на зрителя, и это роковое расстояние между двумя занавесками в старину называлось коридором смерти... Видно, всегда, во все времена страшно было артисту перейти эту роскошную бархатную черту занавеса, пышные складки которого отделяют зрителя от нашего волшебного мира, мира немыслимо голубоглазых красавиц и белозубых аполлонов, мира мечты и дерзости, мира безумной храбрости, риска и вызова, силы, ловкости и красоты, мира неслыханных мышц, необычайных поступков, желанного, волнующего, таинственного, зовущего цирка. Я люблю эту декоративную занавеску, и больше всего именно теперь, когда я иду в манеж, когда до встречи со зрителем остаются считанные секунды. Я люблю ее потому, что верю в этот наш парадный цирковой мир, мое сердце бьется горячо и влюбленно, когда я стою в кромешной темноте перед этой занавеской в ожидании выхода, мое сердце бьется глухо и часто — это в него стучится кровь тысяч клоунских сердец, создавших цирк. И хотя я хорошо знаю на собственной шкуре, что такое наша адская работа, что такое ее пот и боль, ее разнообразные грыжи и выпадения прямых кишок, ее расплющенные суставы и отбитые крестцы, растяжения, вывихи, переломы и ушибы, — я

верю в вечную легенду о цирке. И я умею пройти мимо этой жалкой занавески, не замечая ее убожества и нищеты и ощущая только суровый восторг и волнение перед тем невероятным и удивительным, что ждет меня там, за красным занавесом, на маленьком, усыпанном опилками кругу, перед смеющимся, грохочущим, ревущим и рукоплещущим празднеством, перед тем, что было, есть и пребудет во веки веков, — цирк, цирк, цирк!

...Я стоял так в темноте, в этом самом коридорчике смерти, музыка играла, и в разошедшиеся фалды занавеса было видно, как Валя Нетти крутит от самого оркестра к форгангу финальную комбинацию трюков: рун-дат флик-фляк — сальто-мортале. Это была ее бисовка, или, как говорят у нас, де капо. Эта девочка крутила серию мужских трюков, крутила классно, школьно, блистательно. Нет, ее батя не выпустил бы какую-нибудь недоделку на публику. Валей он мог гордиться: это была артистка цирка, артистка высокого класса. Публика вовсе не дура, далеко нет; наоборот, дурак тот, кто придумал это про публику. Если работа чистая, высокая, публика это сразу раскусит, она все видит и понимает, и Валю проводили дружно и горячо, и Борис, стоящий у

форганга, два раза вернул убегавшую Валю, и она посылала «комплименты» залу, изящно отставляя то левую, то правую ногу и приветственно подымая руку.

Ушастый униформист подал ей маленький серебряный плащ, и она ушла с манежа красивой и достойной походкой, на носках, чтобы фигура выглядела женственной, и ее провожали дружными аплодисментами до самой той секунды, когда она скрылась за занавесом.

— Я смотрел, — сказал я, когда она прошла мимо меня и я почувствовал раскаленный ее запах. — Люкс, первый класс. Умница. — И добавил: — Ай, браво!

Так говорят обезьянкам, когда хотят одобрить их понятливость или вообще поощрить, приласкать. Так говорят в цирке обезьянкам, медвежатам и вообще разным симпатичным зверькам.

— Ай, браво! — сказал я еще раз и почувствовал, что девочка улыбается во тьме, гордая моим одобрением.

В эту секунду занавеска распахнулась на две стороны, и униформисты повернулись: один ряд — налево, другой — направо. Я стал виден зрительному залу, электрик вонзил свой прожектор

прямо в меня. И я сразу пошел вперед… Несколько секунд я шел молча, и лишь поравнявшись с первым униформистом, то есть первым от меня и, следовательно, самым дальним от публики, я засмеялся. Это я делаю всегда, это мой пробный камешек, моя заявка, что-то вроде предъявления визитной карточки. Я сразу настраиваю публику на свою волну, и если она ее примет тоже сразу и безоговорочно, тогда все у нас пройдет как нельзя лучше, и мы оба, публика и я, будем наслаждаться нашей встречей — это закон. Сегодня зал был неполон, публика бесплатная, состоящая в какой-то части из артистов предыдущей программы, из их знакомых и родных, из работников аппарата, из пап и мам, из случайно забредших людей, из завсегдатаев и болельщиков, словом, публика была самая пестрая. Но делать нечего, занавес за тобой задернут, чтоб не убежал, вот стоит Борис и вся его шарага-униформа — тоже стерегут, чтоб не убежал. Делать нечего, спасенья нет — алле! — и я рассмеялся, и эта сборная солянка, сидевшая в зале вместо моей милой сплоченной публики, вдруг рассмеялась мне в ответ, рассмеялась радостно, и удивленно, и заинтересованно. И тут я увидел, что все униформисты тоже засмеялись, и я похлопал по животу Жилкина, он стоял пер-

вым к публике, он наш председатель месткома, и когда я его похлопал, он прямо покатился со смеху, и лицо у него стало глупым и добрым, хотя в жизни Жилкин довольно сволочеватый старик. И тут я сразу почувствовал себя отлично и вышел уже в манеж. Я сделал всего два-три шага, как раз столько, сколько нужно, и с точностью до секунды во времени и до миллиметра в пространстве меня остановил Борис.

— Стоп! Стоп! Стоп! — закричал он радостно. — Николаша! Ты откуда?

— А-а! Борис Александрович, — сказал я. — Здрасте!

И я стал с ним здороваться, снимал бесконечную перчатку и лез целоваться, падал и чихал, словом, поработал возле него довольно долго и все время слышал многоголосый смех, и это меня подстегивало и подливало масла в огонь, и я импровизировал разные новые маленькие трюки. Борис все это принимал очень хорошо, готовно и профессионально, и мы могли бы так еще минут десять здороваться, но он ловко, умело и незаметно для публики поторопил меня, чтоб не затягивать, и сказал, вытаскивая у меня из-за пазухи детское ружье:

— А это что у тебя такое?

Я сказал:

— Это ружье! Берданка! Я на охоту иду! Я знаешь какой меткий?

— Ну да? — сказал Борис. — Ты меткий? Ни за что не поверю!

— Я — снайпер, — сказал я. — А ты не веришь. Да ты спроси кого хочешь! Все подтвердят… Да вот недавно, чего лучше! Недавно я охотился. В горах. Со своей верной собачкой. И вдруг гляжу — сверху орел. Крылья — во! Когти — во! Прямо камнем сверху — хлоп! Цап мою собачку — ив облака! Тут я сразу обозлился, вскинул ружье, приложился и сразу этого орла — бац! Точно! В глаз! Готов. Упал прямо передо мной… На камни.

— Ну да? — сказал Борис. — Вот это здорово!

— То-то! — сказал я.

— Ну, а собачка? — вспомнил Борис.

— Что — собачка? — сказал я.

— Ну, орла ты подстрелил, а собачка куда девалась?

— А собачка дальше полетела… — сказал я тихо. Эту фразу надо говорить, начиная с пустого места. Как будто у тебя температура тела ноль градусов. Как будто в мире до тебя не было клоунов и артистов. Чарли Чаплина или еще кого-нибудь. Как будто не было никогда ничего

записано и прорепетировано. Как будто все это в первый раз в жизни, в веках, в литературе, тут чем меньше хочешь публике показать смешное, тем оно смешнее будет. Не жми педали, забудь все на свете, скажи так, как будто только что на свет появились эти слова. Скажи так, попробуй — и увидишь.

После того как на местах немножко поуспокоилось, я стал показывать работу. Все-таки я не был здесь целых два года, надо было показать, что время не проходит даром, и я выложил все, что накопил. Они принимали меня очень хорошо, особенно классику, но потом я решил: сейчас или никогда — и показал им «Галерею Бешеных». И мне особенно дорого было то, что это злободневные политические репризы, а они смеялись, смеялись вовсю, и я не посрамил своего имени и имени моего отца — я сделал то доброе, что только и могу делать в этой жизни. Они смеялись, черт побери, и слезы текли у них из глаз, они сморкались и задыхались и многое забыли в эти минуты, и, может быть, даже забыли, что еще не миновала ужасающая опасность войны, которая не дает мне спокойно спать по ночам, потому что я тревожусь за них, за тех, кто смеется сейчас здесь, в цирке, я тревожусь за них, за их

любовь, за их жизнь, за их детей… И вот сейчас они смеются, и все во мне смеется в ответ, и они даже не замечают этого, а я все равно тянусь к ним всем сердцем и знаю, что делаю для них свое веселое и доброе дело.

И когда я пошел за кулисы, Борис шесть раз возвращал меня на поклон, и я кланялся и «лепил корючки»: то кланялся, как прима из «Лебединого озера», а то как дамский любимчик тенор, а то приветствовал народ, как начальник главка, и они все хлопали, и под конец я просто снял парик и гуммоз с носа и поклонился очень серьезно, от души. И тут мы с ними совсем подружились, и когда я прошел за кулисы, я увидел эту старую занавеску и вытер об нее мокрые руки, и она дружелюбно висела на моем плече, старая, уютная, знакомая…

— Сколько лет я тебя знаю? — сказал Жек. — Двадцать?

— Да, — сказал я, — прилично…

— Иди размазывайся, — сказал Борис, — порядок.

— Не могу привыкнуть, — сказал Жек, — двадцать лет смотрю, всегда смеюсь, как маленький…

— Колдун, — сказал Борис, — вся порода такая.

— Буфет работает? — спросил я.

— Работает. Только нету. Запретили.

— Для меня-то? — сказал я.

— Думаешь, ему выпить хочется? — сказал Жек. — Ничего подобного! Он это для виду. На самом деле ему повидаться хочется. «Знать, забило сердечко тревогу», — и он приложил палец к щеке и подперся, изображая хор Пятницкого.

— Ну, она-то на месте, — сказал Борис, — куда она денется. Поспеешь к своей Сикстинке.

— А вы, ребята, балабоны, — сказал я, — скоморохи вы, чтоб вас черти взяли… Пойду разденусь.

Они остались у репертуарной доски и смотрели мне вслед, и я шел, стуча своими длинными башмаками, и они, вероятно, смеялись мне вдогонку. И я слышал, как Жек крикнул мне не без яда:

— Ромео Джульетыч!

Но все это мне было совершенно безразлично. Главное было позади. Я отработал. Дал, что мог. И не впустую, нет, они смеялись. Если так будет всегда, то жить можно. СтОит.

3

Честно говоря, я немного устал. Просто физически. Наломался очень. Я вошел к себе в

гардеробную и на гвоздиках, вбитых в стену, распялил вывернутый наизнанку и совершенно мокрый парик. Я снял с себя ботинки, пиджак, брюки, рубашку и трусы. Вот еще одно преимущество собственной гардеробной. Можно посидеть голяком после работы, а это кое-что да значит. Потом я подсел к зеркалу и размазался. Синие пятна на моем лице опять выступили наружу. Они не украшали меня, нет. Ну что ж, какой есть. Я надел халат, взял свежие трусы, махровую перчатку и пошел в душ. Там были три кабинки, но занята была только одна, в ней стоял под игольчатой сеткой воды какой-то паренек, совершенно незнакомый. На вид ему было не больше пятнадцати лет, тело у него было белое, гладкое, хорошо тренированное, без особо выдающихся мускулов, без этих узлов, наростов и мослов, какие бывают на теле у заслуженных цирковых лошаков. Весил он приблизительно сорок пять — сорок шесть, не больше. Должно быть, верхний, подумал я, оберман. Подкидные доски или что-нибудь другое в этом жанре.

Я прошел мимо него в соседнюю кабинку, он как раз массировал себе левую ногу.

— Здрасте, дядя Коля, — сказал он. — Уже отработали?

Честное слово, я никогда не видел его до сих пор.

— Здравствуй, — сказал я и пустил воду, — а ты чей?

— Винеровский я. Вам слышно? Винер — икарийские игры.

— Слышно, — сказал я, — не надрывайся, слышно. Тебя как звать?

— Славик.

— Что-то я тебя в первый раз вижу…

— Ой, что вы, дядя Коля, это вы меня забыли. Мы с вами вместе в Харькове работали. Я тогда верхнего работал, я маленький был, но прыгучий… Это я теперь вырос, и вы меня не узнали. Теперь я тяжелый стал. Теперь Витька в оберманы вышел, ему десять лет, малыш, самый возраст, а мне уже поздно, мне теперь четырнадцать, теперь я среднего работаю.

— А сам старик как поживает?

— Дядя Винер-то? Отлично поживает, слава богу. Только его радикулит мучает, прямо воет иногда от боли. Мы его спиртом натираем, всей труппой трем, ни черта не помогает, воет все равно. Хороший человек. Отец родной дядя Винер. Он меня из Днепропетровска взял, я сам из Днепропетровска. Он меня взял и усыновил.

И работе научил. Отец родной, верно говорю. А отцом называть не велит. «Ты мне сын, Славка, это закон, — говорит, — но я тебе не отец. Твой отец был пожарник и погиб на посту. Он герой, и ты должен только его отцом считать и его память чтить». Вот какой дядя Винер и его жена, тетя Эмма. Их все в цирке уважают. Особенно его. Потому что он большой педагог. А она всю труппу оденет, обмоет, обошьет…

За плеском воды я плохо слышал его болтовню, но все равно разговор был приятный, вода лилась и бодрила, с этим парнишкой было просто и дружелюбно, и я подумал, что ему тоже нужна моя работа, она и ему помогает, ведь мало ли как может обернуться его жизнь.

— …Ну, конечно, иногда и выпьет, а что же, ведь он же не скандалит. Выпьет, и спать… А теперь в цирках не продают напитки, — донеслось из соседней кабинки. — Дядя Винер, как приехал, разбежался было в буфет, а ему от ворот поворот, запрещено, приказ дирекции.

Мальчишка расхохотался. Его смех напомнил мне почему-то антоновские яблоки: как их кусаешь, спелые, полным ртом и жуешь всеми зубами сразу — и аромат, и вкус, и далекое детство. Странно, никогда не думал, что смех может

напоминать яблоки.

А мальчишка не унимался:

— Ему когда в первый-то раз сказали, он только глаза вылупил на буфетчицу. Если б она не такая была, он бы, наверно, на нее наорал, он горячий, но тут, как ее разглядел, сдержался и стал возле стойки. Стоит и только глазами хлопает.

— А что, — крикнул я, — почему же он на нее не наорал? Что она, не такая, как все, что ли? В чем тут дело-то?

— Краси-ивая! — тоже крикнул мальчишка. — Красивая, будь здоров, закачаешься!

Он выскочил из-под душа, вода перестала шуметь в его кабине, и было слышно, как он зашлепал к своей скамье.

— Хорошо помылся, — сказал он, кряхтя, — да… А буфетчица наша, тетя Тая, красивая, прямо хоть в кино сниматься, а вы неужели никогда не видели ее?

— Не приходилось, — сказал я.

— Ну, тогда вы рухнете, — пообещал он.

Ах, симпатяга.

Я сказал:

— Ты сам в нее небось влюбился.

Он помолчал. Потом тяжело вздохнул.

— Ну что вы, дядя Коля. Куда я ей нужен — моло-

дой еще. Я еще не влюбляюсь. А так вообще наши артисты многие по ней страдают. Вон Лыбарзин, жонглер, всю газировку у нее выдул, раз двадцать на дню в буфет бегает. Так и вьется, так и вьется. Да на кой он ей нужен, черт лысый, за ней майор на машине приезжает. Машина «Волга» у него, голубой экземпляр в экспортном исполнении…

Вот как. Интересное кино. Голубая «Волга». Лыбарзин. Таинственный майор.

— А скоро уж будут машины без колес? Вечемобили? — спросил мальчишка.

— Скоро, — сказал я. — Когда ты будешь вот такой, как я, будешь разъезжать на своем собственном вечемобиле.

Он рассмеялся, и опять я вспомнил про антоновские яблоки. Потом он сказал:

— Ну, всего вам хорошего, дядя Коля. Я пошел.

— Будь здоров.

Он вышел. Я остался один. Так. Голубая, значит, у вас «Волга», майор, в экспортном исполнении. И вы на этой роскошной машине заезжаете за Таисией Михайловной. Какая прелесть. Я прибавил горячей воды и стоял так, не шевелясь, и вода шумела в моих ушах, лилась, текла по плечам, по груди и спине, журчала, скворчала, плескала, пенилась и гулко барабанила по голове, и я по-

лоскал ею горло, а на вкус она была пресная, не хватало в ней чего-то на вкус, перцу, что ли, или соли, но, в общем, это была благословенная вода, и стоять так можно было до конца света, до второго пришествия, потому что эта вода смывала что-то с самой души и уносила в океан, только Лыбарзина она не смывала и майора тоже, нет, не смывала. Да, замечательные новости сообщило мне это ужасное дитя кулис.

Я закрыл кран и стал растираться сухим полотенцем. Потом накинул халат и прошел к себе, надел свежую рубашку, достал из чемодана постельное белье и застлал им маленький диванчик, стоящий в углу гардеробной. Никто не знает, когда еще наша милая дирекция удосужится предоставить мне номер в гостинице, так что, пока суд да дело, я смогу отлично выспаться и здесь. Покончив с постелью, я сел на стул и посидел немножко, просто так. Ничего не делал, сидел просто так, и когда сидел, прекрасно понимал, что это я не отдыхаю, нет, просто я оттягиваю все, что должно случиться. А это уже не дело. Мало я получал оплеух, что ли? И мнимых и самых настоящих? Мне не пристало увертываться. Я вышел в коридор, снова спустился вниз и, пройдя мимо инспекторской, через зрительское фойе,

вошел в буфет.

4

Здесь было пусто и тихо, несколько официанток, негромко переговариваясь, убирали посуду и снимали скатерти. Тая стояла на своем месте и наливала какому-то парню шипящую воду из бутылки. Когда я подошел, она несколько секунд смотрела на меня, словно не узнавая, и вода пролилась мимо стакана. Розовая и шипящая, она растекалась по светлому мрамору. Я постоял так, ничего не говоря, потом взял бутылку из Тайных рук и поставил ее. Она нахмурила брови и, пристально глядя на меня, сказала каким-то странным и недоверчивым голосом:

— Почему синий?

Я сказал:

— А что? Разве некрасиво?

Она все еще смотрела на меня недоверчиво и словно изучая, словно ища каких-то особых примет, некогда бывших и известных ей одной.

И непонятно мне было, как она меня встречает, похоже, что совсем отвыкла, стоит чужая и прохладно вежливая, только интересуется, что с человеком сделалось, почему лицо у него не

такое, как у всех, а голубое, изрытое, в пятнах. Она сказала, словно раздумывая, автоматически вытирая лужицу на мраморе своими расторопными руками:

— Почему некрасиво? Не знаю. Необыкновенно как-то, было лицо, а вдруг вот так. — Она наклонилась ко мне через прилавок: — Думаешь, сюрприз сделал? Как бы не так. Уже сообщили. Я давно тебя поджидаю.

Я сказал:

— Кто сообщил?

— Беспроволочный телеграф. Дружки твои, товарищи. Так что вот: я уже давно жду.

Она показала глазами на мое лицо:

— Как это получилось?

Я сказал:

— Развел фосфору для хлопушек. В кружке. Чересчур круто замесил, а в комнате жарко. Тесто-то и высохло. А в нем ложечка торчит, которой замешивал. Хозяйкин мальчик, пять лет, подходит и к ложечке тянется. Я его оттолкнул и инстинктивно сам за ложечку эту схватился. Ну все в дыму, ночь в Крыму, ничего не видно. Хорошо, что глаза не выжгло. Тебе нравится? Волнующий рассказ?

Она откинулась назад. Это правда, довольно верно подметил гражданин оберман там, в ду-

ше, — красивая она, статная, спину держит, как королева, и бровь какая надменная, и улыбка повелительная, да, надо признать — есть в ней, что там говорить, есть.

Она сказала:

— Даже не поздоровались…

— Не важно, — сказал я, — хорошо, что увиделись.

— Два года прошло, — сказала она, — интересно как все на земле, два уже года… Большой срок. — Она поглядела куда-то вдаль и бросила: — Вы в Ташкенте долго как сидели. Что так? Там, говорят, девушки интересные…

— И в Свердловске тоже интересные, — сказал я, — и в Вологде.

— Нет, в Ташкенте всех лучше, — упрямо сказала она, — там наездницы красивые…

И она снова приблизила ко мне свои глаза. В них кипела злость, как лава в кратере вулкана. Брови у нее сошлись на переносице.

Я улыбнулся.

— В Риге, вот где девушки, — сказал я миролюбиво. — Ну да и в Таллине тоже.

Она ничего не ответила мне и отвернулась. С другой стороны к буфету подходил Лыбарзин. Я стал к нему спиной и, отступив на шаг, спрятался

за кофейным аппаратом.

Он весело сказал:

— Дайте, пожалуйста, сигарет с фильтром.

Я не оборачивался. Тая прошла мимо меня и взяла со стеклянной полочки пачку. Когда она вернулась на место, я услышал, как Лыбарзин тихим, заговорщицким голосом произнес:

— Как уберетесь, я провожу вас. Разрешите?

Она промолчала. Он еще более понизил голос:

— Может быть, зайдем куда-нибудь? Посидим часок где-нибудь в тепле и уюте. Разопьем бутылочку твиши…

— Что вы, — сказала Тая, — я не пью.

— Ну какое же это питье! — проворковал кавалер. — Просто отдохнем: сидишь, котлетку по-киевски жуешь, оркестр стиляжку дует, разве плохо?

— ЗдорОво, — сказал я, — как будто знакомый голос?

Лыбарзин узнал меня и заморгал глазами.

— Здравствуйте, — сказал он растерянно, — вы уже приехали?

— Нет еще, — сказал я, — это я тебе снюсь.

Он улыбнулся и затоптался на месте. Он не знал, что делать дальше. Я мешал ему, ему хотелось договориться с Таей, а тут свидетель, третий

лишний, а Тая смотрит на нас независимо, со спокойным любопытством, кто знает, что она хочет сказать. Он переминался с ноги на ногу, и на него просто жалко было смотреть, неловко как-то. Но я вовсе не собирался помогать ему. Меня раздражал ее вид, будто она хотела сказать: «А что? А почему бы и нет? А тебе какое дело? Захочу и пойду с ним в ресторанчик кушать котлетку, ты мне не указ».

Меня от этого тошнило. И в эту минуту я твердо решил: пусть между нами все пошло к черту, мы все равно разойдемся, не прощу голубую «Волгу», никогда, но уж Лыбарзина-то между нами не будет, не из той он колоды, пусть кто угодно, но Лыбарзина не пущу в свою судьбу, не могу видеть подкрашенные бровки, потные руки, платочек на шейке, томные эти улыбочки. Если эта дура сама не понимает, я ей покажу сейчас. Держитесь, Крашеные Бровки!

Я сказал:

— Ты что как быстро укатил тогда?

— Вызвали, — сказал он с достоинством, — в Пензу, для укрепления программы.

— А читал, — сказал я, — статья в «Пензенском рабочем». Что это они так на тебя навалились? Может, ты и вправду частенько сыплешь, но за

что же в безвкусице обвинять? «Пошлая манера», «заигрывание с публикой»? Это слишком!

Он покраснел.

— Враги у всех есть, дядя Коля, — он скорбно поджал губки.

Ах вот что, ты пострадал, значит, от тайных интриг своих коварных соперников.

— Козни, знаете, зависть…

— Да, конечно, — сказал я, — все-таки ты чересчур поспешно уехал… Проститься надо было.

— Спешка, дядя Коля, реклама, реквизит, билеты, все один, дядя Коля, все сам, знаете наши порядки.

— Ну, все-таки хорошо, что встретились, — сказал я добродушно.

Он подумал, что пронесло, и засуетился.

— Конечно, хорошо, все-таки старые товарищи. Таисия Михайловна, нет ли у вас винца хоть какого-нибудь? Мы бы выпили со свиданьицем/

Но нет, не пронесло. Он ошибался.

— Не надо вина, — сказал я, — денег нет.

— Запрещено, — сказала Тая, — давно не торгуем.

Я сказал:

— Нет, Лыбарзин, нет, нет. Денег нету.

Он сказал с широким жестом:

— А у меня есть. Я заплачу…

Я сказал:

— Нет, так не пойдет. Я сам за себя всегда плачу. Но раз у тебя есть деньги, отдай мне сто рублей, что брал в Ташкенте.

Это было хуже, чем нокаут. Я даже пожалел его, ни к чему это было, не в моем характере, это во мне тот, другой нокаут работал, который я получил в душе. Лыбарзин сказал упавшим голосом;

— В получку отдам, дядя Коля, ладно? Сейчас у меня нету такой суммы…

Тая стояла с каменным лицом. Она и бровью не повела. Так, только глянула на меня мельком. А я успел увидеть, что там, на дне ее глаз, где раньше клокотала лава, теперь прыгает смех. Она опустила ресницы.

Я сказал:

— Жаль. Ну, на нет и суда нет. До получки я, конечно, дотяну, не помру с голода. А выпить для встречи надо бы. Коньяку, что ли… Налей-ка, Тая.

Она испуганно посмотрела на меня и хотела было сказать, что нету, запрещено и еще что-нибудь, но я смотрел на нее строго, прямо в глаза, и она вдруг поняла что-то, и, смутилась, и наклонилась куда-то под стойку, и достала бутылку

армянского «три звездочки», единственного, который я пью, и налила две рюмки.

Я сказал:

— И себе, Тая, налей. В честь моего приезда. Ничего.

Она не ответила ни слова. Взяла маленькую и налила себе.

Лыбарзин обиженно надул губки:

— Ну как же это, Таисия Михайловна? Ведь я же просил, а вы отказали. Запрещено!.. Для меня запрещено, а для Николая Иваныча…

Тая сказала ему ласково и увещевательно, как маленькому:

— Нельзя вам равняться…

У него разбежались глаза. Я такого никогда не видел. Один зрачок в левом углу глаза, а другой — в правом. Феерия-пантомима.

Он пробормотал:

— Не буду я пить.

Но я сделал вид, что не расслышал.

— Ну, — сказал я, — за здоровье Таисьи Михайловны! — И выпил.

Сразу за мной выпила и Тая. Лыбарзин выпил третьим. Тая нарезала ломтиками крупное желтое яблоко.

Издали кто-то махнул мне рукой. Это был Па-

наргин, помощник Вани Русакова. Высокий и медлительный, он подошел ко мне и быстро сунул для рукопожатия шершавую руку. Небрежно кивнул Лыбарзину. Тае отдельно. Лицо у него было в крупных, сползающих книзу морщинах, выражение глаз, красных и воспаленных, тревожное.

— Выпьешь? — сказал я.

— Не до того, — прогудел Панаргин, и так как мне было хорошо известно, что ему всегда было именно до того, я спросил его:

— Что с тобой?

— Плохие дела, брат, — сказал Панаргин мрачно.

— Говори скорей.

— Лялька болеет, а Русакова нет.

— Где же он?

— Завтра объявится. Черт его дернул лететь самолетом. Теперь припухает в Целиноградe. У них там не взлетная погода…

— Что с Лялькой?

— Болеет, ну… не знаю… Вид плохой, стонет. Пойдем посмотрим!

Я сказал:

— Пошли.

— Будь друг, — обрадовался Панаргин, — сделай

милость. Ум хорошо, а два — сам знаешь. Стонет, не ест, беда на мою голову.

— Бежим, — сказал я, выгрызая зернышки из яблока. — Тая, заверни мне булочек десяток.

Она кивнула.

— Я не за себя, — сказал Панаргин, — ты не думай. Ляльку жалко. Ведь это какая артистка! Безотказная. Разве она слон? Золото она, а не слон! Лучше любого человека.

— Не канючь, — сказал я. — Сейчас поглядим. Пойдем. — Я обернулся к Тае. Она протянула мне пакет. Там лежали плюшки. — За мной, — сказал я Тае, — ладно?

— Не беспокойся, — сказала она.

Лыбарзин делал вид, что плохо понимает, о чем мы говорим с Панаргиным. Ему не хотелось идти с нами и возиться с какой-то больной слонихой. У него, вероятно, были кое-какие денежки в кармане, и он томился возле Таи. В нем еще жила надежда на бутылочку твиши, на тепло, и на уют, и на оркестр, который «дует стиляжку».

Я сказал:

— Я сегодня у тебя ночую, Тая.

И пошел на конюшню.

5

Да, конечно, слониха была больна, Панаргин не ошибся. Она стояла в дальнем углу конюшни, недалеко от дежурной лампочки, прикованная тяжелой цепью к чугунной тумбе, глаза ее были печально прикрыты, длинный безжизненный хобот уныло опущен до самого пола. Она была похожа на огромный серый холм, покрытый редкими травинками волос, на африканскую хижину, стоящую на четырех безобразных подпорках-столбах. Тяжелая ее голова и огромные уши, похожие на шевелящиеся пальмовые листья, несоразмерно маленький хвост, складки грубой шершавой и на ощупь сухой кожи — все это выглядело усталым, обвислым и хворым. Я подошел к ней спереди, прямо со лба, держа в руке открытый пакет со свежими булочками, и протянул его ей. Я был рад ее видеть. Я сказал ей негромко:

— Лялька.

Она чуть шевельнула ушами и медленно переступила передними ногами, потом открыла свой человеческий, грустный глаз. Давненько мы не виделись с ней, давненько, что и говорить, и

вполне можно было позабыть меня, выкинуть из головы и сердца, но тогда, когда мы виделись, мы крепко дружили, встречались каждый день, и сейчас Лялька меня узнала мгновенно. Я это увидел в ее глазах. Она не стала приплясывать от радости и трубить «ура» во весь свой мощный хобот, видно, ей не до того было, сил было мало. Просто по глазам ее я увидел, что она меня узнала, и глаза ее пожаловались мне, они искали сочувствия у старого друга. Она два раза похлопала ресницами и покачала головой, словно сказала: «Вот как привелось свидеться… Скверные, брат, дела».

И все-таки она сделала над собой усилие и, немного приподняв хобот, тихонько и длительно дунула мне в лицо.

— Узнала, — сказал Панаргин голосом, полным нежности. — Ну что за животное такое, девочка ты моя…

— Да, — сказал я, — узнала, милая.

И я вынул из пакета плюшку и протянул ее Ляльке.

— Лялька, — сказал я, — Лялька, на булку.

Она снова подняла свой слабый хобот. Дыхание у нее было горячее. Я держал сладкую пахучую булку на раскрытой ладони. Но Лялька

нерешительно посопела и отказалась. Хобот ее равнодушно, немощно и на этот раз окончательно повис над полом. Я прислонил пакет с булками к тумбе.

— Что такое, — сказал я, — еду не берет. Температура, по-моему.

— Ну, да, — сказал Панаргин, — простыла, наверно. Здесь сквозняки, черти бы их побрали, устроили ход на задний двор, а дверь не затворяют, дует прямо по ногам, ее и прохватило. Она же хрупкая. Не понимают, думают, раз слон, так он вроде паровоза, все нипочем, и дождь и ветер, а она хрупкая.

— Кашляет?

— Да нет, не слышно, а дышит трудно.

— И давно она так?

— Да с утра. И завтракала лениво. Я обратил внимание — плохо ест.

Я зашел сбоку и стал обходить Ляльку постепенно, вдоль туловища, и прикладывал ухо к наморщенной и шуршащей Лялькиной коже. Где-то, далеко внутри, как будто за стеной соседней комнаты, мне услышались низкие однообразные звуки, словно кто-то от нечего делать водил смычком по басовой струне контрабаса.

— Бронхит, по-моему, — сказал я.

— Только бы не воспаление легких, боже упаси.

— По-моему, надо кальцекса ей дать.

— Ей встряска нужна и согреть надо, что ей кальцекс, вот уж верно, как говорится, слону дробинка…

Вот так стоять и канючить он мог бы еще до утра, потому что Иван Русаков привык до всего добираться собственными руками, и глаз у него был острый, хозяйский, но его помощники были людьми нерешительными, несамостоятельными, — воспитал на свою голову. А теперь вот слонихе худо, а этот долговязый бедолага маялся и робел, как мальчишка.

— Тащи ведро, — сказал я твердо и повелительно, — и посылай за красным вином, не найдут — пусть возьмут портвейну бутылки четыре. Водки вели принести.

— Во-во! И сахарку кило три! Сейчас, сейчас мы ее вылечим. Не может быть — вылечим!

Он очень обрадовался тому, что кто-то взял на себя обязанности решать и командовать, ему теперь нужно было только подчиняться и возможно лучше исполнить распоряжение. Это было ему по душе. Он сразу почувствовал уверенность и выказал рвение.

— Генка! — крикнул Панаргин, и сейчас же перед ним вырос ушастый униформист:

— Что, дядя Толик?

Панаргин быстро сунул ему несколько мятых бумажек.

— Беги в гастроном, возьми четыре бутылки красного или портвейну и водки захвати поллитра. Да единым духом, пока не закрыли!

— Банкетик! — сказал Генка сочувственно. — Беленького, пожалуй, маловато… А чем закусывать будете?

— Я тебе дам банкетик, — сказал Панаргин и несильно стукнул Генку по затылку. — Своих не узнаешь, беги мигом, тебе говорят. Пять минут на все дело! Ну!

Генка убежал, а я взял ведро со стены и сказал Панаргину:

— Сходи, брат, в аптечку, и что есть кальцексу и аспирину — тащи сюда. Хуже не будет. Экспериментальная медицина.

Он зашагал наверх, его циркульные ноги перемахивали через четыре ступеньки сразу. А я подхватил ведро, и прошел в туалетную, и нацедил горячей воды, так, чуть поменьше половины. Когда я вернулся к Ляльке, она приветственно шевельнула хоботом, и, честное слово, она вы-

глядела куда веселее, чем раньше. В ее глазах была надежда и вера. Верно, я серьезно говорю, в Лялькиных глазах сверкнула вера в человека, в дружбу, она поняла, что еще не все потеряно, раз вокруг нее бегают и хлопочут люди. Я поставил ведро на пол и стал поджидать Генку и Панаргина. Хотелось мне помочь этой слонихе, очень хотелось. Я стоял так в полутемной и холодной конюшне, и думал об этой больной артистке, и вспомнил, как однажды во Львове Ваня Русаков репетировал со своими животными. Я сидел тогда в партере и смотрел его работу. Это было после какого-то длительного и хлопотного переезда, и животные нервничали. Но Русаков был человек железный, не давал никогда поблажки ни себе, ни животным, и поэтому сейчас на репетиции было много щелчков бича и всяческих нудных повторений, и понуканий, и принуждений. Была возня с реквизитом и со светом, под конец Русаков совсем охрип, и тут ему вывели медведя Остапа. Русаков стал репетировать с ним вальс, но у Остапа было нетанцевальное настроение, не до вальса ему было, и весь вид его был какой-то взъерошенный и озлобленный, он так и нарывался на скандал и в конце концов получил-таки по носу, но не смолчал, а быстро и ловко рванул

Русакова за руку между большим и указательным пальцами, и кровь закапала дробными каплями. Собаки тут же кинулись на Остапа, но Русаков остановил их повелительным окриком, и Панаргин с рабочим загнали медведя в клетку. Русаков сел тогда со мной рядом, а молоденькая сестричка натуго перебинтовала ему порванную руку. Когда она ушла, Русаков посмотрел на меня и сказал с виноватой улыбкой:

— Можешь себе представить, Коля? Я устал.

Он сидел, откинув голову и закрыв глаза, строгий и подобранный, похожий на утомленного учителя средней школы. Черный костюм, белый воротничок и галстук особенно подчеркивали это сходство. Он откинул голову назад, стали видны капли тяжелого пота, они обсыпали его надбровья. Он сидел так молча уже несколько секунд, и я подумал, что он задремал, но он вдруг открыл совершенно ясные и трезвые глаза. Он сказал негромко:

— Главное — перевести дух. — И крикнул резко и звонко: — Ляльку!

И вот тут-то я увидел чудо.

Лялька вышла в манеж весело и охотно, даже торопясь, во всяком случае походка, ритм всех четырех ее движущихся ног напоминал пусть

мешкотную, чуть-чуть неуклюжую, но все-таки резвую рысь. Добравшись до середины манежа, слониха остановилась и стала весело раскланиваться, приподняв хобот и улыбаясь своим треугольным войлочным ртом. Она поклонилась центральному входу с повисшей над ним площадкой оркестра, потом повернулась налево и, не переставая улыбаться, поклонилась левому сектору и, наконец, проделала то же самое, повернувшись направо. Я сначала думал, что это она так дурачится от нечего делать и что это еще не работа, но Русаков толкнул меня локтем и сказал:

— Смотри, смотри, что будет!

Его нельзя было узнать, он оживился, подался вперед, глаза его блестели, и усталость как будто исчезла с его худого лица.

А между тем Лялька, не обращая на нас никакого внимания, подняла свою толстенную ногу — сначала одну, а затем и другую, — поставила их обе на стоявшую в манеже деревянную тумбу. Потом очень спокойно и деловито, сосредоточенно посапывая, она взобралась на эту, такую крохотную по сравнению с ней самой площадку всеми четырьмя ногами. Здесь она аккуратно и педантично, одну за другой, проделала «стойку

на трех точках», «на двух» и, наконец, рекордный трюк — «стойку на одной точке». После каждого трюка она приветливо трясла головой, кланялась, значит, как говорят в цирке, «продавала работу», и веселая, обаятельная улыбка все время не сходила с ее, так сказать, уст! Было удивительно видеть эти тонны мяса, мускулов и кожи в таких неестественных положениях, и особенно были странными моменты перехода с одного трюка на другой, когда она искала баланс и так безошибочно переносила центр тяжести своего огромного тела с одной ноги на другую. Поработав на тумбе, Лялька сошла наземь и пошла по первой пИсте манежа. Изящная в своей чудовищной громоздкости, она вдруг начала вертеться вокруг собственной оси. Это был вальс, чугунный слоновый вальс, грациозно отплясываемый громадным серым чудовищем. Мне казалось, что слониха напевает про себя бессмертную мелодию Штрауса, так легко и непринужденно она сама, без указаний дрессировщика, повторяла всю программу своего вечернего выступления. В цирке было тихо, униформисты застыли в форганге, свободные артисты набились в боковые проходы, контролеры и служащие, электрики и уборщицы, гримеры и пожарники — все, затаив дыхание,

следили за веселой добродушной и добросовестной слонихой, так прилежно исполняющей на репетиции свой артистический долг.

Вдоволь повальсировав, Лялька три раза встала на «оф», то есть поднялась на свои стройные задние ноги в знак финального приветствия зрителям, и как будто неуклюже, но в сущности очень ловко развернувшись, двинулась на конюшню, всей своей мешковатой рысью изображая отчаянную спешку, цирковой темп, блеск, подъем и кураж. Это была великая артистка цирка, я проникся к ней любовью и уважением, и мы познакомились и подружились с ней. А сейчас я стоял в полутемной холодной конюшне подле моего больного друга и всем сердцем хотел ей помочь. Я постоял с ней еще минуты три, потом прибежал Генка и поставил передо мной, прямо на пол, несколько бутылок вина. Я открыл их и стал вливать в ведро. Вино смешивалось с горячей водой, пар поднимался кверху. Слониха почуяла этот запах и издалека протянула хобот к ведру. Сверху спустился Панаргин, он всыпал в ведро большую банку сахарного песку и из пригоршни прибавил таблеток тридцать кальцекса.

Я размешал все это гладкой палочкой, которую протянул мне Генка, и долил водки. Слониха все

еще тянулась к ведру, я подошел к ней, поставил ведро, и она стала пить.

— Здоровье прекрасных дам! — сказал Генка.

— Поможет, как думаешь? — спросил Панаргин. Его грызла тревога, он не мог сдержать себя. — Вот если бы помогло…

— Должно помочь, — сказал я. — Тебе бы помогло? Вот и ей поможет. Она не хуже тебя.

Слониха допила все до конца и благодарно закрыла глаза.

— Она лучше него, — сказал Генка, — сравнения нет, насколько она лучше. Вот глаза закрыла, благодарность, значит, имеет. А этот? Я ему вчера три клетки распозагаженные вычистил, а кто видал пол-литра? Вы, дядя Коля, видели?

— Нет, — сказал я, — я не видел.

— И я тоже не видел, — сказал Генка, — они все ловчат, чтоб попользоваться, скряги эти цирковые, полуначальники, а я не обязан задыхаться в медвежьем дерьме, мое дело — манеж…

— Настырный ты очень, — сказал Панаргин глухо, — скромности в тебе нет. Тут, видишь, какое несчастье, а он склоки свои затевает.

Я сказал:

— Ему полагается. Сам как сумеешь, а рабочему отдай. Давайте тащите сена сюда, да побольше.

— Будьсделано, — сказал Генка и обернулся к Панаргину: — Пошли, что ли. А пол-литра чтобы завтра мне предоставить после вечернего представления. Даешь клятву?

— Ладно, — сказал Панаргин. — Ты у кого хочешь выцыганишь. Ладно, завтра расчет.

— При свидетелях, — сказал Генка, — вот они, свидетели, — дядя Коля и Лялька! Обмани попробуй!

Панаргин скрылся, пошел за сеном. Генка двинулся за ним. Я придержал его за плечо.

— Она теперь поспит. Слышишь? Ей надо укрыться потеплее, потому сена тащи, чтобы его по грудь ей было. Понял?

Слониха стояла и шамкала старушечьим ртом.

— Конечно, понял, дядя Коля, — сказал Генка. — Неужели же нет?

— Ну, — сказал я и дал ему немного денег, — перебьешься как-нибудь?

— Ни за что не возьму, что вы, дядя Коля! — Генка стал отпихивать мою руку, его косые уши стали еще косее, видно, он не на шутку смутился.

— Слушай, — сказал я, — у меня много, понимаешь? Получка, суточные, гостиничные, целый карман. А у тебя, видно, туго. Возьми, будут — отдашь. И не валяй барышню, я сегодня злой…

Он взял.

— Спасибо, — сказал он, отвернувшись, — а то весь прохарчился…

Из-за угла вышел Борис, за ним, конечно, следовал Жек.

— Вот он где, — сказал Борис, — а мы, как дураки, дежурим у буфета.

— А буфет закрыт, — добавил Жек, — и все буквально разошлись… Куда столько сена? — спросил он у Панаргина. Тот волочил на своей спине целую горку.

— Куда надо, — сказал я.

Панаргин сбросил сено у Лялькиных ног и стал его разбрасывать равномерными охапками. Видно было и Генку, он тащил поменьше, но зато бегом. Я вынул булочки из пакета и положил их на пол возле ног слонихи.

— Последишь, Генка, — сказал я. — Ладно? Главное теперь — тепло.

— Без него найдется кому последить, — сказал Панаргин ворчливо, только и света в окошке, что профессор Гена…

Я стал набрасывать Ляльке на спину сено и увидел, что ей хочется спать. Медленно и тяжело согнула она ноги и, убедившись, что на полу мягко и ей будет удобно, повалилась на бок. Мы

стали укрывать ее сеном.

— И попону можно, — сказал Борис, — делу не помешает.

Он обратился ко мне.

— Вот что, — сказал он, присев на корточки и тоже засыпая Ляльку сеном, — было совещание по случаю приезда знаменитого артиста на гастроли. Поступили разные предложения, но остановились вот на чем. Тут недалеко открылся ресторан, современная обстановка, первоклассная кухня. Так что можно организовать роскошный банкет на три персоны. В смысле поужинать. Ко мне, понимаешь, нельзя, поздно, всех перебуторим.

Он погладил Ляльку.

— Это мы тебя после в семейном кругу как следует почествуем, — добавил Борис, — а сейчас пойдем поедим, поговорим, мальчишеская встреча… Как? Или у тебя какие-нибудь личные дела? Интимные встречи? А?

— Вполне возможно, — сказал Жек, — он что, рыжий, что ли?

— Пошли, — сказал я.

6

Это был красивый небольшой зал, обставленный в так называемом современном стиле, с креслами в виде ракушек, маленькими кривыми столиками на распяленных ножках, с пупырчатыми холодными стенами, как будто забросанными шлепками застывшего бетона, с неожиданно косо срезанными по фаске зеркалами, с мягко притушенным светом, с большим количеством пластика, хлорвинила и всех этих самоновейших материалов, употребленных и примененных здесь очень дельно и красиво.

Нас, конечно, сначала не хотели пускать, на дверях красовалось веселенькое: «Мест нет», но у Жека и здесь был знакомый. Гардеробщик. Жек его вызвал к двери, тот пришел и, увидев Жека, расплылся в большой и доброй улыбке, и нас с почетом пропустили, раздели, и гардеробщик проводил нас в зал, давая на ходу объяснения и сопровождая их широкими княжескими жестами.

Мы прошли мимо бара, потом свернули в какой-то коридор, миновали бильярдную, и, наконец, наш седоусый друг и покровитель сдал нас роскошно одетому метрдотелю. Метр провел

нас к столику неподалеку от буфета и оказал нам уважение, поманив царственным пальцем молодую девушку в белой наколке.

— Обслужите, — сказал он руководящим голосом и, коротко поклонившись, покинул нас.

Народу действительно было много, все нещадно курили, и было здорово шумно и как-то колготно. Я никогда бы не подумал, что столько людей в этот вечер решили поужинать в ресторане, но, в общем, я был рад: со мной пришли мои товарищи, и я в Москве, и все прекрасно или могло бы быть совершенно прекрасно. Девушка в наколке держала в руке блокнот и нетерпеливо постукивала по переплету карандашиком.

Самый наш главный дамский угодник Жек обратил к ней свой доброжелательный взгляд и заказал еду. Она, конечно, не очень обрадовалась, что мы не спросили спиртного, но виду не показала и ушла.

Я огляделся. Стены ресторана были украшены разными картинками и надписями, их было немного, но они привлекали всеобщее внимание.

— Вот, — сказал Жек, — видишь, на стенах картинки и надписи. Это какие-то новости…

— Ерунда, — сказал Борис, — пройденный этап.

Было, брат. Уже было.

— Художники какие-то чересчур левые, — сказал Жек, — это что, они и есть, абстракционисты эти самые?

— Не смеши народ, — ответил Борис.

Мы принялись рассматривать нарисованную прямо на стене девушку с восьмиугольными грудями.

Невдалеке висел прикнопленный рентгеновский снимок с краба. Под ним белел аккуратненький плакатик:

ПЕТЬ ВОСПРЕЩАЕТСЯ!

Жек прочитал эту надпись вслух. Борис искренне рассмеялся.

— Значит, все-таки поют, — сказал он, явно симпатизируя незнакомым певцам, — раз воспрещается, значит, были случаи…

Да, не здесь надо было сидеть мне в этот вечер, совсем не здесь. Сердце мое томилось, разговор в душе жалил его нещадно, я даже не думал, что настолько это будет едко, но все-таки хотелось затянуть и насколько только можно отсрочить разговор с Таей, последний разговор, который разъединит нас уже навсегда. И потому я терпел, спокойно дожидался ужина, сидел себе в уголке

этого занятного ресторана, сидел с друзьями, и вокруг было накурено и шумно, и что-то такое особенное носилось в воздухе, какой-то общий дух, дух дружелюбия, и совсем не было похоже на ресторан. Люди переходили от столика к столику со своими рюмками или стаканами, подсаживались друг к другу без особых книксенов и вступали в любую беседу с ходу, как будто давно уже знали, о чем идет спор. Столики стояли тесно, были слышны разговоры соседей, так же как соседи слышали наши. Рядом с нами сидел какой-то очень худой и сморщенный человек. Он дремал, склонив лысеющую голову. Лысел он странно — небольшими зонами, у него не было сколько-нибудь большой, заметной плеши, просто было похоже, как будто кто-то выдрал множество клоков из его прически. Он дремал среди смеха, шума и дыма, а за его столиком сидели какие-то люди, видимо, его друзья. Иногда он просыпался, и тогда его друзья наливали ему коньяку, он брал рюмку длинными и зыбкими пальцами и выпивал. Глаза его раскрывались, в них появлялось какое-то старинное и тонкое, мудрое озорство, и человек этот ни с того ни с сего вдруг произносил:

— А знаете, что такое вопросительный знак?

Все кругом затихали.

— Нет, не знаем… Ну… Ну… Скажи…

Люди ерзали от нетерпения и смотрели прорицательно в рот.

— Вопросительный знак — это состарившийся восклицательный, — негромко говорил человек.

Поднимался оглушительный хохот, все качали головами, жмурили глаза от удовольствия, как утонченные гастрономы, отведавшие диковинного, острого и пряного блюда. Не услышавшие остроты переспрашивали у слышавших, те пересказывали, вопрошавшие снова смеялись, жмурили глаза и качали головами и передавали дальше, и так, скачками, смех и восхищение докатывались до стойки. А виновник этой кутерьмы уже снова дремал над недопитой рюмкой, чтобы через несколько минут ошарашить товарищей новой шуткой.

— Это знаменитый человек, редкий, — сказал Жек, — душа-человек, а талантище, брат, мирового класса.

И Жек назвал мне фамилию этого человека. Я, когда услышал эту фамилию, просто вздрогнул от неожиданности. Да ведь я же его знаю! Да ведь мы с ним знакомы! Это было в войну. Мы приехали с фронтовой бригадой, солдаты расселись

на пригорке, до нас, до цирковых, должен был выступать поэт, он вышел, встал перед сидящими и стал читать, слегка картавя, и это были настоящие стихи, и солдаты это мгновенно поняли и насторожились всей душой. Но в это время откуда ни возьмись налетели фрицы, и они стали стрелять, и многие тогда убежали в убежище, но некоторые остались, и поэт тоже остался, он читал стихи слабым и вдохновенным голосом, и это было высокое мгновение, он дочитал под обстрелом свои стихи, и мы пошли в блиндаж, а когда спускались, он положил мне на плечо свою легкую руку и сказал: «Мальчик мой, я теперь убедился, что в этом стихотворении есть некоторые длинноты…»

Он был истинно храбрым человеком, и я тогда достал его книжки и выучил множество стихов наизусть, это были удивительные стихи, особенные, ни на кого не похожие, грустные, иронические и обладающие непонятной пронзительной силой. А теперь вот он сидит за соседним столиком, сам похожий на состарившийся восклицательный знак, и какой добрый у него и усталый взгляд. И мне захотелось подойти к нему, напомнить о том стихе на ветру под обстрелом, пожать его легкую руку и близко заглянуть в

глаза, но мне показалось, что это неловко будет, и я не подошел, постеснялся.

Ужин был совсем неплохой, а улыбчивая подавальщица, видимо, учитывая, что нас в зал привел сам метр, отлично, проворно и любезно обслуживала нас. Жек изо всех сил строил ей томные глаза и попридержал ее руку, когда она меняла тарелку.

— Как вас зовут?

— А разве это обязательно?

— Повешусь, — сказал Жек.

— Таней. Только не вешайтесь.

Жек сказал:

— Молодец, Танечка. Мы вам благодарность запишем.

Она отошла, смеясь.

С каждой минутой в зале становилось все оживленней.

— Ну, а кого вы поставите кончать второе отделение? — спросил я у Бориса.

— Раскатовых, — сказал Борис.

— А они когда приедут? — спросил Жек.

— Со дня на день ждем, — сказал Борис. — А что? Скучаешь?

— Ага, — сказал Жек, — скучаю, как собака по палке. Просто интересно, что за аттракцион. У нас

многие гудят: пуля, экстра-класс, мировая затея.

Борис обратился ко мне:

— Ты что-нибудь слыхал?

— Нет, Мишка Раскатов — «человек со стальными нервами», я не знаю, что он изобрел, он, безусловно, может, но у него где-то в душе сидит дешевка…

— Пижон и стиляга, — сказал Жек, — черный костюм, кольцо, трость Европа, шик, блеск, «джентильмен» — белая астра, белые гетры.

— Меня от всего этого тошнит, — сказал Борис, — но все-таки он артист.

— В чем хоть номер-то? Смысл в чем? — сказал я.

— Полет под куполом цирка. Его партнерша исполняет смертельный трюк. Она, конечно, подстрахована, в ногах у нее штрабаты, — новейшие резиновые амортизаторы, и когда она исполнит трюк вверху и полетит вниз, ее эти штрабаты поддержат, и все будет великолепно. Но расчет на то, что публика может подумать: конец. Смерть на манеже. При мне. Я вижу смерть. Нервных будут выносить.

— Ты про продажу скажи, про самый выход, — подсказал Жек.

— Да, — сказал Борис, — там еще всякое на-

кручено. Будто она не хочет выходить, а он ее заставляет. Потом она не решается на трюк, но снизу раздается голос повелителя, загадочные отношения и тому подобная мура… Не знаю, может быть, врут, сам не видел.

— Все-таки одна тысяча девятьсот тринадцатый год, — сказал я, — разит писсуаром и одеколоном.

— Погоди ругать, — сказал Борис, — дождемся, посмотрим, тогда и суди!

— Это верно, — сказал я, — а то чего не наговорят. Ну хорошо, Раскатов, значит, — изобретатель трюка, автор, и постановщик, и конструктор. Сам, конечно, не летает, ну, а исполнительница? Кто такая? Откуда взялась?

— Жена его, — сказал Жек.

— Новая? Опять? А где же он ее разыскал?

— На Волге. Совсем, говорят, девочка была. Училась у него. Там из молодежи студия была на общественных началах, он стал с ней заниматься, а она очень способная. А дело он все-таки знает, вот он, пожалуйте, сделал из нее классную артистку, а потом посмотрел на создание рук своих и влюбился, а влюбился — женился. И конечно, сразу вдохновился и взялся создавать аттракцион.

К нам за стол уселась новопришедшая компания. Их было трое, мы потеснились и кое-как расселись.

Один из них был совершенно лысый, крутогрудый и высоченный, с маленькими зоркими глазами в красных прожилочках. Он волочил правую ногу, и в руках его была толстая палка с кривой ручкой. Когда он опирался на эту палку, она слегка прогибалась, видно, сила в нем сидела богатырская.

Он был изысканно одет и напоминал мне удачливого атамана из окружения Стеньки Разина. Я никогда не видел не только удачливых, но и атаманов вообще. Но что это был разбойник — это точно. Он все время покашливал и вертел шеей. Он совершенно не обращал внимания на окружавшую его сутолоку и тем более на людей. Он был занят. Он держал в орбите внимания высокую, со смоляными волосами, очень молодую и красивую женщину, пришедшую с ним.

Она была ему, что называется, под пару. В общем, в песнях про такую поют, что она разлучница, змея подколодная или еще чего похуже. Она курила сигарету, и на указательном пальце ее правой руки синело большое чернильное пятно, золотистые ее глаза затуманились, и видно,

видно было, что она безумно влюблена в своего атамана и он в нее влюблен, а там — будь что будет. И я знал, что никакой он не атаман, а скорей всего начальник конструкторского бюро, а она, возможно, заведующая керамическим цехом или старший библиотекарь, но я все равно называл их атаманом и разлучницей, и тяжелая зависть ударила мне в сердце, когда я увидел этих контуженных любовью людей.

Третий из этой компании, невысокий, аккуратно причесанный брюнет, был, видимо, их ближайшим другом, добровольным опекуном и сиделкой. Он подозвал официантку и быстро и умело заказал закуску и водку. Мы с Борисом и Жеком постарались еще немного отодвинуться от них, чтоб не мешать.

Таня мигом принесла графин весьма и весьма убедительных размеров, удачливый атаман задергался и стал разливать. Самое интересное, что стопки у них были здоровенные, и что он налил всем одинаково, и разлучница, не проронившая до сих пор ни звука, хлопнула водки с таким заоблачно-мечтательным видом, что у меня запершило в горле и я закашлялся. А потом началась чистая комедия, антре, которого, впрочем, следовало ожидать. Опекун-и-сиделка снова

подозвал официантку, она подошла, склонилась к нему, он что-то шепнул, она кивнула и через секунду поставила на стол три пустые рюмки. Теперь опекун-и-сиделка взялся за графин и налил во все рюмки. Мы оцепенели.

Опекун-и-сиделка встал и важно сказал:

— Друзья мои! Разрешите мне приветствовать вас всех за этим маленьким, объединившим нас столом. — Он повернулся к своим: — Я и вам говорю! Разрешите мне предложить дружественный тост за человека, чье искусство я очень ценю…

Атаману было на все наплевать, он смотрел на золотистоглазую, а она безмятежно пускала дым, придерживая сигарету своими пальцами прилежной школьницы. Однако опекун-и-сиделка не унимался:

— Мы выпьем, друзья, за весьма и весьма своеобразного художника, — пел он, — за артиста цирка Николая Ветрова, которого я давно ужи сумел выделить для себя из огромной массы, которая…

И так далее и так далее, он молотил языком, и я сначала даже немного смутился, но потом я понял, что все это, в общем, смешно и нисколько не обидно. И он называл меня артистом, а мог ведь назвать циркачом; он не пододвигал ко

мне широким жестом винегрет и не восклицал: «Пей, не стесняйся!» И я счел, что все это даже симпатично. Но Борис и Жек еще не поняли, куда идет дело, это были люди, которые уже наслушались в своей жизни всяких «пей, не стесняйся», их тошнило от подобных выступлений, у них были мозоли на душе от покровительствующих поклонников, поэтому Борис сказал быстрым и железным голосом:

— Нет, нет. Нам нельзя пить. Завтра утренник. Работа. Николаю Иванычу завтра работать. С утра. Благодарим вас, но нет.

— Ну да, — сказал я, — может быть, сегодня не стоит пить. Завтра воскресенье. Дети придут.

— Рассядутся горшечники, — простодушно улыбался Жек, — рассядутся горшечники в партере, — квадратно-гнездовым способом, и валяй, Коля, — он коснулся моего плеча, — валяй, дядя клоун, верти на всю катушку. Какой же утренник без клоуна?

Мне показалось, что наша соседка по столу проснулась.

— Вы клоун? — сказала она. — Я так и знала. У вас голубое лицо. У клоуна должно быть голубое лицо. Впрочем, может быть, это не у клоуна голубое лицо. Может быть, у астронома. Да, скорее

всего. Свет от звезд, голубое лицо астронома…

Я ничего не ответил. Бог с ней. Она видела что-то другое.

— Как вы смешно сказали, — обратился к Жеку опекун-и-сиделка, горшечники… остроумно! Это про маленьких?

— Ага. В шутку. Любя… Вот, мол, им еще на горшках сидеть, а они уже в цирк пожаловали, они, видите ли, зрители, а мы для них — давай, работай, пояснил Жек.

— Как это обидно, — сказал наш собеседник и взглянул на меня. — Ваше искусство такое тонкое… Что они в нем понимают, эти самые горшечники? Что они могут оценить? Мне кажется, я сейчас понял, почему у вас такое неудовлетворенное, горькое лицо… Дело, видимо, в том…

Я прервал его блеянье:

— У меня неудовлетворенное лицо потому, что мне все-таки хочется выпить, — сказал я. — Ничего, Борис, ночь велика, а выпьем мы чуть-чуть. За ночь все прогорит. Хочется выпить! А денек у меня сегодня больно богатый. Будем здоровы. Пей, не стесняйся!..

Я подмигнул им обоим — Борису и Жеку, — они рассмеялись, взяли рюмки, остальные трое тоже, и мы выпили все вместе.

— А еще у меня горькое лицо потому, — сказал я, — что я не догадался дать слабительного одной приболевшей слонихе, и сижу думаю, как бы ее не заперло после красного вина. Она пять бутылок сегодня выпила. Так что вот чем объясняется выражение моего лица, ничем другим, поверьте.

Опекун-и-сиделка посмотрел на атамана, словно приглашая насладиться многозначительностью моих речей. Но тот не слушал нас, он плевать хотел на эти штучки, он смотрел на свою женщину, и больше ему ничего не надо было. Молодец он был, этот атаман, правильный мужик. А я? Какого черта я здесь торчу, ведь она меня ждет, ждет, я же знаю. Надо ехать, какого черта я здесь торчу! Но прежде всего надо сделать одно дело. Ведь я выпил водки в этой компании, выпил и не отблагодарил, так у нас не водится. Я оглянулся — Таня где-то запропастилась. Я встал и пошел к буфету. На буфете стояла большая пластмассовая собака. У нее торчали клыки. Я нажал пальцами на торчащий собакин хвост. Немедленно распахнулась красная пасть, и из нее брызнула острая струйка воды, прямо мне в лицо. Старая женщина за стойкой засмеялась. Я положил собачку в карман.

— Нельзя, — сказала старуха.

— Можно, — сказал я, — очень нужно. Для ребенка.

Я положил на стойку деньги. Старуха примолкла. Я взял бутылку и вернулся к нашему столику. Тут все развернулось довольно быстро, и я не заметил, как проглотил несколько рюмок. Коньяк был отличный, и мне казалось, что я могу выпить такого целое ведро. Но это только так казалось. На самом же деле эта чертова сила уже обожгла мою душу, разгорячила кровь и ударила в голову. Во мне, что называется, захорошело. Голова моя звенела, и мне захотелось сказать мое самое главное, и слова одно за другим полетели из моего сердца. Плохо было только то, что это были заветные слова, не слова, нет, мысли, чувства, верования мои, те, которые я никак и никогда не стал бы высказывать здесь, в этой забегаловке, перед незнакомыми людьми, да и вообще ни перед кем не осмелился бы — постеснялся бы, сдержался, но, видно, что-то надломилось во мне сегодня, там, в душевой, когда я узнал, что Тая не дождалась меня, да и не дожидалась вовсе, и что теперь хочешь не хочешь, а надо было все это кончать, рвать, пусть по живому, но рвать обязательно, чтобы не потерять уважения к себе, своего достоинства, что ли, не люблю громких

фраз, но без этого самого достоинства, или как там еще, как хотите называйте, я бы уже не смог работать свою работу, а ведь тут-то и сидит стержень, вот она самая сердцевина моей жизни. Да, видно, рассыпалась какая-то перегородка, осел бетон между мной и людьми, потому что я вдруг сказал такое, что еще совсем недавно не решился бы сказать ни одному человеку. Особенно меня раздразнил опекун-и-сиделка, и я сказал:

— Занятно все-таки, до какой степени вы ни черта не понимаете. Вот вы сказали, что утренник — тяжелая, серая и обидная работа. Ложь, чушь, чепуха — все наоборот! Все дело именно в утреннике. Пожалуй, только из-за утренника и стоит жить. Ведь на утренник приходят дети. Горшечники? Но в этом слове только нежность, только любовь, и ничего другого. У кого найдутся силы для насмешки? Послушайте. Это старое дело, да вы, видно, забыли, затерли, отпихнули от себя это. Но вы ведь путешествовали по свету? Вы были в Освенциме? Детские башмачки видели? Ну, читали в книгах, газетах, видели в кино? Почему же вы не воете? Где памятник детям жертвам войны? В Праге, в музее я видел — на жесткой бумажке детской рукой накарябаны стихи:

Мальчик посадит цветок,

Солнце взойдет.

Цветок расцветет…

Мальчика уже не будет.

В какой печи сожгли восьмилетнего поэта? Или его подбросили в воздух и ударили с лету, как консервную банку? У меня нет детей. У меня нет собственных детей. Но все дети мира — они мои. Я не знаю, что мне сделать, чтобы спасти детей. Я не могу положить их с собой всех, обнять их и закрыть своим телом. Потому что дети должны жить, они должны радоваться. У них есть враги, это чудовищно, но это так. Но у них есть и друзья, и я один из них. И я должен ежедневно доставлять радость детям. Смех — это радость. Я даю его двумя руками. Карманы моих клоунских штанов набиты смехом. Я выхожу на утренник, я иду в манеж, как идут на пост. Ни одного дня без работы для детей. Ни одного ребенка без радости, это понимаю не только я. Слушайте, люди, кто чем может — заслоняйте детей. Спешите приносить радость детям, друзья мои, спешите работать на утренниках!

Я встал. Борис и Жек поднялись вслед за мной.

7

Небо было холодное и зеленое, в него неразборчиво понатыканы были мелкие-мелкие, пронзительно блестевшие звезды. Они были отодвинуты в страшную недосягаемую даль. Только над высотным зданием висела одинокая крупная зеленая звезда, она казалась размытой и призрачной, и несмотря на то что на дворе было нехолодно, свет этой звезды заставил меня поднять воротник.

Мы вышли к площади и стали поджидать такси. Все молчали. Кровь еще кипела в моей голове, и поздние сожаления точили душу. Зря я так разгорячился, зачем, не надо было, они, наверно, сейчас смеются надо мной, только виду не показывают, не хотят обидеть. Нет, им не вера моя смешна, не суть, не основа, а просто мы, взрослые и здоровенные, и все, что было сказано, не нужно было говорить. Это все чувствуют и знают, с этим живут, каждый день носят с собой на работу, в трамвай, в магазин, и говорить об этом не надо. За коньяком, в ресторане, — ах, черт меня разорви совсем!

Жек сказал:

— Поздно уже.

— Маловато все же у нас такси… — добавил Борис.

— Особенно по ночам. Они в это время больше к вокзалам жмутся…

— Да, — сказал Жек.

Мы помолчали еще. Мимо нас промчалась машина, мне показалось, что это голубая «Волга». Потом много еще машин неслось мимо нас, и все мне казалось, что это «Волги», и все голубые. Все они мчались по направлению к цирку, туда, куда скоро поеду и я.

— Да, — сказал Жек неожиданно, как будто продолжая разговор. Он вынул сигарету, щелкнул зажигалкой и прикурил. — Да, — повторил он убежденно, хорошо ты им сказал, молодец, за дело стоишь.

Он протянул зажигалку Борису.

— Нет, напрасно, — сказал я, — зря все это.

Борис повернулся всем телом ко мне, и в свете зажигалки блеснули его удивленные глаза.

— Что ты? — сказал он горячо. — Ты что? Наоборот, не зря. Надо так говорить, а то мы забываем. Чудак… Именно что… Ведь не за зарплату же ты… И Жек вот… Да и я тоже. Все правильно, Коля…

Жек тронул меня за рукав.

— Николай Иваныч, это же вы прекрасно им врезали. А то что же — циркачи не понимают? Может быть, больше других понимают… Что вы…

Он называл меня на «вы». Они оба поняли, и они не стеснялись меня, не стыдились. Они говорят, это нужно. Я прав. Значит, больше уже не нужно ни о чем говорить. Между нами все ясно, и я могу перестать казнить себя, со мной мои товарищи. Я перевел дыхание. Из-за поворота на полной скорости подошла машина, за лобовым стеклом ее горел холодный зеленый огонек, точь-в-точь такой же крупный и призрачный, какой висел над высотным домом.

Шофер отворил дверцу. Я сел рядом с ним и стал ждать, когда усядутся мои товарищи, но вдруг увидел лицо Бориса, наклонившегося к окошку.

— Ты в цирк? — спросил он.

Я опустил стекло.

— Ну да, — сказал я, — у меня там отдельная комната.

Было видно, как он улыбнулся.

— Ну и поезжай. А мы с Жеком в другую сторону.

— Так я отвезу вас, — сказал я, — садитесь.

— Мы погуляем, — сказал Жек через плечо Бориса, — воздухом подышим. А ты езжай. Завтра

увидимся.

Они думали, что я спешу. Они знали — куда. И не ошиблись. Я спешил, конечно. Но ведь ни слова не было сказано. Это были мои товарищи.

Я сказал:

— Ну, до завтра.

— Привет, — сказал Борис.

Они помахали.

Я сказал шоферу:

— Самотека.

Он поддал газу.

8

Он лихо вел машину, этот таксист, лихо, виртуозно и нагло. Притормаживая перед красным зрачком светофора, он все время настойчиво лез вперед, ни на секунду не прекращая движения и выводя потихоньку машину за линию «стоп», чтобы в самый момент переключения на зеленый вырвать ее из рядов других. Он никогда не убирал правой ноги с газа, превосходно управляясь левой на двух педалях — сцепления и тормоза, и поворачивал он, почти не сбрасывая скорости, видно, совсем не думая о трущейся резине, и мчался на редких пешеходов с пугающей,

неотвратимой скоростью, и было впечатление, что сейчас неминуемо произойдет катастрофа, но пешеходы, инстинктивно чуя, какая птица сидит за рулем, выпрыгивали прямо из-под колес машины. Сидя рядом с ним, я определенно чувствовал, что этот тип ни за что не раздавит человека, и не потому, что ему было бы жалко и его потом заела бы совесть. Нет, здесь был простой трезвый расчет — это ему невыгодно: из-за какого-нибудь пустячкового старичка по нашим законам его посадят за решетку, а там, конечно, не курорт. На Гагры не похоже, он это хорошо знает на собственной шкуре, — так стоит ли рисковать своей привольной жизнью? Нет, не стоит, ребята. Колесико должно крутиться, а к нам — копеечке бежать. Ничего подобного, конечно, таксист вслух не произносил, но я знал, что дело обстоит именно так, уж таким наглым, сытым, все презирающим было его толстогубое лицо, изрытое буграми и лоснящееся, словно смазанное салом.

— В общем, плохо живем, что и говорить, — балабонил таксист. Он не умолкал ни на секунду, глубоко и сочно затягиваясь измочаленной и иссосанной папироской. — Да, плохо, хуже нельзя. — Папироска перепрыгивала из угла в угол

его толстого рта, и когда он затягивался, слышно было какое-то надсадное сипенье, потом он выпускал дым, и в машине трудно было дышать. Я приоткрыл ветровое оконце. Стало чуть легче. — В шоферы теперь никто не пойдет! Раз прогрессивку отменили, какой дурак пойдет? Что я, себе враг, что ли? Нет, шалишь, теперь разговор короткий: отстукал план, а там гори оно синим огнем! Проживем, не помрем. Ведь нас все-таки начаеки всегда поддержат. Начаеки от пассажиров. Что, пассажир сам, что ли, не понимает? Прекрасно понимает, он сочувствует, он всегда начаек даст шоферу. Если он порядочный, конечно…

Этот холуй обрабатывал меня довольно долго, ему важно было втолковать мне как следует про «начаек». Я молчал, он понял это молчание как знак согласия и решил приступить к художественной части.

— Моральный кодекс строить захотели, — сказал он с безнадежно-горькой и мудрой улыбкой уставшего борца, — ас кем, я вас спрашиваю, строить? Возьмите хотя бы директора нашей автобазы. С ним, что ли, строить? Так ведь это такой пройдисвит, с ним костей не соберешь, он тебя в два счета как липку обдерет и голым

по лесу пустит. Отвозил я его летом на дачу, под Тарусой дачка у него возведена, и там у него жена и вообще родственники. Целая капелла. Жена чернявенькая такая, ничего, немножко на цыганку скидывает, работает в сети! Балуется, конечно, — это закон, меня не проведешь. Она, что ли, моральный кодекс строить будет? Как бы не так! Она — будь здоров. Она совсем о другом думает, у ней в глазах такой, извините, Мопассан прыгает, с ума сойти! А наш-то начальничек сегодня речугу на собрании толкнул. Как, значит, мы теперь отлично будем жить и как, между прочим, к делу беззаветно относиться нужно и бескорыстно, и трехразовое питание бесплатно, и, мол, это только первые признаки, а там ясные дали и перспективы, и та-та-та, и тра-ля-ля-ля, и тому подобное. Ну, наши лопухи-то, шоферня, ухи развесили, хлопают, как сумасшедшие, ну, а я-то сижу думаю: нет, брат врешь, не может быть… Ты, значит, не пей, живи бескорыстно, да только я сомневаюсь, чтобы этот Хапугин согласился кипяченую водичку пить. Убей, не поверю…

Мы проехали Самотеку и, не доезжая до Колхозной, развернулись в обратном направлении. Небольшая эта поездка уже утомила меня, шофер этот стал ненавистно-противен, и еще я подумал,

что шум и хлопание дверцы — все это может обеспокоить Тайных соседей и что лучше уж я дойду до нее пешком, приятно будет пройтись по тихой, спящей улочке, ведь я давно не ходил по ней ночью, очень давно ходил, наверно, в прошлом тысячелетии, а сейчас пойду в последний раз.

— Все, шеф, — сказал я. — Стоп, машина.

— Приехали? — сказал он и выключил счетчик. — Шестьдесят копеек.

Я дал ему рубль. Он сказал:

— Угу.

Я придержал дверцу:

— Слушай, шеф. Слушай внимательно. Объявляю тебя шкурой и треплом. После твоих рассказов, понял? И запрещаю тебе трепаться, дерьмо!.. А теперь поезжайте, шеф. Будьте здоровы! Там на счетчике было шестьдесят копеек, я дал вам рубль. Сдачи не надо. На чаек! — И я захлопнул дверь.

Машина, как кошка, прянула вперед. Только сзади сверкнул вороватый огонек, и был таков. А я остался один на тротуаре, выпрямился и глубоко-глубоко вдохнул прекрасный осенний воздух. Мимо меня мчались редкие машины, они сбивались в стайки у светофоров, потом вырывались на простор и исчезали где-то там наверху. А редкие

поворачивали здесь, подле меня, и я стоял, поджидал, смотрел, какая повернет, и все ждал, что это будет шикарная голубая «Волга». И это было долгое и тяжелое стояние, и надо было пересилить себя, и на дворе было теперь так благостно, что трудно передать, тяжелая крупная звезда в небе посветлела, и я пошел к ней навстречу, к переходу, и перешел улицу, и вышел на бульвар. Сбоку, справа от меня, выстроились переулки, в них призрачно сиял тот жуткий неприятный свет, свет рентгеновских аппаратов, свет, который почему-то успокоительно называют дневным. Давно я не ходил этим бульваром, давно здесь не был, но помнил дорогу очень хорошо и ни разу не сбился. Я бы, пожалуй, и с завязанными глазами добрался сюда, в этот странный, горбатый, такой несовременный переулок, сплошь уставленный маленькими деревянными домиками, как в кинокартине из жизни дореволюционной провинции. Я вошел в калитку Тайного дома, свернул влево и обошел молчаливый садик из трех деревьев, со столиком для игры в домино и песочником для ребят. Тайно окно было плотно занавешено, и свет в этом окне погашен. Стучало мое сердце, я хорошо его слышал, стучало, ничего не поделаешь, а рука была мягкой и тяжелой,

и мне показалось, что я с трудом ее подымаю. Я положил руку на подоконник и перевел дыхание два раза. Когда я стукнул по стеклу, тихонько, одними ногтями, свет за окном сразу вспыхнул и засиял мне, и я успел перейти к двери. Свет погас снова. В небе висела моя знакомая звезда, огромная, как камень, в чалме иллюзиониста, она надменно сверкала, холодная и отчужденная, и в эту минуту я озяб, меня трясло и знобило, а за этой дверью было тепло, там жила женщина, которая ждала меня, она теперь нашаривала ногой тапочки и снимала с крючка халат, и вот она накинула его на плечи и сейчас осторожно ступит в коридор, чтобы пройти по его ветхим половицам как можно тише и мягче, стараясь, упаси боже, не брякнуть чем-нибудь в темноте и не обеспокоить людей.

Еле слышно щелкнул замок, дверь отворилась, на пороге стояла Тая. Она была в одной рубашке. Я смотрел на нее.

— Явился, — сказала Тая.

— Да, — сказал я, — вот он я.

— Явился, не запылился.

Она протянула мне руки из темноты.

— Иди, — сказала она. — Скорей, мне холодно тут стоять раздетой.

Я взял ее руку, и она притянула меня к себе.

9

Хорошо было хоть на минуту представить себе, что ты вернулся в родимый дом, где долго и верно ждала тебя прекрасная женщина, что ты вернулся к ней через годы и грозы и что полная мера счастья назначена тебе теперь судьбой, раз ты вернулся под эту кровлю, раз ты сюда дошел. Хорошо было идти за этой женщиной, осторожно ступая ногами, всякий раз словно ощупывая колеблющийся под тобою пол. Хорошо было идти так по темной уснувшей квартире и на маленьких и неожиданных поворотах касаться Тайного тела и чувствовать его нежное тепло и живой трепет. Хорошо было знать, что она в одной рубашке и что ты сейчас обнимешь ее и поцелуешь, и хорошо было думать, что ты долго ее ждал и дождался. Да, хорошо все это было бы, если бы не было на свете реального живого мальчишки и его беспощадной трепотни сегодня в душе, трепотни, открывшей мне правду и перевернувшей жизнь.

Мы вошли в комнату. Тая выпустила мою руку, и я боялся сдвинуться, мне чудились черные уступы и острые углы. Я сказал совсем тихо, почти

шепотом:

— Где можно сесть?

Она вернулась ко мне и взяла двумя руками за плечи и подтолкнула. И потом повернула лицом к себе и нажала на плечи:

— Садись.

Я сел, и ее грудь коснулась моего лица, и сердце забилось быстро и сильно, и я услышал, как стучит в ответ и Тайно сердце. Она наклонилась и приникла ко мне, поцеловала, и когда целовала, я подумал, что лучше бы уж она меня зарезала, и собрал свою душу в кулак, и отодвинул Таю, оттолкнул ее легонько. Я сказал:

— Подожди.

Она отошла к окну. Там тьма не была такой густой, да и глаза мои, наверно, уже попривыкли, и я смутно видел Таю, как она стоит у окна в одной рубашке. Я сидел на стуле у стены и чувствовал, как откуда-то справа на меня веет, чуть слышно тянет каким-то тихим теплом. Я протянул руку и нащупал холодящий прутик. Это была маленькая кровать, в ней спал Вовка. И это его тепло овевало меня.

Тая стояла у окна.

— Что-то все не так, — задумчиво протянула она и закинула руки за затылок и постояла так,

медленно покачиваясь. — Коля, — вдруг спросила она живо, — ты зачем пришел?

Я сказал:

— Визит вежливости.

— А-а, — протянула Тая, — вот оно что… То-то, я вижу, ты сидишь как в театре… Ты, может быть, просто так посидеть пришел? Ну? Говори! — Она требовательно это так сказала, даже голос повысила.

Но я сказал ей строго:

— Тише. Разбудишь мальчика.

— Ах, ты какой заботливый, — сказала Тая, — разбужу! Не бойся, не разбужу! Ему главное — уснуть, а там хоть из пушек пали, спит до утра на одном боку.

— Ему теперь сколько? — спросил я.

— Уже пятый, — откликнулась Тая.

Мы опять замолчали. Между нами стоял стол. Я сидел неподвижно. На столе очень громко тикал маленький будильник. Тая все-таки подошла ко мне снова.

— А я знаю, — сказала она шутливо, — я все про тебя знаю. Ты пьяный.

Я не ответил. Она засмеялась, мирно, по-хорошему, и крепко и тесно прижалась ко мне, и вцепилась в волосы, и помотала моей головой,

словно таску мне дала.

— Ну, ничего, — сказала она, — бывает! В жизни всякое бывает, и не такое случается.

Что она имела в виду? Наверно, сама себя прощала — всякое в жизни бывает…

— Раздевайся, что же ты, — сказала она просто, — ведь не к чужой пришел. Ложись, отоспись… Иди сюда. — И она отошла от меня, и я услышал, как она откинула одеяло, легла и укрылась. Я еще не мог к ней подойти. Она подождала еще несколько. — Не выламывайся, — в голосе ее была какая-то словно бы угроза. — Коля, не выстраивай номеров, не надо, здесь не цирк…

Я сказал:

— Посижу и уйду.

Она приподнялась на локте и долго смотрела на меня.

— Обидеть пришел, Коля? — сказала она горячим и сухим шепотом. Затосковал, да? В Ташкент потянуло? К своей, да? — Она говорила быстро, словно торопясь освободиться от какого-то груза, который жег ее немилосердно, она говорила быстро и зло, я знал ее в эти минуты, и так жалко, что в слабом этом свете не видел ее красивого лица. — В наездницу влюбился, она чем же тебя, интересно, завлекла? И как тебя Алимов там не

приезал, тебя на куски надо резать, ах, жалко, Алимов тебя пощадил. Или, может быть, он про вас ничего не знает? Так я напишу, я ему быстро глаза открою, дураку! Ишь, сидит — как я не я! Приехал, видите ли, поиграть со мной, как кошка с мышкой, — голос ее задрожал, в нем послышались слезы. Два года! Два года, — она словно обращалась к каким-то, окружавшим ее невидимым свидетелям, — я его жду, вот увиделись, а слово ласковое, хоть одно, где?

Ах, как хотела она, бедная, защитить, спасти наше с ней самое дорогое, самое драгоценное, да, видно, не умела, не с той ноты взяла. И мне мучительно было слышать в темноте ее резкий голос, такой непохожий на ее душу, злой голос, произносивший в темноте колючие и мелкие слова, она не умела подбирать слова, и они тоже не похожи были на ее душу, ее душа лучше была и выше этих слов. Они свистели в душном воздухе и не попадали в мишень, они пролетали мимо, как говорится, за молоком, и жалость, острая и саднящая жалость к себе и к ней подняла меня с места и толкнула вперед, к Тае. Я встал, и быстро подошел к ней, и обнял ее, и поцеловал, и сказал, что никого у меня в Ташкенте не было, и это была правда. И она, когда услышала это от меня,

то вдруг ухватилась за меня цепко и отчаянно, как будто защиты просила, и долго не отпускала меня, а я и не рвался от нее, и только когда стало рассветать, я услышал снова, как громко тикает будильник на столе…

На дворе уже кончалась ночь, пора было приходить рассвету, и в плотно зашторенные окна Тайной комнаты втекал какой-то ослабленный серый свет. Стали видны стол и зеркало, и блестел уголок Вовкиной кровати. Тая снова закинула руки за голову, она лежала молча, у нее были нежные, трогательные виски, и она смотрела куда-то вверх, и брови были сдвинуты решительно и сурово.

— Нет, — вдруг сказала она, — нет, нет. Хорошо с тобой, слов нет, хорошо, прекрасно, волшебно, а не склеится у нас, не сладится, все равно нет.

«Правда, — подумал я, — все понимает».

Она соскочила с кровати и, босая, в рубашке, пошла и оправила что-то на Вовке. Да, права она, ничего не выйдет, пора кончать.

— Голова болит, — сказал я, — на воздух надо.

Она несколько раз кивнула головой:

— Беги, беги. Я вижу, опять потянуло куда-то. Опять бежать хочешь. А куда? Куда, отчего ты, все бежишь? Что ищешь? Кого? Не ищи, все равно

не найдешь. Скажи правду, соврал про Ташкент? Ведь было же? Было? Говори! Ведь я тебя два года ждала, все ждалочки изгрызла… Ждала, ждала…

Я сказал:

— Кинь мне рубашку. — Она подала мне одежду. — Ждала, говоришь? Верю. Но ведь ты же не одна ждала?

— Что? — сказала Тая.

Я сказал:

— Ты в компании меня ждала, Тая. Поэтому тебе и хочется, чтобы у меня в Ташкенте кто-то был. А я тебе верно сказал, ты знаешь, если бы у меня кто был, я бы сразу сказал. А ты обмануть меня хочешь, а чувствуешь, что это не дело, не для нас с тобой поступки, вот и пророчишь, что, мол, у нас не сладится. Это совесть твоя за тебя говорит. И на том спасибо.

Она отступила от меня подальше.

— Ты что? Не протрезвел?

Я сказал:

— Выходи, Тая, за майора. Я тебе советую. За Лыбарзина не надо скользкий, ты дай ему атанде, а за майора иди.

Она заплакала. Плохо дело. Я когда это говорил, я думал, что она мне по морде даст или на колени встанет, скажет, что неправда, что это все не так,

не было и быть не могло. Во мне надежда жила целый день, что она мне в глаза плюнет, что я потом, когда встречу этого Славку из винеровской труппы, я все уши ему оборву, чтоб не трепался, не повторял черт знает какую чепуху. А теперь, когда Тая заплакала, закрыла лицо руками и слезы побежали уже сквозь пальцы, их было видно, много быстрых и мелких слез, только теперь я понял, что все это правда. Может быть, следовало мне промолчать, не признаваться, что мне все известно, не затевать истории, а то ведь как черство с моей стороны получается, ведь и ей небось горько сейчас. И когда я про себя пожалел ее, я понял еще и то, что она живет в моей душе и долго будет еще жить, что она, может быть, часть меня самого, и не скоро я сумею отделиться от нее, от этой части, и посмотреть на нее чужими глазами, и что теперь началась в моей жизни новая дорога, которая, может быть, будет потрудней всех других, по которым я ходил в этой жизни. Но так уж случилось, так выпало, так стасовалось, и теперь все. Ты ступил на эту дорогу. Иди же!

Я встал и подошел к Вовкиной кроватке. Оттуда по-прежнему тянуло теплом детского тела, мальчишка лежал, отвернувшись к стенке, круглая, складная его головка темнела черной перчинкой

на белой подушке. Я нагнулся и понюхал его волосы. Они пахли свежим июльским сенцом. Я прикрыл открывшееся Вовкино плечо, прикрыл его всего плотно, по шею. Когда я нагибался, услышал, как что-то брякнуло в кармане, и вспомнил, вынул пластмассовую собачку, купленную в ресторане, и положил к Вовке на одеяло.

Таинственный это был ребенок, что-то вроде Железной Маски. Хотелось бы мне с ним познакомиться. Подумать только, я всегда видел его только спящим, ведь я приходил сюда по ночам и уходил на рассвете и всегда видел только круглую точеную детскую головку на белой подушке, слышал чистое дыхание, ощущал тепло его тела, а глаз не видел, голоса его не слышал, как ходил он — не знал, и жалко мне было. И сейчас я положил свою руку в Вовкину ладонь, чтобы проститься с ним, и пожал эту незнакомую ладонь. Он не проснулся, нет, только пошевелился, положил щеку поудобнее, и все-таки я ощутил почти неуловимое ответное пожатие — он спал и пожал мне руку во сне. Что ему снилось сейчас? Кто ему снился?

Тая сказала от окна:

— Тебе кто все это расплел? Кому я спасибо-то должна сказать?

Я сказал:

— Я пойду сейчас.

Она подошла ко мне, и странная у нее была походка. Боялась она меня, что ли? Очень униженно она шла. Я обнял ее за плечи. Она подняла ко мне лицо. Глаза ее были прикрыты.

— Что ты хочешь, скажи, — сказала Тая. — Я все сделаю.

— Славная ты, Таюха, — сказал я, — а я, брат, тяжелый человек. Характер очень у меня тяжелый, не годится никуда.

Глаза у нее все еще были зажмурены, и веки дрожали, словно она все-таки думала, что я прибью ее, и все у нас будет, как у людей.

Будильник все еще тикал на столе.

Я сказал:

— Проводи.

Она встрепенулась и снова взяла меня за руку. Я сжал ее горячие пальцы и пошел за ней. В квартире по-прежнему было тихо. Никто еще не просыпался. У дверей Тая слегка замешкалась и тихо, не звякнув, отперла замок. Она медлила отворять, видимо, считала, что не все еще сказано. Я молчал. Потому что сказано было все. Тогда она припала ко мне, ненадолго, наспех, и спросила:

— Совсем?

Я не ответил ей, толкнул дверь и вышел на волю.

10

Звезда все еще стояла на большом, уже начинающем светлеть небе. Она только немного переместилась вниз и направо, но была такая же колючая и льдистая, в мелких, нестерпимо сверкающих лучиках — ощетинившийся небесный еж. Тихо было в переулке, он был как заколдованный в этом звездном свете, спящий, зачарованный, оцепленный кривыми ветками деревьев, протянувшими свои темные руки над маленькими крышами. Гулко стучали мои каблуки по асфальту. Когда я преодолел переулочный горбик и кривая резко пошла вниз, мне пришлось прибавить шаг, и сторожкая тишина взрывалась моими шагами, как пистолетными выстрелами. Я шел по улице, измотанный до предела, и душе моей было жестко, смутно, безрадостно. На пустынном, безлюдном бульваре ветер шумел в листьях и ворошил, взметал на дорожках скрипящую едкую пыль. У остановки троллейбуса стояла небольшая группа парней в коротких плащах, сигареты тлели в их мальчишечьих ртах.

Они негромко разговаривали о каких-то шлакоблоках, и когда я проходил мимо, замолчали, как по команде. По их лицам видно было, что я выгляжу вроде как чокнутый. Впереди, у далекого светофора, уже сбегались первые стайки автомобилей, дорога была похожа на хлебный ломоть, и задние фонарики автомобилей покрывали этот ломоть красными икринками. Постепенно я согрелся, шел быстро и минут через десять пришел к цирку.

В проходной было тепло, попахивало керосином и какой-то едой, и, когда скрипнула отворенная мной дверь, тотчас же в вахтерской комнатушке растворилось оконце и в него выглянуло сморщенное и подкрашенное личико Норы, цирковой артистки, состарившейся на манеже, старинной моей приятельницы, деятельной, разумной и веселой женщины, когда-то принадлежавшей к самой что ни на есть цирковой верхушке. Благодаря этой принадлежности к высшим сферам Нора была очень требовательна к людям, и далеко не всякого она одаривала своим расположением. Я же был сыном ее любимой подруги, и со мной Нора вела себя «на равных». Сейчас она посмотрела на меня своими пронзительными буравчиками и сказала тревожно:

— В чем дело? Здравствуй, с приездом. Что с тобой?

— Я разбудил вас? Ни в чем не дело. Все нормально.

— Иди ко мне, — сказала она, — я не сплю на дежурствах. Вообще мне кажется, что я никогда не сплю. Читаю сижу. Иди сюда, посиди немного. Где ты шлялся?

Я сказал:

— Гулял.

— Ну и ну, — она покачала головкой, — где так гуляют? Сломишь голову, смотри, у тебя такой вид, словно тебя живого пилой пилили.

— Обойдется.

И я вошел в ее маленький чулан. Мне с ней было просто и спокойно, как-то по себе. И вахтерка эта, котушок, и покрытая ватным лоскутным одеялом скамья, и сама тетя Нора — все это было кусочком цирка, ну, а цирк был мне дом родной. Здесь в этот поздний или, может быть, ранний час (старые ходики висели на гвозде с подвязанной к гире ложкой; они показывали сорок минут пятого) было тепло и тихо, рядом со мной сидела добрая, чудная старуха, мой верный товарищ, артистка с переломанным крестцом, и я повалился на бок, на одеяло, и вытянул ноги,

и она тотчас подставила мне под них табурет. Я прикрыл глаза.

— Грина вот сижу читаю, — сказала Нора негромко. — Я так: я дочитаю его книжку, закрою, переверну, снова открою и опять читаю. Не надоедает.

— Дай чаю, — сказал я, — если есть. Да, Грин не может надоесть.

Нора копошилась у покрытого газетой стола. Она сняла крышку с большого синего чайника.

— Я недавно смотрела кинокартину «Алые паруса», — сказала Нора. Может, тебе крепкого заварить?

— Не засну тогда, — сказал я, — а надо поспать. Ну, ходила ты, значит, на «Алые паруса»…

— Да, — продолжала она, — ведь это ужас. Знала бы — ни за что не пошла. Все, что я внутри себя видела, когда читала, все это просто осыпалось как-то, оползло. Я не могла все это видеть, хотелось защитить то, свое. Я стала глаза закрывать, чтоб не видеть, а потом и вовсе сбежала. Нет, так нельзя. Не теми руками делали, — добавила она убежденно. Потом еще добавила: — Да я и вообще против этого…

— Против чего?

— Да против того, чтобы самые лучшие книги

в кино ставили. Вот Чехова «Дом с мезонином» и «Даму с собачкой». Ведь жалко, понимаешь, жалко! Ведь я себе все не так представляю! И обстановку, и природу, и лица, и глаза, и голоса, и даже движения. Ведь это так у всех. И всем, по-моему, должно быть жалко, что все это в кино обязательно перекорежится… Или вот: артистка играет. Она, конечно, молодая, и красивая, и в моду вошла, но ты пойми — она вчера Карениину сыграла, а сегодня она Дездемона, а завтра Кроткая из Достоевского, а в «Кинонеделе» уже пишут, что теперь она снимается в кинокомедии «Заведующая булочной». Куда это годится?.. Тебе с сахаром?

— Ох, строга, тетя Нора, — сказал я.

Она сняла кружку с плитки.

— Погорячей, да?

— Нет, — сказал я, — это еще что за новости! Я не люблю. Теперь пусть стынет. Опять надо ждать.

Я снова закрыл глаза, а она, немного озадаченная, засмеялась ласково и хрипло.

— Капризы… — сказала Нора, — ему еще не нравится. Ох, забаловали тебя, Коля, бабы.

— Ты в уме? — сказал я. — Не стыдно тебе, старуха? Что это ты несешь? Когда это меня бало-

вали бабы? И вообще, где они, эти бабы? Что-то не видно!

— И хорошо, что не видно, — горячо подхватила Нора, — я сама баба, а баб не люблю. Ты, Коля, мужик, и ты, конечно, вправе, ты можешь крутить романы, но я тебе так скажу: тебе друга надо одного-единственного, ты большой артист, самый человечный клоун, и тебя все эти романы будут держать, иссушат душу, растреплют тебя всего, как мочалку изжуют, тебе, говорю, друга, друга надо, женщину-друга.

— Ты мой друг, — сказал я, — и все! Вполне, хватит, но горло сыт. Дай-ка мне, друг мой, женщина, чего-нибудь пожевать. И не заводи спасительных разговоров со мной больше никогда. Понял — нет?

— Понял — да! — сказала Нора. — Съешь с сыром?

— Ни в коем! — сказал я.

— Вот есть полбублика, — сказала она, — возьми… Я взял, а она села у стола, облокотилась и подперла маленьким кулаком свое сморщенное личико, и подведенные ее глазки прикрылись какой-то тонкой пленкой, как у старых птиц, она смотрела прямо перед собой, и я не знал, спит она или нет, тетя Нора, и я пил ее чай, и жевал ее

черствый бублик, и вспоминал далекое время, когда я был маленьким и мы жили в Полтаве, были живы отец и мама, и тетя Нора приходила к нам в гардеробную в розовом трико, туго натянутом на точеные ее ножки, и вся она была осыпана цирковыми драгоценностями из стекла и фольги, блестки сверкали на ее груди, тогда она была совсем еще молодая куколка, и они с моей мамой смеялись, и болтали, и грызли орехи, и орехи щелкали на их зубах, это были звонкие выстрелы, как из пистолета, и вырастали горки ореховой скорлупы. И я всегда просился сам убирать эти скорлупки и говорил стихи: «А орешки не простые, все скорлупки золотые», и приходил отец с манежа и размазывался перед зеркалом, и все косился на молодую куколку своим цыганским злым глазом, вот кто любил женщин и кого они тоже любили — это батя мой Иван Николаевич, и когда мама замечала эти его взгляды на Нору, она начинала смеяться еще громче, и мне слышалась в раскатистом этом смехе некоторая принужденность. И потом помню, как к нам зачастил бесстрашный капитан Сантино, он был смелый и дерзкий человек и работал с пантерами, а когда он видел Нору, он сразу становился шелковый, и большие его прекрасные глаза, обведенные

какими-то тонкими тенями, становились грустными, и даже победный его нос повисал как-то очень жалостно, и я знал, что он просит тетю Нору поехать с ним в его родную Италию, но тетя Нора сказала ему, что она еще очень молодая и не поедет в Италию, а через некоторое время вышла замуж за рослого Сашку Пермитина, ассистента этого самого бесстрашного капитана Сантино. И капитан был на их свадьбе и плакал, и Сашка плакал, и тетя Нора тоже, а потом они с Сашкой стали репетировать, они целый год репетировали, и они стали называться мировыми снайперами — сверхметкими стрелками, объехали всю Россию и пользовались большим успехом. А капитан уехал в свою родную Италию, и там его все-таки растерзали эти подлые пантеры. И его ассистент дядя Саша бросил тетю Нору, и никто не знает до сих пор, что у них там вышло, просто тетя Нора снова стала работать одна и работала всю свою длинную, долгую жизнь, работала безупречно, всегда пользовалась успехом, но говорили, что ей очень полюбилось красное сладкое вино и это помешало ее работе, потому что она пила его слишком много. А в войну тетя Нора всегда стояла на крыше, дежурила, учила ребят тушить зажигалки и всегда палила вверх из своего ору-

жьеца, все хотела сбить вражеский самолет. И когда нас отослали из пионерлагеря в эвакуацию, на Магнитку, там было голодно, и Нора била голубей, всех, наверно, в городе перебила голубей, и раздавала их артистам, на подкормку… А сейчас я уже давным-давно взрослый и скоро буду просто пожилой, и вот я сижу у нее в вахтерке, и я разбит сейчас душой, и Нора дремлет, и обута она в мужские ботинки, и какие-то кривые чулки сползают с ее высохших ног.

— Еще налить, выпьешь?

Она была готова кормить и поить меня, лишь бы я не уходил.

— Все, — сказал я, — спасибо тебе, напоила.

— Ты не думай, — сказала она, словно решившись, — не так страшно синее лицо, а так, в общем, все равно симпатичный. Я думала — гораздо хуже.

Ах ты, тетя моя Нора.

Я сказал:

— Я привык, что ты. Пустяки. Ты прости меня, что я раньше к тебе не пришел. Завертелся. Там у меня платок для тебя, в общем, он ничего, он большой и мягкий и с этим… как его… с начесом! Я не успел распаковаться как следует, так что я тебе завтра отдам, ты извини.

Мне было неловко видеть, как она покраснела и отвернулась, стараясь скрыть удовольствие.

— Зачем тратишься? — сказала она.

Я погладил ее морщинистую лапку.

— Ну, пошел, досплю.

— Иди, — сказал она. — Разбудить?

— Я сам.

— Часа два тому назад раскатовский багаж прибыл, — сказала Нора, десять ящиков огромных, завтра подвеска, послезавтра репетиция.

— Вот и славно, — сказал я. — Конец второго отделения на месте. Они где остановились?

— В цирке. В большой гардеробной. Им кровати поставили, все честь честью.

— Ну-ну, — сказал я.

И я вышел от Норы и прошел двором, и когда шел, чувствовал себя таким старым, еле ноги волочил. А что, молодой, что ли, скоро сорок, старый, он и есть старый. И я вошел в цирк и, шаркая подошвами, побрел на конюшню. В огромном здании цирка было непроглядно темно, я пошел чуть ли не ощупью. Вскоре немножко забрезжило, одинокая «экономная» лампочка почти не освещала конюшню. Но я знал, где выключатель, нашарил его, прибавил свету и пошел к Ляльке. Я прошел мимо аккуратно составленной пирами-

ды ящиков, новеньких и еще не грязных, на них было написано — на каждом: «Раскатов!» Меня насмешил этот восклицательный знак, я обогнул ящики, там в конце конюшни спала больная слониха, я шел к ней.

Видно, суждено мне сегодня было и радость пережить. По закону справедливости. А то что ж на человека так наваливаться, брать за горло и бить под вздох? Надо дать человеку передышку, воздуху надо дать ему глотнуть. И этот воздух дала мне Лялька. Ведь я воображал, что эта несчастная спит под своим сеном, дрожит и зябнет, и тяжелые хрипы в ее груди делают свое страшное дело. Ничуть не бывало! Слониха встретила меня, стоя на ногах, с весело и задорно приподнятым хоботом, она покачивалась взад и вперед, словно разминая уставшие мышцы и перегоняя застоявшиеся ведра крови по всему могучему и здоровому своему телу. Увидев меня и сразу признав, Лялька торжествующе трубанула, и, наверно, в эту минуту многие в ужасе заткнули уши — и животные и люди. Я подошел к ней, и слониха обняла меня хоботом за шею и притянула к себе, от нее пахло сеном и цирком, и я обнял ее, широко раскинув руки, чтобы побольше захватить необъятного ее лица. Мы так постояли

немного, обнявшись, потом Лялька повернула меня к себе спиной и несильно толкнула вперед. Я вспомнил про булочки и поглядел на пол, куда положил их вечером. Булочек не было. Ни одной. Я оглянулся и сказал:

— Ай, браво! Все съела?

Лялька не обратила на этот вопрос никакого внимания и снова хоботом толкнула меня. В чем дело? Я не понимал ее и поглядел в ту сторону, куда двигала меня Лялька. Оттуда шел какой-то запах. Я сделал несколько шагов и увидел ларь. Вот оно что! Я сразу ее понял и открыл ларь. Он был доверху набит свеклой и морковью. Эта чертиха хотела есть! Она была здорова и хотела есть! Как я сразу не догадался! Я набрал корма и стал таскать его и складывать у Лялькиных ног. Она занялась едой. Все было в порядке.

Я пошел к себе.

11

Моя гардеробная была без окон. В ней было совершенно темно, но я не стал зажигать свет, я и так отличнейшим образом нашел свою постель. Цирк еще спал, тишина владела цирком, и только изредка ко мне сюда доносилось легкое весеннее

погромыхивание, словно невдалеке собиралась освежающая первая гроза и для начала рассыпала по небу, раскатывала над полями первые громовые шары. Но это было не так, сейчас стояла осень, осенью гроз не бывает, и я отлично знал, откуда эти мощные звуки, долетающие сюда под крышу, я знал, что это Цезарь, царь зверей, старый, с пломбированными зубами лев плохо спит, мучимый ревматизмом, и что сейчас бедняга, наверное, уснул и ему снится ростовский цирк — там было тепло и там у него осталась одна знакомая, больная астмой сторожиха. Он тосковал по ней.

Я положил руки под голову, и уставился в темноту, и приготовился не спать, потому что, как ни верти, а сегодня произошел наш с Таей разрыв, и это, видно, нелегкое дело. Она была дорога мне, иначе с какой бы радости я, как дурак, вел совершенно чистую жизнь около двух лет? Может быть, я ее выдумал, всю ее с головы до ног, и любовь, свою к ней выдумал, и уж наверняка я выдумал ее, Тайну, любовь ко мне. Ведь она-то, оказывается, жила нечисто и не ждала меня, и майоры возили ее на своих машинах, да-да, майоры, ведь не обо всем же на свете может знать пятнадцатилетний мальчишка, у одного майора

«Волга», и он его знает, а другой, может быть, берет такси, а четвертый пешочком, а Лыбарзин норовит в кабачок, послушать, как оркестр «дует стиляжку». А я-то себя настраивал, и перестраивал, и мучил, чтобы быть достойным ее, а сейчас вот пробыл у нее, а потом ушел просто так, переставляя ноги, самым обыкновенным образом, и не умер, и не было инфаркта и каких-то невыносимых сожалений. И если бы я хотел честно посмотреть в самого себя, то я бы, может быть, многое увидел, но я не хотел честно смотреть, я уклонялся, и все потому, что боялся там, в себе, увидеть, что ничего не испытываю, кроме обиды: обманули такого хорошего парня, и уж если совсем честно, — тогда так: я чувствовал, что мне после всего, что случилось, после того, как я ушел от Таи и побыл один, уже зная, что нашей с ней жизни конец, после всего этого у меня словно полегче стало на душе, словно расковали меня, отвязали от дерева, ошейник сняли. Это было новое чувство, такого не было до сих пор, и оно доставляло наслаждение, странное и острое, какое бывает, когда стукнешь руку или ногу о барьер, потом сидишь за кулисами, а оно проходит. Больно-то оно больно, но проходит. Да, мальчишка я все-таки старый, седой, а все-таки

мальчишка, вот обрадовался, что на свободу вырвался, а дело-то в том, что у тебя просто никак не складывается, не устраивается то что люди называют личной жизнью. И тебе остается только ожидать чуда. Тебе остаются сказки в которых ты столько раз представлял шутов и скоморохов, сказки, в которых под звуки серебряных фанфар появляется Удивительная и Небывалая, Золотоволосая и Синеглазая Любовь. И тебе, дураку, пока ты сейчас один лежишь в своей комнате, и вокруг темнотища, и ты не можешь даже в зеркале увидеть свое покрасневшее уродское лицо, — вот только здесь и только сейчас тебе разрешается вообразить себе, что сказки иногда превращаются в явь, происходит редкостное чудо, и Синеглазая и Золотоволосая Любовь найдет тебя на конюшне и протянет к тебе руки, и ты, увидев ее, сразу узнаешь. Это я уже засыпал, а ведь думал не спать, а вот поди ж ты — засыпал, несмотря ни на что, самым бесстыдным образом, а где-то внизу взревывал тоскующий лев, мучимый старческой бессонницей, потомственный артист цирка, самый настоящий залуженный артист республики из отряда хищников.

Да это я засыпал, и в моей голове закружились и смешались разные обрывки из детских пред-

ставлений, елочных спектаклей и цирковых пантомим, и мгновеньями я снова просыпался и вспоминал, что Таи уже нет в моей жизни, совсем нет, как и не было, быльем поросло, а такое горячее было место в сердце, такое живое. И теперь я не буду ходить в буфет, не буду искать ее и не буду знать думает ли она обо мне, плачет ли. Пускай она поплачет, ей ничего не значит… Представления пойдут одно за другим, я так и останусь жить в цирке, ни в какую гостиницу не поеду, здесь я ближе к своей работе, к своей клятве манежу, это как объятие, лучше дать его разрубить, чем самому добровольно разжать руки. Высший смысл моей жизни, я говорил о нем сегодня в ресторане — вот в этом смысл моей жизни. Сегодня и ежедневно Я надеваю парик, иду в манеж, дети смеются я снимаю парик, иду в душ, сорок минут перерыва, я надеваю парик, иду в манеж, дети смеются, и в этой железной мерности есть то высокое, что делает меня Человеком среди Людей. Сегодня и Ежедневно встают к пылающим и гудящим печам сталевары, Сегодня и Ежедневно выходят на вахту матросы, Сегодня и Ежедневно тренируются космонавты и припадает к окуляру телескопа голубой астроном. Сегодня и Ежедневно состоятся первые роды, и

последние строки стихов дописываются Сегодня и Ежедневно.

Сегодня и Ежедневно идет представление на выпуклом манеже Земли, и не нужно мрачных военных интермедий! Дети любят смеяться, и мы должны защитить Детей! Пусть Сегодня и Ежедневно вертится эта удивительная кавалькада радости, труда и счастья жизни, мы идем впереди со своими хлопушками и свистульками, мы, паяцы и увеселители. Но тревога все еще живет в нашем сердце, и сквозь музыку и песни мы кричим всему миру очень важные и серьезные слова:

— Защищайте Детей! Защищайте Детей!

Сегодня и Ежедневно!

12

Под дверью кто-то долго возился и царапался. Я протянул руку и зажег свет.

— Коля, ты спишь? — сказал кто-то робко.

Это Нора. Боится, чтобы я не проспал. Я сказал:

— Кошмарная ты все-таки дама, тетя Нора, я же сказал, что я сам. Входи.

Она вошла, немного смущенная.

— Лежи, лежи, — сказала она, — я пришла

тебе сказать именно, чтобы ты спал спокойно. Утренник-то отменили. Скоро подвеска начнется — аппаратуру Раскатовых будут вешать. А завтра ихняя репетиция, а уж потом и начнем новую программу. Так что ты спи, высыпайся. Я пойду. Теперь послезавтра моя смена, увидимся. Будь здоров.

И так же смущенно, как пришла, она направилась к двери. И ни взглядом, ни словом не напомнила. Но я-то помнил.

Я сказал:

— Тетя Нора, стой! Вот так и стой. Не оборачивайся. Я тебе что-то скажу!

Она остановилась и стояла ко мне спиной у самой двери. На ней старенькая жакетка была. Я открыл чемодан, достал тот платок и кинул ей на плечи. Я сказал:

— Носи на здоровье.

Приятно, когда так радуются. Она обернулась, и вся зарделась, и быстро в него закуталась, роскошными такими движениями, вроде она графиня, а этот платок — соболевый палантин. Конечно, она тут же кинулась к зеркалу и вся словно помолодела лет на тридцать. Я, разумеется, не преминул:

— Очень идет. Просто на редкость. Чтобы вещь

настолько была к лицу! Ай-ай. Просто я тебя не узнаю. Разрешите представиться. Вы, случаем, не Симона Синьоре?

Она сказала:

— Ну, спасибо.

Я сказал:

— Угодил?

— Еще как, — сказала она. Видно, ей хотелось меня поцеловать.

Я сказал:

— Ну, сна теперь уже не будет! Надо умываться! Так послезавтра увидимся? Приходи меня смотреть!

Она сказала:

— Обязательно!

И когда она проходила, я взял ее за плечи и тихонько сжал. Она сказала:

— Пусти, задушишь.

Улыбнулась счастливо и ушла.

А я оделся, привел себя в порядок и пошел в цирк.

Напряженный, горячий денек предстоял сегодня всем артистам, нужно было распаковаться, прорепетировать, отгладить костюмы, приготовиться к манежу, договориться о своих особых «условностях» с Борисом, потолковать с элек-

триком, занять гардеробную или место в ней, объяснить работу униформистам, в общем, сделать тысячу тысяч дел, таких мелких и таких важных, таких спешных и неотложных. И едва только я вышел из своей комнаты, меня тут же охватила эта бодрая, деятельная и рабочая атмосфера утреннего цирка, к которой я привык с детства и которую так любил. Уже на лестничной площадке я увидел, как разминалась Валя Нетти, это она делала что-то вроде утреннего класса, костюмчик на ней был самый неказистый, и вся она без грима была худенькая и мокрая, и работала она насмерть, не щадя себя, держась за перила лестницы попеременно то левой, то правой рукой. Увидев меня, она улыбнулась и помахала мне, и я не стал ей мешать, ответил ей и пошел в манеж. Занавески обе были раздернуты, униформисты сновали в разные стороны, взлаивали чьи-то собачки, лязгали какие-то никелированные столбики, кто-то кому-то что-то кричал, кто-то ругался, поминутно вспыхивал то красный, то синий, то зеленый и белый свет — это проходили партитуру эффектов засевшие в своей кабине электрики. В манеже сегодня было особенно шумно, потому что прорепетировать в манеже всегда лучше, чем в коридоре, а ма-

неж редко бывает свободным; и хитрый Борис разрезал невидимым ножиком арену на точные дольки, как в конфетной коробке, и в каждой такой дольке артист репетировал, и повторял, и гранил, и шлифовал свой ответственный трюк. Да, здесь сейчас много артистов нашего всемирно прославленного цирка. Эти люди слышали горячие аплодисменты на аренах всего мира. И я знал, что я равноправный в этом горячем братстве, это поддерживало меня, помогало мне! Люди встречались, здоровались и окликали друг друга, и все это вместе взятое удивительно напоминало мне Запорожскую Сечь: «А, это ты, Печерица! Здравствуйте, Козолуп! Здорово, Кирдюг! А что Бородавка? Что Колопер?»

Ей-богу, было здорово похоже!

— Ну, как там сборы?

— А как вы проходили?

— Ты не встречал Валези?

— У Маляренко умерла шимпанзиха!

Мимо меня пробежал совсем запарившийся Борис. Он сказал:

— После, когда кончится эта шебурда, найди меня. Не пропадай.

Я сказал:

— Ладно. — И пошел к форгангу, и встал, опер-

шись плечом о стойку. Я хотел посмотреть на работу.

Слева от меня, на местах, сидел высокий и седеющий, похожий на мексиканца из ковбойских фильмов человек. Перед ним стоял юноша в светло-сером костюме. У него был абсолютно не цирковой вид, особенно не нашими казались прямоугольные стекляшки пенсне, каким-то чудом держащегося на пипочке-носике юноши. Мексиканец же этот был популярным у цирковых артистов человеком, это был режиссер Артур Баринов, умница и насмешник, и сейчас в этом шуме и гаме он занимался со специально приглашенным драматическим артистом, который должен был читать монолог перед началом программы, — Артур был специалистом-постановщиком этих прологов, или, как говорят в цирке, парадов.

— Ну! — сказал Баринов. — Читайте текст.

— Сейчас, — сказал драматический артист; он встал, откашлялся и душевно прочитал:

Пусть солнце нашей дружбы вечной
Льет на арену яркий свет!
Примите ж наш привет сердечный,
Наш артистический привет!!!

Сколько помню себя в цирке, всегда в прологе

читают такие кошмарные стихи. Можете их заказать Мискину иди Зименскому, начинающему Кускову или академику Сельскому, все равно стихи для парада будут бутафорские, неживые, гремящие и фальшивые, прямо не знаю, в чем тут дело, просто заколдованное место.

Сейчас Артур учил молодого артиста искусству чтения стихов.

— Ну кто так читает? — спрашивал он, нещадно шепелявя. — Вас же не слышно! Когда читаешь в цирке, нужно орать! Понимаете — орать! И вертеться нужно вокруг себя, потому что, те, кто сзади вас сидят, они тоже платили деньги! Цирк-то круглый. — Юноша опять прочитал несчастные стихи, и опять Артуру не понравилось. — Кто вас учил?! — закричал он, и в углах его шепелявого рта сбежалась пена. — Где вы учились, я вас спрашиваю?

Молодой человек холодно посмотрел на него. Из глаз его сочилось презрение.

— Я учился во МХАТе, — надменно сказал юноша.

— Это звучит драматично, — сказал Артур, — «Я учился во МХАТе!», «Я убит подо Ржевом!». Ну, ничего, не горюйте! — ободрил его Артур. — Здесь вас научат настоящему делу.

Я отвернулся от них и стал смотреть в манеж. Там репетировал сальто на ходулях молодой Конойко. Это трюк исключительной силы, и, по-моему, я никогда такого не видел. Он повторил его несколько раз, и всякий раз безошибочно, точно, все выходило как нельзя лучше, ни разу не сорвался, и красивый какой парень, все вместе просто блеск. Лучшего и не надо. Конойко ушел спокойно и деловито, нисколько не рисуясь. Он прошел мимо Васьки Горюнова, тог стоял в «мертвой точке» — на левой руке, и Конойко сказал что-то Ваське, и тот ему ответил, а что, я не расслышал. Васька вот так, на левой руке, может пропрыгать на Центральный телеграф и обратно — это признанный чемпион жанра. Где-то слева репетировал Лыбарзин, видно, ему хотелось подтянуться, он кидал семь шариков, и у него даже иногда получалось. Хотя все-таки часто «сыпал», и мне смотреть на него все равно было тошно. В самой его манере есть что-то тошнотворное. Убейте меня, а есть. Прав «Пензенский рабочий».

Я отвернулся и увидел дедушку Гарри. Он вышел в каком-то полувоенном пиджачке и в валенках, держа в одной руке лонжу, а в другой — ручку своей маленькой внучки Сони. Дедушка сел на барьер, как садятся в деревне дедушки на

завалинке, быстро и по-хозяйски деловито снял с девчушки платьице, она осталась в детском трико. Затем дедушка опять очень сноровисто и ловко захлестнул лонжищу вокруг Сонечкиной талии, широко раздвинул ноги, уселся поуютнее и сказал:

— Алле!

Девочка стала крутить арабское колесо в таком темпе, что я глазам своим не поверил и пошел к ним и стал за спиной дедушки. Нельзя было даже разглядеть ее тельце, она вертелась, как спица в велосипедном колесе, такая маленькая! Это не по годам, ведь надо же и мускулы для этого иметь, а она вертелась, как огонек, мелькала, как белочка, гибкая и ловкая. Дедушка сказал:

— Ап!

Сонечка остановилась. Личико было у нее напряженное, но она улыбалась. Во что бы то ни стало. Она понимала, что она артистка, и она хоть умри, а должна улыбаться. Я сказал:

— Ай, браво!

Дедушка Гарри обернул ко мне свое доброе монгольское лицо. Увидев меня, он сказал удивленно:

— Коля? Ты?

— Я вчера приехал. Ну и девчонка у вас! Люкс!

Он сделал равнодушное лицо, отстегнул девочку и сказал ей:

— Ступай, отдохни. — И когда она убежала, укорил меня: — Нельзя. Не балуй. Испортить — две минуты.

Я сказал:

— Надо же приободрить.

— Без тебя знают, — сказал он с неудовольствием. — Ну, как дела? Ты из Ташкента? Что там?

Я сказал:

— Все хорошо. Только старому Алимову Каурый руку откусил, кисть…

— Знаю, — сказал дедушка Гарри, — это уже полгода известно. Остывшие новости.

Он помолчал, пожевал губами и заявил:

— Хорошему человеку не откусят…

Не любил старика Алимова наш дедушка Гарри. Он у него в молодости берейтором служил, и, говорят, Алимов здорово затирал дедушку, не выпускал его в манеж, хотя дедушка был серьезный дрессировщик, почище своего хозяина. Далекая это была история, а вот, поди ж ты, еще горела обида в сердце дедушки, тлела под пеплом годов и сейчас дала искру, и я хотел было засмеяться, но не такое было лицо у дедушки, чтобы смеяться, и я сдержался. Мы еще побеседовали с ним о том о

сем, но мне не сиделось, мне все хотелось найти Бориса и условиться о моем номере окончательно, и я совсем уже собрался идти, но тут ко мне подскочила сама наша огромная Амударья — она закончила здесь свои выступления и уезжала не сегодня-завтра. Огромная женщина, центнера полтора, не меньше, она подбежала и сунула мне свою мужественную руку. Мы не виделись с ней года три, но для Амударьи это было неважно, она затрещала, как будто мы ни на минуту не расставались с ней, прямо сходу:

— Коля, очень хорошо, что я тебя встретила! Коля, ты возьми общественное поручение: здесь нужно усилить культработу. Коля, это безобразие! За два месяца, что я здесь пробыла, ты не поверишь, Коля, я знаю, но это правда, даю слово: здесь не было организовано ни одной лекции по эстетике. Коля, так нельзя! Мы артисты, Коля! Мы передовой отряд советской интеллигенции. Коля, обещай! Ты нажмешь, ты возьмешь их за горло, кровь из носа, а лекции и экскурсии должны быть! Коля, да? Коля?

— Ладно, прослежу, — сказал я.

— Вконец замоталась, — сказала Амударья, вновь устремившись куда-то, у меня еще сто дел — конец света. Пока.

И она исчезла, а я подумал, что теперь увижу эту чудачку сравнительно скоро — еще годика через два, если не через три.

— Вот, — сказал дедушка Гарри, — совсем недавно, на самаркандском базаре, в дырявом балагане у нее был оригинальный номер. Какой-то байбак палил в нее из пушки, и полупудовые ядра шлепались об ее спину, как груди об матрац. А теперь подавай ей эстетику, без эстетики эта интеллигентка сдохнет.

— Люди растут, дедушка, — сказал я старику, — люди растут, и наша Амударья вместе с ними. Не по дням, а по часам.

— Да, — сказал дедушка Гарри, — да, ты прав.

И он медленно и печально закрыл глаза. Ему, наверно, уже больше восьмидесяти было, и вот из-за этого он и грустил. Я извинился перед ним, простился, еще раз похвалил внучку и пошел к Борису.

13

Инспекторская комната у самого выхода в манеж, пять ступенек книзу, то ли ромб, то ли параллелограмм, столик, стулик, телефон, вешалка, зеркало, и все. Борис сидел за столом, рядом с ним

Жек и, облокотясь на столик, стоял Башкович. Они все трое, как по команде, подняли головы и смотрели, как я спускаюсь. Борис сказал:

— Посиди еще немного, вот сейчас программу утрясем.

Жек улыбнулся мне, а Башкович подошел и пожал руку с серьезным и даже торжественным выражением.

— Здравствуйте, Николай Иванович, — сказал Башкович торжественно.

— Здравствуйте, Григорий Ефимович, — ответил я.

Он еще торжественней повернулся и пошел к столу. Такая же узкая спина у него была, такое же приподнятое левое плечо, так же удивительно вразлет торчали уши, и так же неуверенно ступали ноги, как тогда, когда поразительно метко и на веки вечные окрестил его Долгов. Это было давно, шла война, я уже стал подрастать, и меня включили в фронтовую бригаду, уже и рыжим выходил и акробатом-эксцентриком — номерок смонтировал, и, в общем, в этот день нашу бригаду собрали в кабинете художественного руководителя Михаила Васильевича Долгова. Он славный был человек, высоченный, с козлиной бородкой, и он любил и понимал смешное. Да и

сам был остер, горазд на словечко. Вот мы тогда сидели у Долгова в кабинете и слушали его напутствие. Долгов сказал:

— Ну, вот и все. А бригадиром и, значит, вроде директором будет у вас Башкович, Григорий Ефимович.

Мы уже знали тогда Башковича, знали, что он способный по административной части, простой, сговорчивый, и встретили это назначение сочувственно. Кто-то даже попытался похлопать, но тут встал сам Башкович и неожиданно сообщил:

— Михаил Васильевич, я не смогу принять эту бригаду. Я сегодня получил повестку. Ухожу на фронт.

Долгов ничего ему не ответил. Он набрал какой-то номер телефона.

Он сказал:

— Товарищ подполковник? Здравствуйте. Это Долгов говорит. Извините, что отрываю, но у меня к вам неотложное дело… А вот: вы прислали повестку тут нашему одному работнику, а он нами направляется на работу во фронтовую бригаду, так нельзя ли… Что? Какая у него военная специальность?

Долгов сделал паузу, разом вобрал в себя и оценил горестную фигуру похожего на ржавый

гвоздь Башковича и молниеносно подвел итог:

— Его военная специальность — движущаяся мишень!

Много есть прозвищ в цирке: Повидло, Карло, Дважды Пусто. Все это чепуха, самодеятельность. Вот Долгов Михаил Васильевич, тот умел прямо в яблочко.

…Сейчас Башкович сидел за столом инспектора манежа, и все трое они устроили «совет в Филях». Они перекидывали нас, простых смертных, нас и наши номера с места на место, тасовали, примеряли, перетряхивали и раскладывали, как карты в пасьянсе. Трудно составить программу, чтобы она шла по нарастающей линии, чтобы интерес зрителя не падал и чтобы вся эта чисто художественная задача совмещалась бы с технической: с уборкой аппаратуры, с установкой ее, и тут сам черт ногу сломит, тут, брат, надо знать, как это сделать — и чтобы волки сыты были и овцы, по возможности, целы. Наука. Я сидел и терпеливо ждал Бориса и думал, что вот в другое время я бы спокойно сидел в буфете и дожидался решения своих дел, а теперь я туда не могу пойти, не надо, это и мне и ей будет очень несладко.

— Ну, так, — сказал Борис, — в общем-то так, но возможны варианты. — Он поднял голову.

— Коля, — сказал он, — ты переехал.

— Куда? — спросил я.

— В конец второго отделения, — сказал Жек, — вон куда.

— После бронзовых Матвеевых вы пойдете, Николай Иванович, — пояснил Башкович. — Манеж будет уже убран, он будет чистенький, с рындинским ковром, аппаратура Раскатовых уже висит загодя, и вы сможете работать спокойно.

— Ни граблей, ни клеток, ни лязга, ни грохота, — сказал Жек, санаторные условия.

— Во время вашего выступления все внимание зрителей будет отдано вам, Николай Иванович, — снова вставил научную реплику Башкевич, — ничто не будет отвлекать зрителей, и вам будет легко контактировать с залом.

— Куда угодно, — сказал я, — хоть к черту на рога.

— Это вместо благодарности, — откликнулся Жек.

— Не с той ноги встал? Что случилось? — Борис внимательно смотрел на меня.

Я не отвечал.

Зазвонил телефон.

Борис снял трубку.

— Да.

Там кто-то квакал внутри, и Борис вдруг протянул трубку мне.

— Тебя.

О, черт! Неужели я жду от нее звонков? Я сам себя ненавидел, когда брал трубку.

Я сказал:

— Ветров.

Там сказали:

— Ты завтракал? Если нет, подымись ко мне.

Я сказал:

— Чтоб ты пропал! Пугаешь только. Не мог зайти за мной, что ли?

Он сказал:

— Придешь?

— Сейчас, — сказал я.

— Из буфета? — спросил Жек.

— Русаков, — сказал Борис.

— Я пойду поем, — сказал я. — Значит, все, как вы сказали. Принято к сведению и исполнению.

Башкович подошел ко мне и пожал мне руку.

— До свидания, Николай Иванович, — сказал он торжественно.

— До свидания, Григорий Ефимович, — ответил я.

14

Они занимали самую большую гардеробную в главном коридоре, и, когда я пришел, все они сидели за столом. Видно, хотели есть и ждали меня. Надежда Федоровна, хотя и пополневшая, но все равно красивая, хозяйничала. Она положила мне на тарелку огромный кусок яичницы — на столе стояла сковорода величиной с таз. Татка сидела напротив меня, она у них единственная была, мать тряслась над ней, закармливала и кутала немилосердно. И сейчас Таткина голова, шея, грудь и плечи были спеленуты цыганской шалью. На полу бегали дворняжки-щенята Нарзан и Боржом. Их жестоко щипал свирепый гусенок Иван Иваныч. Эта троица представляла собой личную труппу Татки. Сам же Русаков, вождь и глава этого табора, высокий и молодцеватый, немного обалдевший от перелета, сидел в нарядной стеганой куртке за столом, поминутно глотал слюну и сжимал ладонями уши. Он только что приехал с аэродрома. За его спиной, цепко держась корявыми лапами за спинку стула, торчал попугай Кока. Он, видимо, очень был рад приезду хозяина и в знак салюта ежесекундно приподы-

мал и распускал на темечке свой хохолок. Как будто вырастали пучки молодого лука. Роза сидела на полу у ног повелителя и главы. Иногда она деликатно касалась его колена лапкой. Русаков давал ей сахару и не глядя пошлепывал по гладкой, лишенной шерсти коже. Она была африканская собака — Роза, и в лиловых ее глазах плясало веселье.

Динка сидела в клетке. Ей было плохо. Негромкий, но сухой и скребущий грудь кашель мучил ее. Она завернулась в полосатое одеяльце и смотрела на нас укоризненно, неласково и отчужденно. Иногда она передвигалась, чтобы устроиться поудобнее, отворачивалась от нас к стенке, и тогда были видны два красных помидора ее задика. Вошел Панаргин и подробнейшим образом пересказал Русакову все наши вчерашние приключения.

— Молодцы, ребята, — доктора, — сказал тот, великодушно помахав рукой, — выношу благодарность.

— Служим трудовому народу! — сказал я и выпучил глаза. Специально для Татки. Панаргин еще стоял.

— Вольно, оправиться, огладить лошадей! — крикнул Русаков с кавалерийской оттяжкой. —

Садитесь, товарищ Панаргин. — Он пододвинул Панаргину табуретку, тот сел. Надежда Федоровна немедленно положила ему еды.

— А вы почему синий стали, дядя Коля? — хрипло сказала Татка.

— Чтоб смешней, — сказал я.

— Вам сколько лет?

— Сто одиннадцать, — сказал я.

— Ничего, еще молодой, — сказала Татка, — я за тебя замуж выйду.

— А пока давай ешь, — сказал я.

— Она у нас артисткой будет, — сказал Панаргин. — Ты в балете будешь, Татка? Или в цирке, как папа?

— Я певица буду, — прохрипела она. — Вон Петька Соснин стал певцом. Он, говорят, на верблюде скачет, а сам в это время поет. Лично я не видела люди говорят. Он способный. — Она поковыряла в тарелке и добавила завистливо: — Плевала я на его способства. Я в опере петь буду.

— Дай Динке чернослив, — сказал Русаков, — ведь она голодом изойдет, ума не приложу, что делать.

Татка пошла к клетке и стала совать туда лакомства. Динка с отвращением отталкивала их.

— Она, папа, скучает, — сказала Татка, — она

немножко хворает, но больше всего она скучает, папа.

— Ты почему так думаешь? — сказал Русаков.

— Она, бывало, и раньше кашляла, но когда ты отдал Лотоса, она заскучала. Я заметила.

— Может быть, вправду? — задумчиво посмотрел на Панаргина Русаков.

— Подсажу к другим, ведь не чахотка же у нее… Вдруг Татка права? откликнулся Панаргин.

— А как же, — сказала Надежда Федоровна, — она папина дочка, она животных чувствует, яблочко от яблони…

Она с гордостью посмотрела на Татку. И Русаков тоже.

В это время, не знаю, ему есть захотелось, что ли, только мы вдруг увидели, что попугай Кока направился своей матросской походочкой к сковороде. Он шел, легонько посвистывая, и пошатываясь, и выставив свой нос, похожий на консервный ножик. Русаков закрыл лицо руками.

— Ай! — сказал он громко, неподдельное горе и отчаяние были в его голосе. — Что я вижу? Кока опять на столе? Он залез на стол? Ай, как стыдно! Нельзя! Ведь воспитанные попугаи никогда не ходят по столу! Стыд! Позор! Срам! Кока на столе?

Стыдобушка!

Кока затоптался на месте, и я никогда в жизни не видел и, наверно, не увижу более смущенного попугая. Мне показалось, что он покраснел. Быстро и неловко ступая меж солонок и вилок, Кока воровато побежал со стола, прыгнул к Надежде Федоровне на колени, вскарабкался по ней на спинку стула, устроился там и вдруг захорохорился, в нем что-то забурчало, и мы услышали:

Чижик-пыжик,

Где ты был?

На Фонтанке

Водку!..

Здесь он ни с того ни с сего устроил вдруг нелепую антимузыкальную паузу.

— Пил! — вдруг крикнули Татка, Надежда Федоровна, Панаргин и Русаков. Они с полминуты напряженно смотрели на попугая. Но тот молчал.

— Двух медвежат! — сказал с досадой Русаков. — Двух чудных медвежат слупил с меня этот алчный старик Кудряшов за такую бездарность… И я доверчиво ему их отдал. Я думал, не может быть, чтобы попугай не смог выучить только одно словечко — «пил». О, кто-кто, думал я, а я его выучу! И вот полюбуйтесь!

Я сказал:
— Спасибо, Надежда Федоровна, пойду.
— Уже? — сказал Русаков.
— Ночь не спал, — сказал я.
— Ты… еще приходите… — сказала Татка.
Надежда Федоровна проводила меня до двери.
— Ты что, Коля? — сказала она.
— А что? — сказал я.
Она долго смотрела на меня. Я молчал.
Она сказала:
— У тебя глаза как у Динки…

15

Я прошел к себе. Тихо было в моей комнате, как в каюте, корабль шел своим маршрутом, а здесь тихо и можно отдохнуть. Я сел на низенький стул, стоявший подле диванчика, и решил сделать генеральный осмотр реквизита, гардероба, бутафории и прочего моего имущества. Я выдвинул чемодан и стал вынимать вещь за вещью, встряхивать каждую и разглядывать ее на свет, и делал это придирчиво, чтобы, если что не так, отложить в сторону и починить. Я умел ремонтировать свои вещи без посторонней помощи; шил я не хуже любой мастерицы, и стирал, и гладил, и умел

парик завить на любой фасон, знал картонажную работу, вертел и заряжал хлопушки, мастерил «батоны» — палки, которыми можно небольно ударить партнера, конструировал разные мелкие машинки для «чудес», например сковородки, из которых можно было вытащить живого кролика, все это было ерундой для меня, жизнь научила, товарищи, родители, потому что неинтересно бегать по городу в поисках мастера, который сумел бы сделать такой пустяк, как музыкальную суповую ложку или соску — она же автомобильный гудок. Все эти насущные вещи цирковой артист, если он любит дело и воспитывался в хорошей цирковой семье, должен делать сам.

И когда я подумал о семье, снова вечная тяжесть легла мне на душу, и сдавило грудь, и дернуло, словно кто кастетом ударил по голому сердцу.

Зачем я уехал тогда из Львова в пионерский лагерь у моря? Ведь я не хотел, не хотел, и хотя я уже большой был и крепкий, и цирковой все-таки, и когда падал и расшибался на репетициях, никогда не ревел, — а тут ревел, не хотел ехать в лагерь, а мама велела, она говорила, что я счастья своего не понимаю, что я должен прыгать от радости и быть благодарным директору Проценко, и председателю месткома — не помню фамилии, —

и всей Советской власти, что я поеду к морю, там загорю и отдохну, и что это счастье, и что месяц это не срок, и пусть я не дурю, они мне будут писать и ждать меня в июле обратно во Львов. Она меня проводила и держала Алешку за ручку, а ему было три года тогда, и я целовал его тугую щечку и все подтягивал ему съезжавший носок на толстую ногу, толстую, точеную и блестящую, как ножка какого-нибудь столика или дивана. Но я не вернулся тогда домой в июле, а лучше бы я погиб вместе с мамой и отцом и маленьким Алешкой, он так вкусно пахнул по утрам и такой был смышленый и нежный, и он погиб вместе со всеми тогда. Фашисты не пощадили их никого, и я этого не в силах забыть, пусть я тысячу лет проживу и потом умру и воскресну снова через две тысячи лет, все равно не будет, не будет, не будет в душе моей им прощенья, не будет во веки веков.

Я сидел так и рассматривал свои парички и жилетки и прочие разные бирюльки, и это меня успокаивало и наполняло каким-то чувством Добра и Дома, теплым чувством Ремесла и Умения, ощущением общности с людьми, которые делают и умнейшие машины, и игрушки, и науку, и весь этот живой и трепещущий мир, и самое

искусство делают вот так просто, этими своими двумя ловкими, все понимающими руками. Я подумал, что ничего на свете нет умней, и добрей, и одаренней человеческих рук. И еще я подумал, что эти мысли уже думались до меня, это тоже хорошо, значит, они общие для всех людей, и это еще лучше. Это меня вполне устраивает.

Тяжелого реквизита у меня было мало, все вещи легкие, не громоздкие. Это мой непреложный закон. Я считаю, что я должен играть сам, должны играть моя душа, мое тело, мое лицо, а не преувеличенные, грубые, «смешные» предметы. Отсюда у меня и сложилась Главная Мысль, Главный Принцип, вся симпатия моя, влечение и направление в моей работе. Я терпеть не могу такие номера, где клоуна бьют по голове молотком, или разбивают о его лоб сырые яйца, или для вящей потехи ему вонзают в лысину топор, и короткая очередь выстрелов вылетает из его противоположной стороны. Я этого не люблю и стараюсь строить свое выступление так, чтобы люди не надо мной смеялись, а мне, моей выдумке, моему озорству, моему умению видеть смешное и показывать это смешное другим. Люди не жалеть меня должны, а гордиться мной, радоваться за меня, любить меня за то, что я ловкий

и стою за правду, за то, что я сильнее подлости и коварства, что у меня есть достоинство и я умею его защищать. Они должны меня любить так, как они любят Солдата из народных сказок, смекалистого солдата, который сумел сварить щи из топорища. Они должны любить, меня так же, как они любят справедливо-плутоватого мужика, что делил гусей, или как работника Балду, который хоть и называется Балдой, а гляди ты — умнее и попа, и самого черта, и кого угодно. «Вот так, таким путем, в таком духе и в таком разрезе. Это, высокоуважаемые коллеги, на мой взгляд, самый верный путь в развитии нашей, советской клоунады. Все, товарищи, я кончил…»

Я перестал возиться с чемоданом, все мое барахлишко было в порядке, я встал и снял со стены мой любимый алый парик. Он давно просох, и я принялся его расчесывать. Фанерная моя дверь неслышно приоткрылась, и в щель просунулась худенькая мордочка Вали Нетти.

— Дядя Коля, — сказала она, — здравствуйте.

— Я тебя уже видел сегодня, — ответил я, — имел счастье.

— Дядя Коля, у нас у одной артистки разорвался тапочек. Мы занимались и вдруг подметка тррык! — и мешает заниматься. Прихватите ее,

пожалуйста. Ведь вы умеете?

— Я все умею, — сказал я. — Давайте сюда вашу тапку.

Валя раскрыла дверь пошире и сказала, став к сторонке:

— Ирина, иди!

Та вошла.

Я таких синих глаз никогда не видел. Постояв немного, она улыбнулась уголками губ и протянула длинную прекрасную руку. Я пожал ее.

— Ирина, — сказала она.

Я ответил ей. Она сняла с ноги тапочку, я взглянул: там было трехминутное дело. Я сказал:

— Садитесь.

Она села, закинув ногу на ногу. Маленькая ступня с тонкой лодыжкой и литыми, как пульки, плотно прилегающими друг к другу пальцами.

Она сказала:

— Это так неловко. Но Валя сказала, что вы хотя и большой артист, а добрый. Вот я и решилась. Еще раз простите меня.

Я достал дратву, щетинку, воск и шильце.

— Так вот вы какой, знаменитый дядя Коля, — сказала она. — И как это так получилось, что я никогда не видела вас в манеже?

— Не велика беда, — сказал я, — еще успеете!

— Еще нахохочешься, — сказала Валя.

— Я вижу вас впервые, — сказал я, — какой жанр? Впрочем, постойте, я скажу сам.

Я вспомнил, что сегодня сказала мне Нора, вспомнил ящики во дворе и снова увидел ее длинные руки и весь рисунок, все встало на место, и я сказал:

— Воздух.

Она спросила:

— Вы знали?

— Нет, — сказал я, — я не знал вас, но теперь знаю: Ирина Раскатова.

Валя захлопала в ладоши:

— Ой! Мнемотехника!

— Да, — сказала Ирина, — просто чудеса…

Просто чудеса…

— Вы с Волги, — сказал я.

— Опять чудеса! Откуда вы знаете?

Откуда? Оттуда. Тебя твое «о» за три версты выдает. Раз. Борис говорил — два.

Я сказал:

— Да я вообще про вас все знаю. Наверное, мечтали быть физиком?

— Нет, я думала — юристом.

— Учились?

— Третий курс… А потом художественная гим-

настика в кружке, студии, встреча с Мишей… И вдруг такая перемена! Просто я везучая, — сказала она убежденно и строго посмотрела на меня. — Кем я была? Обыкновенная студентка с обыкновенными тройками. Никаких способностей — середняк. И вдруг эта встреча, он меня увидел, нашел, полюбил, стал учить, выучил, вытренировал, дал мне призвание, о! — Лицо ее разгорелось, она увлеклась и уже не стеснялась ни Вали, ни тем более меня. — Сколько в нем воли, и вообще какой он благородный и верный, замечательный, редкий человек Миша!

Первый раз слышу такой отзыв о Мишке Раскатове. Великая сила — любовь. Недаром говорят: «Любовь слепа». Нет, стой, к черту соседкины приговорки. Это там, где кухня, котлетки, луковый дух, это там так говорят. А скорей всего, это у меня слепая душа, что я не разглядел его до сих пор. Не разглядел и пошел повторять за всеми: «пижон», «стиляга». А он, наверное, другой, где-то там далеко, внутри, недаром так любит его эта красивая, чистая девочка.

Я закрепил узелок и протянул Ирине тапочку.

— Готово, — сказал я. — Получайте ваш хрустальный башмачок.

Она, не раздумывая, протянула ногу, и я обул

ее.

— Спасибо, — сказала она, вставая.

— Не за что, — сказал я.

Она подошла поближе и наклонилась ко мне низко, почти присела, ведь я сидел на маленьком стуле, и ее глаза были прямо против моих.

— Я не за тапочку, — сказала она, и я увидел нежность и благодарность в этой огромной синеве, — я за хрустальный башмачок.

Валя Нетти уже открыла дверь и держала ее распахнутой. Ирина пошла за ней, но в дверях остановилась и сказала мне уже совсем просто и дружелюбно, как говорят люди старинному своему знакомцу, приятелю и другу:

— Приходите завтра в двенадцать нашу репетицию смотреть.

Я сказал:

— Обязательно.

Тогда она как будто вспомнила:

— А вы когда будете репетировать?

И мы бы пришли.

— Хочется посмеяться, — сказала Валя Нетти.

— Вы меня уж прямо на представлении увидите, — сказал я, — вечером. Ведь я как раз перед вами иду по программе. Вот вы перед своим выходом и увидите меня. Через щелочку можно или

сверху, где прожектор стоит, а еще лучше просто послушайте на ухо, как принимают.

— Нет, послушать — это неинтересно. Я непременно своими глазами хочу, сказала она. — Ну, еще раз спасибо! До завтра!

— До завтра, — сказал я.

— До завтра, — сказала Валя Нетти.

16

Я проснулся так рано оттого, что мне дьявольски хотелось есть. Вода под краном была студеная, голубоватая от холода, я умылся и вышел на улицу. Было уже часов восемь, я взял себе свежего хлеба в булочной и прошел на рынок, в молочный ряд. Жизнь уже кипела вовсю, и выстроенные в шеренгу стаканчики простокваши выглядели очень аппетитно. Я встал сбоку у прилавка и один за другим съел несколько таких стаканчиков. Потом я выбрал ряженку, она еще вкуснее простокваши, розоватая, нежная, освежающая, так бы и ел с утра до вечера.

Дебелая молочница, хозяйка этого товара, смотрела, как я ел, и выражение ее лица было сочувственное и немного грустное, как будто ей все про меня было известно и понятно. Я расплатился

с ней и прошел в другой павильон. Там пахло всем осенним Подмосковьем сразу — укропом, чесноком, рассолом, грибами и еще чем-то, и я купил десяток репок и вернулся в цирк, потому что мне нужно было повидаться с Лялькой. Завидев меня, она по традиции приветственно подняла хобот. У ног ее ползали Панаргин и Генка. Возле них, на полу, на промасленной тряпице, лежали огромные, похожие на кинжалы и серпы, ножи, железные щетки и рашпили.

— Маникюр, — сказал Генка, кряхтя и кромсая Лялькину ногу. — Вот, дядя Коля, как слониха живет — почище любой графини!

— Да, — сказал Панаргин. — В Индии недаром говорят: искусство танца, искусство живописи, ткачества, ювелирное искусство — все это ерунда по сравнению с искусством ухода за слоном. — Он кивнул мне головой и прополз под Лялькиным брюхом к другой, задней ее ноге.

Ну что ж, выглядела она прекрасно, и мой утренний визит приняла благосклонно, и угощение проглотила молниеносно, все было в порядке, и я сейчас, пожалуй, только мешал им. Я отправился к себе.

Чтобы сократить расстояние, я решил пересечь манеж, и как только вошел в зал, увидел, что в

манеже уже работают двое каких-то мальчат, они репетировали партерную акробатику, и я остановился в проходе, у столба, чтобы, оставаясь незамеченным, посмотреть работу. Не очень-то они были способные, эти мальчата, или просто еще не очухались ото сна, только дело у них не ладилось, они падали ежеминутно, спотыкались, и простое арабское колесо выглядело у них у обоих, прямо скажем, кошмарно. Их тренировал Вольдемаров. Я смутно видел его горилью фигуру в первом ряду партера. Хозяйский сынок. До революции его папаша имел свой цирк где-то в провинции, хороший был жук, что и говорить. До сих пор наши старики вспоминают его с неприязнью. А сынок его теперь был руководителем номера «акробаты-прыгуны», и, видно, яблочко недалеко от яблони падает, дрянь был порядочная. Сейчас он орал на этих двух ребят за то, что у них не клеилась работа, объяснял, путано и нетерпеливо, и задергал бедняг начисто. Когда же наконец до него дошло, что мальчишки просто устали, он с досадой крикнул им:

— Эх, плеточку бы сюда потолще! Живо бы все наладилось. Ну да ладно, черт с вами, отдыхайте.

Мальчишки облегченно вздохнули и уселись на барьер. Один сел ногами внутрь, а другой нога-

ми наружу. Ему этого делать не стоило, конечно. В цирке есть, до сих пор живет, примета, что нельзя сидеть спиной к манежу, ну, как нельзя свистеть на сцене, не принято это, неуважение к месту своей работы, за это часто влетает. И Вольдемаров сейчас же обрадовался поводу сорвать злость, подскочил к бедняге, сидящему ногами наружу, и дал ему довольно мощного леща.

— Не сидеть спиной к манежу. Он тебя хлебом кормит.

Мальчуган испугался и заплакал. Его товарищ обнял его за плечи, и они убежали.

А меня бросило в жар. Мгновенно. Я этого не люблю. Ничего такого не люблю. Ненавижу. За это Я могу убить. Но в эту минуту я увидел, как из бокового прохода к Вольдемарову метнулась чья-то туманная тень.

Раз, бац! Вальдемаров получил две классические, не цирковые, нет, а самые настоящие, жизненные оплеухи. Он зарычал, и страшные кулаки его сжались. Он двинулся вперед, совершенно закрыв от меня фигуру своего победителя. Я был уверен, что сейчас начнется грандиозная потасовка, но, к своему удивлению, увидел, что грозный Вольдемаров вдруг отступил и, громко захохотав каким-то картонным, деланным

смехом, круто повернулся и вышел в главный проход.

Теперь он перестал заслонять от меня эту незнакомую фигуру, которая только что, сейчас, надавала ему по морде, вступившись за ребенка.

Я пристально вгляделся, и мне все стало ясно. Это была Ирина.

17

Ровно в двенадцать часов манеж освободили — Раскатовы должны были прорепетировать свой номер, и в партере стали появляться все свободные от работы люди. И несмотря на то что их было побольше ста, все равно цирк казался пустым, огромным и плохо освещенным. Люди садились поближе, в первые ряды, но я знал, где нужно сидеть, чтобы как следует рассмотреть работу, и я сел подальше, ряду в десятом, немного слева от выхода.

Ирина появилась, одетая в какой-то будничный серо-коричневый халат, небрежно накинутый на плечи. Она остановилась у форганга и заговорила о чем-то с униформистом, стариком Жилкиным, не знаю, о чем они говорили, Жилкин смущенно разводил руками и тряс головой, видно, в чем-то

отказывал Ирине. Она отвернулась от него, спокойно и безразлично, и стала глядеть на Мишу Раскатова, который неизвестно почему с утра пораньше нарядился в черный вечерний костюм с крахмальным воротничком, при галстуке и при булавке. Волосы его были набриолинены и причесаны туго-натуго, волосок к волоску. Они прямо-таки сверкали, и на левой руке Мишки, на безымянном пальце, еще сильнее сверкало большое кольцо, мужской обольстительный перстень. Где этот парень нагляделся? Где нахватался этого дешевого шику производства тысяча девятьсот тринадцатого года? Все это раньше называлось костюмом в «салонном жанре» — так полагалось выглядеть высококровному «аристократу цирка» и «королю воздуха», но в наше время это выглядит уже смешным и нелепым, и как Мишка не понимал этого? И пока я все это думал, наш вездесущий Жек в последний раз опустил и проверил трапецию, неподвижно укрепленную, некачающуюся, так называемую штейн-трапе. Мишка тоже принимал участие в этой работе. Я понял, что на этой штейн-трапе Ирина для начала покажет серию обязательных для воздушных гимнасток трюков и только потом, в финале, она пойдет на рекордный трюк и

продемонстрирует «гвоздь» своей работы, знаменитый, поставленный Раскатовым «номер смертельного риска».

Мишка что-то покрикивал властным голосом и делал великолепные жесты, посылал в разные места униформистов, и когда посылал, протягивал костлявый, загибающийся кверху палец. Ирина все еще стояла внизу у входа, она курила длинную папиросу. Лицо у нее было веселое и светлое, и я долго смотрел на нее, все не мог глаз отвести. Да, это была очень красивая и очень юная артистка цирка, артистка от рождения, артистка с головы до ног, от узкой и тонкой щиколотки до маленькой изящной головки с синими, спокойными и странно огромными глазами. Да, это была настоящая артистка цирка с прекрасными сильными руками, перебинтованными у запястий, с таинственной, пленяющей сердце улыбкой на розовых, словно очерченных губах с благожелательно приподнятыми уголками. Она долго так стояла, и я все любовался ею, униформисты все еще возились в манеже, и, видно, ей надоела эта возня, она что-то сказала Жеку негромко и повелительно, потом решительно сбросила на барьер серо-коричневый будничный свой халат. Стали видны ее нескончаемые эллинские ноги, и

гибкая талия, и втянутый мускулистый живот. На ней надет был черный костюм, плотный и прилегающий, обтягивающий всю ее безупречную фигуру. Она попрыгала немного на одном месте, чтобы восстановить кровообращение, дать ему хлыста, что ли, и потом, остановившись, повела вокруг глазами, рассматривая немногих собравшихся в зале. Я смотрел на нее, и мы встретились глазами, и, узнав меня, она опять-таки для разминки побежала ко мне, вверх по ступенькам. Я задыхался, глядя, как она бежит ко мне, и встал ей навстречу.

— Будете смотреть? — сказала она и протянула мне обе руки.

— Да, — сказал я, — буду смотреть. Интересно.

— Я рада, — сказала она, — посмотрите.

Я так стоял, я держал ее руки, и краснел, как мальчик, и, наверно, глупо выглядел, и она тоже покраснела. Не знаю, в чем тут было дело, не знаю, что нам почудилось в эту секунду, не знаю, до сих пор не знаю. Знаю только, что хорошо это было, но неудобно все-таки, нельзя же так стоять на виду у всего цирка, и она отняла руки и сказала:

— Пора.

Я сказал:

— Да. Идите. Я смотрю.

Она двинулась было, но я остановил ее снова.

— Ирина, — сказал я, — кончится сезон, и вам, после успеха… успеха вашего с Мишей аттракциона…

— Ой, — сказала она, — надо спешить…

— Минуточку… одну, — сказал я. — Я думаю, что наше управление предложит вам интересное гастрольное турне. И вам будет нужен антураж. И вы организуете коллектив вокруг себя. Так вот, когда это случится, возьмите меня с собой. Если будет нужно, я пойду в коверные. Если очень будет нужно, согласен стоять в униформе.

Она улыбнулась удивленно.

— Вы? В униформе? А зачем?

— Чтобы защитить вас, — сказал я. Не знаю, почему сказал.

Ей все это показалось смешным, она рассмеялась.

— Меня не надо защищать, — сказала она, — да и от кого? И потом, у меня есть Миша. Да я и сама сильная. Я постою за себя! Вы думаете, я слабая женщина? Как бы не так, сейчас увидите!

И она побежала вниз, девушка из Спарты, с тонкими щиколотками и узкой талией, золотоволосая, с синими глазами, девушка, которая

любит благородного, чудесного человека — Мишу Раскатова.

— Открой проход! — крикнул внизу Мишка и картинно показал пальцем.

Униформисты отодвинули две дольки барьера под оркестром, получилось как бы два выхода на манеж, один — старый и привычный, другой — с противоположной стороны, странный, под оркестровой эстрадой, его употребляют редко — во время пантомим, или для выпуска животных, или для какой-нибудь оригинальной режиссерской выдумки. Теперь всем нам, сидящим в партере, стал виден наш неприглядный утренний цирковой пол. Он был в этом месте цементный, серый и никак не радовал глаз. Ничем не был он застлан, но пришел какой-то человек и положил на этот пол тощий мат.

— Жек! В оркестр! — снова крикнул Мишка, и я увидел, как Жек взбежал в оркестр и подошел к невысокому оркестровому барьеру, поставил на него левую ногу, согнутую в колене, а на ногу положил левую руку ладонью вверх и покрыл ее так же повернутой кверху ладонью правой руки.

— Так стоять! — резко и коротко бросил Мишка.

Пробор его сиял. Кольцо сверкало.

Было тихо. Меня тошнило от этой показухи.

— Смотри, какую устраивает продажу! — сказал Борис.

Я не заметил, как он появился. Я все смотрел на Жека. Я сказал:

— Боря, объясни, зачем он поставил Жека в оркестр?

— На всякий случай, — сказал Борис.

Сердце мое сжалось.

— На какой это всякий случай? — спросил я. — Какой может быть случай? Ты допускаешь?

Но Борис положил мне руку на плечо и сказал:

— Ничего быть не может, не бойся. Она, видишь ли, должна сделать в воздухе, вот там, — он показал, где приблизительно, — двойной сальто-мортале. К ногам ее петлями прикреплены штрабаты, которые, в свою очередь, намертво своим основанием прикреплены к трапеции. И когда она после двойного сальто полетит из-под купола вниз, публика будет думать, что ей конец. Но штрабаты, — а это, по существу, простые веревки, особым образом свитые…

— Учи, учи… Объясняй мне про штрабаты. Нашел новенького…

Он продолжал:

— Вот, вот, эти самые штрабаты ее саморти-

зируют, во-первых, потому, что они далеко не достают до полу, до ковра на манеже, им не хватает двух или трех метров длины.

— И она повиснет головой вниз? Так, что ли? — Меня уже начинало трясти. А он твердил свое:

— Во-вторых же, они у Мишки — в этом и есть секрет, — они с резиновыми, где-то спрятанными амортизаторами. Итак, она летит вниз — штрабаты держат ее за ноги, а потом вступает резина и элегантно вскидывает ее обратно на трапецию. Она отстегивается и делает комплименты. Все рассчитано. Все проверено. В Ереване проделано пять таких полетов. Грандиозный эффект.

— Да уж куда больше, — сказал я.

— Там многие в обморок падали, — сказал Борис хвастливо, — в Ереване-то. Еще бы, прямо американский аттракцион. С жутью.

— Сволочи вы все! — сказал я. — Теперь скажи мне, пожалуйста, зачем Жек стоит вон там, в оркестре, весь изогнулся и сложил руки на подстраховку? И зачем положили этот хреновый мат на полу, под оркестром?

— А я что, знаю, что ли? Так Мишка приказал, ведь он же изобретатель, а не я. Уж ему-то она дорога, ближе, чем тебе, как ты думаешь? Зачем мат? Так. А вдруг… ну, допусти ты миллионную

долю риска! А вдруг по каким-нибудь причинам изменится линия полета? Вдруг она полетит на оркестр? Тогда Жек толкнет ее руками, и она полетит вниз, в манеж, но уже с силой Жекиного толчка. Тут закон физики. Она первоначальную силу полета потеряет, понял? А получив новую силу от Жека, ей лететь останется два-три метра. Но Мишка сказал, что это один шанс на сто миллионов. Сиди спокойно, ясно тебе?

— Ясно, — сказал я, — мне ясно, что риск есть. И большой. Один на сто миллионов. Это чересчур большой риск.

— Да что ты! — сказал Борис. — Ну, я не знаю, как тебе объяснить. Тут, наверное, просто психология — этакая кроха мысли, осколок боязни, последний страшок, ну вот и мат — на всякий случай.

— На всякий случай? Да на всякий случай нужно положить сто пуховых матов, и вывалить двести возов сена в проход и в манеж, раз уж у вас в голове гнездится такой случай, собаки вы и сволочи. Весь цирк надо обтянуть сеткой, раз у вас в голове есть допуск. Есть какой-то там, видишь, стомиллионный шанс, сукины вы дети, все вместе взятые, сволочи вы, распроклятые вы собаки, дерьмо, негодяи вы, мерзавцы и подлецы.

Вот кто вы есть, если хотите знать…

Борис встал и отошел от меня, я его здорово допек, мне кажется, в него проникло. Он обернулся.

— Коля, — сказал он тихо, — брось, не бранись, без тебя тут не знают, что ли? Больше всех ему надо. — Он пошел.

— Да, — крикнул я ему вслед, у меня что-то клокотало в груди, — мне больше всех надо!

Ирина была уже на трапеции. Я был уверен, что она начнет работу с маленьких скромных трюков, постепенно перейдет к более сложным и так далее, потом подведут зрителей по нарастающей к сверхсложным и потом уже, на самый на финал, пойдет в этот разрекламированный двойной сальто-мортале. По традиции все должно было происходить именно так. Но не тут-то было, я ошибся, и как я был рад, что ошибся. Этот аттракцион, видимо, готовился на чистом сливочном масле, на высочайшем уровне, или уж это артистка такая была — самородок, не знаю. Без всяких проволочек Ирина в остром и вместе с тем чрезвычайно ясном темпе встала на трапецию и сделала труднейшую на ней круговую раскачку, ни за что не держась, ни к чему не привязанная, ничем не застрахованная, и затем

сразу, без предупреждений, без продажи на нас обрушился ослепительный каскад чемпионских трюков: задний бланж, «флажок» на одной руке, баланс на спине, стремительный обрыв, снова спина и резкий выход на «флажок» с комплиментом. Это было как музыка, так пианист пробегает быстрыми своими пальцами весь рояль слева направо, сверху донизу, как бы балуясь, играючи, но четкость и чистота звука, бешеный ритм сразу поражают слушателей.

После такого вступления, которое было под силу только законченному, совершенному мастеру, только железному, безотказному телу, только прозрачной и неукротимой воле и только бесстрашному, дерзкому сердцу, после такой небывалой заявки Ирина вновь встала на трапецию и очень скромно и вместе с тем величественно сделала нам комплимент приветственный жест нам, ее товарищам. Так в цирке редко случается, а сейчас случилось: все мы, сколько нас было здесь, сидящих в партере, все мы вдруг поднялись со своих мест и захлопали ей, по-братски, искренне, от горячей актерской души. Это были аплодисменты мастеров, признающих работу своего собрата-мастера, это были аплодисменты, венчающие самый конец строжайшего «гамбург-

ского счета», и Ирина поняла это и улыбнулась, растроганная.

Все сели. Меня знобило. Ирина сейчас копошилась где-то на штамберте, я вгляделся — это она отстегивала туго притянутые штрабаты. Наконец она освободила их и вдела в петли ноги, каждую поочередно. С глухим звоном съехала вниз эта первая, уже ненужная трапеция. В зале было тихо. Ирина выпрямилась и посмотрела вниз. В манеже было светло, электрики дали полный свет. Мы все, затаив дыхание, смотрели на нее, и она, конечно, видела всех нас, но потом она перевела свой взгляд и нашла Раскатова. Михаил стоял за матом под оркестровой эстрадой, у него в руках был конец длинной и тонкой веревки от карабина, держащего наверху привязанной вторую, свободную, трапецию. Я услышал, как звонко щелкнул карабин, и легкая трапеция соскользнула из-под купола и проплыла по воздуху, прямо к Ирине. Ирина нетерпеливо протянула к ней руки и взяла ее на лету, твердо и уверенно. Она держала трапецию обеими руками и ждала команды. Сматывая веревку, Раскатов перепрыгнул через барьер и встал у бокового прохода. Он поднял голову и не удержался, сыграл — припал на одно колено, чтобы еще раз прикинуть

геометрическую точность линий предстоящего полета. Он смотрел вверх и, насладившись этой затяжкой, этим слышным ему трепетом зала, встал на ноги и крикнул сухо и коротко, словно выстрелил из стартового пистолета:

— Алле!

Вместе с этим звуком Ирина ушла в воздух. Сейчас в свете прожекторов она казалась большой черно-серебряной птицей. Она раскачивалась широко и свободно, плавно и мерно, радуясь полету и наслаждаясь им, и мне казалось, что я вместе с ней чувствую эту желанную невесомость, чувствую, как сладкий и хрустящий воздух бьется в грудь и как весело ей подгибать ноги и делать ритмические рывки ногами и животом, и амплитуда полета становится все шире и мощней, и тишина, и восторг, а внизу влюбленные и тревожные глаза. Не надо никаких упражнений и поз, не надо, не надо, вот так, вот так, еще и еще, непринужденно, раскованно. А теперь прибавь, пора, наступило время, мах!

Мах!

Ирина сделала резкий и мощный рывок животом и взлетела к самому куполу цирка. Здесь она бросила трапецию, тело ее сгруппировалось и перевернулось вокруг себя, через спину, свершился

первый виток, и тут Ирина мягко коснулась лбом о неизвестно откуда появившийся железный фонарь. Звука я не услышал, я только увидел прикосновение маленькой золотой головки к железному абажуру. Полет был нарушен, Ирина стремглав полетела вниз. И в эту тысячную долю секунды я успел возликовать, я подумал: она коснется Жека, Жек изменит силу ее падения недаром он там стоит со сложенными для страховки руками!

Ирина пролетела мимо Жека.

Где-то со свистом мелькнула в голове еще одна надежда: «Штрабаты! Они короткие! Она не Долетит до пола! Повиснет!»

Штрабаты оказались длиннее, гораздо длиннее, и Ирина пролетела в проход.

— Мат!

Она ударилась головой. Об пол. Она вонзилась головой в пол. Тук.

Штрабаты все-таки подтянули ее и потащили из прохода в центр манежа, и она прыгала, как китайский мячик, волочась и ударяясь головой о пол.

Тук. Тук. Тук.

А потом без звука — о манеж.

Тук. Тук.

И о ковер.

Тук.

Мишка держал ее на руках. Он кричал. Все кричали. Мишка кричал ужасней всех. Он кричал и старался пальцами открыть ее глаза. У него не выходило. Он кричал и звал ее. Он целовал ее, и кричал, и звал ее. Кто-то обрезал штрабаты. Мишка побежал к проходу, он бежал, он нес ее, бежал к проходу и кричал. Появились носилки. Ее взяли у Мишки, и положили на носилки, и понесли в проход. За занавеску. Все побежали за носилками. Мишка бежал впереди всех. Он кричал. Он ужасно кричал.

Я остался один.

Внутри меня не было ничего. Пусто. Ни (сердца не было, ни легких, ни крови. Ничего. Кто-то выжег у меня все внутри. Лампа перегорела. Кожа есть, ребра. Больше нет ничего. Разве это было наяву — то, что произошло сейчас, две минуты тому назад? Еще качается трапеция. Я поднял глаза. Высоко над куполом цирка, точно повторяя круг барьера, висели железные фонари. Я сразу узнал главный фонарь. Он был безобразно измят.

18

Золотой тогда день стоял над городом, прохладный, золотой и синий. Последние легкие листья бесшумно слетали с деревьев и, свернутые в трубочку, шуршали на сером асфальте. Золотые были листья, теперь они шуршат на асфальте, сухие, ломкие, рассыпающиеся в прах под ногой. Женщины в белых фартуках сгребают их в кучу и, неловко чиркая спичками, поджигают.

Я стоял возле цирка в мучительном ожидании, и не было во мне ни мыслей, ни чувств. У подъезда вытянулись цугом машины, большая толпа стояла почти неподвижно, люди смотрели в распахнутые двери цирка, оттуда неслись приглушенные звуки оркестра.

Мне захотелось услышать запах листьев, и я пошел на рынок и нашел то, что мне нужно было. Немолодая женщина с русскими серыми глазами продала мне огромную охапку последних осенних листьев. Она скорбно покачала головой, подавая их мне. Я вернулся в цирк, положил листья у Ирининых ног и снова вышел на улицу. Видно, я здорово огрубел — я ничего не чувствовал. Стоял возле цирка, смотрел на людей

и слушал их бессвязные речи. Огромная машина стояла рядом. Первыми вышли музыканты, они выстроились сбоку, никаких дирижеров не было, музыканты, видно, наизусть знали эту музыку. И тут понесли венки, а за ними выплыл гроб, и я понял, что это Ирина, что это ее несут, что это Ирина так плавно движется на плечах поникших людей. Я узнал Жека, и Жилкина, и Бориса, и Генку, и других, и я побежал к своим товарищам. Я побежал, спотыкаясь, вперед и, как живое тело, обнял тяжелый, пахнущий листьями гроб.

Трубная — Малый театр — кино «Ударник» — Калужская — Градские больницы — Донской…

Как это бесталанно, как уныло, как мрачно придумано. Кто режиссер? Кто это ставил? Это надо изменить. Закрыть и укатать цветущим, вечнозеленым газоном эту безнадежную яму, сорвать и сжечь эту зловещую занавеску разве так должен уходить от нас близкий, любимый человек? Разве так должна уходить от нас смелая, сильная, дерзкая девушка? Высокий купол ярко-синего неба, звенящие тросы, круженье золотых листьев, мерцанье далеких звезд и милый облик, улетающий туда, в космос, чтобы ступить на Млечный Путь и светить нам оттуда вечной и светлой печалью.

Я ушел оттуда, и долго плутал по Москве, и пришел наконец к цирку. Я взял в киоске газеты, остановился у главного входа и механически развернул одну из них. Там было фото ребенка, убитого во Вьетнаме. У его тела рвала на себе волосы мать. И вот здесь, на ступеньках цирка, впервые за эти дни что-то сотряслось во мне, и спазма схватила за горло, и я облился слезами. Я отвернулся к стене от людей и постоял так недолго. Кто-то дернул меня за руку. Это был мальчишка лет семи, в смешном картузе козырьком набок. У него были круглые блестящие глаза. Зубов не было.

— Дяденька, — сказал мальчишка, — это на когда билет?

Я посмотрел его билет и сказал:

— Это на завтра билет. На утренник. В двенадцать часов начало.

Он сказал:

— Я приду. А клоун будет?

Ах, вот оно что. Вы собрались на утренник, товарищ в кепке с козырьком набок? И вы, конечно, хотите увидеть тигра и Клоуна? Или слона и Клоуна? Или, на худой конец, собачек и Клоуна. Клоуна! Обязательно Клоуна!!! Ну, что ж, раз так, — я приду вовремя. Не беспокойся, не опоз-

даю. Можешь на меня положиться.

Я сказал:

— Конечно. Клоун будет.

Он сказал:

— А вы почему синий?

— Чтобы смешней, — сказал я и выпучил глаза.

— Я люблю клоунов, — сказал он благосклонно и рассмеялся.

Он рассмеялся, мой маленький друг и хозяин, моя цель и оправдание, он рассмеялся, мой ценитель и зритель, и были видны его беззубые десны.

Он рассмеялся, и мне стало легче.

19

— Скажите Алексею Семенычу, что пришел Николай Ветров.

— Ну и что? — сказала секретарша.

— Мне нужно с ним поговорить.

— Алексей Семенович пишет докладную. Сегодня неприемный день.

Суровый у нее был тон. Но я сказал:

— Вы ему скажите, что пришел Николай Ветров. Тогда он отложит докладную.

Она посмотрела на меня. Я не внушал ей доверия.

— Не знаю, товарищ, — протянула она, — я как-то не уверена…

«Синее лицо, — думалось ей, — в крапочку. Ну и тип! Уж не бандит ли?» Эти мысли бегали по ее лицу, как световая реклама на «Известиях».

— Вы, наверно, недавно на этом месте, — сказал я. — Понимаете ли, здесь специфика. Вы скажите, что пришел я, и он меня примет.

Она передернула плечиками и пошла в кабинет. Через секунду она возвратилась. У нее было гостеприимное лицо.

— Пожалуйста, — сказала она, — проходите.

Я вошел.

— Что скажешь? — сказал он, не подымая головы. Он что-то строчил.

Я сказал:

— У меня к тебе дело, понимаешь. Просьба. Ты ведь знаешь, я никогда ни о чем тебя не просил.

— Давай, — сказал он.

— Алексей Семеныч, припомни, — сказал я, — скажи, я когда-нибудь, ну хоть раз, отказался от поездки на фронт, если ты посылал?

— Не хватало, чтобы отказывался от поездок на фронт, — сказал он саркастически и поста-

вил точку, там, на своей докладной. — ЗдОрово, сказал он, подняв глаза. — Слушай, а испугался, когда изуродовал лицо?

Он еще не видел меня с крапочками. Я сказал:

— Да, конечно. Уж очень громко бахнуло. Так вот, когда меня отправили на сто двадцать представлений на целину, я отказывался? Говори.

Он смотрел на меня спокойно, с минимальным интересом.

— Ну, не отказывался. К чему ты это?

— А в колхозы, на Магнитку, на Братскую ГЭС, на Хибины, в Каракумы, в Арктику, к черту, к дьяволу я отказывался?

— Учти, Коля, — сказал он, — время дорого.

— А у тебя есть ко мне претензии как к работнику, Алексей Семеныч? Может быть, у меня были выговора или нарушения дисциплины? А?

— Слушай, — сказал он, — если ты выпил, так иди, не мешай работать. — И он снова взялся за ручку.

— Нет, — сказал я. — Алексей Семеныч, вот она, просьба, ты посмотри свой график, вот сейчас при мне, посмотри, найди какой-нибудь «горящий» цирк и немедленно отправь меня отсюда. Объяснять ничего не буду. Я там живо подниму сборы. Я там буду давать вечера смеха. Отправь

меня, друг.

Впервые в его глазах я увидел настоящее удивление. Он весь подался вперед. Он ушам своим не верил.

— Хочешь бросить программу?

— Нет. Просто не могу. Нету сил, — сказал я. — Давай без скандала.

Он помолчал, не спуская с меня глаз, и вдруг ему показалось, что он нашел, чем меня убедить:

— Не дури, Коля, брось, — сказал он, — ты интереса своего не понимаешь, тебе надо быть в этой программе, надо! Ну, посуди сам, ты давно не был в Москве и вот появился. Новая программа, новая публика, центральная пресса, и снова все заговорят о тебе: Ветров, Ветров, вы видели Ветрова? Я вчера видела Ветрова, то-се, встречи с композиторами, Дом актера, а как же? Там, глядишь, министр в цирк заглянет, ну, пусть не сам, пусть его дети, — кто понравился? Опять Ветров! А тебе уже давно пора звание получать, а ты тут как тут, на виду у общественности столицы! И нам будет легче ставить вопрос. Не дури, Коля, брось…

— Слушай, — сказал я, — подбери город подальше. И где сборы плохие. Я вам помогу.

Тут он ни с того ни с сего игриво так покачал головой, двусмысленная улыбка пробежала по

его губам, и он саданул меня с размаху:

— Коля, никогда не поверю, что ты придаешь такое значение этому буфетному романчику…

Я посмотрел на него. Он вскочил и побежал от меня, натыкаясь на стулья и на ходу опрокидывая их и ударяясь о косяки столов. Из дальнего угла он закричал, выставив руки, обороняясь:

— Не смей! — кричал он. — Опомнись! Ты что? Успокойся!

Он был белый как мел. Я отошел к окну и покурил немного. Постепенно сердце перестало стучать, кровь отлила от головы. В окно был виден наш старый бульвар и старое корявое дерево, к которому три года назад вышла ко мне на первое свидание Тая. Тогда шел снег, тяжелый и холодный, а мне было жарко, и мы с Таей шли с непокрытыми головами и ступали по талому снегу, не разбирая, где посуше, и она все смеялась: «Как маленькие».

Я прокашлялся и обернулся, нужно было продолжать разговор. Алексей Семеныч сидел за столом и строчил. Видно, и он тоже поуспокоился. Я пошел к нему. Он сказал, не подымая головы:

— Честное слово, думал, что убьешь. Делай как знаешь. На тебе приказ. Иди к Башковичу. Я сказал:

— Спасибо. Будь здоров.

Он ответил:

— Приезжай в другой раз, Коля, мы тебе напишем.

Я вышел в приемную. Секретарша сидела за столом тише воды, ниже травы. Теперь она убедилась, что я бандит. Я взял трубку и соединился с Башковичем, и прочитал ему по телефону приказ Алексея. Он выслушал и, как всегда, ничему не удивляясь, ответил вежливо и спокойно, тщательно выговаривая все буквы в моем имени-отчестве:

— Все будет сделано, Николай Иванович. Билет я вам вручу лично.

Я оставил приказ секретарше и попросил ее сделать копию для меня. Она кивнула головой. Я думаю, она боялась меня. Я поклонился ей и пошел из управления, пошел по крутой лесенке вниз, повернул в дверь налево и вошел в цирк. Хорошо, что я уеду. Здесь я бы не смог. Здесь все для меня погибло. Я пошел направо. С манежа доносилась затейливая, кудрявая музыка, барабан лупил вовсю. Шел детский утренник. Я прошел мимо буфета и встал у бокового прохода. Старая капельдинерша приготовилась открыть мне красную бархатную шторку, она думала, что я

хочу пройти на места. Но я остался здесь. Музыка перешла на галоп. Потом наступила пауза. Сердце мое билось. Прошла секунда, и свежий, весенний, все оживляющий дождь пролился на меня: я услыхал спасительный плеск детских ладош.

20

Поезд отходил в ноль пятьдесят. Когда я вышел из такси, часы показывали половину первого. На вокзале было пусто и темно, мне показалось, что сегодня только я один уезжаю из Москвы. У вагонов не было ни провожающих, ни отъезжающих, лишь в еле мерцавших, наглухо занавешенных окнах киосков смутно мелькали силуэты продавщиц: там подсчитывали дневную выручку или убирали с витрин зачерствевшие шоколадные плитки. Громко и как бы вызывающе стучали наши шаги по сцепленному первым осенним заморозком перрону. Носильщик толкал впереди себя небольшую тележку с палкой-толкачом, тележка шла бесшумно, ею было легко управлять. Это усовершенствование мне понравилось, а то я всю жизнь не любил пользоваться услугами носильщиков, невозможно было смотреть, как чужой и частенько даже пожилой человек, на-

верняка уже больной и вообще усталый, тащит твой чемоданище, а ты не можешь ему помочь, потому что третьей руки у тебя нет, а эти две уже заняты через меру. А так мы шли, славно играя в эту перевозку, шли легко и быстро, и я сказал носильщику, что сундук, да и большой чемодан заодно, мы сдадим в багаж, а со мной поедет только маленький, лакированный. Носильщик сказал:

— Ну-к что ж…

Мы прошли мимо седьмого вагона, в котором мне предстояло ехать, и потом мимо темного вагона-ресторана вперед, к голове поезда, и там носильщик сдал мои вещи, а я проследил, чтобы их не швыряли уж чересчур-то и объяснил заспанному и сердитому багажному дежурному, почему это для меня важно. Он хранил недоброжелательное выражение на заспанном лице, но сундук и чемодан устроил так, как мне хотелось.

Я заплатил носильщику, и он удивленно посмотрел на деньги, ему показалось много, и он подумал, что я ошибся и передал, но я сказал ему:

— Все в порядке.

Он приподнял кепку:

— Большое спасибо.

И заторопился к выходу. А я вынул папиросы и угостил дежурного, и мы покурили и постояли у багажного вагона и поговорили. Так, ни о чем. И потом он тоже ушел, и я остался один, совсем один, по-настоящему, и, пожалуй, не очень-то сладко было мне в эти минуты. Мимо меня по соседней колее прополз какой-то допотопный паровозик, остановился рядом со мной и вдруг взвизгнул, как старая кликуша-истеричка, и потом задышал лихорадочно и часто и стал выбрасывать в сторону плотные и осязаемые на вид клубы дыма кремового цвета. Я попытался взять себе на память немного такого отличного дымка и сжал ладонь. Часы показывали сорок минут первого, нужно было садиться, и я пошел.

Возле седьмого вагона стояла Тая. Я подошел к ней вплотную, и она улыбнулась мне, подняв милое лицо, улыбнулась, как тогда, в самом начале, на бульваре, под деревом. Она положила мне на грудь свои руки в перчатках, не то собираясь оттолкнуть меня, не то притянуть к себе.

— Я здесь недалеко была, на день рождения ходила к сестре, — сказала она смущенно. — К Полине, к своей двоюродной. Ну, выпили, конечно. А потом сижу и вспомнила: сегодня в цирке говорили, тебя во Владивосток направляют, дай,

думаю, провожу черта синего, раз уж он сам не пришел попрощаться, не пришел, не нашел нужным. Как ты мог, какое у тебя сердце, я весь день в цирке, два утренника отбарабанила, еле на ногах стою. Не ожидала, Коля, что не зайдешь…

Я ничего не ответил. Она еще немного постояла и, полуотвернувшись от меня, тихо сказала:

— Переживаешь, да? За Ирину Васильевну переживаешь?

Она снова стала смотреть на меня и приблизилась, словно всматривалась, и наконец заговорила:

— Темный ты какой, весь темный, и глаза тоже. Осунулся как, подался, будто переехали тебя. Старый стал, совсем старый. Переживаешь… Я видела, как ты тогда с ней разговаривал и смотрел на нее, словно целовал ее, Ирину Васильевну. Молодой ты тогда стоял, вроде мальчика, не то что сейчас. Я тогда, Коля, каюсь, недоброго тебе пожелала, да и ей тоже, обоим вам, Коля, ведь меня словно кто ножом полоснул по сердцу, когда я увидела, что она тебя за руку держит. А теперь как каюсь… Ночей не сплю, ведь это ужас, ах, бедная, бедная! Мишка теперь совсем сопьется, а ведь хороший человек, он из-за нее, из-за любви-то к ней и вовсе было расцвел, а теперь пошел,

говорят, закружился, опять соскочил с зарубки…

— Зря, Тая, — сказал я, — зря ты ей недоброго желала. Она Мишу любила.

Она задумалась и робко так сказала:

— Теперь надолго уедешь, да?

Я сказал:

— Тая, прости меня.

Она как будто вернулась откуда и вскинула на меня глаза:

— О чем ты?

Я сказал:

— Я уже давным-давно хотел Вовке подарить коня. Красивого, как в цирке, чтобы в яблоках и из ушей дым валит, из ноздрей пламя пышет. Тая, ты возьми у меня денег и купи от меня, ладно?

— Убери! — сказала она и ненавистно, и жалостно, и грозно. — Я куплю ему коня и скажу, что от тебя. А деньги убери! Мало ты меня обидел, да? Еще надо?

— Ты что, Тая, — сказал я. — Я ведь хотел хорошего. Только хорошего, что поделать — не вышло, не моя вина.

— Нет, — сказала она, и голос ее зазвенел и натянулся, — не надо, не говори, не надо врать, это ты говоришь так, чтобы еще злей моя мука была, а ты ничего не хотел хорошего между нами! Может

быть, вообще в жизни ты мечтал, хотел хорошего, но не про меня, не ври. Не смеешь меня винить… На всю жизнь меня виноватой оставить…

Она полуговорила, полуплакала, спешила, захлебывалась и комкала слова. Громкоговоритель заглушил ее, гулко пробасив что-то непонятное. Тая запнулась на полуслове.

— Сейчас отправляемся, — сказала проводница строго и взошла на подножку.

Я поднялся за ней. Тая смотрела на меня снизу вверх, и мне трудно, непереносимо трудно было уезжать. Если бы остаться и стать отцом ее Вовки, она ведь за это только добром ответит, и ни Лыбарзина не будет, ни майора с «Волгой», — никогда и я, наверное бы, не уехал, если бы в цирке под куполом все фонари были целые, и я увидел бы там счастливое от любви к Мишке Раскатову лицо, и низкий речной смех, и золото, и синь… Но я знал, что страшно изуродованный фонарь висит еще в цирке, и в ушах моих все еще жил этот жуткий, глухой и неясный звук. Китайский мячик…

Тук. Тук. Тук.

Поезд мягко тронулся. Тая пошла за ним.

Я хотел сказать ей: «Жди меня, Тая», да ничего не вышло, только шевельнулись губы. Но Тая это

заметила, поняла, что я хочу что-то сказать, и крикнула отчаянно и так громко, как будто я был на другом берегу.

— Что? — крикнула она. Она уже шла очень быстро, почти бежала. — Что ты говоришь?

Она устала от бега, и прижала руки к груди, и остановилась. Я сошел на подножку и оттянулся на поручнях. Она сделала еще несколько шагов вслед за убыстряющим ход поездом.

Я напрягся изо всех сил и крикнул туда, в город, в перрон, в ночь, в мокрые и горькие глаза:

— Прощай, Тая! Счастливо оставаться!

Я постарался улыбнуться и крикнул еще:

— А собачка дальше полетела!

